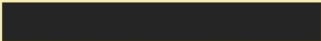


**АЛЕКСАНДР МОРОЗ**

**ЗДРАВСТВУЙ,  
ШУРА!**



16+

# Александр Александрович Мороз

## Здравствуй, Шура!

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=54765038](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54765038)*

*SelfPub; 2020*

### Аннотация

Автор книги – Мороз А.А. описывает свою жизнь начиная с самого рождения (5 августа 1905 года), всё, что помнит сам и слышал из рассказов близких людей. В первой части события происходят с 1901 по 1941-й гг., во второй части идёт описание событий ВОВ 1941–1945 гг. В первой части автор воссоздаёт картину жизни начала 20-го века, быт людей, детские игры и проказы, как было построено обучение в те годы. Описываются события Первой Мировой войны, изменения в жизни людей после революции, служба в только что созданной Красной Армии, голодный 1921-й год, смерть В.И. Ленина, репрессии. Вторая часть начинается с описания событий 22 июня 1941 года и заканчивается с окончанием войны. Полностью воссоздаётся жизнь семьи в военные годы. Эта часть книги написана в форме дневника, она основана на автобиографических фактах, воспоминаниях, а также переписке Мороз А. А. с женой, братьями, родными, разбросанными в годы войны по разным уголкам страны.

# Содержание

Часть 1

4

Часть 3

255

# Часть 1

## 1901–1907 гг. Город Сновск

Я родился пятого августа 1901 года (по старому стилю) в городе Сновск (прим. – с 1935 по 2016 годы – город Щорс) Черниговской губернии Городнянского уезда, расположенного вблизи несудоходной спокойной речки Сновь.

Рассказывали старики, что до постройки железной дороги тут был казачий хутор Коржевка, а когда появилась Либаво-Роменская железная дорога, то станции присвоили название «Сновская».

На северо-востоке от станции был железнодорожный мост и паром через реку Сновь. За мостом – Милорадовский лес, названный так, вероятно, по фамилии владельца. Вдали виднелся лесной массив «Михайловщина». С юго-востока к самой станции подступал Казенный лес с громадными соснами и дубами. Около станции, напротив вокзала, были пакгаузы (прим. – закрытое складское помещение при железнодорожной станции), товарный двор. Около пакгауза стоял небольшой железнодорожный домик, чуть побольше стрелочной будки. Это и было жилище молодой семьи Мороза Александра Карловича.

Передо мной пожелтевший документ, из которого я не только узнаю даты, но также и некоторые события, связанные с этими датами.

Так, например, я узнаю, что вскоре после рождения, а именно 16 августа 1901 года, меня понесли в село Носовка, расположенное в двух километрах от Сновска, в церковь крестить. В церкви священник Петр Пригоровский при участии моих православных родителей и при приемниках, т. е. крестных, мещанина г. Городни Данченко Сергея Федоровича и жены дворянина Ляхмант Эмилии Александровны, окунул меня в воду, и мне было присвоено имя Александр в честь знаменитого Александра Невского. Все это вписали в метрическую книгу под номером 69, и, таким образом, была мне дана путевка в жизнь.

Отца своего я не помню. Лишь по рассказам моей матери и сохранившимся у меня некоторым документам я, приблизительно, представляю его физический и моральный облик.

Из пожелтевших свидетельств конца 19 века видно, что отец мой Койдановский мещанин Минской губернии Мороз Александр Карлович родился 12 сентября 1873 года, православного вероисповедания, ремесла не знает, занимался хлебопашеством. Успешно окончил в 1891 году Рубежевическое народное училище и в 1894 году был обязан явиться в Койдановский призывной участок для исполнения воинской повинности.

К моему большому сожалению я не сумел сохранить един-

ственную фотографию, запечатлевшую моего отца. На фоне здания станции Сновская на перроне сняты были начальство и персонал станции. Выстроившись в ряд, стояли полный, коренастый начальник станции Ляхмонт, высокого роста жандарм и далее еще несколько человек. В конце ряда последним, стоял мужчина среднего роста в пиджаке, похожем на телогрейку – это был мой отец.

Уже одна эта расстановка группы, построенная явно с учетом служебных рангов и значимости каждого по служебной лестнице, была достаточной иллюстрацией и свидетельствовала о скромном месте, занимаемом отцом среди персонала станции. Карточка эта пропала при эвакуации в 1941 году, как я предполагаю, где-то в районе Воронежа. В Гомель я ее с собою взял.

Как рассказывала мать, отец был очень заботливым мужем, был трудолюбив, не пьяница. А по свидетельству его сестры, моей тетки Лукашевич Елизаветы Карловны, отличался веселым характером и был мастер отколоть какую-либо неожиданную шутку и заставить посмеяться до слез. Занимал должность сцепщика вагонов. Он, помимо этой должности, выполнял много разных поручений начальника станции, вплоть до ухода за его коровой и прочей живностью. Недаром жена начальника станции мадам Ляхмонт Эмилия Александровна изъявила желание и стала моей крестной матерью. Некоторое время у нас в семье хранилась фотокарточка этой милостивой, довольно полной женщины, но по-

сле эвакуации из Либавы в 1915 году она пропала.

Мать моя Фёкла Филипповна была дочерью крестьянина села Здряговка Черниговской губернии Городнянского уезда Филиппа Вошки. Были у нее два брата: Кузьма и Логвин. Имени ее матери – моей бабушки, я не знаю. Была у матери тетка Ульяна Павловна, служившая у панов в Городне. Смутно представляю образ этой тетки: высокая, черноволосая, она чем-то напоминала монахиню. По рассказам матери, отец ее был мельником, после пожара обедневшим. В моей памяти смутно встает картина: какая-то белая хата под соломенной крышей, полутемная внутренность этой хаты, широкая горячая печь, на которой мы спали в один из дней наведывания Здряговки. Конечно, никаких образов деда, бабушки и дядей у меня в памяти не сохранилось. По-видимому, наведывались мы в Здряговку нечасто.

Когда подросла моя мать, тетя Ульяна определила ее в услужение к панам в Городне. Сам пан был каким-то чином в суде: не то заседателем, не то еще кем. Матери было немного лет, и для принятия ее на работу нужно было прибавить пару годов, что и было с успехом проделано, а позже и записано в паспорт, в котором указано, что родилась она 12 августа 1880 года вместо фактического рождения в 1882 году. Как вспоминала моя мать, работала она у пана успешно, и ею были довольны. Там она научилась готовить неплохие кушанья, и это ее кулинарное искусство в жизни служило предметом особой гордости.

Как и где она познакомилась с отцом, я или по своей небрежности не запомнил, или она об этом не рассказывала, но я не знаю. Одно я запомнил из ее отзывов о нем – это то, что он был трудолюбивый человек и хороший семьянин.

Прошли бурные 1904 и 1905 годы. Обедневшая семья моей матери после того, как, кажется, умер ее отец, прельщенная обещаниями хорошей жизни в далеких Сибирских землях, переселилась в Томскую губернию Кыштовского уезда. Несколько лет велась переписка с ними, постепенно угасая, пока не прекратилась вовсе. Писали в Сибирь уже не Вошкам, а на фамилию Вощенко – так просила мать. Она считала, что ее семейству присвоили фамилию по фантазии какого-то самодура-пана, и не хотела, чтобы она красовалась на конвертах.

После революции стало известно, что бабушка в Сибири умерла в возрасте 83 лет, что кто-то из их семьи, не то Кузьма, не то Логвин, очутился во враждебных лагерях: один стал кулаком, другой остался в бедняках. И после этого связь матери с ее сибирской родней окончательно прервалась. Конечно же, никаких фотографий родных моей матери не было. Фотография в те времена была не совсем доступна простому люду. Да и простой народ считал это искусство пустой панской затеей. И хотя мать моя, будучи в услужении, жила в городских условиях, фотографироваться ей в молодые годы не пришлось.

Когда позже, уже работая на железнодорожных путях, я



спросил одного из старых путейских рабочих Новика о моей матери, которую он знал в молодости, то он только сказал: «О!». Что означало это «О!», я так и не понял тогда, но это междометие меня удовлетворило. Я любил эту безропотную, добрую женщину, видевшую в людях только хорошее, готовую поделиться со всеми, что у нее есть.

Итак, если я родился в 1901 году, то, нужно полагать, что поженились мои родители в 1900 году, и что отцу было 27 лет, а матери 18.

Молодая семья дружно жила в маленьком казенном доме года четыре. Мать любила вспоминать эти самые счастливые годы ее жизни (так она о них говорила), пока не случилось несчастье. Оно, несчастье, всегда настигает человека неожиданно-негаданно и наиболее болезненно переживается тогда, когда нарушает безоблачную счастливую жизнь.

Второго марта 1904 года отца, незадолго до сдачи дежурства, убило поездом. Был гололед, он поскользнулся, угодил под колеса, и его не стало. Так я в два года и семь месяцев стал сироткой.

Похоронили отца на Сновском кладбище недалеко от базара и церкви. Помимо креста поставили гранитный камень прямоугольной формы. На лицевой гладкой стороне камня выбили слова и цифры, причем не обошлось без курьеза: ошибочно дату смерти выбили 1903 год вместо 1904 года. Кто допустил такую ошибку – не знаю, но камень этот до сих пор стоит под углом в 45 градусов, глубоко осевши в землю.

Надпись на нем такая:

«Александр Карлович Мороз.

Жил 29 лет. Умер 2 марта 1903 года».

Причем первые две строки видны, остальные в земле.

Передо мной два документа. Один из них с датой 16 апреля 1904 г. от Городненского сиротского суда свидетельствует, что моя мать Фёкла Филипповна Мороз и Сергей Федорович Данченко назначены мне опекунами. А во втором, выданном Минским сиротским судом с датой 31 мая 1905 г., записано, что мать моя, проживающая в г. Минске по Торговой улице в доме № 8, назначается единственной опекуницей надо мной и деньгами в сумме 366 рублей по книжке сберегательной кассы, а Данченко С.Ф. как не проживающий в Минске от опеки освобождается. В этом же документе написано, что малолетнему Александру Морозу принадлежит право на землю в деревне Гнецкая Рубежевичевской волости, которой пользуются братья покойного и мать, и «что малолетнего к пользованию не допускают и никакой прибыли ему не дают».

Почему мать в мае 1905 года была прописана в Минске, я так и не узнал. Может быть, это было связано с тем, что отец был родом из Минской губернии, и все делопроизводство сиротского суда было сосредоточено в Минске. А может быть, мать судилась с Либаво-Роменской железной дорогой, управление которой было в Минске? Не знаю. Вероятно, в Минске мать проживала недолго и в конце 1905 –

начале 1906 г. жила уже в Сновске.

Как, где и когда познакомилась мать с отчимом Владимиром Андреевичем Гавриловым, я у матери не выяснил, и она не рассказывала.

У меня нет точных сведений о времени регистрации моей матери с отчимом, но зато дата рождения моей сестры Анны 21 июля 1907 года позволяет сделать вывод, что свадьба была не позже 1906 года.

Работал отчим в Сновском железнодорожном депо слесарем. Пытался продвинуться в помощники машиниста, но, по его словам, этому желанию помешал какой-то дефект зрения. Между прочим, когда ему уже было под 90 лет, он читал без очков и видел прекрасно.

Как и когда был куплен дом на Черниговской улице в Сновске, я не знаю. Уже когда я подросток и стал разбираться кое в чем, тетка Лиза Лукашевич рассказывала мне, что в покупку этого дома были вложены и мои «сиротские» деньги, а позднее, когда дом продали Онуфриевым, то деньги за него прокутили при активном участии матери отчима Гавриловой. Правда, я не очень прислушивался к наветам тетки на мою мать и отчима и не поддавался науськиваниям на них.

Вообще же, ко времени приобретения дома на Черниговской улице и вторичного замужества моей матери определились два враждебных лагеря: один – матери и отчима, возглавляемый матерью отчима Гавриловой Екатериной Ивановной, и второй – родней моего отца под руководством мо-

ей тетки Елизаветы Карловны Мороз, по мужу Лукашевич.

Что представляла собой бабушка Гаврилова? Это была особа довольно романтического свойства с не совсем ясной биографией. Была она из немецкого рода по фамилии Кайзер. Какие-то родственники ее жили в Минске. После того, как она вышла замуж за лесничего из села Березное Черниговской губернии Гаврилова Андрея, она начала изменять мужу. Когда муж ее поступил на работу машинистом водокачки на станции Уза, то она продолжила свои похождения. Как утверждали досужие всезнающие кумушки, она водила «амуры» с помощником начальника депо по фамилии Коных.

В общем, бедный Андрей Гаврилов дошел до такого состояния, что однажды покончил расчеты с жизнью: застрелился из охотничьего ружья.

Екатерина Ивановна любила выпить и погулять, и рассказам тетки Лукашевич о ее активном участии в «пропитии» проданного дома можно было поверить.

Идейным руководителем второго лагеря была тетка Лукашевич Е.К. Она тоже была не прочь «хватить лишнего», но ее биография была проще. Муж ее, Мартин Степанович, был человек очень спокойный, работал в Сновском железнодорожном депо и прочно сидел под башмаком жены. Тетя Лиза была примерной женой, народила немало дочек и одного сына, но мне она не нравилась за ее постоянное хныканье, сюсюканье надо мной «сироткой» и натравливание на мою

мать по поводу денежных дел. Мать я очень любил и терпеть не мог тех, кто как-то критиковал ее поступки.

Что еще сохранила моя детская память о периоде моей жизни со времени смерти отца (в 1904 году) до переезда в Либаву в 1907 году?

Ну, прежде всего, я ясно представляю себе дом на Черниговской улице. Скрип возов и, напротив нашего, дом моих маленьких друзей Карклиневских. Не трудно нарисовать такую, примерно, картину, которую подсказывает мне моя память: жаркий летний день, на улице сидит мальчик лет пяти-шести и пересыпает песок. Не знаю, как он выглядел, но надо полагать, что мордашка его чистотой не блещет. И посмотреть на него со стороны я не могу, потому что это я сам. Вот проскрипел воз, чуть не задев своими немазанными колесами мальчишку, и ленивый дядька, под стать своим неторопливым волам, не спеша берется за кнут, чтобы припугнуть ораву любителей покататься на этом великолепном транспорте. Потом, наверно, был окрик: «Саша! Вот я тебе дам!», или что-то в этом роде. И вот меня загоняют во двор, а может быть к соседям Карклиневским, где есть и песок, и грязь, и, конечно, друзья.

Сам Карклиневский был маленького роста, упитанный коротыш. Работал он поездным машинистом. Жена его – высокая худощавая женщина, была на голову выше мужа. Потешная была пара. Старший их сын Владик имел один существенный недостаток: ноги у него напоминали кронциркуль.

Еще была старшая девочка Геля, она была очень симпатичной. Из детей поменьше были: Стефа, Броня, Зося. Стефа была мне ровесницей.

Ну, что еще шевелится в моем мозгу из поры этого далекого-далекого времени?

Помню, это было, наверно, в 1905 году, как у окна стоит с охотничьим ружьем на изготовке наш квартирант Макаренко. Мама и я со страхом следим за ним... Чем все закончилось и с кем собирался сразиться Макаренко – не знаю. Это было беспокойное время: были забастовки, а были и просто грабители. Возможно, что этот запомнившийся мне эпизод был актом готовности защититься от каких-то нехороших людей. Наш квартирант Макаренко работал помощником машиниста, он играл на кларнете, холостяк. Был у него недостаток: он страдал недержанием мочи, о чем кумушки шушукались меж собой, злорадствовали, узнав о мокрой постели. Видно, не мало они прожужжали на эту тему, если я, малыш, запомнил.

Отчим мой активно участвовал в забастовке 1905 года, и когда наступили годы реакций, ему посоветовал либерально настроенный помощник начальника депо переменить место жительства, так как он попал в списки «неблагонадежных» у жандармерии. Не знаю, из каких соображений, возможно, что с целью русификации окраин Российской империи, отчиму рекомендовали город Либаву.

И вот наша новая, пока еще немногочисленная семья в

конце 1907 года переехала в Либаву. Самого переезда, как и того, была ли с нами бабушка Гаврилова, я не помню.

## **1907–1915 гг. Город Либава (с 1917 года – город Лиепая, Латвия)**

В конце 1907 года мы приехали в Либаву. Поселились в районе Новой Либавы на Северо-восточной набережной – так называлась наша улица, расположенная вдоль берега канала, соединяющего зимнюю гавань с либавским озером. Зимняя гавань была отгорожена от моря молами. Канал пересекали два раздвижных моста, фермы которых вращались на оси. От одного из мостов, называемого городским, начиналась Большая улица с высокой немецкой кирхой. От Большой улицы разветвлялись Цветная, Зерновая, буржуазная Вильгельминовская, потом большой красивый русский собор, путь к «Кургаузу» (прим. – помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий) и побережье Балтийского моря.

От другого конца моста ответвлялась улица на железнодорожный вокзал, другая, длинная, Суворовская улица, по которой трамвай довозил почти до военного порта. Отсюда же брала начало тоже длинная Александровская улица, ведущая к пороховым складам в конце города.

За городским мостом в сторону зимней гавани на одной стороне канала была таможня, а на противоположной – клад-

бище.

У городского моста рыбаки продавали рыбу стримлю (т. е. салаку), мянтузу и камбалу. У причалов канала всегда стояло много судов разного тоннажа. Частенько бывали огромные, океанские.

Недалеко от моста стояли так называемые Царские ворота – это те, через которые выходил царь, будучи в Либаве.

У городского моста был вокзал узкоколейной железной дороги Либава – Газентоп, протяженностью около полсотни километров. По соседству с вокзалом был остров Цетинье – место гуляний либавцев. На этом острове в день на Ивана Купала 24 июня, «на Яна», как говорили латыши, либавцы почти всю ночь веселились, сжигали четыре бочки со смолой, укрепленные на столбах. Зрелище было грандиозное: фейерверк, много огоньков на лодках, снующих по Либавскому озеру. Говорят, бывали случаи, что на озере зажигали лодку, облитуую горючим. Вообще же день Яна у латышей самый веселый из праздников.

Остров Цетинье стоял на грани глубокой части канала с мелководным Либавским озером. С одной стороны острова всегда стояло много плотов, пригнанных с озера. А зимой в этом месте ловили подсачниками рыбу колюшку. Ею кормили свиней.

На острове располагались платные купальни и лодочные пристани двух хозяев: поляка Ясиновича и немца Баха. Параллельно лодочным пристаням проходила узкоколейка на



Газентоп.

Рядом с линией узкоколейки шли наша улица, на ней стояла путевая будка сторожа Плиски, который чинил обувь и, конечно, выпивал, как и подобало сапожнику, и напротив будки два казенных дома, в одном из которых мы и поселились.

Улица наша была замечательна тем, что вела в конец города к тем местам, куда свозили все нечистоты. Обычно «золотари» возили свою продукцию по ночам, но иногда это случилось и в дневное время, тогда наша улица «благоухала». Плевали и терпеливо ждали, когда обоз скроется. Впрочем, сами «золотари» никаких запахов не признавали и, сидя на бочке, уплетали еду за обе щеки.

Но не всегда улица вызывала ропот живущих на ней, бывал и на нашей улице праздник, особенно для нас – подростков и малышей. Это когда выводили купать слонов из цирка. Слоны шли важно, помахивая хвостиками, а сзади бежала ватага болельщиков разных возрастов. Вот слон погружается в воду, и только кончик хобота виден над водой. Да, зрелище интересное! А главное – бесплатное.

Было еще одно интересное место за городом, где наша улица уже терялась, и дальше шла болотистая равнина. Там от завода Беккера прорыта была канава, облицованная плитами. По этой канаве с завода стекала в озеро вода. Вода была очень теплая и привлекала немало любителей покупаться. Один существенный недостаток мешал купанию – вода была

покрыта пятнами от нефти и мазута. Частенько купальщик вылезал из канавы похожим на зебру, и отмыть пятна было нелегко. Но недостатка в купающихся не было, нужно было только наловчиться и отгребать жирные пятна от себя. Были такие ловкачи, что ухитрялись выходить чистыми из воды.

Дом, в котором мы поселились, был трехквартирный. Одну квартиру с окнами на улицу занимал мастер вагонного депо Ольшанский с женой и сыном Мечиком; во второй квартире помещался машинист подъемного крана в таможене Яковлев с дочерью Ядей (Ядвигой); и на третьей, окнами во двор, жили мы.

В доме, что стоял рядом с нашим, жили четыре семьи. В квартире со стороны улицы путевой рабочий Охотинский с женой и сыном Стасей. В квартире рядом с ними – ремонтный рабочий, латыш Руй с женой, они были бездетны. Дальше, в третьей квартире, окнами во двор, помещалось семейство Ирбы. Эта семья отличалась тем, что не было дня, когда бы у них не было скандала, крика, шума, а то и драки. Особенно свирепыми в этом семействе были женщины, и когда соседки в минуты ссоры хотели особенно задеть и оскорбить друг друга, то они говорили: «Ты ирбянка». Кто жил в четвертой квартире, я забыл. Но помнится, там обитала спокойная семья.

Во дворе стояла помпа, откуда брали питьевую воду. Двор ограничивался сараями, за которыми была железнодорожная ветка, по ней подходили паровозы к водокачке. Водокач-

ка была одновременно и водоподъемным зданием с баком для воды в верхней части. И машинистом этой водокачки был мой отчим. Немного поодаль шла железная дорога на высокой насыпи, соединяющая парк товарной Либавы с таможней.

Недалеко от нашего двора были контора и здание вагонного депо. Между двором и вагонным депо участок земли, на котором садили картофель и прочее. Рядом с вагонным парком были кошары (прим. – загоны для скота), куда сгоняли стада свиней, привозимые из Ромен, а оттуда гнали на убой по нашей улице на завод «Марриот и Зелигман». Около кошар заросшие травой пути, и вдоль путей длинные крытые шатры для хранения зерна, почти всегда пустовавшие.

За насыпью стоял железнодорожный домик. В нем жил сторож Карпович с женой и сыном Колей. Здесь был товарный двор с крытыми платформами, паккгаузами и прочим складским хозяйством. Склады занимали большую территорию, и в конце их были пути станции Либава-товарная.

С территории товарного двора было два официальных выхода. Я, когда вспоминаю порядок, царивший на товарном дворе, и вообще всю организацию охраны, удивляюсь, как можно было оставаться честным и не воровать. Ну просто как при полном коммунизме! Конечно, и сторож Карпович, и многие другие кормили свиней, курей и прочее свое хозяйство. Ведь зерно, овес мешками, которыми всегда были забиты навесы под самые крыши, фактически не охранялись.

И когда мы, мальчишки, озорства ради распарывали пятипудовый мешок с овсом, и он с шумом сыпался вниз, а сторож издали замечал нас, то он только грозил кулаком, что-то кричал и, выполнив эту нехитрую миссию, лез в свою будку. Он не столько оберегал имущество двора, сколько свой покой.

Отчим мой получал жалованья 25 рублей в месяц. Рассказывала мать, что он любил выпить и часто приходил домой пьяным. Уже позже отчим рассказывал мне, что в Либаве к нам часто заходили с обыском полицейские, но я этого не помнил. Может быть, я спал в это время. Но отчим запивал здорово, в этом я убедился, когда немного подрос, и мы с матерью качали воду.

Мать обзавелась хозяйством: держала свиней, кур и козу. Я ходил с матерью в кошары за помоями и мукой, оставленными после выгрузки стада. Пасли козу вместе, пока я был мал, а когда подрос, то и сам.

Мы, малыши, бегали к шатрам играть в прятки. Наверное, немного лет мне было, но запомнился один случай.

Мимо нашей квартиры к вагонному депо часто ходила девчонка с мешком. Она собирала щепки и вагонную обшивку, валявшуюся после ремонта около вагонов. Была она, помнится, щупленькая, небольшого роста, ходила в каких-то лохмотьях, грязная, и когда мы, мальчишки, пробовали дразнить ее, то ее грязное лицо искажалось какой-то гримасой, она, смеясь, отгоняла нас, а мы в страхе разбега-

лись в разные стороны с криком: «Сумасшедшая девка, сумасшедшая девка!». Не берусь судить о действительном состоянии ее умственных способностей, но взрослые нас, детей, не одергивали. Возможно, что она была шизофреничкой. А может быть, бедность и нужда довели ее до такого состояния, она опустила и не смотрела за собой. Во всяком случае эта кличка твердо закрепилась за ней не только среди детей, но и взрослые называли ее так же.

Однажды, в летний день мы, малыши-дошкольники, играли у шатров. Шатры были недалеко от дома и от вагонного депо на путях станции Либава-товарная. Это было одно из любимых мест для наших игр. Шатры, предназначенные для хранения грузов, имели в длину, пожалуй, 1/4 километра; каждый без окон и с покатой крышей, со множеством боковых дверей, с дощатым полом. Почему-то они частенько стояли пустыми и были великолепным местом для игры в прятки. Вот мы подошли к одной из дверей, открыли ее, осветив внутренности шатра, и остолбенели. В углу на мешке лежала «сумасшедшая девка», а на ней, придавив ее всем телом, здоровенный парень пыхтел и сопел, качался наподобие поршня помпы в нашем дворе. Мы стояли, раскрыв рты, и глазели на это необычное происшествие. И поскольку девка радостно хихикала, решили, что ей ничего страшного не угрожает, иначе бы она кричала, а не смеялась. Так стояли мы и удивленно наблюдали до тех пор, пока парень, крайне недовольный нашим присутствием, не оторвался от свое-

го занятия, встал на колени, потом на ноги и, придерживая штаны, запустил в нас какой-то колодкой. Он показался мне громадным и был, по-видимому, из зимагоров или из грузчиков. Девушка в это время, лежа на спине на своем мешке, хохотала. Мы в страхе устремились к двери и уже, конечно, не дожидались конца этой истории.

Девушку я видел на следующий день. Она была такая же, как и всегда, и мои опасения насчет несчастья с ней рассеялись, как дым. Ведь я подумывал, грешным делом, не задавил ли ее этот верзила.

Этот случай познакомил меня с одной из тайных сторон жизни. Более же детальные объяснения этим делам дали позже товарищи-ученики, когда я стал учиться в школе. Они объяснили, что не аист приносит детей, а виновны в этом папа с мамой; обучили недозволенным ругательным словам и объяснили происхождение этих слов.

Я подрастал, и примерно в 1908 году меня определили в железнодорожное училище. В те времена самым доступным учебным заведением для детей низших служащих-железнодорожников были железнодорожные училища. Гимназия была почти недоступна, в реальное училище и прогимназию была возможность, при большом желании, поступить, но мои родители решили отдать меня в железнодорожную школу.

Довольно странно была построена программа обучения в этой школе. Называлась она двухклассной, а учиться в

ней нужно было семь лет, т. е. на год меньше, чем в гимназии. Первый год учебы начинался в младшем подготовительном отделении, затем год в старшем подготовительном, а потом пять лет в пяти отделениях. И если гимназия за восемь лет учебы давала среднее образование, то железнодорожная школа выпускала после семи лет с правом за два класса. Да и знания давала не ахти какие. Недаром мы, окончившие это училище, не без горечи говорили, что окончили железнодорожную «академию». Школа была недалеко от железнодорожного вокзала. От нашего дома до нее было порядочное расстояние. Не помню, водили меня в школу, или я ходил самостоятельно. Скорее всего, что сам, ибо хорошо помню путь: территория товарного двора, потом подлазил под навесами с зерном, которые стояли на сваях, пролезал под вагонами и через калитку мимо сторожа выходил на улицу, а там вокзал и школа. Школа – это одноэтажное здание, старое и какое-то неприветливое.

В период моей учебы в подготовительном отделении, а именно 23 августа 1909 года, наше семейство обогатилось еще одним членом – родился брат Иван. Незаметно семья выросла до пяти душ. Материальное положение стало тяжелее, ведь 25 рублей в месяц было незыблемо.

В 1910–1911 годах я уже учился в первом отделении. Учился так себе, в частности не давалась арифметика. Мать сама слаба была в грамоте и помочь мне особенно не могла. Во второе отделение я перешел с такими отметками: по за-

кону Божьему – 4, русскому языку устному – 4, письменному – 5, по арифметике вытянул на среднюю четверку, по чистописанию – 3, по пению – 3 (оказался почти безголосым).

К этому времени у меня появились школьные товарищи, такие как Поплавский Константин, Климович Александр, Густав Маткевич и Иван Дрига. Были и другие, но с этими я особенно сдружился, и нас несколько лет связывала школа и личная дружба.

Отец Кости Поплавского работал где-то в районе Либавы-товарной. Сам Костя был рослый парень. Была у него слабость – он любил сочинять пьесы, но по русскому языку не вылезал из двоек. Да и говорил он по-русски неважно. Был он в душе непризнанный поэт, но стихи его ни шли ни в какие ворота. Когда в конце 1960-х годов я услышал по радио песни в обработке Константина Поплавского, то запросил радиостанцию в Минске, не тот ли мой друг Костя подвязался в композиторы? Ответили, что не он. А жаль! От его природы можно было ждать многого.

Отец Сашки Климовича был ламповщиком. О нем, о Саше, я расскажу подробнее. В комнате, примерно в 16 квадратных метров, помещалась семья в восемь душ. Жили в грязи и бедности. Сам Климович-старший, мужчина с черной бородой, и его толстая жена мало внимания обращали на свое многочисленное потомство, и дети были предоставлены сами себе. Сашка не был особенно щепетилен в вопросах морали и старался все, что можно, стянуть, даже и то, что



не так уж и плохо лежит. Под его «мудрым» руководством мы, школьники, шли в книжный магазин. В магазине торговала молоденькая латышка. Климович спрашивал книгу по толще, название которой его зоркий глаз замечал на самой верхней полке. Наивная бедняжка продавщица по лесенке взбиралась за этой книгой, а Сашка в это время присоединял к своим учебникам ближайшие книги, лежавшие на прилавке, и когда она подавала просимую им книгу, он с апломбом заявлял, что это не то, что ему надо. Потом покупал два пера № 86 за копейку и благополучно отбивал с украденными книгами.

Сначала мы только завидовали этой его оперативности и не решались следовать его примеру, но шло время, и мы, осмелев, начали действовать, подтаскивая по книге в одно посещение. И даже я, не отличавшийся особой храбростью, помню, стащил книгу Марка Твена «Принц и нищий». На этой книге моя воровская карьера закончилась. Правда, на толкучке у букиниста я спер какую-то копеечную книжонку, но не спереть у этого до смешного доверчивого старикашки было просто невозможно. Уж очень он по-глупому вел свою торговлю.

У Сашки Климовича на чердаке было нечто вроде базы книготорга. Книги разных изданий, дорогих и дешевых, валялись в беспорядке, и он их потихоньку сбывал.

И еще один неприятный эпизод в моей жизни, тесно связанный с дружбой с Климовичем. По соседству с нами, через

стенку, помещалась семья вагонного мастера Ольшанского. У них был сынок Мечик. Не смотря на разницу социального положения – Ольшанские причисляли себя к категории господ – Мечик у них разрешали дружить со мной, т. к. не замечали за мной особых грехов и поступков, дурно влияющих на их сына. К сожалению, безупречная в их глазах моя репутация нарушилась, и вот от чего.

Был у меня перочинный ножик – предмет моей гордости и лютой зависти со стороны Мечика. Однажды у Мечика появилась пятирублевая золотая монета, и он предложил мне ее за ножик. Хотя я уже был учеником, но настоящей цены этой монетки я не знал. Мой школьный товарищ Сашка Климович сразу определил, чем пахнет этот обмен, и без обиняков посоветовал менять ножик, обещая мне в числе прочих благ набор печатных резиновых букв, о чем я давно мечтал. Ножик обменяли. Сашка реализовал пять рублей, дал мне несколько конфет и печатку, которая у него была и уже порядком изнасилась. За эти деньги, конечно, можно было купить несколько новых печаток и много чего другого, по тем временам это были немалые деньги. Не помню, полностью ли потратил деньги Сашка, но когда дело дошло до мам, то я понял, насколько мой друг Сашка далек от совершенства.

Не знаю, на чем сошлись родители, но вскоре мои страшные дни остались позади. Конечно, если мои родители отдали Ольшанским 5 рублей из 25 рублей месячного заработка, то это было большой потерей для них. Помню, мать меня

ударил кочергой. Правда, не так уж сильно мне попало, но я притворился, что мне очень больно и настолько артистически это проделал, что моя бедная мама испугалась и сама пустила слезу, и я уже насилу ее успокоил.

Вот таков был Сашка Климович. Не помню, по какой причине, но, возможно, после этого случая моя дружба с Сашкой пошла на убыль, и я вовремя освободился из-под влияния этого опасного человека.

Позже, уже после революции, я, кажется, в Сновске на вокзале встретил Климовича. Себя он рекомендовал чуть ли не чекистом, вел себя высокомерно, и дружба наша не возобновилась.

Третий школьный товарищ Густав Маткевич был тихий мальчик. Отца у него не было, он жил с матерью в собственном домике где-то на Новой Либаве недалеко от кладбища на Суворовской улице. Я к ним часто бегал. Меня привлекала у него одна потешная игрушка: на стене висел картонный скрипач, и при дергании за ниточку, водил смычком по скрипке и корчил рожу. Я до слез смеялся, и что скрывать, иногда только из-за этого клоуна забегал к ним, чтобы подергать за ниточку и вдоволь насмеяться.

Об Иване Дриге я немного помню, в основном мы общались с ним во время занятий в школе.

Из нешкольных друзей был Коля Карпович, сын сторожа, живший недалеко от нас за насыпью. Отец его жил крепенько и Колю определил в прогимназию. Коля щеголял в фор-

ме, несколько похожей на гимназическую, и немало задавался. Впрочем, и у нас в школе вскоре появились фуражки с синим околышем и значком, который был похлеще, чем даже значок у гимназистов, а именно – топор и якорь, расположенные крест на крест. Носил я сатиновую рубашку и штаны из «чертовой кожи» – был такой материал. Раз в год мне покупали ботинки за три рубля с резинками по бокам. Был у меня ремень с широкой блестящей бляхой.

В 1911 году родился еще один брат Михаил. Семья уже была из шести душ.

На участке земли около дома мы садили картофель и овощи. Раз, копая огород, я нашел несколько медных монет времен Петра I.

У матери была черная коза, которую я пас после школы на путях возле шатров. У козы были и козлята. Однажды мне в голову пришла блестящая мысль: почему я должен гнать все стадо домой после пастьбы, а не ехать, например, на старой козе? Задумано – сделано. И вот, я держусь за рога и, поджав ноги, погоняю бедную козу. К самому дому я, не подвезжая, чувствовал, что затею эту мать не одобрит. Но мать вскоре заметила по убыли молока и подстерегла меня. Езду пришлось прекратить. Вообще же я много помогал матери: нянчил сестру Аню, братьев Ивана и Мишу, ходил за рыской для уток – она плавала в болоте за шатрами, в ноги мне впивались пиявки.

Я уже был достаточно грамотен, и меня приглашали Охо-

тинские писать письма к их родственникам в Видзы. Диктовали они попеременно, а то и одновременно, и трудно было уловить здравый смысл в этом диктанте, но я с грехом пополам справлялся и получал за письмо две или три копейки.

Уже тогда во мне зародился микроб книголюбия, и всякие попадающие мне деньги я расходовал на приобретение книг. И конечно же деньги, даваемые на завтраки, шли туда же.

Охотинский по воскресеньям, правда редко, водил нас – своих детей и меня, в лес по грибы. Мы порядочно шли по линии узкоколейки в сторону Газентопа, потом сворачивали вправо и по дороге шли к темнеющему лесу на берегу Либавского озера. Назывался этот лес Фридрихсгафен. Сюда по выходным на лодках через озеро приезжали веселиться либавцы. Мы углублялись в лес, но грибов почти не находили – не грибной был лес. Так, изредка, сыроежки. Зато сколько радости было, когда наталкивались на ягоды, которые Охотинский называл «пьяницей». Они росли кустами, были похожи на чернику, только несколько выше черничников. Но самая прелесть была в том, что, поевши этих ягод, мы как будто пьянели и домой шли навеселе. И если, идучи в лес, мы только поглядывали на горох, посеянный латышами, то уже на обратном пути смело налетали на него. Охотинский осаживал наше бесстрашие, ведь могло попасть и ему! К счастью, нас ни разу не накрыл хозяин гороха.

Наверно, в этом возрасте, может чуть постарше, я бегал к цирку. Помню, как часами вертелся у цирка без всякой

надежды попасть внутрь. А ведь были счастливцы, которые за какие-то услуги попадали на представления! Я же только смотрел на афиши приезжего цирка Черзинелли, где был нарисован великолепный борец Лурих. Хотелось хоть бы глянуть на этого Луриха, но он не выходил.

А сколько было радости, когда я впервые попал в кино на «Иллюзион». Фильм «Аполло» был приключенческий, картина немая, но под аккомпанемент пианино. За полотном имитировали звуки, например, цоканье лошади, выстрелы, гром.

По субботам ходили в баню. После бани отчим заходил в пивнушку латыша Скабе. Он брал себе «мерзавчик» и пиво, а мне просто пиво. Иногда брали национальное латышское блюдо путру.

В нашем доме жила дочка машиниста Яковлева Ядя (Ядвига). Она училась в гимназии. Мне она казалась красавицей. Втайне я был немного влюблен в нее. И вот, нужно же было такому случиться! Однажды я побежал за сараи по естественной надобности, присел, и вдруг меня застаёт в такой позе Ядя! Я чуть не сгорел со стыда и долго потом избегал встречи с нею.

В конце нашего огорода стояла контора вагонного депо. В конторе работал счетоводом Чепанис. Он приходился моим родителям кумом. Иногда он гостил у нас, и мы ходили к нему. Чепанис – невысокий коренастый мужчина с черной бородой, был не дурак выпить.

Каждый год 5-го августа (на Спас) в конторе, где работал Чепанис, собирались вагонники, приходил поп и совершал освящение яблок. Носили яблоки и мы. Вообще же моя мать придерживалась соблюдения церковных обрядов и все главнейшие из них блюла, и меня таскала в церковь, а потом и подросших детей. Мы постились и говели, и к заутрене ходили. Мне особенно нравилось ходить на всеночную. Чуть ли не в полночь шли мы за железнодорожный мост в церковь, стояли долго, слушая пение, и под утро усталые разговлялись, и, выпив и закусив, крепко засыпали.

А как интересно было в Страстной четверг донести домой огонь из церкви или святую воду в день Крещения. А чего стоил обычай биться крашеными яйцами и выигрывать их. Все же, эти обряды как-то разнообразили нашу жизнь.

А рождественские подарки деда Мороза! Ложишься спать, утомленный возней около елки, которую мамка почти закончила украшать, и сразу засыпаешь. Проснешься среди ночи и с трепетом подсовываешь руку под подушку... Нет, ничего нет. Значит, еще не приходил дед Мороз! Но вот под утро, еще не подсунув руку, ощущаешь щекой что-то неровное под подушкой. Быстро откидываешь подушку, и перед тобой бумажный мешочек с конфетами, апельсином, фисташками, семечками – всего понемножку. А иногда, в очень счастливое Рождество, еще и какая-нибудь игрушка из тех, что продают в магазине «20 копеек – любая вещь!». Это или маленькая губная гармошка, или подозрительная труба. Да

мало ли чего любопытного бывает в магазине за 20 копеек!

Передо мной сведения о моих успехах во втором отделении за 1911–1912 года. И успехи эти не должны были радовать ни меня, ни родителей. Если в первом отделении двоек не было, то в этом по двойке просочилось в арифметику и в русский, а также и по рисованию в первой четверти отхватил «два». И по вновь появившемуся предмету – географии, отметки не украшали дневника: все тройки, кроме одной случайной четверки. Так, почти на одних сплошных тройках я переехал в третье отделение.

В третьем отделении за 1912–1913 годы заметного улучшения не произошло: сплошные тройки, три двойки. И лишь экзамены дали хорошие оценки – одну четверку и одну пятерку. В этом отделении появились новые предметы: природоведение и история, но и они мне давались на тройки. И вот я перекочевал в четвертое отделение.

Отчим однажды замещал машиниста крана в таможне, и я ему носил обеды. Вахтер пропускал меня беспрепятственно, и пока отчим обедал, я лазил по кораблю, по всем его закоулкам, спускался в котельную. Это были счастливые дни!

Раз я подошел к огромному пассажирскому пароходу «Россия», стоявшему в таможне, но попасть на палубу мне не удалось.

Отчим приносил домой разные сладкие вещи: ананасы, финики, кокосы. Покупать такое мы, конечно, были не в состоянии. Замещал он неделю, и я очень жалел, что это время



кончилось.

Был где-то за городом склад Корфа, где целыми штабелями лежали мешки с кокосовой кожурой. Охраны почти не было, и мы, мальчишки, запасались этой кожурой, которую потом с удовольствием жевали. Впрочем, не брезговали мы и жмыхом из отходов подсолнечника и конопли, которые были спрессованы в большие ковриги и предназначались для корма скота.

Лазил я и на водокачку. Над баком с водой, загаженным голубями, возвышалась беседка – она была застекленная, но так как стекла в большинстве были разбиты, то голуби основательно завладели всем помещением. Водокачка была очень высокая, и с ее верхушки открывался великолепный вид на Либавское озеро и заозерный лес, а также на территорию города по другую сторону железнодорожного моста. Так, с водокачки, я наблюдал пожар на лесопильном складе и в другой раз грандиозный пожар, когда выгорело несколько кварталов – это было где-то в пределах Гороховой улицы и церкви.

Здесь же, на водокачке, по инициативе пресловутого Сашки Климовича я ловил голубей, а потом продавал их евреям. Сашка же обучил приему, после которого голубь умирал: брал его за голову и встряхивал. Живых евреи не покупали. Когда мать дозналась об этом торговом предприятии, то категорически запретила мне заниматься этим. Она считала это греховным делом, т. к. голубь – святая птица. Впрочем,

позже, когда наша семейка еще увеличилась, она отошла от этого канона, и кое-когда в нашем меню появлялась голубятина.

Большим моим увлечением было чтение книг. Я приобретал книги по пять копеек за выпуск, вроде «Пещера Лейхтвейса» или «Шерлок Холмс». Они издавались выпусками с продолжением. Иногда даже отчим заинтересовывался, когда я читал вслух: «А что дальше?». И если «дальше» очень интересовало, то мне давали пятак, и я мчался за выпуском.

Выписывали «газету-копейку». В ней всегда печатался роман с продолжением, и продолжения ждали все, не исключая отчима, который книгами почти не интересовался. Помню, с каким интересом мы следили за «Делом Беймса», отчет о суде над которым печатался в 1913 году в газетах и журналах, или о трагедии Титаника в 1912 году.

Газетчики-мальчишки оглашали криками улицы города. Запомнились их выкрики по-латышски: «Лиепайс атлабас» и «Яупакас зиняс». Выучиться говорить по-латышски я не удосужился. Да и не было товарищей-латышей. Те немногие слова, какие знал, забылись.

Мать не зря рассказывала, что отчим здорово запивал. Иногда и дома не ночевал. А воду надо было качать. Паровозы, хоть и не часто, но подходили к водокачке за водой. И когда мать в смятении смотрела на прибор, показывающий в футах уровень воды в баке, и уровень этот подходил к нулю, а машинист где-то пьянствовал, то она звала меня. Мы быст-

ренько растопляли котел, поднимали пар в котле, и, когда манометр показывал нужное давление, раскручивали маховик. Машина была разболтана и неисправна, и работала под стать своему машинисту. Маховик вместо равномерной ритмичной работы то крутился сверх нормы, то совсем останавливался. С трудом мы запускали маховик и, кое-как накачав нужный уровень воды, мы спасали положение. А потом появлялся и сам машинист.

Периодически отчим ремонтировал машину, но, как видно, не очень он был искушен в знании механики, и машина продолжала стучать, а маховик бестолково вертелся. Делали промывку котла от накипи, чистку частей машины. Во всех этих делах я был первым помощником отчима, особенно при промывке котла: мои руки пролазили в особо узких местах.

Выгружали дрова для водокачки. Пилили, рубили. Однажды полено упало мне на ногу. Палец на правой ноге до сих пор поминает об этой травме: ноготь растет раздвоенным.

Почему-то особенно мне запомнилось, как отчим пришел раз пьяный, кричал на маму и ударил рукой по лестнице на чердак так, что она чуть не сдвинулась. Мать прижала меня к себе, я очень испугался. Вообще же, я не помню, чтобы отчим меня когда-нибудь ударил, но и не гладил. Вот почему мне на всю жизнь запомнился, казалось бы, незначительный случай, когда отчим погладил меня по голове. Не знаю, чем я заслужил эту ласку, но было очень приятно.

Мне уже было 12 лет. Я свободно разгуливал по городу,

ходил на взморье. Вдоль берега моря располагался городской парк, назывался он Кургауз. Трамвай шел по парку, задевая ветки. С одной стороны к молу, который отгораживал зимнюю гавань от моря, была возвышенность с какими-то странными сооружениями.

По молу шла железнодорожная колея до маяка, стоявшего в конце мола. Напротив стоял другой маяк. Меж маяками были ворота – выход в море. Рассказывали, что вагон, стоявший на моле, в бурю был снесен в зимнюю гавань.

Вдоль берега тянулась полоса из морской черной травы. В траве мы искали янтарь и часто находили довольно крупные камешки.

Дальше, там, где заканчивался парк, был пляж. Песок на пляже был крупнозернистый, без пыли. Приезжавшие в Либаву всегда увозили с собой песок как сувенир. Берег был отлогий. Купальщики с полкилометра отходили от берега, даже не умеющие плавать – до того было мелко.

Еще дальше начинались рыбацьи поселки. На берегу сушились сети, лежали вверх дном лодки. Начинались дюны, и, чем дальше, тем выше. Берег вел к Полангену – пограничному городку в 60–80 километрах от Либавы.

Ездил я с отчимом на лодке одного знакомого, кажется, Бондаровича, на Либавское озеро ловить рыбу. Озеро было неглубокое – мне по пояс, отчиму и того меньше. Ловили угрей, плотву. Попадали и щуки. Угри кусаются! Когда куски угрей, положенные на сковородку, начинаю поджаривать, то

они выскакивают из сковородки. Очень живучая рыба. Но ловить рыбу отчим не очень любил, и, как говорила мать, ему за пьянством некогда.

Запомнился еще один рыбак – осмотрщик вагонов Гринюк. Был он рыжий, а его жена черная. Мы раз были у них в гостях, и мне запомнилась богатая обстановка в их квартире. Нельзя сказать, чтобы мы жили очень бедно – концы с концами сводили, но кое-чего не хватало, несмотря на домашнее хозяйство.

Мать нанималась на предприятие «Мариот и Зелигман» – был такой жиркомбинат недалеко от нас на северо-восточной набережной. На нем убивали свиней, привозимых с Украины, изготавливали продукты на экспорт и отправляли за границу. Матери, как работнице, отпускали за плату кое-что из продуктов. Особенно мне нравился тающий во рту «Коквар». И колбасы тоже были хорошие, даже сама дешевая «Зимагорская» была вкусная.

Не знаю, какие мотивы руководили мною, может быть, пример матери, которая, несмотря на многосемейность, пошла работать, или стремление как-то материально оправдать свое существование, а может быть, желание заработать на книги, но я пошел наниматься на лесопильный завод. Работа заключалась в том, что мальчишки примерно моего возраста – лет 12-ти, складывали в штабеля клепки для бочек. За сложенный штабель платили какие-то копейки. На мою беду, из среды сверстников, пришедших наниматься, я был

не самый сильный, и меня не приняли. А предложение нашей рабсилы явно превышало спрос. Мать, когда я пришел с этого неудавшегося найма, успокоила меня тем, что когда я подрасту, то меня обязательно примут. Конечно, она меня не заставляла идти на работу, и я пошел по своей инициативе, но мое стремление к труду мать учла, и все каникулярное время я пас козу с козлятами.

Помню, однажды, мы, мальчишки или по-местному «пуйки», пасли свой стада на путях. Лазили по вагонам, открывали и закрывали двери, пробовали катить вагон, что нам удалось. Как известно, вагонная дверь в товарном вагоне передвигается на колесиках. И вот, мы общими силами нажали на дверь, чтобы закрыть вагон. Мой мизинец на левой руке попал под колесико, и я с криком, прижимая болтающийся кусок окровавленного пальца, помчался домой. Мать испугалась. Общими силами мне оказали медицинскую помощь. Этот всячий кусок пальца потом прирос, но шрам остался на всю жизнь.

А то был случай тоже довольно болезненный – это когда у нас в доме делали новое крыльцо. Плотники бросили колодку с торчащим в ней гвоздем. Я выходил из дома и соскочил с порога прямо на землю, причем правой ногой наскочил на гвоздь с колодкой. Гвоздь чуть ли не прошел всю пятку, и я шага три пробежал с колодкой на ноге. Эта травма приковала меня к постели, но все кончилось благополучно, и следа на ноге не осталось.

И уже поскольку я начал писать о травмах, я не могу не вспомнить об одном случае, едва не стоившем мне жизни. Около вагонного депо стоял кран для подъема тяжестей. Кран был ручкой с ручным тормозом. Он служил, в основном, для поднятия вагонных скатов. И вот, в после рабочее время, когда сторож спокойно где-то почивал, мы, мальчишки, начали тренироваться в работе с краном. Зацепили скат и, медленно поворачивая ручку, поднимали его. Я прижимал ручку тормоза, и как получилось, точно не помню: то ли я ослабил торможение, то ли крутивший ручку подъема отпустил ее, но ручка, вдруг, бешено завертелась и, задев меня по голове, отбросила от крана. Лоб мой вздулся, покраснел, потом посинел, образовалась огромная шишка. От удара, от сильной боли, да еще от мысли о предстоящем объяснении дома, я чуть не потерял сознания. Прикладывали снег с грязью, и когда немного отошел и обрел способность двигаться, пришел домой. Мать испугалась: «Что с тобой? Где это ты?». «Упал с платформы под навесом», – вру я. «С какой платформы?» – допытывается мать. «Да с этой, где овес», – продолжаю я врать. Вижу, не верит мне мать. Оказала мне первую помощь. Я больше месяца ходил с большущей шишкой на лбу, которая после синей стала желтой. Смотреть на себя в зеркало я старался пореже – уж больно комичной была моя рожа с этой шишкой.

По школьной традиции учителям и ученикам давались клички, и если раньше меня обзывали «мороз – красный

нос», то после этого случая за мной укоренилась кличка «лобзик», и, конечно, это не от сходства со столярным инструментом, а от этой злосчастной шишки на лбу. Уже давно сгладился даже шрам от этой шишки, а кличка так и осталась за мной до конца учебы в школе.

Да, хорошо то, что хорошо кончается! И если бы лоб мой был на несколько сантиметров ближе к рукояти, то этих записей не пришлось бы мне делать.

Любил я стоять на набережной, наблюдать за работой грузчиков. Скрипели лебедки, шла погрузка, выгрузка судов. Иногда нас пускали на верхнюю палубу. Мы мечтали, что нас примут юнгами, и мы поплывем в Лондон или, по крайности, поближе – куда-нибудь в Стокгольм или Гамбург, а уж в Гельсингфорс – это было рукой подать (Гельсингфорс – шведское название столицы Финляндии, города Хельсинки). Но никто из нас, мечтателей, никуда дальше катера, курсирующего по Зимней гавани, не попадал. Да, еще на лодках плавали по Либавскому озеру.

Но идея стать юнгами и повидать свет не покидала нас. Моды на экскурсии тогда не было, а стремления у учеников было, хоть отбавляй! И приходилось эти экскурсии устраивать на свой страх и риск. Правда, раз в год, в мае, нас, учеников, возили на «маевку» в 20 километрах от Либавы в лес. К пассажирскому поезду прицепляли классный вагон, который заполняли до отказа и везли в Гавезен, от станции шли в лес. Проходили мимо средневекового рыцарского замка, у



ворот которого стояли изваяния рыцарей в доспехах. Играли до вечера. Нам давали бесплатно по булочке и стакану молока. Но еду мы брали с собой из дома. Но это было раз в год, явно маловато.

Приходилось изощряться, находить самим объекты экскурсий и способы их осуществления. Иначе говоря, обманывать своих доверчивых родителей. Вот как я, например, обманывал свою мамочку.

Сговорившись накануне с товарищами, я утром, собираясь в школу, брал самую тощую книжицу и, сунув ее под ремень, мчался к месту сбора. Чаще всего собирались около павильона. Шли по шоссе мимо пороховых складов, потом немного по узкоколейке и, когда уже начинали вырисовываться дома небольшого городка Гробина, мы сворачивали с узкоколейки и кратчайшим путем подходили к городу.

Гробин – это уездный город в 11 километрах от Либавы. В административном отношении Либава с ее почти 100-тысячным населением подчинялась Гробину, хотя и по территории, и по числу жителей Гробин был лишь небольшой частью Либавы. К тому же, Либава был портовый город, и функции уездного города ему были ни к чему.

Сам городок Гробин был настолько мал, что его можно было исходить вдоль и поперек. Да нас интересовал не сам Гробин, а замок ливонских рыцарей XIII века, стоявший вблизи города. На стенах развалин росли деревья. В стенах были замурованные ниши – в них, по преданию, замурова-

ны живыми жертвы феодалов. Наше юное воображение рисовало нам картины жестокого прошлого. Оттуда шли хоть и уставшие, но довольные своим нелегальным путешествием.

Не всегда мы укладывались в часы занятий в школе и приходили домой позже обычного. Мать замечала утомленный вид, спрашивала, почему поздно пришел. «Были у Кашина, ходили к нему домой, и он нас, отстающих, готовил у себя дома», – врал я матери. Кашин – это учитель русского языка, который не только не собирал у себя дома отстающих, но даже и не помышлял об этом. Но наивная моя мама верила этому моему вранью и не пыталась добиться истины – родительских собраний тогда не устраивали. Правда, такие вылазки, которые мы называли «идем вандаровать», вместо того чтобы идти в школу, были не так часты, но воспоминание о них осталось самое благоприятное.

Одно время ходил я в Воскресную школу. Это была какая-то организация христианского толка. Там давали какие-то дешевые книжечки, но они мне не понравились, и я прекратил хождение туда.

Запомнились мне торжества по поводу 300-летия дома Романовых в 1913 году. На площади за железнодорожным мостом было много народа, войсковой парад, оркестры. Я получил книжечку «Краткая история дома Романовых» с иллюстрациями.

Школа не баловала своих питомцев культурными мероприятиями. Кроме ежегодных «моевок» с выездом в лес за

20 километров на станции Гавезен, запомнилась мне экскурсия на проволочный завод в Либаве. Мы с большим интересом смотрели, как змеей извивались длинные раскаленные полосы железа, как их клещами подхватывали рабочие, засовывали в отверстия меньшего диаметра, и, в конце концов, получалась проволока. Были и в других цехах. Экскурсия эта запомнилась мне на всю жизнь. Уже позже, когда я стал интересоваться живописью, мне показалась репродукция картины художника Павла Александровича Брюллова (однофамильца знаменитого Карла Брюллова) «На Либавском проволочном заводе». Она мне напомнила лишний раз об одной из редких экскурсий, организованных школой.

Были еще посещения кино, но в этом роль школы сводилась к выдаче разрешений на просмотр какой-нибудь «Соньки – золотой ручки» и тому подобных картин. С удовольствием мы смотрели картины с участием комиков Макса Линдера и «Глупышкина» (прим. – Андре Дид, французский комик, в России ему дали прозвище «Глупышкин»).

Еженедельно мы были обязаны посещать церковь, расположенную на втором этаже Либавского вокзала. Собирались у школы и парами шли в церковь, чтобы покорно выстоять тягучую обедню. Но это было занятие скучное, и задача была лишь в том, как суметь отпроситься «выйти по надобности». Учитель обычно назначал срок возвращения, но «молящиеся» не спешили, и почти половина их слонялась на площади и на вокзале, стараясь не попасть на глаза другому учителю,

рыскавшему около вокзала.

Запомнился случай, когда гроб с телом священника Александра Македонского (он был тезкой великого полководца) стоял посреди церкви, и ученики не просились выйти, а вели себя пристойно. Священник этот преподавал у нас Закон Божий. Умер он молодым, кажется, от рака. Ученики его уважали.

Одну увлекательную поездку я запомнил на всю жизнь. Не помню точно, в каком году по России прокатилась мода на «потешных» (прим. – в январе 1908 года император Николай II ввел в народных школах обучение военному строю и гимнастике в целях физического развития молодежи. Вскоре движение «потешных» охватило всю страну). Все школы Либаво-Роменской железной дороги от Либавы до Ромен стали готовиться к сбору «потешных» в Минске. Нас усиленно обучали сокольской гимнастике (прим. – гимнастика с предметами, упражнениями на снарядах, массовые упражнения и построение пирамид), маршировке. Подбирали по здоровью, по успеваемости, по поведению, и, хотя я всем этим требованиям удовлетворял лишь приблизительно, меня наметили для поездки в Минск.

И вот, в один прекрасный день мы, «потешные» Либавской школы, выстроились на площади у вокзала. Около каждого – чемодан с бельем и прочим, в руках – деревянное ружье с металлическим штыком, все в форменных фуражках. Около нас суетятся родители. Мамы дают наставления, папы

дополняют. Для большинства из нас предстоящая поездка – первая самостоятельная дорога на расстояние в полтысячи километров. Сопровождающие нас учителя не в счет, как-никак это не мамы и папы. Около меня мои родные. Мать, да и не она одна, смахивает невольную слезу: как же чадо едет одно. Рядом со мной мой друг Густав Маткевич, его провожает мама.

В пассажирском поезде нам выделяют классный вагон третьего класса, и мы размещаемся. Выходят родители из вагона, мы повисаем на окнах, три звонка и прощай, Либава! Миновали знакомую по маевкам станцию Гавезен и дальше ехали уже по незнакомой дороге. Оказалось, что лес за Гавезеном заканчивался, а я, например, считал его чуть ли не бесконечным. И уже станция Прекульн (прим. – Приекуле – латышская железнодорожная станция) в 40 километрах от Либавы располагалась в безлесой местности. Прибыли на станцию Муравьево, отсюда идет железнодорожная линия на Митаву (прим. – старинное название города Елгава в Латвии). Потом Шавли, Радзивилишки, Кейданы (прим. – город Кедайняй в Литве), Кошедары (прим. – до 1917 года Кошедары, потом город Кайеиядорис в Литве) и Вильно (прим. – город Вильнюс, столица Литвы). Между Вильно и Минском станция Сморгонь со своими знаменитыми сморгонскими баранками.

И вот, наконец, Минск. Нас отвели на Минск-товарный и разместили в товарных вагонах с трафаретной надписью «40

человек и 8 лошадей». Из досок настлали нары в два этажа, принесли соломы. Простыни мы достали из своих чемоданов. Разместились человек по 5–6 на этаже, то есть немного вольготней, чем предписывалось вагонным трафаретом, и, конечно, без лошадей. Вагонов было с полсотни, и в них разместились все приехавшие школьники – «потешные» со всей Либаво-Роменской железной дороги. Помню, посмеивались мы с Роменских и Бахмачских хохлов. Они как-то выделялись среди всех: говорили с украинским акцентом, почти все были неуклюжие, упитанные, расхаживали неторопливо.

Состав наш стоял в тупике вблизи настоящих солдатских казарм. Солдат не было, и все хозяйство казарм было отдано в распоряжение нас, «потешных». Стояли в карауле у знамен – каждая школа имела свое знамя. У входа в расположение казарм стояли часовые. Провинившихся посылали на кухню чистить картошку. Повара были настоящие взрослые военные. Порции нам давали как всамделишным солдатам: борщ, каша, хлеб по потребности. Конечно, осилить такой рацион своими ребячьими аппетитами мы не могли и дали волю баловству. Получали тарелку борща и в нем большой кусок мяса, который мы не съедали, и во время обеда эти куски летали над головами. Дружно хохотали, когда кусок попадал кому-нибудь в затылок или лицо. Несчастная жертва ругалась, размазывая по лицу текущий жир, и это еще больше веселило молодых солдатиков. Обед походил больше на веселую кинокомедию и ничуть не был похож на мирную тра-

пезу, о которой учил нас священник на уроке Закона Божьего. Правда, под конец лагерной жизни руководители навели кое-какой порядок, но в основном обедали не только весело, но и с напряжением – нужно было зорко следить и вовремя уклониться от летящей мокрой порции мяса.

Спал я рядом с Густавом Маткевичем. В одну из ночей у Густава расстроился желудок, но бедняга спал настолько крепко, что проснулся уже тогда, когда запах, исходивший от его кальсон, разбудил не только его, но и нас, спящих рядом с ним. Долго Густав ходил сам не свой – было стыдно. Да и мы еле сдерживались от смеха, глядя на него, а он дулся. Да, всякое бывает в жизни! Но время все стирает, и постепенно наши издевательства и насмешки над Густавом прекратились, и хлопец обрел покой.

Ежедневно мы занимались сокольской гимнастикой, военным делом, завтракали, обедали и ужинали. Перед вагоном на земле выкладывали из камушек и кирпичей вензеля, приветственные лозунги и всячески украшали всю территорию, отведенную нам. Готовились к приезду из Петербурга представителей от Царя, которые в один прекрасный день должны были принять парад всего нашего «потешного войска». И вот, этот день настал. Узнали, что делать будут подполковник (или полковник) Назимов и штаб-капитан Пуржанский. Нас построили пошкольно, и мы начали демонстрировать свое искусство в гимнастике и военном деле. Начальство проходило мимо нас, мимо наших украшений у

вагонов, замечали лучших исполнителей. После окончания смотра вручили подарки наиболее отличившимся. Подарки были ценные, как, например, карманные часы, что по тем временам не всем учащимся было доступно. Не помню, чем прославилась наша школа, и кто получил подарки. По-видимому, ничем мы не прославились.

Но один прискорбный случай запомнился. Ученик по фамилии не то Жилинский, не то Жуковский в общей уборной уронил часы, подаренные ему. Мы толпились, заглядывали в очко, давали разные советы. Удрученный парень – он был рослый, выделявшийся среди нас своей солидностью, стоял, не зная, что предпринять. Штука обидная! Кажется, часы все же достали.

После смотра мы разъехались по своим домам. Эта игра в «потешных» нам всем понравилась: она расширила наш кругозор, познакомила нас с товарищами из других школ, с новыми местами.

Передо мной лежит один любопытный документ – письмо Городнянского Сиротского судьи от 26 июня 1913 года, адресованное моей матери Мороз Ф.Ф., по второму мужу Гавриловой. В нем пишется, что в ответ на прошение Сиротский суд извещает, что для получения денег на воспитание сироты Мороза Александра необходимо возбудить в суде ходатайство совместно с опекуном Данченко С.Ф., без него не будут выданы деньги и утверждено право малолетнего на на-



следство.

Значит, и в 1913 году тянулось дело о моих сиротских делах, и мать ездила из Либавы в Городню, а может даже и со мной. Как-то смутно помнится мне посещение дома опекуна Данченко и сам он.

Теперь, когда я записываю все это, меня возмущает мое безразличие в этом деле, ведь обо всем я мог подробно расспросить мать.

Примерно в этом 1913 году приезжал в Либаву мой дядя по отцовской линии Вилентий Мороз. Был он носильщиком в Минске и хвастался своими хорошими заработками. Ходили мы с ним по городу, и он все жужжал мне о «пропитом» доме, о присужденных мне деньгах за смерть отца, всячески настраивал меня против матери. Я просто возненавидел его за это, и когда он совал какие-то серебряные монетки, я не хотел их брать. Все блага жизни у него основывались на деньгах, на стяжательстве. Принимала его мать натянуто, без особого энтузиазма, но походить с ним по городу меня отпустила. Был он у нас недолго. Уже гораздо позже, будучи взрослым, я слышал, что дядя Вилентий не избежал тюрьмы за какие-то спекулятивные делишки.

Однажды появилась у нас какая-то родственница по линии бабушки Гавриловой из семейства Кайзер. Это была пышная, рослая, белозубая девушка-блондинка с румянцем во всю щеку. Мне она показалась красавицей. Во всяком случае, мое мальчишеское мнение о нашей соседке Яде Яковле-

вой как о самой красивой девушке резко изменилось не в пользу Яди. Образ Яди сразу как-то померк, и мое тайное преклонение перед ней рассеялось, как дым, и свои симпатии я перенес на этот новый объект преклонения. Не помню, как звали эту приезжую фею, она вскоре уехала в Минск, но Ядя уже не казалась мне таким совершенством, каким была до приезда этой невольной соперницы.

В 1913–1914 учебном году, в четвертом отделении, я учился в основном без двоек. Но зато по русскому устному языку на экзамене заработал двойку, и была назначена переекзаменовка на осень – единственная за все годы учебы. По остальным предметам экзамены прошли успешно, с одной тройкой по геометрии. И впервые за все время учебы я получил четверку по поведению за нарушение дисциплины в третьей четверти, как записано в сведениях об успехах. А вот в чем выражалось это нарушение дисциплины – я припомнить не могу. В этом учебном году я имел рекордное число пропущенных уроков, т. е. 25, в то время как за предыдущие три года их было только 29. В этом отделении появился ручной труд – учили столярному делу. Я столярничал на тройку. По рисованию по-прежнему выше тройки не получал. Появились новые предметы: физика и геометрия с ее «пифагоровыми штанами». Эти «штаны» мне запомнились надолго и вот, почему.

Преподаватель геометрии Якубовский Александр Александрович был высокий худой мужчина, нервный до крайности.

сти. Судя по его внешности, он был болен туберкулезом. И вот, этот мой тезка вызывает меня и спрашивает, что я знаю о теории Пифагора. Я же об этой теореме знал только то, что ее в насмешку называют «пифагоровыми штанами», но не более того. Я встал, молчу. Видимо, крайний предел тупости являла моя рожа, и учитель не вытерпел и вкатил мне оплеуху. От боли, стыда и обиды я заплакал, а он как будто смутился, но дело это особой огласки не получило. Вообще же на его уроках ученики вели себя тихо – боялись его вспыльчивого характера. Как ни странно, но я даже после полученной оплеухи не питал неприязни к этому больному человеку.

И, поскольку я вспомнил об одном из учителей, я не могу не вспомнить и не описать то, что сохранилось в памяти о других учителях нашей школы.

Старший учитель Лупинович Я., который расписывался в документах за попечителя школы, был коренастый пожилой мужчина. Его мы побаивались. Кто был попечителем школы – я не знаю.

Учитель Кашин Н., именем которого я спекулировал, обманывал свою мать, втирая ей очки, что я, якобы, оставался у него на дополнительные уроки, был неплохой человек. Конечно же, я ни разу ни на какие дополнительные уроки не оставался, да и Кашину вряд ли был интерес водиться с нами после уроков.

Были учительницы: Цветкова Н., Дружиловская И., учитель Корзун, но я их как-то не запомнил. Они ничем осо-

бым не выделялись. Смутно рисуется образ математика Горбачевича В. Этаким типичный белорус, плотный мужчина. И разговор, похожий на разговор моей тетки Лизы Лукашевич, родной сестры моего погибшего отца.

Законоучитель отец Павел Аpsит запомнился благодаря своему чрезмерному чреву при низком росте. На уроках этот добродушный толстяк не скупился на отметки.

Высокий, худой учитель Струковский М., который появился в школе незадолго до начала войны 1914 года, был настолько беспомощен и мало авторитетен, что его было просто жаль. Ему сразу же присвоили кличку «Зеленый». Даже я, будучи учеником тихим и трусливым, позволял себе в обращении с ним шалости не совсем невинного свойства. Между прочим, моя единственная «четверка» за все годы учебы по поведению подписана была в сведениях за третью четверть за 1913–1914 годы вот этим самым учителем Струковским. Видно, чем-то допек его и я, а что делали сорванцы?

Учитель географии, Бакит, толстяк низенького роста, был из немцев. С русским языком у него были нелады, и слушая его разговор, нельзя было не улыбнуться. Так, например, слово география в его произношении звучало как «гоография», а обороты речи и построение фраз далеко не всегда соответствовали правилам грамматики. Досужие ученички, подражая оборотам речи, характерным для этого учителя, придумали такой афоризм, который все знали наизусть: «Че-

ловэк, который не знает география, называется нэ человек, он идет, идет – сам не знай куда идет». Однажды, кто-то из смельчаков, вызванный к доске Бакифом отвечать урок, процитировал полностью этот доморощенный афоризм, и вызвав дружный смех, был выставлен учителем за дверь.

Перспектива очутиться за дверью во время урока мало кому приходилась по душе. Старший учитель Лупинович имел дурную привычку проходить по коридорам обоих этажей во время уроков. Он останавливался около наказанного и дотошно допытывался о причине, вызвавшей удаление из класса. Часто запутавшийся ученик что-то мямлил или лепетал какую-то неправду, и в результате получал по поведению сниженный балл или записку о вызове родителей.

Баловались подходяще, особенно на переменах. Раз, помню, два этаких петушка-ученика в чем-то не сошлись мнениями и стали тужить друг друга. Потом покатались по земле, у одного с носа закапала кровь. Я испугался вида крови и побежал за учителем. Учитель вполне хладнокровно выслушал меня, но к дерущимся не подошел. Я недоумевал: меня удивило безразличие учителя. Дерущихся разогнала учительница.

Из старого здания школы мы уже переселились в новое на Александровской улице. Новое здание было обширнее старого, с большим двором с приспособлениями для занятий гимнастикой. И гораздо ближе к нашей квартире.

Все чаще мы ходили в кино, там пичкали зрителей разным

детективным хламом. Кто-то удирал, кого-то догоняли, стреляли (хлопали из пугача за полотном – кино-то было немое), гремел гром (за полотном его воспроизводили листом железа). Сеанс сопровождался игрой на пианино. И вот, однажды, нас обрадовали боевиком. Какой-то бандит в маске, в накинутом на голову пиджаке с вытянутой вперед правой рукой шел на какого-то врага. Видел этот фильм и ученик нашего класса Чачин Саша. На большой перемене он решил продемонстрировать действия бандита. Снял пиджак, накинул его на голову и, выставив вперед правую руку, пошел на врага. Его выступление еще более смешило от того, что у него одна нога была короче другой, и его ковыляющая фигура с накрытой головой и протянутой рукой была гораздо эффективнее, чем у бандита в кино. Мы дружно гоготали, расступаясь перед прыгающим Сашей. Он же, накрывшись пиджаком, вслепую шел на невидимого врага, пока не послышался звон большого разбитого стекла. Сашина рука, защищенная пиджаком, не пострадала, но отметка по поведению пошла вниз, да и родителям пришлось раскошелиться на стекло.

Интересно сложилась судьба Чачина Александра Федоровича. После революции он был председателем Дорпрофсожа (прим. – Дорожный профсоюз работников железнодорожного транспорта) Управления Белорусской железной дороги в Гомеле. Раз, едучи из Гомеля в Щорс (Сновск), я напомнил ему об учебе в Либавской железнодорожной школе, о выборе им стекла, но он вел себя высокомерно, чувствовалось,

что высокий пост в Дорпрофсоже вскружил ему голову, и названное Лениным «комчванство» мешало ему спуститься с высоты своего служебного поста и по-товарищески поговорить и вспомнить об учебе в «академии».

Были и еще встречи с ним, и всегда чувствовалось, что возобновлять знакомство со мной, каким-то беспартийным бухгалтером, у него не было ни малейшего желания. Слишком мелкой фигурой я был для него. А может быть, он боялся, как бы я на правах старого школьного товарища не начал бы добиваться у него, как у власть имущего, каких-либо привилегий для себя. Кто его знает!

Вообще же, отдать ему справедливость, на собраниях он умел потешить слушателей веселой шуткой, вызывающей дружный смех, и речи его слушали с интересом. Был он заядлым болельщиком футбола: сидящие около него не столько смотрели на футболистов, сколько на Чачина, не сидевшего спокойно, а прыгающего и издающего какие-то нечеловеческие звуки.

Теперь, когда я вспоминаю школьных учителей и учеников, память моя уже не срабатывает, как нужно. Например, имена и отчества учителей забылись окончательно, да и фамилии я нашел в сохранившихся у меня документах.

Была у меня записная книжка «либавского периода жизни». К сожалению, она не сохранилась. Много чего там было записано по датам. Помню, на вопрос – кто ваш любимый писатель, я написал: «Гоголь». На вопрос – кто из поэтов лю-

бимый, я, конечно, написал про Пушкина, но тут я покривил душой, потому что к стихам его я был равнодушен и написал так, чтобы не обидеть Пушкина. А вот Гоголя я да, любил.

Был еще в книжечке записан каталог по минералогии. Я пристрастился собирать разные камни. Они у меня хранились в коробке из фанеры, обернутые ватой. На камнях были приклеены этикетки с названиями. Особенно интересовали камни-кругляки, содержавшие в середине своей окаменелые раковинки. Чтобы обнаружить такую раковину, нужно было разбить камень об рельс. Мы так увлеклись этим поиском, что путейские рабочие стали нас гонять.

Интересовался я нумизматикой. Была у меня порядочная коллекция старинных монет, большую часть которых я нашел на нашем огороде вблизи квартиры. Монеты Петровских времен выкапывал вместе с картофелем. Были и современные иностранные монеты. Помню, каким особенным почетом пользовалась у меня датская серебряная монета с изображением какого-то короля. По размеру она была с царский серебряный рубль. Были немецкие, английские, румынские с дырочкой посередине.

Собирал почтовые марки, но это было второстепенное увлечение, и порядочного филателиста из меня не получилось.

Незадолго до первой мировой войны, примерно в 1913-м или в начале 1914 года по «мудрому» распоряжению царско-



го правительства началось разоружение Либавского военного порта. Ночами Либава освещалась заревом пожаров – горел уголь в порту. В своей неприкрытой наглости распорядители дошли до такого идиотизма, что распорядились сжечь то, что можно было увезти вглубь страны. Жители Либавы, наиболее жадные и смелые, днем и ночью везли с порта уголь и керосин, хотя официально это запрещалось и преследовалось. Прошел слух, что мальчик утонул в цистерне с керосином.

Вся эта вакханалия, освещенная пожарами, длилась более недели. Так неприкрыта была эта деятельность царского правительства, что не только нам, мальчишкам, но и самым отъявленным черносотенцам, верящим в «мудрость» царя и его клики, было ясно, что в этих действиях есть что-то преступное против России.

Когда добро в порту было сожжено и уничтожено, власти ненадолго успокоились, но атмосфера была тревожная. Газеты писали о результатах приезда в Петербург президента Франции Пуанкаре, о политических союзах и прочем.

Я по малолетству мало что понимал в политике, но вздох старших и ожидание чего-то неприятного вселяли беспокойство в мою юную душу.

Мы жили около железнодорожного моста через канал. И вот, пошли слухи, что мост будут взрывать. Несколько ночей наша семья спасалась на путях в километре-полтора от дома. Всегда слух оказывался ложным, и мы возвращались

домой. Однажды ночью все побежали «спасаться», в суматохе забыли меня, когда вернулись, я преспокойно спал. Вскоре перестали поддаваться панике, и беготня прекратилась. Мост стоял целый и невредимый. Кто и для чего сеял панику – неизвестно.

Кое-что о моем пристрастии к чтению я уже упоминал, постараюсь дополнить воспоминания на эту тему. Книгами я начал интересоваться с той поры, как научился читать. Все попадавшие мне деньги шли на книги. Как ни соблазнительны были копеечные булочки «жулики» и ириски – две на копейку, я предпочитал им покупку книг.

Много несъеденных завтраков ушло на приобретение выпусков Ната Пинкертон «Король сыщиков», Шерлока Холмса и других бульварных книжек. А в покупке 74-х выпусков «Пещеры Лейхтвейса» в какой-то доле участвовала и мать, любившая слушать чтение не только этого занимательного романа о смелом разбойнике Генрихе Антоне Лехтвейсе и его красавице жене Лоре, поменявшей аристократическую роскошь на опасную и полную лишений пещерную жизнь с разбойниками, но и другие подобные.

Покупал журналы, газеты, и мать, а иногда и отчим, живо интересовались событиями вроде дела Беймса в 1913 году, якобы убившего в 1911 году с ритуальной целью киевского мальчика Ющинского.

Помню, с каким наслаждением я читал и перечитывал ро-

ман Раскатова «Антон Кречет». Этот разбойник, обладавший большой физической силой и наделенный автором благородным характером, долгое время покорял мое воображение и служил образцом положительного героя.

А что плохого скажешь о таких великолепных журналах как художественный «Пробуждение» и юмористический «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко? В Аркадия Аверченко я был просто влюблен, и все его книжки в дешевом издании я имел.

Классиков тогда я не читал, кроме обязательного чтения их по программе. Правда, Н.В. Гоголя я почитывал и кроме школы.

Очень необычная дружба на почве книголюбия возникла у меня мальчишки-ученика с семейной парой Красько. Жили они за железнодорожным мостом, недалеко от нашей старой квартиры. Они нанимали частную квартиру. Небольшая комната была перегорожена ширмой. Муж, Михаил Давыдович Красько, работал помощником машиниста на железной дороге. Его жена Юлия Михайловна – домохозяйка. Детей у них не было. Чета Красько также, как и я, любила книги, и это сближало нас, несмотря на разницу в возрасте. Частенько, особенно в последние годы нашего проживания в Либаве, я шел к ним с приобретенными книгами, еще не читанными мной.

Невольно пришлось быть свидетелем такого комичного случая. Я принес им комплект выпусков «Гарибальди». Дядя

Миша возвратился с поездки, и я, чтобы не мешать ему переодеваться, сел за перегородкой и уткнулся носом в книгу. Поглядывая украдкой в узкую щель, я видел, как тетя Юля помогала ему раздеваться, и они о чем-то шептались. Она сняла ему штаны, и он встал двумя ногами в большой таз и начал мыться. Тетя Юля помогала ему, присев на корточки, потом она хихикнула, дотронулась руками до одного, обычно закрытого, места, пощекотала, а дядя Миша взъерошил ей волосы на голове. Я чуть не заржал при виде такой картинки, но сдержался. Они, по-видимому, или забыли о моем присутствии, или были уверены в моем благородстве и скромности. Когда вымытый дядя Миша появился из-за перегородки, я с самым смиренным видом читал книгу и ничем не выдал, что был свидетелем их маленькой семейной тайны. Потом они отправили меня домой, и так получилось, что больше я их в Либаве не видел. Начались события, помешавшие мне хотя бы забрать у них свои, нечитанные еще, книги.

Уже будучи пенсионером, я в 1967 году зимой шел за гробом моей матери. Хоронили ее на новом Щорском кладбище (прим. – г. Щорс иногда упоминается как Сновск) в лесу за семафором на расстоянии двух километров от дома. Я обратил внимание на идущего вблизи старичка, вижу, и он на меня поглядывает. Спрашиваю: «Кто это?», отвечают: «Это Красько». Вот, поистине гора с горой не сходится, а люди – да. Так, через более чем полсотни лет мы снова возобнови-

ли знакомство. Я заходил к ним, навещал уже больную тетьку Юлю, которая все сетовала, что мы так поздно встретились. Вспоминали либавский период жизни, книги. Они по-прежнему книголюбы: берут книги в библиотеке. Тетя Юля, кроме чтения книг, сочиняет стишки. Некоторые из них сохранились у меня, правда, стихи далеки от совершенства. Умерла тетя Юля в 1968 году, на кресте табличка: «р. 30/VIII 1892 г. ум. 1968 23/IX».

Красько М.Д. после смерти жены жил в г. Сновске на ул. Володарского, 36. Ходил в библиотеку, любил выпить. Наезжая в Сновск, я заходил к нему, он был мне рад. Умер он в 1974 году в возрасте 91 года. На его могиле, рядом с могилой жены, табличка: «р. 21/IX 1883 ум. 3/II 1974».

Наследники Михаила Давыдовича передали мне альбом 100-летия Сновского депо, подаренный ему как бывшему работнику руководителями депо. Альбом бережно хранится у меня.

Уже несколько дней носились тревожные слухи о войне. И вот, 18 июля 1914 года, наконец, было официально сообщено об объявлении Германией войны России.

За насыпью, около пакгаузов с овсом, где жил сторож Карпович, погрузочная площадка заполнилась новобранцами. Либавцы были встревожены слухами о возможном нападении немцев с моря. Ведь пограничный город Поланген находился всего в 80 километрах от Либавы. Действительно, 20

июля 1914 года, т. е. через два дня после объявления войны, вдруг с моря раздались залпы орудий. Это с немецкой эскадры летели снаряды в пролетарский район новой Либавы, в так называемую Чертову деревню. Мы жили в старой Либаве, которая заселена была немцами и буржуазией, и поэтому обстрел не задел нашего района. Кирха в центре старой Либавы служила ориентиром, указывающим немцам, куда не следует стрелять.

По газетным сведениям, немцы выпустили в этот день 300 снарядов, в основном на район новой Либавы, а также обстреляли госпиталь в конце старой Либавы около Розовой площади.

Так закончилась мирная жизнь, и для либавцев наступили тревожные дни.

Осколки от снарядов стали сувенирами, за которыми охотились не только дети, но и многие взрослые. Помню, вскоре после начала войны над Либавой появился дирижабль типа «Цеппелин», сбросил над заводом пару бомб, не причинив никакого вреда, и когда удирал, то его подбили за городом наши солдаты. Началось паломничество к месту катастрофы. Кусочек желтой оболочки с «Цеппелина» был у каждого ученика. Особо предприимчивые мальчишки хорошо поживились, меняя кусочки оболочки на разную мелочь.

Помню, несколько раз появлялся высоко в небе аэроплан, и по нему бесполезно стреляли из винтовок солдаты. Иногда аэроплан сбрасывал над заводом пару бомб, и этим ограни-

чивались редкие воздушные налеты. Но все же у либавцев появился страх ожидания беды не только со стороны моря, но и с воздуха.

Началась эвакуация. Водокачку закрыли, отчиму приказали разобрать машину и погрузить в вагон. Его назначили машинистом водокачки, расположенной около паровозного депо и мастерских.

С нашей квартиры, где мы прожили семь лет, мы переселились в другую, тоже казенную, около проволочного завода. Двор нашей новой квартиры был отгорожен высоким забором завода. Виднелись заводские трубы, продырявленные немецкими снарядами.

В этом несчастливом 1914 году в нашей семье произошло изменение – родился еще один брат Петр. И уже на новой квартире заболел и умер брат Миша. Возможно, что от менингита. Похоронили его на кладбище в конце Суворовской улицы. Смерть эту особенно болезненно восприняла моя мать. Да и мы все горько плакали. Это была первая смерть в семье Гавриловых. Движимый чувством любви и жалости к умершему братику, я даже пытался сочинить стихи, посвященные его памяти. Начинались они примерно так:

«Умер наш славный братик Миша,

Над ним появилась земляная крыша».

На этих двух строчках творчество мое бесславно выдохлось. Да и дальнейшие события сложились так, что было не до сочинительства.

Я уже перешел в последнее, пятое, отделение в 1914–1915 учебном году. В этом отделении появился новый предмет – «Гигиена и подача первой помощи». Осваивал я эту помощь на тройку. Улучшений в отметках против прежнего не было – средняя тройка. Оно и неудивительно – ученье уже не шло на ум. На уроках не столько прислушивались к словам учителя, сколько к шумам за окном. Если люди на улице не шли, а бежали, значит, что-то заметили, может быть, эскадру на море или самолет. Тогда и мы срывались и выбегали на улицу. Правда, было много случаев необоснованной паники, но были и обстрелы с моря, и бомбы с аэроплана. Тревожно жили. Следили за движением немцев на фронтах, и каждый день приносил невеселые новости. Говорили и писали о зверствах немцев над мирным населением. Наиболее предприимчивые эвакуировались из города. Особенно тревожило нас приближение немцев к Либаво-Роменской железной дороге.

Один день особенно запомнился мне. Шли занятия в школе. Школа была на углу Александровского шоссе и Вокзальной улицы, а наша новая квартира – на аллее около паровозного депо в районе новой Либавы по соседству с Чертовой деревней. От школы до дома около двух километров. И вдруг – суматоха! Не помню, каким путем сообщалось жителям о появлении неприятельской эскадры, вернее всего жители передавали эту весть друг другу, но вся Либава очень быстро приходила в движение: кто бежал домой, кто, уже с узлами,



бежал из дома к окраине. Разбегались из школы мы под гром орудий. Я бежал домой во время обстрела, над головой свистели снаряды. Немцы били по ориентиру – заводским трубам проволочного завода, рядом с которым была наша новая квартира. День был солнечный, и снаряды блестели, пролетая над домом. Дома уже повязали узлы, и все наше семейство двинулось в конец города на Александровское шоссе. Миновали последний завод (кажется, Беккера) и подходили к пороховым погребам, в это время целая серия снарядов упала по обочине дороги в болото. К счастью, упавшие близко от нас два снаряда нырнули в болото справа от дороги и не взорвались, и мы отделались испугом. Когда это произошло, движение беженцев приостановилось. Старый латыш пытался спрятаться под фартук своей супруги, и хоть было и не до смеха, беженцы невольно заулыбались, и это несколько разрядило общую тяжелую атмосферу.

Беженцы шли и ехали сплошной толпой, одни – чтобы только уберечься от стрельбы, а потом вернуться по домам; другие – чтобы больше вообще не возвращаться в Либаву.

Мы не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы решили временно пожить у кума Бардашевича на станции Прекульн (прим. – латышское название Приекуле). Шли до ближайшего разъезда. Петю несли на руках, Иван и Аня шагали сами. Дошли до разъезда, сели в товарный вагон стоящего там состава, и нас довезли до станции Гавезен. В Гавезене солдаты грузили снаряды крупного калибра. И вот, мы приехали

на станцию Прекульн, где временно остановились у Бардашевича. Квартира у него была небольшая, а семейство чуть поменьше нашего, спали на полу вповалку.

Бомбардировка Либавы, которая загнала нас сюда, была одной из самых крупных, и мы некоторое время не возвращались домой – так напугались. Отчим вернулся сразу же, ему нужно было работать, я через день-два тоже поехал. Наша квартира была цела, а квартира ремонтного рабочего в доме напротив была разбита попавшим в нее снарядом. Люди не пострадали – были в бегах, а их нехитрое имущество было испорчено.

Несколько дней я ездил из Прекульна в Либаву в школу. Занятия в школе шли. После учебы ехал в Прекульн, где, кое-как переспав, рано утром высматривал огоньки товарно-пассажирского поезда, который вез меня в Либаву. Наконец, мои домочадцы осмелели, и мы все вернулись домой в Либаву.

Я учился. Можно судить, какое качество учебы было! Отчим уже оформил перевод в Сновск и разбирал свою новую водокачку около паровозного депо. Получили наряд на вагон, погрузили в него вещи, а так как вещей нажили не ахти как много, то догрузили вагон тремя кубометрами дров. Я с бабушкой Гавриловой должен был остаться, дабы окончить свою «академию». Оставили на нашу долю энное количество вещей, подушек, одеял и прочего, а я сдуру и немало книжек, и все пассажирским поездом укатили на Украину в Сновск.

Вагон с вещами своим маршрутом покотил туда же.

И вот, остались мы вдвоем: бабушка Екатерина Ивановна Гаврилова и я.

Я бегал в школу, которая продолжала функционировать. Некоторых учеников нашего отделения уже было не видно. В том числе и Мани Малевич, красивой черненькой девочки, на которую многие из учеников поглядывали на уроках. Ученье можно было только условно назвать уроками. Они почти не интересовали ни учителей, ни учеников. Все ждали развязки. До выпускных экзаменов оставалось немного времени, и надо было, хоть с грехом пополам, окончить школу и получить свидетельство. Ведь около семи лет жизни протекло в ее стенах!

Прислушивались к разным слухам: и правдивым, и ложным. Правда, ложных было больше – кому-то нужно было сеять панику. При малейшем подозрении на налет или при появлении в море немецкой эскадры мы разбегались по домам. Бабушка усиленно курила, а курила она так, что самые завзятые курильщики не могли с ней соревноваться. Часто даже ночью вставала и дымила. Удивительно, что ее неумеренное курение никак не отражалось на ее комплекции – полнота ее была сверх всяких габаритов.

Каждый день узнавали нерадостные вести об успешном продвижении немцев на фронтах, и однажды нас как громом поразила весть: немцы заняли станцию Бейсагола около Радзивилишек. А это означало, что наша Либаво-Роменская же-

лезная дорога перерезана, и прямой путь на Сновск нам заказан, удирать придется окружным путем через Ригу.

Писем из Сновска от наших не было. Нам казалось, что они не успели проехать злосчастную Бейсаголу, и их захватили в плен немцы.

С каждым днем немцы все ближе подходили к Либаве, и когда заговорили о занятии ими станции Муравьево, что в сотне километров от Либавы, то наша тревога и боязнь очутиться в плену у немцев, о зверствах которых писали газеты, сменилась решимостью удирать во что бы то ни стало и любым путем туда, в родной Сновск, где ждут нас наши родные. Мы все же верили в то, что они добрались благополучно.

Ни о каких экзаменах уже не было и речи, нас выпустили.

Поскольку станция Муравьево, от которой был путь на Митаву, была уже у немцев, а узкоколейка на Газентоп бездействовала, и ее паровозы были эвакуированы, то железнодорожных путей отхода для нас не было. Оставался единственный – пеший ход. К нему мы и начали готовиться. Бабушка навязала узлов из подушек, одежды и прочего. Я связал объемистую пачку книг, и когда взвесили эти свои ноши, то стало понятно, что далеко нам с этим багажом не уйти. Уменьшили вес, выбросив лишнее и оставив наиболее дорогое, и все же вес узлов был непосильным. На нашу беду началась какая-то суматоха: не то обстрел с моря, не то налет с воздуха, и мы, бросив свои облегченные узлы, с тяжелым чувством окинули взглядом квартиру, свое нехитрое остаю-

щееся имущество, и вышли. Не помню, закрыла ли бабушка на замок дверь. Возможно, что и нет. Тяжело было расстаться с Либавой! У бабушки в руках маленькая сумочка, у меня тоже какая-то мелочь. Узелок с едой. Вышли на Александровское шоссе и влились в толпу беженцев. Вдали виднелась Либава, в нескольких местах были пожары. Прощай, Либава! Хорошее воспоминание осталось о тебе, несмотря на все невзгоды военных 1914–1915 годов!

Миновали Гробин, издали посмотрели на развалины замка – место наших нелегальных паломничеств, и к вечеру подошли к какой-то избушке. В каморке, напоминающей хлев (за перегородкой что-то мычало), на грязном полу вповалку с такими же бедолагами мы переспали и рано утром продолжили путь к Газентопу. На ноге у меня появились волдыри, но идти босиком было холодно. Не помню точно, дошли мы до Газентопа или свернули на дорогу, не доходя до него. И вот, мы идем по дороге на Гольдинген. Редкие встречные местные жители пугают нас слухами, что, де, уже недалеко видели немецких кирасир в касках. Это придало нам энергии, и мы стали двигаться быстрее. Перспектива встретиться с отрядом немцев страшила нас. Бабушка только пыхтела, но шла.

Впереди показался городок Гольдинген, и вот мы уже на одной из его улиц. Остановились у дома с какой-то полицейской вывеской. Отряхнули пыль, бабушка решительно вошла в большую комнату, я за ней. У широкого стола сидел

какой-то полицейский чин в форме, у окна стоял мужчина в штатском. Бабушка пустила слезу, я шмыгал носом. Она просила о помощи, жаловалась, что ей трудно идти пешком, что нет денег. Полицейский со скучающим видом слушал бабушку и, когда она замолкла, изрек: «Бабка, беженцев много – не вы одни, обращайтесь в эвакуопункт». Штатский подошел к бабушке, вынул бумажный рубль и дал ей. «Дай вам Бог здоровья», – поблагодарила бабушка, и мы вышли.

Гольдинген расположился в живописной местности, в основном одноэтажный городок. Видны некоторые высокие сооружения: кирхи или древние замки. Я был бы не прочь походить по городку, но бабушке побоялся даже заикнуться на эту тему – ей было не до экскурсий. Запомнился высокий мост, внизу река Вента. Теперь город Гольдинген называется Кулдига.

Расспросили ближайшую дорогу к станции железной дороги. Впрочем, особенно уточнять маршрут не приходилось. Потому что к ней двигался поток беженцев, нужно было только влиться в этот поток. И вот, мы влились, позади остался Гольдинген.

Прошли несколько километров, и бабушка, уверявшая меня, что денег у нее только рубль, достала из сумки три рубля и договорилась с извозчиком, и мы поехали. Не выдержала старушка пешего хождения и пожертвовала деньги из своего «НЗ»! Да и мои волдыри на ногах при виде подводы заболели еще больше. Местами я шел пешком – так до-

говорились при найме, потому что воз был нагружен разной рухлядью, но все же большую часть пути я ехал. Миновали густой лес, и перед нами появился железнодорожный путь. С каким восторгом смотрел я на этот путь с обычными железными рельсами! Эти рельсы должны были спасти нас от немецкого окружения и плена, они подняли наш упавший дух и вселили надежду на скорое свидание с родными. Ведь за эти тревожные дни, после занятия немцами Бейсаголы, и Сновск, и наши дорогие родные, стали казаться чем-то недосягаемым.

Подъехали к небольшому пассажирскому зданию с вывеской «Стенде». На пути в тупике вагон. Это была небольшая станция Виндаво-Рыбинской железной дороги. При станции поселок. Бабушка рассчиталась с возчиком. Мы переночевали на квартире старичков-латышей. Старики, муж и жена, приняли нас весьма приветливо, но чувствовалось, что они не прочь были бы получить с нас за ночевку. К сожалению, денег у нас уже не было. Да и вещей никаких не было.

Потом попали в поезд, идущий по направлению к Риге. В поезде тесно. Ехали без билетов как беженцы. Проехали город Тункум, почти весь деревянный, миновали его и скоро сошли на вокзале в Риге. На вокзале многолюдно, потолкались около него, а дальше идти не решились. Да и домой стремились. Так и не повидав красавицы Риги, о которой я слышал много интересного в школе, мы сели в поезд, идущий в Двинск.

В Двинске на вокзале много людей, маршируют солдаты. В эвакуационном пункте подкрепились и ждем поезд на Вильно. Из Двинска до Вильно поезд идет по родным местам Охотинского, которому я писал письма в город Видзы.

В Вильно опять пересадка. Походили с бабушкой по узким улочкам Вильно. Были у Остробрамской Божьей матери – это у поляков нечто похожее на московскую Иверскую Божию мать. К сожалению, ничего кроме этой иконы мне не запомнилось о Вильно.

Потом Минск. Вообще, в Минске я бывал несколько раз. Это когда ездил на смотр «потешных», потом с матерью по сиротскому делу, теперь с бабушкой. Во время этих поездок я в Минске встречался с теткой Лукашевич Е.А. и с ее родней.

И, наконец, Сновск! Наш родной Сновск. Была радостная встреча со слезами радости. Ведь, если мы, будучи отрезанными, чувствовали себя, как в плену, то и они много тяжелых дней прожили в тревоге за нас.

Некоторое время жили почему-то в деревне Низковка, в четырех километрах от станции Низковка, а от Сновска в 24 километрах. Может быть, из-за наплыва беженцев в Сновске не было квартир, и нам пришлось временно жить в деревне Низковка. Что-то делал на водокачке отчим.

Как оказалось, доехали они из Либавы пассажирским поездом без всяких приключений. Вещи, отправленные по наряду в товарном вагоне, где-то путешествовали и прибыли



через несколько месяцев в Сновск. Из-за неисправности вагона где-то, чуть ли не в Двинске, была перегрузка в другой вагон. Кое-что из вещей было поломано, чего-то не оказалось, но дрова получили целыми, без повреждений.

Мы еще долго рассказывали о своих дорожных невзгодах. Вспоминали Либаву, мирную жизнь в этом чистеньком, уютном городе, ставшим нам чуть ли не второй Родиной.

После Низковки, где мы недолго жили, перекочевали в Сновск, в район между Костельной улицей и Черниговской, недалеко от ветряной мельницы. Мы жили на квартире у Некрасова по соседству с Пуговкиными и Туриком. Недалеко проживала тетка Меланья (так ее все называли), которая пекла хлеб и продавала его на базаре. Хлебопекарен тогда не было – пекли каждый сам себе или покупали на рынке. Правда, была булочная австрийца Щица (тайного революционера), но его пекарня выпекала в основном булочки.

Помню, как раз ночевали в хатке под соломенной крышей, стоявшей на углу Костельной и нашей улицы, принадлежавшей главному кондуктору Борисенко. У Борисенко был сын Иван и дочь Христина. В последствии Иван был председателем месткома, а Христия трагически погибла – утонула в реке Сновь.

Вскоре нас, выпускников Либавской школы, вызвали в г. Минск для сдачи выпускных экзаменов, которые мы из-за эвакуации не успели сдать в Либаве. После экзаменов взамен временного удостоверения дали свидетельство об окончании

двухклассной Либавской железнодорожной школы 15 апреля 1915 года. Свидетельство выглядело так: по двум предметам – 5, по шести предметам – 4, и по трем – 3.

Отчим работал в Сновском паровозном депо слесарем. Зарплата небольшая. Семья порядочная, уже семь душ (с бабушкой). Мне уже 14 лет. В Сновске из учебных заведений только железнодорожная школа, и если бы стоял вопрос о дальнейшей моей учебе, то ближе Гомеля учебных заведений не было. Конечно, определить меня в учебное заведение в Гомеле отчиму было не по средствам. Да и особого стремления и способностей я не обнаруживал, и единственный выход был работать.

По натуре своей я лентяем не был, и, хотя меня никто не неволил, я сам стремился определиться на какую-нибудь работу. Можно было попытаться поступить на железную дорогу «подметалой», благо мусора на путях после беженцев и пленных было предостаточно, но я помнил, что у меня за плечами семь лет учебы и, хоть и маленькое, двухклассное, но образование. И я нацелился на должность конторщика при дежурном по станции.

Заявление мое начальник со станции Коваленко благосклонно принял и разрешил приходить в дежурную комнату в качестве бесплатного практиканта – списчика вагонов подвижного состава. В обязанности списчика входила перепись номеров вагонов, прибывающих в Сновскую поездов (прим. – железнодорожная станция Сновская). Если состав

прибывал ночью, то списывание усложнялось тем, что мешал фонарь, а он частенько потухал. А если было холодно, то руки не держали карандаш. Штатным списчиком был Юльян Круховский, живой черноглазый паренек, тот самый, который впоследствии женился на Рае Ботиной. Дублером к нему я и был приставлен. Вначале бегали вместе, а потом он посылал меня самостоятельно. Вспоминаю, как темной ночью при сильном холодном ветре я бегу списывать прибывший состав вагонов в сорок. Состав остановился в карьере около «горы счастья», примерно в километре-полтора от станции. Кругом лес – ни зги не видать! Руки мерзнут, с носа капает, и, конечно же, страшно. А номера шестизначные. Кончил списывать – бегу к станции. Круховский, посмеиваясь, подпускает меня к грубке (прим. – печь) погреться.

Помню его дурачество с коверканьем слов. Например, вместо слов: «Мороз, печка не горит», он говорил: «Ромоз, печка на рагит» и т. п. Сам смеялся от души и дежурные, находя в этом нечто смешное, тоже гоготали.

Дежурный по станции, некто Миланович, запомнился мне как виртуозный сквернослов: речь его никогда не обходилась без ввода матерщины. Его не стесняли ни присутствие начальства, ни женщины. Пассажиры оторопело глядели на окошко дежурного – это в телефонную трубку орал Миланович.

Немало ночей «клевал» я над грубкой, и вот, вскоре, практика моя закончилась. Начальник станции объявил, что по-

сле длительного бюрократического разбирательства пришел ответ: «Морозу в приеме на работу отказать из-за малолетства». Даже взяв во внимание трагическую смерть моего отца на железной дороге и многосемейного отчима, принимать юнцов моложе 16-ти лет запрещено.

Итак, по службе движения мне не повезло. Остался один путь – на путь!

## 1915–1920 гг. Город Сновск

Если до Либавы, живя в Сновске, мы были домовладельцами, и у нас проживали квартиранты, то после эвакуации из Либавы мы сами превратились в квартирантов.

После временного и недолгого проживания в Низковке в Сновске мы основательно и надолго осели квартирантами у Аникеенко Данилы Артемьевича на Старопочтовой улице, дом № 27. Хозяин Аникеенко ездил главным кондуктором, и, как болтали злые языки, эта его прибыльная должность помогла ему приобрести два довольно больших дома. В большем жил сам хозяин и сдавал еще две квартиры, а во втором, меньшем, поселились мы и наш сосед, поездной машинист Бычковский, живший с женой и сыном.

В семье Данилы Артемьевича преобладали женщины. Сама хозяйка была женщина болезненная, что не помешало ей пережить своего здоровяка Данилу. Дочери: Анна и Мария, ставшие потом учительницами, Валентина – комсомолка 20-

х годов, и маленькая Саша. Сыновей было двое: Данила Данилович и Николай.

По соседству жила Козлиха (Козлова) с мужем – столяром депо, и сыновьями Иваном и Андреем, была и дочь – высокая девица. Козлиха, женщина злая и вздорная, напоминала ведьму.

Однажды, когда моя мать пожаловалась на ее сына, побившего меня, Козлиха схватила метлу и набросилась на мою мать с криком: «А насрать, ты еще шалиться здумала, хай собі бьются. А ты не встривай!».

Через улицу стоял дом машиниста Колбаско Павла с высоким крыльцом. У него три сына: Трофим, Иван и Василий, и дочери. По соседству с Козлихой – очень ветхий дом с крышей из соломы, в нем живет старушка Овчинникова, у нее сын Аркадий Мышастый и дочь Шура. Далее живут Вестфали с сыном Павлом Константиновичем, а еще далее – Николаенко, Руковичи, Табельчуки. На развилке Старопочтовой и Мостовой (Церковной) квартируют машинист Ботин с женой и дочкой Раей, почти лилипутского роста. По соседству с ними жил старик Пенников с женой, дочкой Верой и сыновьями Сергеем и Жоржем. Пенников вел себя очень оригинально: собрав ватагу подростков, он играл с ними в войну. Через улицу, напротив нас, жили в своем доме Ковальковы. Ковальков был родом из Людиново, около Брянска, работал в железнодорожном депо чуть ли не мастером. Жена его, сколько я ее помню, всегда сидела за шитьем. У них сы-

новья Николай и Александр и две дочери Мария и Лиза. Рядом с нашим домом был дом поездного машиниста Горобцова, жена его – учительница, она учила Щорса Н.А. в железнодорожной Сновской школе. У них сын Ваня. Ну и дальше такие фамилии, как: Кисель, Святский, Фадеевы, Морозовы, Колпаковы – с ними я мало сталкивался и не общался.

Упиралась наша улица в кладбище, где похоронен мой отец. За кладбищем пески и станция Носовка. Около кладбища церковь и базарная площадь.

Не помню точно, какое хозяйство было у нас на квартире у Аникеенко, но что были куры и свиньи – это точно.

Запомнился случай, когда отчим и я гонялись по двору за свиньей, насилу загнали ее в сарай. И отчим напруг все свои силы, а он был мужчина дюжий, повалил свинью на бок, и, крепко держа ее, скомандовал мне: «Сяди нож!». Я, с дрожью во всем теле, пырнул ножом в мягкое место на шее свиньи. Она вырвалась и, окровавленная, еще бегала, а мы за ней, пока не ослабла и была прикончена. Мать и дети где-то попрятались в доме, чтобы не слышать визга несчастного животного. Потом смолили соломой.

После неудачной попытки стать движенцем я решил податься в путейцы. Для прополки путей и очистки их от сорра особого ума не требовалось. И вот, в один теплый летний день 1915 года, часов в шесть утра, я появился около путейской казармы, что располагалась у начала пешеходного мо-

ста через пути. Тут же была и контора дорожного мастера. Во дворе толпились мои «конкуренты», жаждавшие, как и я, наняться на поденную работу. Они, конкуренты, были разных возрастов: от пожилых до таких же четырнадцатилетних, как я.

Артельный староста Моисей Богомаз был симпатичный, еще не старый человек. Но симпатичным он казался не всегда: когда не принимал на работу, то таким не был. Отобрав нужное количество «рабсилы», раздав нам лопаты, метелки и скребки, он вел нас к месту работы. Эшелонами с пленными, с беженцами были забиты все пути: кругом грязь, мусор. Особенно много следов в виде экскрементов оставляли пленные австрийцы. Им не разрешалось отходить далеко от вагонов, и они прямо под вагоном оставляли свою «продукцию», которую мы в их честь называли «австрияками». Нужно правду сказать, что работа по уборке «австрияков» была не из приятных, иногда и подташнивало. Мы с трудом добились, чтобы работа по уборке «австрияков» чередовалась с более благородной работой по прополке путей от травы.

На работу нанимались, в основном, эвакуированные – местным, уже обжившимся, она не была нужна, а малолетним, вроде меня, и подавно.

Со временем образовалась у нас своя артель, состоящая почти целиком из эвакуированных, о которых я вспоминаю с теплым чувством, как о друзьях-товарищах. Мы даже называли друг друга не «хлопцами», как бытовало в украинском

Сновске, а «пуйками» – это один из либавских терминов.

Кто же эти товарищи? Володя Мороз, мой двоюродный брат (его отец, Михаил, был неродной брат моему отцу). Владимир был на год старше меня, жил он у тетки Лизы Лукашевич. Литовец Юзин Утыро, Феликс Сен – поляк, девочки Анна Борейко и Прохоренко Любовь, и еще имена, которых не сохранила память. Да, был еще пожилой Кривулько: физически он был здоров, но что-то от шизофреника в нем было.

Забегая вперед, я упомяну о дальнейшей их судьбе. Володя Мороз, впоследствии вышедший в отставку в чине подполковника, женат был на Мятенко Соне из Сновска, имел свой дом в Минске. Юзин Утыро ушел на пенсию с поста начальника почтовой конторы. Люба Прохоренко не совсем удачно вышла замуж за Вестфалья П., оказавшегося врагом народа – полицаем у немцев.

Очень возможно, что в 1964 году ко мне на квартиру в Гомеле приходил Кривулько Казимир и был сыном того Кривульки, с которым я имел честь убирать «австрияки». Сын этот добивался признания его моим родичем с целью устроиться в Гомеле после демобилизации, в частности, у нас на квартире. Родства мы не установили, и он отстал от меня. Он собирался поступать в милицию.

Ну, об остальных я не знаю, что с ними было.

Самыми лучшими объектами работы по прополке были пути вдали от станции. Мы садились в тенек и блаженство-



вали, пока не раздавался крик: «Пуйки, Круль идет!». Мы вскакивали и с усердием начинали полоть траву. «А, песья! Поли, поли!» – кричал он и уходил, опираясь на палку.

«Круль» – это дорожный мастер Янковский, фигура значимая в путевой службе. Про него шел слух, что в грамоте он не силен. Толстый, краснорожий и уже седой, он, как колобок, катился по пути, постукивая палкой. Мы его побаивались, но старик он был невредный для нас.

На работу я уходил часов в шесть утра, а приходил около семи вечера. Время явки и ухода строго не регламентировалось, и все зависело от глазомера Богомаза, который по солнцу определял время начала и конца работы.

Вообще же рабочий день тянулся долго. Лишь по воскресеньям я мог вдоволь накупаться, бегая по несколько раз на «перекоп», до которого нужно было добираться по колено в грязи. Много поиграть в лапту, в чижику и прочие веселые игры. Иной раз так набегаешься, что с трудом разденешься и моментально засыпаешь. А утром мать: «Вставай, сынок, пора на работу».

Нужно ли говорить, с каким нетерпением я ждал своей первой полочки, и когда расписался у артельщика в получении что-то около семи рублей (из них одна золотая монетка в пять рублей), то я, как на крыльях, летел домой. Шутка сказать – первая заработная плата в жизни! Платили нам, подросткам, по 35 копеек в день. Таким как Кривулька – по 50 копеек. Но и 35 копеек в 1915 году еще имели цену. Один

фунт хлеба стоил три копейки, и, стало быть, я зарабатывал сразу на десять фунтов хлеба в день. Да и остальные продукты были относительно дешевы.

Зимой чистили пути от снега. Я уже среди поденщиков был старожилом, зарекомендовал себя неплохим работником и слыл вполне грамотным мальчишкой. Друзьям моим было известно о моей неудаче с поступлением в службу движения.

В начале 1916 года в контору пути потребовался мальчик в помощь рассыльному. Дело в том, что рассыльный Гвоздик Алексей Гаврилович был калека, без одной ноги. В конторе он и состарился, и ему уже трудно стало справляться со своими обязанностями. Он был и сторож, и рассыльный, и чуть ли не лакей у начальника участка пути Мартынова П.Н.

Большую половину казенного дома, состоявшую из нескольких комнат, занимал Мартынов, в меньшей части расположилась контора участка пути. В маленькой комнатке при конторе жил одинокий Гвоздик. На границе между комнатами начальника и конторой был кабинет Мартынова. Отопление и уборка всех апартаментов Мартынова лежала на Гвоздике.

С моим приходом уборка конторы была доверена мне, а в комнаты начальника Гвоздик меня не допускал, и если я из любопытства пытался сунуть туда нос, то встречал шипение и отпор моим поползновениям. Вообще же Гвоздик имел тип старинного «без места преданного» слуги и чуть ли

не преклонялся перед особой Мартынова.

Мартынов Патрикий Николаевич был мужчина видный, высокого роста, с густой черной бородой, и один его начальственный вид внушал почтение к его особе. К тому же он был единственный на всю округу инженер путей сообщения, что в те времена звучало гордо. Был в Сновске начальник депо Груздев, но он был только ученым мастером, и до звания инженера ему было далеко. Под стать ему была его жена – женщина крупных габаритов с чрезмерно развитой грудью, несколько даже портившей ее фигуру. Она была генеральская дочь.

В общем, это была чета настоящих панов, одним своим видом внушающих робость и почтение. Детей у них не было. При доме большой сад, оранжереи, конюшни с лошадьми, за которыми ухаживал конюх. На кухне повариха, в комнатах горничная.

Запомнился такой незначительный случай. Водопроводчик Лабуш исправлял течь в яме коллектора, я ему помогал. Подошел Мартынов, мы поздоровались с ним, но он никак не реагировал на наше приветствие, будто и не было нас! Посмотрел и ушел. Такой порядок общения с простым народом был тогда в моде...

Время работы в конторе регламентировалось более определенно, чем на пути у артельного Богомаза. У меня появилось больше свободного времени, чем в бытность на путейских работах. Да и работа была легче и разнообразнее, чем

отупляющая возня в путейских нечистотах. Я по утрам быстро справлялся с уборкой комнат, потом бегал с поручениями и пакетами по местечку и ухитрялся подносить вещи и чемоданы приезжим буржуйчикам.

Был такой сорт людей – в основном это были преуспевающие коммерсанты-евреи, которые любили прибыть к своим родным с «шиком». Выходит из вагона этакий толстый верзила, в руках у него небольшой чемоданчик или авоська. К нему подскакивают сразу несколько мальчишек с предложением своих услуг. Он может свободно нести не только свой багаж, но и носильщика в придачу, но он презрительно кривит губы и сует мальчишке свой чемодан. Идет несколько впереди и на морде – блаженство. На пороге его радостно встречают: «Ай, Абрам, приехал!». Он достает кошелек и демонстративно вручает носильщику 10 или 15 копеек, чем приводит в восхищение встречающих.

Я их презирал, этих упитанных торгашей, и, скрепя сердце, потворствовал их дешевому гонору. Соблазн легкого заработка был так велик, что я не мог с ним бороться. Эти мои «носильщицкие» деньги шли на покупку книг и журналов. Моя любовь к книгам после Либавы не пропала.

Меня зачислили в штат конторы 5-го отдела пути. Руководил конторой Стадниченко Иван Иванович. Несмотря на свою украинскую фамилию внешне он ее мало оправдывал. Выше среднего роста, худой, рыжеватый, уже начавший лысеть – он, конечно, ничем не походил на хохла типа Тараса

Бульбы, скорее на дьячка, ухаживающего за Солохой. Был он верноподданным, имел звание почетного гражданина, что давалось при царизме не каждому. Жена его из рода Чиль была молодой милостивой женщиной. Жили они с двумя детьми в казенном доме рядом с конторой.

Делопроизводитель Утыро Витольд Абрамович, брат Юзина, с которым я работал на поденных работах, сидел в отдельной комнате.

В отдельной комнате помещались: кладовщик Сирота Кузьма Иванович и приходно-расходник Барановский Василий Федорович. Сюда посадили и меня.

Сирота К.И. – старый холостяк, человек неплохой. Он не раз одалживал мне по просьбе моей матери деньги, как, впрочем, и многим, кто к нему обращался. В смысле одалживания денег Кузьма Иванович чем-то напоминал Баха Федора Ивановича, большого оригинала, тоже холостяка. О Бахе рассказывали, что он, давая деньги в долг, записывал у себя в книжечке срок отдачи. Расписок не брал. Если ему не отдавали в срок, то, вычеркнув фамилию неплательщика, он делал пометку – жулик, и денег от него уже не брал, но и не одалживал больше. Кузьма Иванович отдачи денег добивался, но потерявшим доверие больше не одалживал.

Моим непосредственным начальником был К.И. Сирота, хотя Барановский В.Ф. склонен был считать. Что я подчинен в первую очередь ему, а не Кузьме Ивановичу. Когда я не бегал куда-нибудь, то сидел напротив Барановского, уже

пожилого чернявого, веселого мужчины, любителя выпить и поговорить на скабрзные темы, и переписывал бумаги или печатал на гектографе разные инструкции.

Я не был конторщиком в полном смысле этого слова. Я был тем универсальным «Александром» (так обращались ко мне все), который выполнял любые поручения и шел, куда пошлют. Когда начали прибывать из Америки рельсы, я бегал к составам, переписывал марки, считал рельсы. Запомнилась марка «Иллинойс». Подсчитывал штабеля шпал, а на станционных путях Сновска – шпалы уложенные, подлежащие замене. В кладовой разгружал грузы, прибывшие на склад, сортировал, подсчитывал болты, накладки, подкладки. Наводил порядок во дворе и тому подобное.

Помню, в один из дней разнеслась весть о проезде через Сновск царя Николая II. С территории станции убрали всех лишних. По обе стороны станционных путей через небольшие расстояния расставили солдат спиной к поезду. В числе зевак, желающих увидеть царя, был и я. Нас отгоняли от путей, но нам удалось спрятаться в районе бани. Отсюда, из-за штабелей шпал, были видны пути, по которым должен был следовать поезд. Вот, кажется, в сторону Гомеля прошел один состав из пульмановских вагонов, за ним другой. Потом третий. Окна завешены, людей не видно. В каком ехал царь – тайна. Картины, которую рисовало наше наивное воображение, не получилось: царь из окна не выглядывал и не улыбался. Да, верно, ему уже в то время было не до улыбок

и не до общения с верноподданными.

В 1916 году наше семейство пополнилось новым членом – Николаем. Семья прибавлялась, а условия жизни ухудшались. Какое-то брожение чувствовалось даже в мещанском Сновске. Потихоньку обесценивались деньги, росла дороговизна, пропала звонкая монета. Мелочь заменили почтовые марки с изображением царей. Они имели хождение наравне с монетой.

Не помню, когда и откуда у меня появился конек. Настоящий блестящий, металлический, на правую ногу. Как только река Сновь покрывалась еще не совсем окрепшим льдом, мы, мальчишки, уже толпились у берега. Лед подозрительно потрескивал, но это не мешало самым смелым положить начало катанию. Катались по Гвоздиковскому заливу в сторону с. Носовки. Я устойчиво стоял на правой ноге, а левой отталкивался, и до того наловчился, что, пользуясь своим прыгающим способом, ненамного отставал от настоящих бегунов на двух коньках. Уже много позже у меня появилось два конька, и я научился весьма посредственно кататься.

Весной любил я поиграть у реки между кустами и деревьями, и часто попадал в воду до пояса. Мокрый и продрогший, дома старался не попадать матери на глаза и что-то врал, когда попадался. Но она быстро добиралась до сути дела, сушила и согревала блудного сына. Иногда и попадало.

Вскоре определился круг друзей из соседних домов по Старопочтовой улице. Вот наиболее близкие из них, дружба

с которыми не прекращалась до моего ухода в армию.

Это Аркадий Федорович Мышастый – паренек небольшого роста, но плотный и силач. Саня Ковальков – красивый кареглазый мальчик, правда, с глазами несколько на выкате, «луноглазый». Особой силой не отличался. Третий – Павел Константинович Вестфаль, мальчишка задиристый и забияка. Павка был физически сильный, и благодаря этому его превосходству мы часто уступали его капризам. Четвертый был я. По годам – на год старше каждого из них.

Эта четверка несколько лет была неразлучна в играх и разных проделках. Бегали купаться на «перекоп». По утрам в воскресные дни вставали часа в 3–4 ночи и, полазив по соседским садам и набив корзины фруктами, шли в «казенный лес» за грибами. Лучшим грибником был Павка Вестфаль. Он, как гончая, носился по лесу и грибов набирал больше всех. Играли в карты, в «воза». Иногда сидели допоздна – тянули «возы». На улице играли в разные игры, боролись, выжимали тяжелые камни, что развивало физическую силу.

Шалости наши часто граничили с хулиганством. Помню, раз на нашей улице в дом, что рядом с домом Руковича, где жили евреи, мы запустили камни из рогатки, и, когда послышался звон разбитых стекол в веранде, бросились бежать. Или, собравшись темным вечером, вырывали лавочки у домов и вешали их на ворота или калитку хозяина. Зла на хозяев мы не имели, и все это делалось от избытка сил и удалости, которую не было кому направить по нужному пути. А такие



дела, как налет на базарную площадь, где мы вечером перетаскивали рундуки торговцев с места на место, были уже явным хулиганством.

Залезть в чужой сад не считалось особым грехом. Запомнился случай, когда мы перед походом за грибами решили «посетить» сад Шпаковича в конце нашей улицы. Примкнул к нам и ученик Гомельского техникума Санчик Коржов. Он был несколько старше нас. Старик Шпакович в эту ночь сидел на одной из вишен, и когда мы стали подбирать яблоки, он скатился с вишни и с колом погнался за самым рослым, за Санчиком. Мы, как мыши, кинулись к лазейкам в заборе, которых, как на грех, оказалось немного. Я впопыхах зацепился новыми штанами за гвоздь, но выскочил. Не помню, огрел ли колом Шпакович Санчика, но мне этот случай запомнился надолго.

Среди нашей четверки я был самый старший, несмотря на это свое старшинство я был тихоня и на всякие нехорошие дела шел, скрепя сердце, боясь выказать трусость. Заводилой и инициатором на злые поступки был Павка Вестфаль. Недаром в последствии он стал полицаем у фашистов.

Среди своих друзей я был самым бывалым, а их кругозор ограничивался Сновском. Я им рассказывал о Либаве, о Балтийском море, заграничных судах и даже привирал о своих, якобы, путешествиях в заграничные порты в качестве юнги. Не знаю, верили ли они мне, но в мою любовь к путешествиям поверили. А меня и правда тянуло куда-то поехать, уви-

деть что-то новое.

Поэтому, когда я предложил свой план – на лодке поплыть вниз по реке Сновь до слияния ее с Десной, то он был принят единогласно. В те времена река Сновь была красавицей в полном смысле этого слова. По ее обеим берегам росли деревья, ветви которых купались в воде, и река плавно текла среди зеленых стен. Реку мы знали до села Займища, а тут предстояло увидеть, какая она дальше, как впадает в Десну. Я составил что-то вроде сметы. Каждый из нас должен был что-то готовить: то ли деньги, то ли нескоропортящиеся продукты. Лодку планировалось нанять у одного из машинистов водокачки – у Тышко или Орловского, дававших их напрокат за плату. Расстояние до слияния с Десной было километром 50. В селе Займище была водяная мельница, там нужно было перетаскивать лодку волоком. Предстояли и ночевки на берегу. Спорили о графике ночных дежурств, о порядке работы на веслах и о многом другом.

К сожалению, план этот остался неосуществленным. Неудачи наших войск на войне, дороговизна жизни, назревание каких-то событий поставили перед нами новые задачи, стало не до путешествий.

Мы продолжали дружить, но с каждым днем чувствовали себя все взрослее, наши поступки становились все осмысленнее, и мы уже не позволяли себе совершать многое из того, что еще недавно считалось у нас невинной забавой.

Забегая вперед, скажу, как сложилась судьба троих из на-

шей четверки. Саня Ковальков после института женился на Черняк, у них ребенок, работал Саня в Ленинграде, в блокаду умер, похоронен на Пискаревском кладбище. Аркаша Мышастый после армии женился на Жене Минник, у них дети. Аркадий работал помощником машиниста. У него что-то с глазами, носит черные очки. А вот заводила Павка Вестфаль оправдал свою немецкую фамилию – служил полицаем у немцев, и после войны был сослан в Сибирь.

В конце 1916 года я выгружал из вагона в кладовую свинцовые чушки и надорвался. В левом паху появилась грыжа. С течением времени эта неприятная болезнь развивалась, потому что физическую работу я продолжал выполнять, и вскоре дошло до того, что, идя на обед или с обеда, я по несколько раз приседал на лавочки нашей улицы. Обратился в приемный покой, где первую скрипку в лечении больных играли два известных сновских фельдшера: украинец Серпиченко и поляк Селицкий. Оба они были любители выпить, не чурались получать мзду за врачевание натурой. Но славились как мастера своего дела.

Когда боли стали нестерпимыми, я обратился к Селицкому, и он убедил меня, что в мои молодые годы самое рациональное – это отказаться от ношения бандажа (а я его и не применял), а сделать операцию. Я согласился. В февральские дни 1917 года в Гомельской железнодорожной больнице мне сделали операцию. Оперировал хирург Слоичевский Иван Васильевич. Операция длилась час пятнадцать и была

без наркоза. Я все время спрашивал медсестру, скоро ли будет конец, она успокаивала меня, хотя боль от этого не становилась меньше. Потом приезжал из Сновска отчим навещать меня. Вскоре сняли швы, и я уехал домой в Сновск.

И если я уезжал из Сновска как из одного из многочисленных местечек царской империи, то вернулся уже в Сновск революционный. А как проходил сам процесс, я не знаю. В больнице было спокойно.

Может быть от того, что хирург Слойческий немного волновался в связи с революцией и не все точно проделал с моей грыжей, но после операции у меня что-то оказалось несимметричным, мне казалось, что хирург не все приладил, как нужно. Мне казалось, что все это должно было бросаться в глаза другим. У меня появился ложный стыд, и я стал избегать мыться в бане. Что потом удивляло моих близких.

После операции, да и революция тому помогла, меня уже не загружали тяжелыми физическими работами, и функции мои стали соответствовать должности конторщика. После революции (особенно октябрьской) авторитет рабочего в жизни общества стал главенствующим, в то время как служащим отводилась роль второго сорта.

После революции жизнь в Сновске заметно оживилась. Появились новые запросы и в культурной жизни. Хождение молодежи вокруг церкви – места свиданий, уступило место более массовому развлечению людей разных возрастов. Около кино, называемого тогда «Иллюзион», ходили толпами

взад-вперед, лузгали семечки, что было тогда очень модно. У некоторых любителей этого вида спорта шелуха чуть ли не висела на губах.

«Иллюзион» был около железнодорожного депо вблизи торгового центра Сновска – вытянувшихся в ряд еврейских лавочек. Мы, хлопцы, старались бесплатно попасть в кино, но не всем это удавалось. С таким характером, как у меня, почти не удавалось. Кино начинали крутить после заполнения зала. Вошедшим ранее не терпелось, они стучали ногами, шумели. Контролер – старый еврей, на шум зала реагировал совершенно спокойно, приговаривая: «Головкой, головкой об стену». Публика гоготала и продолжала стучать еще неистовее.

Участились митинги в пожарном сарае в конце Старопочтовой улицы. На митингах выступали ораторы самых разных партий и направлений. Слова и лозунги о свободе, равенстве и братстве не сходили с повестки дня. Устраивались митинги и в депо. На паровоз взбирался оратор и выступал со своей программой. Говорил убедительно, и масса, вроде, сочувствовала и соглашалась с ним, но когда после него выступал более красноречивый и приводил доводы прямо противоположные первому, то и этот был прав! Трудно было разобраться тогда в том, кто прав, а кто нет. А в мои 16 лет, да еще в окружении людей, политические взгляды которых были самые разные, и того труднее!

В конторе участка пути, этом путейском штабе, главен-

ствовало, по началу, старое начальство. А оно не особенно приветливо встретило революцию. Начальник участка Мартынов, например, не постеснялся и спустил с крыльца сторожа Минченко: тот добивался каких-то благ, подаренных ему революцией, а верзила-начальник взял его, малорослого, одной рукой за шиворот, другой пониже и одним махом разрешил конфликт.

Главный над конторскими служащими Стадниченко Иван Иванович тоже был не в восторге от происходивших перемен. Молодые техники Ковалев Николай Александрович и Глущенко Сергей Васильевич, недавно появившиеся в конторе, после учебы интересовались более женским полом, нежели политикой. Недаром же в контору приходил старый еврей с женой и умолял Ковалькова не ухаживать за их молоденькой дочкой Соней. «Она еще дитя, она еще в постели сс-тся», – убеждали старики. Долго потом конторские подтрунивали над Николаем.

Такие служащие как Сирота К.И., Барановский В.Ф. и Утыро В.А. были исполнительны по службе и в политику не вдавались. А дочери зажиточных родителей, такие как Булденко Анастасия, Плющ Ефросинья и Николаенко Наталья, мечтали больше о замужестве, были послушными начальству и предпочитали мещанское благополучие беспокойной новой жизни.

Неудивительно, что я, попав в такое окружение беспартийных служащих, тоже недалеко ушел от них в политиче-

ском развитии.

Да, говорили тогда много. Помню, раз в пожарном сарае происходило голосование по спискам. Раздавали листки – списки кандидатов. Были фамилии под номерами с 1 по 15. Мои родные, кажется, голосовали за номер два, самый модный тогда. Я еще не участвовал в голосовании – был несовершеннолетним.

Обычно после собраний, митингов и прочего устраивались танцы или концерты. В моде была декламация. Читали стихи Апухтина «Сумасшедший», Мережковского «Сакья-Муни», а также «Белое покрывало», «Буревестник» Горького. Около переходного моста выступали приезжие гипнотизеры. Усыпляли наиболее впечатлительных особ женского пола. Были и лекции на разные темы. Веру в Бога поколебали, и я уже не пошел в церковь исповедоваться.

В один из теплых дней 1917 года к перрону станции Сновская на первый путь подкатил состав из классных вагонов. Поезд шел в сторону Бахмача. Еще до приезда стало известно, что едет Керенский А.Ф., и я, как неперменный свидетель всякого рода событий, вертелся на перроне. Пути были забиты составами, набитыми разным людом, среди которого были и мешочники, и дезертиры. И любопытных сновчан собралось немало. Сидели на деревьях, наиболее настырные взобрались на крышу вокзала. Вот прибыл поезд. К тамбуру одного из вагонов подошла делегация от местной интел-

лигенции, возглавляемая старым бородатым врачом Полторацким. Я нырнул под вагон и вылез на буфера между вагонами. Мимо, по откинутой межвагонной площадке, прошел Керенский в своем неизменном френче с карманами, за ним – свита. Характерный ежик, измятое лицо, вид усталый. Не сходя с площадки тамбура, он нагибается, пожимает руки Полторацкому и сопровождающим его членам делегации. Потом – речь. Вскоре поезд отправился, он шел, по-видимому, в Киев через Бахмач. Меня удивила доступность к особе такой личности. Как-никак, если он в то время, может быть, и не был главой временного правительства, то занимал в нем видный пост.

Недалеко от нашей квартиры на Старопочтовой улице жили семьи Колбаско и Табельчука. Высокое крыльцо в доме машиниста Колбаско у нас, хлопцев, называлось «индейским». Почему индейским? Потому что как хозяйева дома, так и вся ватага полуголых, до красноты загорелых мальчишек очень походили на краснокожих Дикого запада, описанных Майн-Ридом. «Хлопцы, пошли на индейское крыльцо!» – такой клич часто раздавался на Старопочтовой, когда была необходимость в сборе.

Однажды (не помню даты) я узнал, что на квартиру Колбаско должен прийти Щорс. Вот он поднялся на крыльцо, вошел в комнату. Память не сохранила подробностей этой встречи, но помню, что Щорс Н.А. показался мне очень вы-



соким. Быть может, он казался таким среди низкорослого семейства Колбаско. Запомнились слишком блестящие его глаза и его борода. Помнится, что был он тогда худой, голос – приятный баритон.

Да, очень беспокойное и богатое впечатлениями время! 1917–1918 годы, меняются разные власти, тут и там гайдамаки и петлюровцы, и вояки гетмана Скоропадского под защитой оккупантов-немцев.

Ковальковы просят спрятать у нас китель подпоручика Ильина Федора, их зятя. Моя мать согласилась, хотя не без опаски. Отчим, возможно, не знал. У нас безопасно, ведь мы же семья пролетарская.

Утро. Я прибежал к реке на «перекоп» купаться. Где-то на лугах в сторону с. Носовки видна толпа, слышно крики, шум. Это самосудом расправляются с конокрадом. Явление довольно обычное в те годы.

Шло время. Уходили красные, приходили разные «самостихийники» с оселедцами на бритой голове, одетые в пестрые наряды, а потом и немцы. И Сновск на несколько месяцев был оккупирован этими новыми властителями.

Ко времени прихода немцев начальника участка Мартынова уже не было на этом посту. По слухам, где-то около Менского моста он был арестован красными и очутился в московской таганской тюрьме. Жена же его осталась в Сновске, оккупированном немцами. Она, по совету и не без рекомендаций Стадниченко И.И., уговорила техника участка

Глущенко Сергея Васильевича отвезти в Москву продукты своему мужу.

Время было такое, что в Москве, в «Совдепии», как выражались недруги советской власти, было трудно с продовольствием, но зато было легче в смысле одежды, а в местах, занятых немцами, наоборот: было сравнительно благополучно с продовольствием, а зато с мануфактурой плохо. Этим пользовались спекулянты, курсировавшие между Москвой и Сновском и переходившие нейтральную зону без особого труда. Сергей Глущенко от своей соседки – многоопытной спекулянтки Игнатъевой и других узнал эти пути и согласился отвезти продукты Мартынову, тем более что жена Мартынова обещала достать официальный немецкий пропуск через границу. Но немцы, верные своей аккуратности, разрешали провоз одним человеком определенного количества продуктов, и дабы перевезти их побольше, Глущенко подговорил меня ехать с ним. Я поговорил с матерью. Решили, что одежда моя настолько ветха и требует замены, и приобретение новых штанов стало задачей первейшей важности. Слухи же о спекулянтах даже мою мать убедили в безопасности такого путешествия. К тому же соблазняла перспектива побывать в таком огромном городе как Москва. А узнавать новые города, новые места я любил.

Жена Мартынова добилась пропуска, и вот мы – Сергей Глущенко и я, нагруженные продуктами в пределах дозволенного немецкими правилами на едущую в «Совдепию» ду-

шу, в начале октября 1918 года выехали из Сновска. Мино-  
вали Гомель, Могилев и прибыли на Оршу-товарную. Подо-  
шли к границе. После проверки документов и багажа тол-  
стый пограничник-немец, стоявший у начала нейтральной  
зоны, огороженной рядами колючей проволоки, скупающим  
взором проводил нас, и мы некоторое расстояние шли сами.  
Потом советский пост, проверка, и мы идем на станцию Ор-  
ша-пассажирская. На вокзале сутолока, люди лежат на полу  
в ожидании поезда. Мы в железнодорожных фуражках. На  
наших железнодорожных удостоверениях немцы поставили  
штамп, в переводе на русский означавший, что нам разре-  
шили переход в сторону Советской России без права обрат-  
ного перехода границы.

Приехали в Москву, нашли родственников Мартынова,  
живших где-то недалеко от Большого театра. Глава семьи,  
инженер Федоров, служил в Управлении железной доро-  
ги. Жена его, брюнетка со впалой грудью, выглядела боль-  
ной. Были еще какие-то лица. Квартира была большая, из  
нескольких комнат, обстановка хорошая. Как тогда было  
принято говорить – квартира была буржуйская.

Даже Сергей Глущенко заметно растерялся, присмотрев-  
шись к этикету и взаимному общению, царившему в этой се-  
мье. Как никак, он хоть и окончил Гомельское среднетехни-  
ческое училище, был все же сыном сторожа депо Сновск и  
вырос в семье, далекой от манер высшего общества. Но Сер-  
гей быстро освоился с новой обстановкой и навел свой кур-

носый нос на нужный курс, и сносно общался с хозяевами. Неудивительно, он был постарше меня, имел среднее образование, и парень был оборотистый. Я по мере сил и способностей старался не делать и не говорить лишнего, держать себя «на уровне». Не знаю, насколько мне это удавалось, ведь я по натуре не очень разговорчив, а в ту пору развитие мое недалеко шагнуло. У этих моих временных хозяев хватало такта обращаться со мной не как с существом низшим, а как с равным, и о них у меня остались теплые воспоминания.

Я ходил по Москве, не слишком удаляясь от квартиры. Уже начало холодать. Москва мне показалась какой-то малолюдной. Правда, Сухаревка, куда я ходил с Сергеем, шумела от множества людей. На Сухаревке я купил себе штаны и какой-то вязаный свитер. И то, и другое оказалось с браком. Да, сухаревские молодчики работали ловко, и такого растяпу, как я, им ничего не стоило обмануть. 10 октября 1918 года я сфотографировался у фотографа около Охотного ряда.

Шли хлопоты об освобождении из Таганки Мартынова, и вот, однажды утром я увидел его, исхудавшего, с густой черной бородой, вышедшего из спальни. Изменился здорово! Он поздоровался со мной. Как оказалось, его освободили за недоказанностью обвинения.

Мое дальнейшее пребывание в этом доме стало излишним. Кормить 17-летнего здорового парня при нехватке продовольствия было неразумно. Appetit у меня был, а на кухне поживиться было нечем. Получив на память фотокарточ-

ку Мартынова П.Н., попрощавшись со всеми, я ушел от них, чтобы никогда уже больше не встречаться. Кое-что из мелочей они передали жене Мартынова в Сновск.

Сергей Глущенко привез меня на Брянский вокзал, где сразу же встретился и расцеловался со своей соседкой Игнатьевой и другими знакомыми сновскими спекулянтами, передав меня с рук на руки и взяв с них обязательство доставить меня в Сновск живым и невредимым, он ушел. Когда я остался один, мне стало как-то не по себе. Кроме небольших денег, покупок, которые я надел на себя, и мартыновских мелочей у меня было лишь удостоверение личности с немецким штампом, запрещающим обратный въезд в Сновск.

Я по пятам следовал за сновчанами. Сели в поезд. Важно было найти место в поезде внутри или снаружи. Что касается билетов, то эта формальность была тогда необязательна. Приехали в Брянск и двинулись дальше в сторону хутора Михайловского. Доехали до станции Зерново. Перед толпой жаждущих попасть в оккупированную Украину стоял, размахивая маузером, огромного роста комиссар-матрос. Из его немногословной речи мы, желающие перемахнуть через нейтральную зону, поняли, что если нам это и удастся, то только не в зоне, подвластной этому матросу.

Приуныли даже мои бывалые сновчане. Обо мне и говорить нечего. Посовещавшись и не дожидаясь, пока матрос осуществит свое намерение заставить нас где-то полезно поработать, мы заполнили товарный порожняк, шедший

в Брянск. У моих бывалых сновчан была еще одна лазейка.

Из Брянска доехали до станции Песчаники – последней советской станции в сторону Унечи. Перед вечером вереница спекулянтов двинулась в сторону нейтральной зоны. Перешли по колено в воде неширокую, но быструю речку, и вскоре подошли к деревне. Нас окружили советские пограничники. Не знаю, были ли они действительно пограничниками или это были партизаны, но особых претензий к нашим особам они не предъявляли, документами не интересовались, а больше их волновал багаж каждого.

Один из «братишек» заинтересовался, почему я в двух штанах, и уже завел речь, что, де, одни штаны нужно снять. Его товарищ оказался более сердобольным и, определив на ощупь некачественность моих штанов, купленных на Сухаревке, отговорил своего товарища, и штаны остались на мне. А вот баночки резинового клея и еще какую-то мелочь, переданную Мартыновым жене, у меня отобрали.

Из этой деревни уже темной ночью шли пешком до города Клинцы, так и не встретив нигде немцев. На станции Клинцы залезли в товарный вагон и добрались до Сновска.

Самое странное в этом походе было то, что закоренелые спекулянты сумели пронести через зону вещи намного ценнее, чем отнятые у меня баночки с клеем.

В Сновске все рассказал, как сумел, о своем путешествии. С чувством какой-то вины рассказал об отобранном клее, может быть даже, что не поверили мне. Дома при вниматель-

ном рассмотрении купленных мною вещей нашли много дефектов в штанах и поеденные молью дырки в свитере.

Сергей Глущенко вскоре тоже вернулся в Сновск, а вот каким путем – не знаю.

Уже после моего возвращения из Красной Армии я узнал о трагической гибели С.Глущенко. в 20-е годы он лежал в вагоне на второй полке, внизу под ним сидел как-то разгильдяй-вожак с винтовкой, нечаянно выстрелил, и Сергея не стало. В те дни события настигали каждого неожиданно.

Помню, раз очутился я в квартире дома напротив вокзала, недалеко от конторы пути. Перейти пути и побежать домой помешала стрельба. Я забился под лестницу двухэтажного дома, в котором жил начальник станции Сновская. И вдруг, ужас! С винтовками наперевес в дом ринулись немцы. От страха все похолодело внутри, но немцы меня не тронули и побежали на второй этаж.

Помню, на нашей Старопочтовой улице один из хлопцев с винтовкой добежал до начала улицы и пальнул вверх в сторону пожарного сарая, после чего – галопом обратно. Около пожарного сарая невозмутимо стоял толстый немец в каске и никак не реагировал на выпад этого хлопца. Он, как видно, не принял его за достойного противника.

С приходом к власти Скоропадского и немцев участок пути, да и все службы продолжали функционировать. Стали появляться журналы, пахнущие какой-то противной краской. Служащих контор заставили учить «рідну мову», и я

немало преуспел в овладении этим языком. На квартиру к нам поставили немцев. Но вели они себя в те времена культурно и не бесчинствовали.

Во второй половине 1918 года в один из зимних дней в нашей семье появился Леонид.

В начале 1919 года в один из зимних дней завязалась перестрелка. Немцы отступали в сторону станции Низковка, эшелон красных двигался со стороны Гомеля к станции Сновская. Пулеметные очереди полоснули по некоторым постройкам Черниговской улицы. На переходном мосту через пути в железной балке появилась дырка от снаряда. Около магазина убили еврейку Злату и еще кого-то.

Вся наша семья, забрав что поценнее и закрыв квартиру на замок, побрела в село Турью в 7 километрах от Сновска. В Турье, примечательной, между прочим, тем, что была заселена в своем большинстве жителями с фамилией Мороз, мы прожили несколько дней, пока в Сновске не установилась советская власть. Первыми вернулись отчим – в депо и я – в контору пути. Потом появились остальные.

Началось освобождение Украины. Семья наша уже составляла девять душ. Положение с продовольствием усложнялось. Да и не только с продовольствием – не было мануфактуры, обуви. Ходили на модных тогда деревяшках. Зарплата, получаемая отчимом и мной, почти не имела никакого значения. Фактически мать держала семью. Она покупала на бойне всевозможные внутренности – «вонторбы»: лег-



кие, печенку, сердце и прочее; все это варила, кормила нас и носила к поездам продавать. Поезда были многолюдные, покупатели расхватывали товар, частенько воруя у матери ее нехитрые изделия.

На освобожденную Украину потянулись за хлебом массы людей. Среди них много спекулянтов – людей, сделавших наживу за счет чужого горя своей профессией. Поезда ехали перегруженные: ехали люди на крышах, меж вагонов, даже под вагонами, где только можно примоститься.

На крупных пунктах, таких как Ромны, Бахмач создали «заградилочки», в задачу которых входила борьба со спекуляцией. Но не все благополучно было в этих органах, и часто крупные спекулянты благополучно обходили эти заграждения, а бедняки лишались своего с трудом выменанного хлеба или соли и являлись к семье с чувством злобы на всех и вся.

Поезда из-за нехватки топлива становились в пути, пассажиры выходили, пилили дрова и поезд шел дальше. Путь был разболтан, было много крушений. Помню крупное крушение около переезда Бурачихи в Сновске, когда поезд наскочил на встречный. Около «соколки» под Гомелем на боку лежали паровозы. На одном из них убит машинист Якубайтис.

Не помню точной даты, но запомнилась поездка в Тихоновичи по узкоколейной железной дороге. Путь был до того разболтан, что беспрерывно платформы сходили с рельс, и мы на ходу соскакивали, рискуя получить увечья.

Отчима, как рабочего депо, и, вероятно, учитывая его причастие к забастовке 1905 года и усердную работу по ремонту паровозов, направили на работу в Бахмач в ЧОН – часть особого назначения, так называлась одна из отраслей ЧК. Не знаю, было ли это делом добровольным, или он был на это мобилизован, но он, как видно, был не прочь «отдохнуть» от забот о своем большом семействе, и, сидя в Бахмаче на новом поприще, нечасто интересовался семьей. Впрочем, тенденция быть подальше от семьи наблюдалась за ним и в 30-е годы, когда он тоже рвался подальше от дома в Спас-Деменск. Не знаю, что он полезного сделал в Бахмаче, будучи в ЧК, но вскоре вернулся в Сновское депо.

Мать редко ездила на Украину. Запомнился случай, когда она и я сошли на станции Глобино, не доезжая Кременчуга. На станции с большой жадной и жадностью мы распили по глечике (прим. – кувшин) настоящего холодного, кипяченого молока и пошли вправо от пути. Жара, людей почти нет. Мы идем посреди улицы. В руках у нас товар для обмена: сковородки, вилы, еще какие-то хозяйственные мелочи. Деньгами «хохлы» не интересуются. У толстого дядьки, по комплекции схожего с Гоголевским Пацюком, глотавшим вареники, который сидел на лавочке в теньке около хаты и дремал, мы и совершили обмен. Обратились радостные с пудом муки у каждого за плечами и еще кой-какой мелочью в руках.

Теперь была задача все это доставить в Сновск – впер-

ди «заградиловки» в Ромнах и наиболее страшная в Бахмаче. Но, к счастью, Ромны проследовали благополучно – был какой-то шум и крики на перроне, но из вагона нас не выгнали, и мы уехали в Бахмач. В Бахмаче была стрельба на перроне, в вагон к нам залезли несколько человек из «заградиловки», кое-кого высадили. Мать очень испугалась, когда один из заградиловцев то ли в шутку, то ли всерьез спросил: «А что, мать, соли много везешь под юбкой?». «Да нет, товарищ, нет», – пролепетала она бледная, и вздохнула, когда он оставил ее в покое. А ведь у матери было фунта три соли подвешено под юбкой! Просто не верится, как тогда дорого ценился этот немудреный продукт – соль. Но мать ездила за хлебом очень редко, я чаще.

Помнится, очень нас потешал маленький Сашка Никитин. Он был так мал, что свободно помещался в футляре большого фонаря впереди поезда. Но, как говорят: «мал золотник, да дорог», – поездки его за хлебом всегда были успешными. Впоследствии он стал видной личностью – занимал пост начальника Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Подрос он мало, но зато раздался вширь. По-видимому, его малый рост немало досаждал ему – обычно большие начальники бывают солидными, рослыми, с комплекцией, внушающей уважение.

Поездки были нелегкими. Когда в вагонах и на крышах уже не находилось места, то мы осаждали тендер паровоза и его левое крыло (правое – машиниста, всегда было свобод-

но), или переднюю его часть. Конечно, зимой наиболее желательным было левое крыло, было приятно от тепла, исходящего от котла. А вот ехать на тендере зимой, когда с трубы паровоза летят многочисленные искры, попадают тебе на одежду и в глаза – не пожелаю врагу своему!

Однажды, укрепившись ногами на задней площадке тендера, я одной рукой за что-то держался, а другой отмахивался и гасил искры на пиджаке. Мой пиджак на вате местами начинает загораться, и уже одной рукой не отбиться от искр. Кое-как укрепляюсь ногами на площадке и работаю двумя руками, но чувствую, что силы иссякают – загораюсь. Лезу на верхушку тендера и скатываюсь к топке. Видно, слишком мученический вид я имел, если даже суровый кочегар, которому и без меня много было мешающих работать, смилостивился и не погнал меня наверх тендера. Да, только молодость могла противостоять таким «комфортабельным» поездкам.

В одну из поездок в Кременчуг я привез, кроме соли, тиф. Тиф был возвратный и отличался своим коварством от других видов тифа. Когда после первого приступа с высокой температурой и кризиса наступило облегчение, и я вышел на крыльцо на свежий воздух, то на следующий день начался второй приступ, поваливший меня в постель до очередного кризиса. Таких приступов было четыре, и они немало подорвали мое здоровье.

Домашние условия гигиены у нас были не ахти какие. Скупенность, нехватка белья и прочего создавали условия

для размножения разных паразитов. Давили клопов, убивали вшей и быстриногих блох.

Мать была занята своей «коммерцией» с требухой у поездов, и ее основной задачей было прокормить наше немалое семейство, обладавшее завидным аппетитом. Конечно же, у нее не было ни сил, ни времени содержать дом в нужной чистоте. Эта на редкость трудолюбивая, выносливая женщина всю себя отдавала безропотно и самоотверженно на благо своих близких.

Не помню, заразил ли я тифом других членов нашей семьи, и если нет, то это было просто чудом...

В конце 1919 года я был взят на учет по всеобучу. Коснулось это дело и отчима. Мне было 18 лет, отчиму 36. Нас выстроили на площади товарного двора станции Сновская. Скомандовали рассчитаться на «первый-второй», и началось наше обучение военному делу. Для меня в мои 18 лет это было первое приобщение к военной премудрости, не считая участия в рядах «потешных», но и для отчима тоже – он на военной службе не был, возможно, как один сын в семье. Учили нас недолго, но маршировать я выучился еще до призыва в Красную Армию.

Шло время. Я рос и мужал, как и все мои друзья. На смену детским и юношеским понятиям и шалостям, когда мы, мальчишки, чуть ли не презирали женский пол в лице девочек, дергали их за косички и всячески старались обидеть их и тем показать свое мужское преимущество, пришло нечто

новое, что заставило нас увидеть их другими глазами.

И уже часто я во сне стал видеть хозяйскую дочь Валю Аникеенко, а наяву старательно искать встречи с нею. Недостатки ее, которые я еще недавно подмечал, теперь не замечались мною и вскоре превратились в достоинство.

Но Валя относилась ко мне с полным безразличием. Она дружила с Лидой Заровской, жившей на квартире у Аникеенко. Между прочим, мать Лиды вела довольно темный образ жизни, не всегда соблюдала супружескую верность и т. п. Дочь Лида поневоле переняла некоторые черты своей матери и кое в чем подражала ей. Валя, Лида и их подружки любили танцы и другие развлечения. Потом они стали комсомолками...

Конечно, я со своей невзрачной фигурой и с еще незабытой репутацией путейского «подметайлы» и рассыльного ничем не мог прельщать кружок этих девиц. И Валя, и все они заметно льнули к кареглазому моему другу Сане Ковалькову, который уже учился в Гомельском среднетехническом училище. Среднетехник и конторщик – конечно же, девицам по душе было первое.

И я вскоре понял свою ошибку – первая любовь не удалась. Выкрыв у Вали ее фотокарточку, адресованную какому-то Антону, и получив от нее фотоснимок 1919 года с надписью «надоедливому другу Саше», а также ленточку с вышитыми буквами «не забудь», я нашел другой объект обожания. Через улицу, в семье поездного машиниста Ботина,

мужчины маленького роста, жила их дочь Рая. Ростом она удалась в папашу. У Раи была небольшая собачка, которую звали Пупсик. Маленькая Рая со своим крохотным Пупси-ком быстро намозолила глаза досужим хлопцам, и они, без особого зла, кличку собаки присвоили и ее хозяйке. Так, за Раей утвердилась кличка «пупсик».

Мое увлечение Раей было более серьезным, чем Валея. Да и она относилась ко мне не совсем безразлично. Через своего брата Ивана я передавал ей записки, получал ответы. Свидания состоялись у калитки ее дома, но и до свидания я долго простаивал на крыльце своего дома и глядел на окно Раи, которая то появлялась в окне, то уходила, чтобы через несколько минут опять маячить в окне. Так происходила наша безмолвная игра в прятки, и, видимо, Рае эта игра нравилась. А когда наступал вечер, я неизменно оказывался на лавочке у дома, где жила Рая. Однажды мы сидели рядом, и я в порыве нежности взял ее руку и поцеловал. Это был чуть не подвиг с моей стороны – до того я был не смел с женским полом. Позднее я осмелился до того, что однажды зашел на квартиру к Ботиным и был приветливо встречен Раиной мамашей, но это посещение было единственным. Потом, когда Рая стала учиться в Гомельской гимназии и наезжать в Сновск только по воскресеньям, наши свидания стали редкими, и их, отчасти, заменила переписка. Я с нетерпением ждал от нее ответа на свои письма, а получив ответ, по многу раз его перечитывал.

Рая научила меня смотреть на небо, познакомила с главнейшими созвездиями и звездами, с учебником Фламариона по астрономии. А однажды она привезла из Гомеля стихотворение С.Есенина «Я часто думаю, за что его казнили». Это был стихотворный ответ Есенина Демьяну Бедному на его «Евангелие без изъяна евангелиста Демьяна», которое печаталось в газете «Беднота». Естественно, ответного стихотворения Есенина в газетах не печатали, и в среде учащейся молодежи он ходил как нелегальный, писанный от руки. Стихи эти я знал наизусть.

В 1919 году подарила мне Рая свою фотокарточку с нежным заголовком на обороте «Шурочке».

Шло время. У Раи появились новые поклонники, такие, как Соколов, Круковский Юльян, с которыми я не мог соперничать ни по развитию, ни по внешнему виду. Наша разобщенность, а также и появление у Раи новых поклонников привели к тому, что ко времени мобилизации меня в Красную Армию мое увлечение заметно остыло, и зачатки любви перешли в дружбу.

Помню, как в один жаркий день 1920 года мать обнаружила пропажу своего 4-х летнего сыночка Коли. Мы забежали по ближайшим дворам нашей улицы, а потом и по другим улицам. Спрашивали у встречных, давали описание этого беглеца, вся одежда которого состояла из длинной рубашки, доходящей чуть не до земли. И, наконец, нашли... В селе Носовка, что в двух километрах от Сновска. Он спокойно



продолжал бы свой путь и далее, но мы его догнали и прервали это безмятежное путешествие.

После Мартынова П.Н. начальником участка пути стал Станкевич В. Он старый холостяк, любит ругаться, причем его крепкие выражения доходят до слуха конторских барышень, которые терпеливо мирятся с этим чудачеством нового начальника. Впрочем, не все. Счетовод Наташа Николаенко однажды осадил его, заставив извиниться и за выпущенный мат, и за «тыканье». Станкевич даже несколько опешил, получив отпор, но потом весело захохотал и извинился. Он любил выпивать, и было в нем что-то солдафонское, хоть был он из старых инженеров.

Сначала помощником начальника, а потом и временным начальником был недавно присланный молодой инженер Павел Петрович Лихущин. Молодой человек, блондин с вьющимися волосами и небольшими светлыми усиками держался скромно, в нем чувствовался интеллигентный человек. Из политсостава запомнился мне толстенный блондин Борейша с постоянной улыбкой на лице и черноволосый высокий Вася Лобанок.

Середина 1920 года. Я по-прежнему конторщик 5-го участка пути. Идет война с белополяками. На доске около дежурного по станции появились печатные сводки о положении на фронте. Станция всегда забита эшелонами. Люди едут на крышах, на буферах, где только можно прилепиться. Беспорядочные пристраиваются в таких местах, что диву

даешься, как они не гибнут по ходу поезда. Комиссар Горбач, охрипший от крика, стаскивает с крыш вагонов мешочников.

Канторой заправлял по-прежнему И.И. Стадниченко. Он искусно лавировал, приноравливаясь к новым властям и новым начальникам. Был в большой дружбе с государственным контролером Михеевым М., сохранившим этот титул и при советской власти. Этот Михеев был оригинальной фигурой. Брюнет с вечно включенными волосами, глаза навывкате, сам толстенный, коротконогий, в сапогах гармошкой, со свисающими на них широкими шароварами, с большим портфелем подмышкой – он был похож на Колобка, и одним своим видом вызывал улыбку у встречающих.

Мне частенько приходилось носить ему бумаги на квартиру в конце Песочной улицы. Дверь мне открывала миловидная женщина-блондинка. Когда я приходил рано и «барин еще не встали», я дожидался в передней. Блондинка эта, как рассказывали, была австриячка и жила у Михеева как экономка. Невольно я думал: «Надо же, такая симпатичная женщина и живет с таким уродом». Наверно, горе заставило ее пойти на такое.

Был у нас в конторе теплый ватерклозет (как теперь называют санузел), и Михеев частенько чуть ли не ежедневно заглядывал к нам, чтобы пользоваться им. Бросит портфель на столе Ивана Ивановича, возьмет книгу, газету и сидит там. Канторские бегают – занято. И когда узнают, что сидит Ми-

хеев, то бегут на станцию, благо, она недалеко. А Михеев, на-читавшись вдоволь, забирал свой портфель и уходил, не заикнувшись хотя бы для приличия о цели своего посещения.

Иногда Михаил Васильевич – так, кажется, звали Михеева, в чем-то не соглашался с Иваном Ивановичем, но тот всегда его умел убедить, и штамп «проверено» ставился на спорную бумагу. У Михеева была печатка-факсимиле его подписи «Михеев», и он редко сам подписывал свою фамилию, почти всегда используя штамп.

Девицы: Наташа Николаенко, Плющ Проня, Буледенко Анастасия (Туся), и мужчины: Витольд Абрамович Утыро – холостяк, Сирота Кузьма Иванович – старый холостяк, Василий Федорович Барановский – это основные работники конторы, ну и я среди них.

В техническом отделе: Николай Александрович Ковальков – старший брат моего друга Сани, покоритель женских сердец, Сергей Васильевич Глущенко – курносый, по кличке друзей – «курский соловей», и Приходько Данила – долговязый парень с кучерявой черной шевелюрой. Это «среднетехники». Они после работы волочатся за бывшими гимназистками и за молоденькими евреечками. Коля Ковальков прихлестывает за племянницей начальника депо Грузова – Верой. Позднее я узнал, что он на ней женился. Всякий раз, когда я слышу арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст», я вспоминаю Ковалькова. Это была его любимая мелодия, и он ее часто напевал.

Нельзя не вспомнить Александра Пахомовича Савенкова, занимавшего пост смотрителя зданий. Небольшого роста, с задатками большого облысения он в техническом кругу участка почитался как хороший математик. Был немногосуетлив, но скромнен до предела. Его жена, учительница Ольга Ардалионовна, худощавая высокая женщина, пользовалась почетом как в своем учительском коллективе, так и среди родителей. Детей у них не было.

Как-то незаметно начала распадаться наша дружная четверка. Первым «оторвался» Саня Ковальков, поступивший в среднетехническое училище в Гомеле. И когда мы в феврале 1920 года решили сфотографироваться все вместе, то осуществили это без Сани – он был в Гомеле. Впрочем, он особенно не стремился к этому, и мы решили, что он зазнался. В 1920 году, когда мне было около 19 лет, а им по 18, дружба наша заметно пошла на убыль. Саня учился, Аркадий и Павка тоже чем-то стали заниматься. Игра в карты, в «дурака» и «воза» почти прекратилась, как равно и возня с камнями, которыми мы развивали и демонстрировали свою силу. Я уже стал членом железнодорожного союза.

В конце августа 1920 года, когда мне исполнилось 19 лет, я получил повестку от военкомата явиться в Городнянский уездный комиссариат. Меня призвали в Красную Армию. Работники конторы участка пути сочувственно отнеслись к моему призыву в армию. Организовали сбор средств в мою пользу. Деньги тогда не имели большой ценности, но дорого

было само внимание. Из железнодорожников Сновского узла я был единственным 19-ти летним парнем, призываемым в Красную Армию. Не знаю, из каких соображений меня призывали, во всяком случае моих одноклассников в Сновске пока не трогали. Может быть, тут свою руку приложил профсоюз, членом которого я стал, и профсоюзники выделили меня для выполнения плана, который должен был быть выполнен. Не знаю. Но несколько позже я убедился, что да, действительно, меня призывали не совсем в соответствии с законами, действовавшими в те времена на Украине.

23-25 августа 1920 года я был в Городне. В Городнянском уездном военкомате врачебная комиссия, осмотрев меня и выслушав мое заявление о перенесенной операции, определила меня в нестроевые и дала направление в Киев. На комиссии я несколько покривил душой, сказав, что послеоперационная грыжа меня иногда беспокоит. На самом же деле я об операции давно забыл и свободно бегал, поднимал гирию в два пуда правой рукой десять раз подряд, а левой два раза. Поднимался на руках по лестнице на второй этаж, а также лазил по веревке. По-видимому, комиссия из-за перестраховки определила меня в нестроевые.

Проводы были более чем скромные. В теплый осенний день 4 сентября 1920 года я вышел из дома. На мне была гимнастерка, штаны навывпуск, на голове выдавшая виды форменная фуражка с еле державшимся козырьком. На ногах старые материны ботинки на высоких каблуках (до этого я

ходил в самодельных деревянных сандалиях). Взял я с собой также какое-то подобие старой шинели – она была обрезана выше колен. В руках у меня мешок с мелочами. Меня провожает мать. У матери слезы, капают они и у меня. Мать что-то шепчет, кричит... и прощай, отчий дом, прощай, Сновск! Начинается новый этап на жизненном пути.

## **1920–1924 гг. Красная Армия**

В древний красавец Киев я приехал 6 сентября 1920 года.

Уже в Дарнице видишь его величие и громадность. Над Днепром высятся золотые купола Киево-Печерской лавры, виден цепной мост, лысая гора.

В Управлении формирования войск 12 Армии, сокращенно «Упраформ-12», куда я явился, меня расспросили, кто я и что я, где работал до призыва, где учился и т. п. Я рассказал о себе, о своей конторской специальности, и меня зачислили в резерв специалистов. Под жильем этим резервистам были выделены номера в огромном шестиэтажном здании гостиницы, расположенной недалеко от Крещатика на Бибиковском бульваре.

В Киеве царил какой-то настороженный дух. Он был недавно, в июле месяце, освобожден от белополяков, и советский дух еще не укрепился в этом огромном городе. К тому же, ко времени моего появления в Киеве наши войска, успешно продвинувшиеся чуть ли не до Варшавы, начали отступать,

и положение на польском фронте обострилось и становилось угрожающим.

Поболтавшись несколько дней по Киеву и не совсем уютно себя чувствуя в прохладных комнатах, я начал тяготиться своим неопределенным положением. Сухой паек, выдаваемый авансом на будущие дни, я быстро поедал. Паек и так был не ахти какой, много меньше аппетита, из дома мне продуктов дали только на проезд, денег мало, и потому, когда мне объявили о новом назначении в город Малин, то я был даже доволен. Правда, назначение меня в кавалерийский полк было колкой неожиданностью и немного пугало. Ведь с лошадьми я дела не имел и наблюдал их только запряженными в городские извозчичьи экипажи. Ездить верхом не пробовал и не умел. Поэтому, когда я в Малине представился какому-то небольшому кавалерийскому командиру, то он, осмотрев мою исхудалую, невзрачную фигуру и услышав мой робкий лепет, пробормотал что-то вроде: «Ну и пополнение шлют», и уже громко спросил меня: «Ты коня видел?». Я растерянно подтвердил, что видел.

– А обращаться с ним, конечно, не умеешь?

– Нет, – отвечаю.

– Ты что ж, городской будешь?

– Да, – ответил я и коротко ознакомил его с моей биографией железнодорожного конторщика.

Он покачал головой, подумал и спросил:

– По письменной части, значит? Вот, тут у нас должна

проводиться перепись населения и красноармейцев. Возьмешься за это дело?

Мне ничего не оставалось делать, как согласиться.

Меня поставили на квартиру у старого еврея с женой. Я стал разбираться в бумагах, присланных для переписи. Но, покопавшись дня три, заболел. Едучи в Малин в товарном вагоне, я простудился. Когда оправился, меня как бывшего железнодорожника направили в распоряжение 3-ей железнодорожной бригады, а оттуда в 23-й железнодорожный дивизион на станцию Ровно.

И я стал колесить по линии: Боярка, Фастов, Бердичев, Шепетовка. Эти места описаны в романе «Как закалялась сталь», где год спустя трудился на лесозаготовках Павка Корчагин. В Казантипе у меня украли ремень, когда я задремал на полу на вокзале.

Комендант в Шепетовке информировал, что в Ровно идут бои, и ехать туда нельзя. На уходящий в сторону Ровно поезд меня не пустили. По сведениям коменданта, 23-й железнодорожный дивизион находится где-то в районе Коростеня. Я покатию в Коростень. Миновали Новгород-Волынский, расположенный вдали от вокзала. Видна река Случь, протекающая около города. И вот, Коростень, забитый эшелонами. На вокзале, битком набитом людьми, не протолкнуться. У дежурного узнаю, что состав 23-го желдива где-то на путях. Пролезаю под вагонами и нахожу состав с классным вагоном. Это штабной вагон. Представляюсь черноволосому, вы-



сокому, с военной выправкой делопроизводителю по строевой части Гоняеву.

Я назначаюсь с 20 сентября 1920 года конторщиком службы тяги, иду в товарный вагон тяговиков. Нар нет, располагаюсь прямо на полу, подостлав свою знаменитую полушинель. В вагоне меня встретила жена одного из машинистов, Солдатова, что меня крайне удивило – воинская часть и вдруг женщина! Покажется странным, что некоторые военные железнодорожники (особенно комсостав) были в армии с семьей, но тогда все было в стадии становления, и даже точных сроков службы не было. Я, например, был в армии три года и семь месяцев.

Шла война с белополяками и Врангелем. Подходили к концу три года гражданской войны, а когда она закончится – было неизвестно. Человеческая природа диктовала свои законы, и люди, как умели, устраивали вою личную жизнь, и несмотря на формальный запрет, кое-как пристраивали в частях своих жен-подруг.

Железнодорожные войска в те времена играли немалую роль. Гражданская война велась в основном вдоль линии железных дорог, и войска перевозили железнодорожным транспортом, если не считать знаменитый рейд Первой конной армии С.М. Буденного. Для быстрого восстановления поврежденных железных дорог, мостов, а также эксплуатации их нужны были военно-железнодорожные части вместо разбежавшихся коренных железнодорожников. Военно-железно-

дорожные части были построены по общему принципу распределения функций в гражданском аппарате железных дорог. Штабы частей представляли как бы управления, участки, дистанции и делились на службы. В желдивизионе была служба тяги, движения, связи. Соответственно, были и начальники служб. Например, начальником службы тяги был небольшого роста чернявый, худенький человек по фамилии Шпрингер. Были свои машинисты, кочегары, смазчики, дежурные по станции, телеграфисты и пр. Были свои паровозы. При штабе 23-го желдивизиона был могучий красавец с резким гудком, сзывающим нас перед отправлением, серии ЭХ-1427.

И когда 22 сентября 1920 года наш эшелон выбрался из забитого составами Коростеньского узла и доехал до уже знакомого мне Малина, то я издали мог наблюдать наш дивизион во всей его красе и мощи. Длинный состав из товарных вагонов, нескольких платформ, с классным пульмановским вагоном в середине состава, возглавлялся красавцем-паровозом ЭХ-1427. Под теплушкой командира дивизиона Чернозатонского – ящик для поросят, курей и прочего хозяйства.

Командир Чернозатонский Леонид Николаевич – высокий, худощавый мужчина, любивший ходить в черной кожанке, был, говорили, из старых офицеров. Он жил с женой в отдельной теплушке. Детей у них не было. В качестве денщика был у них глухонемой, подобранный где-то на прифрон-

товой полосе. Глухонемой обслуживал хозяйство, отапливал вагоны.

В Коростене мы простояли несколько дней, и я более детально ознакомился с этим городом, еще хранившем следы недавно прошедших военных действий. Тут проскакала 1-я конная армия С.М. Буденного. Недалеко от вокзала – мост через реку Уж, которая и вправду, как уж, извивается среди каменистых ущелий.

Я заметил поговору и повадкам, что в дивизионе преобладают русские. И эти коренные русаки никак не соглашались с моей фамилией Мороз. А упрямо называли меня Морозовым. Первое удостоверение, выданное мне как конторщику службы тяги, было на имя Морозова. Так же моя фамилия писалась и в красноармейской книжке. Лишь спустя некоторое время я восстановил свою настоящую фамилию Мороз.

Из Коростеня мы выехали в конце сентября 1920 года. Для меня началась жизнь на колесах: сегодня здесь, завтра там. В Святошино прибыли второго октября, а до этого по одному-два дня стояли чуть ли не на всех станциях между Коростенем и Святошино. Каждый день новое место. А затем до конца ноября наш эшелон гоняли по окраинам Киева: станция Святошино, пост Волынский, хутор Грушки, Монастырский тупик, Русановский мост. Все это под боком у Киева.

Конечно же, в свободное время и в дни, когда не ожидалось передвижения нашего эшелона, я бродил по Киеву. Хо-

дил пешком, потому что ездить на трамвае не всегда удавалось – до того они были переполнены. Обмундирования мне пока не дали, кроме, кажется, гимнастерки и шинели, и я щеголял в своих ботинках на высоких каблуках. Однажды я ехал на трамвае до Святошина. Одной ногой мне удалось встать на подножку, другая свободно болталась в воздухе. Вдоль линии были натканы столбики, и один из них задела моя висячая нога. Каблук отлетел, как ножом срезанный. Мне повезло – могло ранить ногу. От остановки до эшелона я шел, прихрамывая на левую ногу. Позже я срезал второй каблук, как только раньше не сообразил сбить оба!

Пешее хождение нагоняло чудесный аппетит, а кормили неважно. И я постоянно испытывал желание поесть. Даже после обеда. Жалованье мое 2400 рублей в месяц хоть и выражалось в тысячах, но на него мало чего можно было приобрести.

Ходил по красивым гористым улицам города, на Батыеву гору, Подол. По Крещатику мимо «бессарабки» (прим. – историческая местность в Киеве – Бессарабская площадь с большим рынком) к Лукьяновской тюрьме. Был около арсенала. И, конечно же, побывал в знаменитых киевских пещерах. Монах предложил снять головные уборы. Сначала, когда толстый монах ввел нас в лабиринт и для эффекта потушил свечу, стало страшновато. Потом зажег свечу и начал пояснять и показывать ниши, где лежат или лежали мощи какого святого. Дело в том, что после взятия Киева наши-

ми немало мощей поплыло по Днепру. Причем, как писали газеты, мощи были набиты всякой всячиной и без костей. Пещеры невысокие и узкие, через небольшие промежутки устроены ниши с мощами. Во дворе Лавры много богомольцев, особенно женщин.

С Владимирской горки любовался видом на Подол (прим. – историческая местность в Киеве, простирается вдоль правого берега Днепра) и Днепровские дали, а потом спускался к месту крещения Руси в 988 году.

Понято, что хождение мое ускорило износ моих ботинок, недавно претерпевших серьезную травму от потери каблучков, и они не только «просили каши», но и вообще просились на отдых в утиль. И когда мне выдали новенькие лапти, то я навсегда расстался со своими, верно прослужившими мне ботинками. Можно судить, какая нехватка в обмундировании и обуви была в армии, если красноармейцев обували в лапти?

Но мы были непритязательные ребята, и когда нам дали билеты в оперный театр на оперу «Нерон», то мы, надев шинели, аккуратно обувшись в лапти и закрутив плотно обмотки, похрустев свежавыпавшим снежком, заявили в фойе театра. Местные «недобитые буржуи» (их так тогда называли) с брезгливостью глядели в нашу сторону, но мы, держась стайкой, чувствовали себя уверенно и весело поглядывали на них. Наше дело правое, а лапти – явление временное. Опера понравилась, она была первая в моей жизни в на-

стоящем театре.

Скоро после моего появления в желдивизионе меня из вагона тягovieков перевели в другой. В этом вагоне подобрались штабные – люди городские, из разных городов, а по сему более-менее развитые. Я получил место на верхних нарах. Матраса у меня не было, спать было жестко. Я решил приобрести какую-нибудь подстилку на еврейском базаре, расположенном на стыке Бибиковского бульвара и Брест-Литовского шоссе недалеко от железнодорожного вокзала и называемом, по бытующей тогда моде все сокращать, «евбаз». Я у старика-еврея долго выторговывал обычный пятипудовый мешок. Правда, мешок был не совсем обычный: на нем было много разноцветных заплат, и это снижало его стоимость. Конечно, на покупку целого мешка у меня не было финансов. А на этот я кое-как наскреб, и после очередной уступки я его приобрел. Мешок был не только латаный, но и грязный, и подстилать его в таком виде было нельзя.

Мы стояли в Монастырском тупике около Киева, недалеко от монастыря. В свободное время я пошел к монастырю. Был морозный день. Около одного из монастырских зданий я встретил монаха. По-видимому, он выходил из бани – рожу его была красная, как бывает у здорового человека, только что попарившегося на верхней полке. Я робко спросил, нельзя ли мне постирать у них мой мешок. Монах, видя, что имеет дело хоть и с красноармейцем, но спокойным, показал на озеро невдалеке и проворчал: «Вот там есть прорубь».

В проруби я долго, без мыла, отмывал свой мешок. Мерзли руки. Злость брала при виде дымков, клубившихся над трубами монастырских зданий.

В вагоне нашем помещалось семь человек. По середине стояла чугунная переносная печь. Примерно одна треть вагона была отгорожена перегородкой и предназначалась для привилегированных. В ней помещались: техник штаба Прокопович Павел Николаевич, Федорович Григорий Николаевич или, как он любил себя именовать – Георгий, и адъютант Кузнецов Михаил. В остальной части вагона было четыре места. По углам одна над другой были сделаны из досок нары. На одной из верхних, у потолка, спал я. Подо мной – чертежник Посылкин Николай. Напротив наших нар наверху спал не помню кто, а под ним, внизу, помещались муж и жена Калашниковы. Не знаю, насколько их брак соответствовал тогдашнему закону о браках, но совместная их жизнь на одной полке, подозрительно скрипевшей по ночам, и сопение Васи Калашникова не оставляли сомнений в их фактическом супружестве.

Не помню, какую должность занимал Калашников, но его жена дружила с женой начхоза Яковлева, и с продуктами у них было благополучно. Калашников был высокий, чернявый, с живыми карими глазами и толстыми губами – он производил впечатление солидного человека. Играл в нашей труппе самодеятельности, как и его жена.

Был у него какой-то дефект в носу, и он обычно шумно

сопел, но уж зато, когда ночью он выполнял свою мужскую миссию, это сопение и возня немало раздражали нас, прислушивавшихся к сердитому шепоту его жены, которая старалась сдерживать его нуёмную страсть. Иногда Прокопович, помещавшийся за перегородкой, шутя, громко произносил «кхе-кхе», и тогда возня Васи с Катей несколько утихла. По-моему, Вася был глуховат, и до него не доходило, что его сопение и скрип нар могут беспокоить нас. А оно нас, конечно, беспокоило и немало. Картины одна другой лучше рисовались в нашем воображении, ведь все мы были молоды. Утром Вася уходил куда-то, а его Катя с каким-то пренебрежением и вызовом смотрела на нас и начинала возиться у печурки.

Не помню точно, было ли это в 1920 году или несколько позднее, но в памяти моей четко запечатлелась одна поездка в холодном товарном вагоне, и что в результате этой поездки я простудился, у меня заболело правое ухо, и я оглох. И что я лежу в санитарном вагоне, а напротив меня умирает пожилой красноармеец. Но первоначальный диагноз врача, что повреждена барабанная перепонка, и что это пахнет освобождением «по чистой», не оправдался, и ухо мое, после временной глухоты, опять стало мне служить, правда, с небольшой потерей слуха. В дальнейшем я всегда прикладывал телефонную трубку к левому уху.

Подходил к концу 1920 год. Уже был заключен мир с Польшей, а немного позже из Крыма был изгнан Врангель,



и если до этого мы находились в напряженном состоянии и в ожидании каких-нибудь неприятностей и неожиданностей, которые несет с собой война, то теперь все вздохнули свободнее. Правда, еще юго-запад кишел бандитскими шайками, но это уже было дело второстепенное.

Дивизион стали лучше кое-чем снабжать, одевать красноармейцев и улучшать их бытовые условия. Ожидали прибытия в дивизион комиссии из Москвы во главе с начальником ЦУПВОСО (прим. – Центральное управление военных сообщений) Аржановым. Об Аржанове рассказывали, что ходил он с палкой и за упущения по службе бил этой палкой командиров частей. Не помню, приезжала ли комиссия, но кое-что в нашем быту изменилось. Например, начальство сочло неудобным проживание семейных пар в одном вагоне с красноармейцами, и в дальнейшем Вася Калашников с женой были переселены в другой вагон.

После почти двухмесячного передвижения по окраинам Киева мы 6 декабря 1920 года очутились в Коростене, где и встречали новый 1921 год. В связи с окончанием войны с Польшей и разгромом Врангеля ожидали каких-то перемен, уже носились слухи о переброске нашего дивизиона чуть ли не в Сибирь.

В один из дней обитатели нашего вагона поехали на участок Коростень-Шепетовка, где-то около станции Яблонец мы пошли на хутора и поселки, где жили немцы-колонисты. По тогдашним временам полуголодной жизни жили они

неплохо, продуктов у них было вдоволь. А в мануфактуре и одежде они очень нуждались. Вот начался обмен. У меня были штаны, в которых я выехал из Сновска, которые немало претерпели и имели солидное количество латок (заплат). Я мало надежды имел на их обмен. Была еще казенная нижняя рубашка. Объяснялись больше мимикой, по-русски они почти не говорили. Обмен, к моему удивлению, состоялся, и я получил за свои товары порядочный кусок сливочного масла и еще что-то. Также успешно выменяли свои товары на масло и мои товарищи. А предприимчивый Прока, как сокращенно называли Прокоповича, разнюхал, что где-то недалеко не то разграбили бандиты, не то сгорел фанерный склад, а оставшуюся фанеру беспрепятственно тащат местные жители. В результате вернулись мы в Коростень с приличным запасом масла и фанерой. Фанера в виде больших листов пошла на обивку внутри нашего вагона. После этой операции вагон наш преобразился: вместо черных и грязных стен товарного вагона глаз ласкали гладкие желтоватые стены и создавали красоту и уют.

После встречи нового 1921 года в Коростене наш эшелон опять пришел в движение. Второго января 1921 года в морозный день, под вечер, взяв с собой махорку и спички, я пошел в ближайшее село менять их на хлеб. Нужно сказать, что в армии я не курил и свой паек менял на хлеб. Дул холодный ветер, темнело, да и дорога шла лесом, и шел я не без страха, вспоминая вчерашние рассказы о нападении банди-

тов, которых было вдоволь в этих краях. В одной из хат состоялся обмен: мне дали краюху хлеба, и назад я бежал уже в темноте, пока не увидел огоньки нашего эшелона на посту Волинском.

Через день мы были уже в Дарнице. Было воскресенье. Из вагона все разошлись, кто куда. Мне как-то нездоровилось, в Киев идти я не захотел, да и холодно было. Потолкавшись на вокзале Дарницы, переполненном мешочниками и прочим людом, валявшимся прямо на полу, я вернулся в вагон и разжег печурку. Хотелось есть. Это было время, когда вопрос о еде был наиглавнейшим и отодвигал на задний план другие вопросы и желания. Думал о доме, о родных, о том, как они там. По-прежнему ли мать бьется, как рыба об лед, чтобы прокормить свое немалое семейство. Мои невеселые думы прервались появлением Прокоповича в сопровождении красивой молодой женщины.

Несколько слов о Прокоповиче Павле Николаевиче. Он сын ленинградского архитектора. Немного выше среднего роста, с кольцами выющихся русых волос, с правильными чертами лица, красными губами и чуточку нагловатыми светло-синими глазами, со стройной фигурой он неизменно пользовался успехом у прекрасного пола. А если добавить, что он еще хорошо играл на пианино, танцевал, недурно рисовал с натуры и умел достойно себя вести в интеллигентном обществе, то неудивительно, что женщины в него влюблялись, заботились и подкармливали.

Женщина, с которой пришел Прокопович, была высокая брюнетка с хорошими формами, красивым лицом. Чем-то она напоминала «Неизвестную» Крамского и, возможно, происходила из «бывших», застрявшая в Киеве после революции. Похоже было, что Дон Жуан нашел себе очередной объект. Глядя на мою злую физиономию и явное нежелание куда-либо из вагона уходить, Прокопович не решился мне об этом намекнуть, и вскоре они ушли. Правда, перед уходом он пошмыгал носом – это было у него признаком недовольства, но я не придавал этому значения.

Я преклонялся перед способностями и талантами Прокоповича, прощая ему его некоторые недостатки, и считал его чуть ли не образцом положительного мужчины. Образцом № 1.

Вторым таким образцом был для меня Федорович Григорий Николаевич. Он любил, когда его называли Георгий. Родом он был из г. Мглина, около Суража. Не знаю, каково было его социальное положение до революции, но по его замашкам чувствовалось, что он не из крестьян. Скорее всего, обычный мещанин небольшого заштатного городка, расположенного вдали от железной дороги. Какое училище он окончил – не знаю, но в дивизионе значился как техник. Он, как и Прокопович, возился со схемами мостов, снимая их на кальку. Мне от него перепали снимки восстановленных мостов. Любил заниматься фотографией, но снимки у него получались неважные. Играл на мандолине и пробовал учить

меня. С собой он был не так интересен, как Прокопович. Коренастый, среднего роста, в осанке и чертах лица что-то Наполеоновское. Близость Мглина к истокам реки Сновь, схожесть природы наших родных мест давали нам право называться земляками. И на этой почве мы дружили. Правда, он иногда относился ко мне покровительственно-снисходительно, но я не обижался, зная его самолюбивый характер.

В Дарнице к середине января я уже стал обладателем казенной шинели, папахи, гимнастерки, и даже одеяло получил. Но обуви пока не давали (ходил в лаптях), как, ровно, и матраса. Мой мешок, купленный на евбазе, продолжал верно мне служить. Набитый не то соломой, не то сеном, он, конечно, мягкостью не отличался, но с успехом заменял матрас. Нарядившись в шинель и папаху, я посмотрел на себя в зеркало, висевшее около Прокоповича, и остался доволен: вид хоть и не совсем геройский, но на солдата похож.

Сходили в Киев, я мало пользовался транспортом – больше ходил. На евбазе фотограф «щелкнул» меня. Фотография была не из лучших, карточки печатались сразу же, и я скоро получил несколько экземпляров. Одну из них я послал домой в Сновск с надписью: «Правда, вид не совсем солдатский. Ну, да ладно! От сына Александра 18/І 1921 г.».

Почти полтора месяца мы простояли в Дарнице, ожидая каких-то существенных перемен. В середине февраля 21-го года наш ЭХ-1427 подцепился к эшелону, огласил пронзительным протяжным свистом Дарницкие сосновые леса и

окрестности и повез нас в сторону Коростеня для того, чтобы после недельного стояния там опять повезти нас обратно в Киев.

В 20-х числах февраля где-то в районе Тетерева ночью наш эшелон стал на маленькой станции. Я дежурил по штабу. В штабном вагоне было уютно и тепло. В одном углу, около денежного ящика, стоял часовой. На стене висел большой портрет Троцкого, занимавшего тогда пост комиссара по военным и морским делам. На другой стене – большая карта с флажками на иголках. Тихо. Я сижу за столом, читаю. Вдруг, телефонный звонок. Звонят из Киева со штаба 3-й желбригады. Я зову дежурного по дивизиону, который будит командира дивизиона Чернозатонского Л.Н. Из разговора командира с Киевом выясняется, что где-то вблизи от нашей стоянки банда Соколовского напала на село, и есть угроза нападения на наш эшелон. В селе бандиты убили представителей советской власти и разграбили село. Не обошлось и без выговора и едкого замечания командиру, что мы-де в Киеве знаем, что делается у вас под боком, а вы спите себе спокойно. Командир приказал поднять всех, разослали пикеты во все стороны от эшелона с целью разведки. Вскоре стало светать. Поступило распоряжение двигаться к Киеву. Гудком наш ЭХ-1427 созвал пикетчиков к эшелону, и мы отправились на станцию Киев-I-товарный. И вот новость! Нас отправляют в Сибирь через Москву.

Мы покидаем юго-запад и движемся к Москве. 27 фев-

раля – Брянск, 28 февраля – Суханичи. Где-то, не доезжая станции Наро-Фоминска, чуть ли не на станции Балабаново, наш глухонемой забеспокоился и с громким мычанием, жестикулируя, пытался что-то объяснить. Едва поезд остановился на станции, как он с радостным воплем побежал на вокзал и стал знаками показывать, что эта станция ему знакома. И, кажется, нашлись люди, узнавшие его. Были люди из родного села глухонемого. Глухонемому дали удостоверение, и он отстал от поезда. Позже, уже в Москве, он нагнал эшелон. При нем было удостоверение на имя Зиновия Кириллюка, выданное сельсоветом. Так глухонемой обрел свое имя и был вписан в документы части.

В Москве мы появились 1 марта 1921 года. Поколесили по окружной железной дороге и от станции Пресня 4 марта направились на Ярославль, миновали Данилов и поздно вечером прибыли на станцию Пречистое. Тут наше продвижение затормозилось.

Поступила команда следовать на станцию Бологое через Рыбинск. Неожиданный поворот из Пречистой в сторону Ленинграда мы объясняли подтягиванием спецчастей для восстановительных работ, которые могли возникнуть в районе Ораниенбаума в связи с Кронштадтским мятежом, разразившимся в начале марта 1921 года.

В Рыбинске меня поразило обилие домов, украшенных резьбой из дерева.

Прибыли на станцию Бологое и повернули на Великие

Луки. В Осташков полюбовались гладью озера Селигер, а немного спустя, в районе станции Пено, пересекли Волгу, где-то тут недалеко берущую свое начало. С Великих Лук повернули на Витебск. Наши предположения об Ораниенбауме не оправдались.

11 марта мы прибыли в Оршу, знакомую мне по переходу границы в октябре 1918 года где-то в районе Орши-товарной. Эшелон наш поставили на крайнем пути напротив вокзала. Массивное здание вокзала делило станционные пути на две части. С одной стороны, где мы стояли, шли поезда на Могилев, то есть в сторону моего родного Сновска, а с другой стороны – на Москву и Минск. От церкви, стоявшей в конце нашего эшелона, шла дорога в город, расположенный километрах в 4–5 от вокзала.

Орша – городок небольшой. Одна из главных улиц похожа на городскую, остальные напоминали улицы нашего Сновска. На окраине города протекает река Днепр. Деревянный мост соединяет город с ближайшими селами.

После прибытия в Оршу поступило распоряжение расформировать наш 23-й желдивизион, и личный состав его передать во второй железнодорожный полк. Лично я был назначен переписчиком штаба полка. Наш командир дивизиона Чернозатонский направлялся куда-то в Среднюю Азию в Туркестан.

Передо мной пожелтевшая от времени фотография группы «старожилов» 23-го желдивизиона. На этом июньском



снимке 1921 года запечатлено 25 человек. Виден наш штабной вагон. Рядом с Чернозатонским Л.Н. сидит военком Юнг. А с другой стороны – комбат Райский и Федорович. В последнем ряду стоит наш мостовик Зубарев, а за командиром пристроился и оскалил зубы глухонемой Кириллюк, без которого ничто не обходилось. У ног лежит чертежник Коля Посылкин. Важно восседает начхоз Яковлев, а с краю стоит его соперник – любимец его жены и самый лучший футболист нашей команды Сережа Трифонов. Остальных не помню.

К сожалению, не попал в снимок и я. И вот почему. Организатор этой затеи Гриша Федорович также пожелал красоваться на снимке. Он долго инструктировал и учил меня обращаться с его далеко не совершенным фотоаппаратом на треножке, и за удовольствие «щелкнуть» и прослыть знатком фотоискусства я лишился возможности быть заснятым.

Уходил командир. Он, пожалуй, никому не сделал зла, и люди были признательны ему за это. Ведь уходили же в свое время его помощники Соловень, Печокас или военкомы, как Масленников, Губанов, и уход их никого не волновал. Были они какие-то бесцветные, не проявившие себя ничем запоминающимся. Меня Чернозатонский тоже ничем не обидел и не облагодетельствовал, но мне нравился этот с виду малообщительный, но разговорчивый человек. Он оставил о себе самые теплые воспоминания.

Командиром второго желполка назначен был Седюк.

Мужчина среднего роста и среднего возраста. Он оказался немного крикливым и как-то не располагал к себе. Не совсем правильные черты лица и особенно его большой, широкий нос картошкой придавали его физиономии что-то клоунское и вызывали улыбку у глядевших на него. Он это чувствовал и подозрительно посматривал на улыбавшихся красноармейцев. А в общем-то он был человек неплохой.

Адьютантом полка назначили Лисина Николая Андреевича. Это был старый ленинградский холостяк, интеллигентный, спокойный, вежливый. И насколько его предшественник Гоняев был симпатичен и даже красив, настолько Лисин был некрасив. Какой-то лошадиный профиль, серое лицо все в прыщах – он, конечно, не мог нравиться женщинам. Но, как человек интеллигентный, он своим обращением с людьми умел создать себе авторитет, и они прощали ему его физический изъян. У него была любимая присказка: «Дело прошлое».

Помощником адьютанта полка назначили Кузнецова Михаила Ивановича. Коренастый розовощекий крепыш родом из Подмосковья или Владимира, немного рыжеватый. Ему из дома слали посылки.

Военкомом полка был Жизневский. Судя по фамилии и по выговору – поляк. По-польски деликатный, спокойный и уравновешенный, он особыми талантами не обладал. Выступая с речами или в разговоре, употреблял фразу «конец концам» вместо «в конце концов». Он этой фразой, можно ска-

зять, злоупотреблял, чем вызывал улыбку у слушателей.

Моим непосредственным начальством были адъютант полка и его помощник. Как переписчику штаба мне поручили учет людей и лошадей. Напротив меня сидел паренек из-под Перми – Александр Максимович Гунин. В его функции входило составление приказов по полку, с чем он успешно справлялся. Его почему-то дразнили «Гмызиным», вероятно, благодаря его белобрысой физиономии и особенному выговору, которым отличаются жители Предуралья и Урала. До мобилизации он был дежурным по разъезду. У меня с ним были хорошие товарищеские отношения, и я теперь с теплотой вспоминаю этого скромного «приказиста» Сашу «Гмызина».

Тут же в штабе сидели: Миша Марьенков, тоже движенец, очень худой – у него что-то не ладилось с желудком, почему-то ему дали кличку «седой», и еще один паренек со станции Нелидово, очень похожий лицом и улыбкой на космонавта Гагарина, а вот фамилии его, как это ни печально, я припомнить не могу.

В Орше появился новый истопник, он же посыльный – долговязый парень-белорус. Он никак не мог привыкнуть к слову «товарищ» и говорил по-белорусски «сябра». Это очень смешило русаков, и они с удовольствием называли его «сябром».

До «сябра» отапливал штабные вагоны пожилой красноармеец с густой черной бородой. Этот бородач всегда назы-

вал меня ласково «сынок». А куда он девался в Орше – неизвестно, возможно, что и умер. Ведь тогда свирепствовал тиф. Помню, как неожиданна была для нас смерть здоровяка Фомина. Вообще, мы заметили, что физически здоровые, полнокровные люди от тифа умирали, а болезненные и слабые – выкарабкивались. Мне еще в начале мая 1921 года сделали противотифозную прививку, да я и переболел не так давно, в 1919 году, так что тут тиф меня обошел.

Я смотрю на снимок, сработанный Гришей Федоровичем в мае 1921 года. На нем можно различить 20 силуэтов и некоторых даже узнать. В этой случайной группе можно узнать Колю Посылкина, Сергея Трифонова и остриженного Прокоповича. И вот то, что он заснят остриженным, без своих кудрей, наводит на мысль, что Прока переболел тифом. Возможно поэтому он не попал в снимок с Чернозатонским.

Однажды, в жаркий летний день, мы, «штабные», упростились у «обозных» покататься верхом на лошадях. Они их вели купаться в Днепр. Мы вскарабкались на коней и поскакали. Вот уж зрелище было! От нашей посадки и от того, как мы подскакивали, вцепившись в гривы, обозные хохотали до упаду. Это была моя первая верховая скачка и знакомство с конем, то, чему я не успел научиться во время кратковременного пребывания в кавалерийской части в г. Малине в 1920 году.

Несмотря на полуголодное существование и, в общем-то, невеселую жизнь, в свободное время тянуло зайти куда-то за

горизонт, увидеть что-то новое. Молодость брала свое. Мои настроения по части хождения разделял и Гриша Федорович, и мы в воскресные дни шли за мост на Днепре, за которым открывалась широкая панорама полей и лесов вдали. По дороге коротко обменивались впечатлениями о своих родных местах. Длинных разговоров мы не любили, больше молчали. Возвращались всегда очень усталые, но довольные.

Эти воспоминания я пишу по памяти, но много мне помогает в этом деле мой архив. Вот, например, о какой ситуации мне поведали копии трех писем, которые я полностью привожу.

Первое такое – оно написано 24 июня 1921 года за № 2840: «Командиру 23-го Железнодорожного Дивизиона, копия начальнику 6-го Сновского участка службы пути.

На основании циркулярного распоряжения Мобуправления Всероглавштаба от 7/ХІІ № 052030/м/307 и секретного распоряжения РВСД от 12/ІV за № 571237/с все граждане, родившиеся в 1901 году, проживающие на территории Украинской Республики, мобилизации в Красную Армию не подлежат. Ввиду вышеизложенного прошу Вашего распоряжения об откомандировании в распоряжение Западной железной дороги гражданина Украинской Республики Мороза Александра Александровича, родившегося в 1901 году, бывшего конторщика Сновского участка Службы Пути, 20 сентября 1920 года ошибочно мобилизованного в Красную Армию, ныне находящегося во вверенном Вам дивизионе.

Подписали Военный помощник начальника Западных ж.д., Военный комиссар, Начальник Мобилизационного Управления Западных ж.д., Делопроизводитель».

По-видимому, командиру полка Седюку этого распоряжения было недостаточно, и он послал своему высшему начальству рапорт такого содержания 28 июня 1921 года за № 287: «Начальнику 5-го отдела УПВО СОЗАП.

Рапорт.

Предоставляю отношение Мобилизационного отдела при Управлении Западных ж.д. об откомандировании из рядов Красной Армии военножелезнодорожника вверенного мне полка Мороза Александра как ошибочно мобилизованного на Ваше распоряжение.

Подписали Командир полка Седюк, Военком Жизневский, Адъютант полка Лисик».

То ли это письмо в УПВО утеряли, то ли еще что, но ответа не было.

И снова, уже 20 августа 1921 года за № 1994, командир полка шлет рапорт:

«Начальнику 5-го отдела УПВО СОЗАП.

Распорт.

Прошу сообщить о результате возбужденного Мобилизационным отделом при Управлении Западных жел. дорог ходатайства об откомандировании из рядов Красной Армии военножелезнодорожника вверенного мне полка Мороза Александра как ошибочно мобилизованного.

Подписали Командир полка Седюк, Военком Жизневский, Адьютант Лисин».

Не знаю, был ли ответ командиру на его второй рапорт, но дело кончилось тем, что я продолжал служить, и был демобилизован по общему приказу только в 1924 году. А может быть дело это прекратилось из-за того, что я уже повзрослел на год, и решили не прерывать службу.

Да, мобилизован в 19 лет я был преждевременно, а узнал я об этом, прослужив в армии почти год. Когда меня мобилизовали в 1920 году, я чувствовал, что тут что-то не совсем ладно. Ровесники мои не призывались, а меня «забрили». Но я не жалею, что все так сложилось, и что я пробыл в армии более трех с половиной лет. За эти годы я возмужал, много поездил, много чего узнал, и мой культурный уровень поднялся на ступеньку выше. Особенно за последний год службы в Москве. Лекции, музеи, картинные галереи, до чего я был большой охотник, этого было в Москве достаточно.

Наш полк принимал участие в работах по окончанию и сдаче в эксплуатацию железной дороги Орша-Унеча, строительство которой было начато еще в 1914 году, и сданной полностью в эксплуатацию только в 1923 году. Люди нашего полка уложили несколько километров линии до станции Горки и далее. Запомнилась мне поездка в поезде, организованном для открытия станции Горки.

Я ехал в одном из товарных вагонов, который, несмотря на небольшую скорость, подпрыгивал на стыках и шатал-

ся из стороны в сторону. Проехали станцию Зубры и вот – Горки. Паровоз пшикнул, остановился и сразу был окружен встречающими. Поодаль стояли люди и не подходили близко. Началось нечто похожее на официальное открытие станции Горки и пуск в эксплуатацию участка Орша – Горки. В Горки – городок, похожий на большое село, и знаменитый своей сельскохозяйственной академией, мы прибыли в полдень. Были короткие речи, перерезали ленту... И когда собравшиеся горожане и крестьяне ближайших сел, не видевшие паровоза, услышали его голосистый гудок, а потом увидели движущийся в облаке пара поезд, то они быстро побежали в сторону от железной дороги. Когда поезд остановился, они робко приблизились. И стоило машинисту дать свисток и, пустив пар, двинуться, как они снова опроретью разбежались по сторонам. Старушки стояли поодаль и крестились, они вообще не подходили близко. Потеха! Самое странное, что это происходило в каких-то 40 километрах от Оршанского железнодорожного узла. Машинист еще немного подемонстрировал силу и мощь своего стального коня, и мы укатили обратно в Оршу.

Год 1921 прославился как год голодный. И если в Поволжье люди умирали от голода и бросали свои родные места, то мы все же как-то прозябали. Получали продукты вперед на несколько дней и пробовали жить «коммуной», но с этой затеей ничего не получилось. Первые дни питались сносно, а потом, когда до получения пайка оставалось еще немало



дней, а запасы наши уже были съедены, пришлось затягивать ремни и как-то выкручиваться поодиночке. Метод коммунального питания не привился, и каждый стал питаться самостоятельно. Но скоро появилась общая кухня, на которой получали по котелку какой-то бурды с котла.

Через Оршу шли эшелоны с голодающими, ехавшими с Поволжья куда-то на запад. Наш эшелон стоял напротив вокзала, и беженцы с проходивших эшелонов почти непрерывно стучали в дверь вагона. Но что мы могли им дать? Сами жили впроголодь и изощрались в способах прокормиться, кто как мог и умел.

Оригинальный способ избрал наш Прока – Прокопович Павел Николаевич. Этот наш красавец с талантами Дон Жуана в это голодное время воспользовался способностями альфонса. Все данные для благосклонного внимания и успеха со стороны женщин у него, безусловно, были. Женщины просто льнули к нему. Конечно же, он этим хорошо пользовался – женщины его подкармливали.

В Орше у нас появилась «вольнонаемная» машинистка-оршанка Мурочка. Не знаю, как далеко у них зашло со взаимными симпатиями, но при появлении в штабе Павла она заметно смущалась и краснела, а он окидывал ее своим нагловатым взглядом и говорил что-нибудь общее, малозначительное. Однажды на листе ватмана он нарисовал Мурочку. Собой она была недурна. Портрет этот, сделанный с натуры, по общему мнению, был удачным. Потом Павел Нико-

лаевич нарисовал автопортрет. Были и другие рисунки.

Отец его был ленинградским архитектором, в этом я убедился, когда после демобилизации в 1925 году был у них на квартире на Гулярной улице (в Ленинграде). Помню, в квартире было изобилие репродукций, планов. Возможно, что эта домашняя обстановка и профессия отца послужили развитием художественного вкуса у сына Павла. Во всяком случае, Прокопович, несмотря на некоторые отрицательные стороны его характера, стал мне нравиться еще больше, благодаря этому вновь открытому в нем таланту художника.

С тех пор я тоже иногда пытался рисовать. В общем, то, что у меня проявилось гораздо позднее, т. е. интерес и стремление к изобразительному искусству, было следствием моего знакомства с П.Н., который сумел приохотить меня к этому и развить какие-то, пусть незначительные, способности.

Была у П.Н., кроме Мурочки, еще одна оршанка – артистка-любительница. Она жила с сестрой у родителей в доме где-то между вокзалом и городом. При доме сад, довольно обширный. Прокопович часто ходил к ним домой днем, а ночью водил нас в ее сад, где мы нагружались яблоками. Собака, зная Прокоповича, лизала ему руки, и мы крали яблоки беспрепятственно. Бывали дни, когда мы только и питались кислой антоновкой без хлеба. Хлеб получали наперед, и он не водился до следующей выдачи.

Помню, однажды Прока пришел с побитой мордой, с порванными штанами и царапинами на руках. Как потом вы-

яснилось, его поймали сторожа около складов с картошкой, ему попало, и он насилу удрал оттуда. Впрочем, налеты на картофельные огороды приняли такой характер, что жители приходили днем жаловаться командиру. Командир выстраивал красноармейцев, виновных хозяева не опознавали и уходили смущенные. Мы же доходили до такой наглости, что, идя на этот грабеж, брали с собой винтовку, и сторожа, видевшие такую ораву, отворачивались, будто не замечая нас, орудующих над неохранным картофельным полем. Трудно поверить, что командир Седюк и военком Жизневский, глядя на наши чуть ли не ангельские рожи, верили в нашу непогрешимость. Но что им оставалось делать? Да, скверная штука – голод, из-за него человек часто превращается в скотину.

Подходил к концу 1921-й год.

Утром, проходя вдоль путей, забитых эшелонами с беженцами из Поволжья, мы натыкались на трупы детей, выброшенные отупевшими от голода и горя родителями.

На рынке в основном шел товарообмен. Деньги катастрофически обесценивались. Если сегодня за какую-то сумму я мог приобрести килограмм хлеба, то завтра он уже стоил много дороже. Например, мое месячное жалованье в январе 1922 года было 350 000 рублей. В феврале мне уже выдали 787 000, а в марте – 1 050 000. И за этот миллион вряд ли я мог купить 1 килограмм хлеба.

У меня сохранился лотерейный билет дивизионной помо-

щи голодающим при 4-й стрелковой Смоленской дивизии. Цена его 100 000 рублей, а главный выигрыш – 25 миллионов рублей. Да, ворочали мы когда-то миллионами.

Моя постель располагалась на верхних нарах, под потолком. Вагон не был теплушкой в полном смысле этого слова. Правда, внутри он был обит фанерой, но это мало утепляло его, а служило лишь украшением. Пока горела грубка, в вагоне было тепло, а мне даже жарко. Но к утру болты над моей головой покрывались снегом, и приходилось укутываться с головой всем, что только могло согреть. В особо морозные ночи, под утро, большинство из нас ворочались и кричали, хотя до утреннего подъема еще было далеко. Наконец, самый замерзший, не выдержав, с руганью соскакивал со своего ложа и, бормоча какие-то проклятья, быстро разжигал грубку. Когда начинало теплеть, головы постепенно высывались, и слышалось «гы-гы». А истопник, уже охладевший от гнева, говорил: «Спасибо скажите, паразиты, а то бы околели»

В конце марта 1922 года штаб полка перебросили в Борисов. Оршанка Мурочка осталась в Орше. Вместо нее за машинку села сестра помощника командира полка Ларина – Екатерина. Екатерина Ларина была незамужняя девица лет 30–35. Скромная, красавицей не назовешь – она ничем особенным не выделялась. Родом она была из-под Буды-Кошелевской. Когда в штабе появлялся лекпом (прим. – помощник лекаря, фельдшер) Тарасов – высокий широкоплечий блондин с улыбчивым лицом, Катя заметно оживлялась, ее

карие глаза начинали блестеть. Тарасов ничем особым не проявлял своих симпатий, но молва утверждала, что между ними есть любовь.

Должен признаться, что я по своему характеру хотя и казался тихоней, но любил пускать «шпильки» влюбленным, и бедная Катя немало натерпелась от меня намеков на эту тему. Тарасова я не трогал. Впрочем, в любовных интрижках в полку недостатка не было.

Ни для кого секретом не было ухаживание жены начхоза Яковлевой за прославленным футболистом Сергеем Трифоновым. Я не ошибся – действительно, она, мать двоих детей, гонялась за Сережей, и он принимал это, как должное. Сам начхоз Яковлев мужчина хоть и видный, и симпатичный, лет 40–45, чем-то не угождал жене, и она, тридцатилетняя, увлеклась двадцатилетним Сережей. А ухаживание жены начхоза в те насытые годы было не так уж бесперспективно, и Сережа питался неплохо.

А чего стоила жена комвзвода Овчаревич Рая! Бабенка была в соку, не уродлива собой, играла на любительских спектаклях. На мужа своего, Овчаревича, мужчину довольно потрепанного вида, начинавшего лысеть, и далеко немолодого, она мало внимания обращала, хотя он и изводил ее ревностью. Кончилось тем, что она сумела-таки совратить очень симпатичного, видного черноволосого мужчину средних лет – политрука по фамилии не то Батурин, не то Бакунин. Дело дошло у них до того, что они уже перестали делать тайну из

своих взаимоотношений и совершенно перестали считаться с бедным мужем.

Не могу не вспомнить еще об одной «любобной» паре – это о Заговалко и Ульяне. Ульяна была еще в желдиве, работала прачкой. Была молодой, здоровой девицей, недурной собою. Ничего плохого о ней не говорили, пока не появился красноармеец Заговалко Николай. Николай – стройный, смазливый блондин лет 20–21. Был он на редкость неразговорчив, какой-то замкнутый. Ребята любили подтрунивать над Николаем по поводу его тайных свиданий с Ульяной, но он отмалчивался, или, самодовольно посмеиваясь, на все вопросы о его успехах отвечал немногословно: «Порядок». При встречах с Ульяной на людях он относился к ней подчеркнуто покровительственно, как бы показывая, что ему безразличны и ее робкие взгляды, и смущение при виде него. Забегая вперед, скажу, что позже, уже когда мы были в Москве, у Ули появился ребеночек, и никто не сомневался, что отец его – Заговалко.

1 мая 1922 года в Борисове нас подняли рано. Помимо обычного первомайского парада предстояла церемония принятия воинской присяги. Нам тогда объявили, что это была первая присяга в Красной Армии. Командира полка Седюка почему-то не было. Командовал его помощник Ларин. Нас выстроили на каком-то плацу. Около трибуны – знамя полка. На трибуне кто-то читал слова присяги: «Я сын трудового народа», а мы хором повторяли. Событие это было запе-

чатлено на фотокарточке.

Помощник командира Ларин – высокий, худощавый, неразговорчив. Его жена – миловидная молодая женщина, немая. Объясняются они при помощи письма. Жена Ларина и его сестра Катя живут мирно.

В Борисове мы стояли около железнодорожной станции. До города недалеко, и ни город, ни река Березина как-то не врезались мне в память, хотя были тут исторические места Наполеоновского отступления.

В Борисове на кладбище, вблизи железнодорожного полотна, мы похоронили красноармейца Говорова Василия. Был он веселым, молодым краснощеким парнем, и подкосил его тиф. Над могилой были речи. Приезжали на похороны его родители.

В один из весенних солнечных дней мы лазили по заболоченному лесу. Под ногами кишели небольшие гадюки и ужи. Их было такое множество, что я и сейчас живо представляю это скопище гадов. Даже странно – гадов запомнил, а исторические места Борисова нет.

В мае 1922 года штаб полка передвинули из Борисова в Жлобин. Состав наш поставили напротив вокзала в тупик, упирающийся в паровозное депо. За депо находился сенопункт, где тоже размещались люди нашего полка.

С тех пор, как мы обили наш вагон фанерой, прошло немало времени, и за это время клопики и блохи успешно обосновались на постоянное жительство и размножились до

такой степени, что нам стало невозможно. Они не давали спать и нещадно пили нашу кровь. За дело взялись санитары и решили провести борьбу с паразитами. Заложили в грубку серы и подожгли ее. Вагоны закрыли, и мы спали кто где. Мор этот длился двое суток. Ночи были теплые, мы народ неприхотливый, и несколько ночей провели вне вагона. Потом вскрыли вагоны, сунулись туда – клопы, как будто, подошли, но и нам ночевать нельзя было – воняло серой. Лишь через неделю мы начали ночевать в вагоне и просыпаться утром с головной болью. А когда запах серы выветрился, и мы стали спать более-менее спокойно – клопы снова появились.

В начале июня 1922 года помощник адъютанта Кузнецов отпустил меня на четыре дня в Сновск, что подтверждает сохранившаяся у меня увольнительная. Уходя в Красную Армию, я оставил дома немало всяческих книг и переплетенных журналов, приобретенных разными способами. В журналах отразились все предреволюционные события, а с февраля 1917 года и революционные. Менялись министры, сменялись власти, и все это в журналах описывалось и иллюстрировалось. В общем, это был богатый исторический материал «из первых рук», исходивший и обработанный в духе своего времени вездесущими журналистами и газетчиками. Жизнь моих родных не сильно изменилась за это время, принимали меня очень тепло и радушно. Уезжая, я решил взять с собой наиболее интересные книги и журналы. Я ор-



ганизовал из них одно увесистое место, распростился с родными, провожавшими меня, и устроился на нижней полке вагона. Ехать пришлось ночью сидя. Я положил тюк с книгами меж ног и задремал. Когда проснулся – книг уже не было. Воришка, наверно, немало разочаровался, не найдя в тюке ничего, кроме книг. Из дому продуктов мне не дали, ценностей у них тоже никаких не было. Впрочем, если бы журналы не украли тогда, то их наверняка пришлось бы бросить при эвакуации из Гомеля в 1941 году.

Что значит молодость! Я как вспомню, как висел вниз головой на пальцах ног, так самому не верится. В вагоне нашем обычная дверь товарняка на колесиках была закрыта, а входом служила узенькая дверь на петлях. Спускались на землю по съемной лестнице. Над дверью была прибита неширокая планка. И вот, я берусь руками за эту планку и поднимаю ноги, цепляюсь пальцами ног за планку и медленно опускаю туловище. Повисев некоторое время вниз головой и держась лишь на пальцах ног, я проделываю обратный маневр. Поистине цирковой номер! Конечно, при неудаче я рисковал сломать себе шею или пробить голову.

Проделывал я эти номера не всегда бескорыстно. Мой непосредственный начальник Кузнецов, который частенько получал из дому посылки, награждал меня коржиками домашнего изготовления. Но, как и всякий, даже оригинальный трюк со временем приедается, так и Кузнецову он наскучил, и он все реже заказывал это представление.

В 20-х числах июля 1922 года по каким-то неведомым соображениям высшего начальства нас прокатали из Жлобина в Оршу и в Смоленск. В Смоленске мы пробыли один день, и я успел побегать по центру города, побывал у исторических мест 1812 года и у памятника Глинке. Потом нас снова вернули в Жлобин.

Состав наш временно стоял на сортировочных путях между вокзалом станции Жлобин и северным постом. В выходной день я пошел побродить по городу, отстоявшему километрах в двух от станции и расположенного вдоль берега Днепра. Расположение железнодорожного пути и моста через реку как-то напоминало путь к мосту в Сновске.

Побродив по городу, я под вечер подошел к железнодорожному вокзалу. Встретил среди прогуливающихся красноармейцев несколько знакомых товарищей из полка. И вдруг... перестал видеть. Вернее, я видел не всю фигуру человека и даже не все лицо, а только его глаза. Я остановился и стал спрашивать, нет ли около меня красноармейцев второго желполка. Отозвалось несколько голосов. Я рассказал о своей беде и попросил отвести меня к эшелону. Меня привели в санитарный вагон. И я стал ждать врача. И странное дело – когда я попал в вагон, освещенный электрическим светом, то стал все видеть, в том числе и приведших меня. Врача долго не было, и я, не дождавшись его, пошел в свой вагон и лег спать. В дальнейшем я узнал, что у меня был приступ «куриной слепоты» в результате плохого питания.

Не помню, лечился ли я, но некоторое время боялся ходить в вечернее время. Потом все прошло.

Да, как несовершенно были снимки Гриши Федоровича, но они мне напоминают о некоторых полковых товарищах. Вот передо мной майский снимок 1922 года. Различаю свою фигуру, а лица совсем неявны. Вот Табако, а рядом с ним не Катя ли Ларина? Похоже, что она. Оригинальный тип, этот Табако. Рыжеватый, с оттопыренными ушами, он прославился как мастер скабрзных анекдотов. Особенно досаждал он своими насмешками женщинам. Доставалось от него и Кате Лариной. Или вот сидящий в кресле Федорович Гриша. Сидит, важно развалясь. Было такое кресло настоящее, мягкое, у Прокоповича. И откуда только он его выкопал? А вот сняты Федорович и его друг Каптелов. Несмотря на дружбу, политрук Каптелов не сумел сагитировать Гришу вступить в члены партии. Впрочем, ни военком Жизневский, ни политрук Каптелов не досаждали беспартийным в смысле втягивания в ряды партии. Оба они не отличались ораторскими способностями, и дело это было предоставлено на самотек.

С деньгами происходило что-то странное. Записи в моей красноармейской книжке свидетельствуют, что я в апреле 1922 года получил 2 100 000 рублей, в июне 1922 года уже только 4 200 рублей, а в июле 1922 года только 420 рублей. Происходило какое-то отбрасывание нулей. Затем, с августа по ноябрь 1922 года мне платили по 1200 рублей в месяц. В декабре 1922 года после реформирования полка я был на-

значен старшим переписчиком штаба полка с окладом 1000 рублей в месяц. В начале 1923 года в результате денежной реформы я стал получать десять рублей в месяц.

Подходил к концу 1922 год. Из вагонов нас выкурили не только клопы, но и приказы начальства. Нас разместили в разных помещениях вблизи железнодорожного вокзала станции Жлобин. Часть людей была на сенопункте за депо. Штабная команда, старшиной которой назначили меня, разместилась в каком-то лабазе торговца. Это каменное низкое здание находилось на улице, ведущей от вокзала в город.

Разбирали, чистили винтовки, изучали устав, маршировали, бегали с котелком за обедом и ужином на кухню, находившуюся на сенопункте. Купались в Днепре, который я свободно переплывал в районе мостов. В штабе появилась вольнонаемная жлобинская машинистка Антонова. В свободное время ходили к лесу в сторону Минска или по линии в сторону Могилева. По деревянному мосту, параллельному железнодорожному, пересекали Днепр и шли к станции Хальч. Особенно любил этот маршрут я – он на несколько километров приближал меня к родному Сновску.

Запомнился случай, когда мы на лодке, отъехав несколько километров от Жлобина, около какой-то горы шашками глушили рыбу. Дело это запрещалось и преследовалось, и мы больше натерпелись страха, чем наловили рыбы – всплыло ее немного.

Ну, что еще можно вспомнить о Жлобинском периоде?

Разве о Лаврентьеве? Был такой чудак «с улицы Бассейной». Небольшого роста, плотный – он поражал нас своей феноменальной рассеянностью. Неплохой математик и вообще парень далеко не глупый, пожалуй, даже с высшим образованием – он пользовался уважением товарищей. Но рассеян был до чертиков! И этим немало развлекал нас.

Новый 1923-й год встретили в Жлобине. Не помню точно, когда вместо командира полка Седюка и военкома Жизневского появился новый командир Верженский Адам Иванович и комиссар Дьячков, а вместо адъютанта Лисина – Николаев. Может быть, это было в ноябре 1922 года, когда полк был переформирован по штатам мирного времени, а может быть позже, в апреле 1923 года, когда полк переформировали в батальон, но у нас появилось новое командование. По-видимому, Седюку была ближе Орша, и он стал командиром 30-го желдивизиона, располагавшегося в Орше.

После переименования полка в батальон нас погрузили в эшелоны, и мы распрощались со Жлобиным. 28 апреля 1923 года мы миновали Почеп, а 30 апреля очутились в Москве. На этот раз уже не проездом, как в мартовские дни 1921 года, а с выгрузкой из вагонов и «оседлостью» в казармах на целый год.

Еще перед выездом из Жлобина в апреле 1923 года, вероятно в связи с переименованием полка в батальон, у нас отобрали винтовки, а дня через четыре выдали новые. Моя винтовка с семизначным номером 7914972 – номером, кото-

рый прочно запомнил, сменилась четырехзначным № 9124.

В Москве, освободив состав, мы погрузили на подводы свои винтовки и нехитрый личный багаж и двинулись на новое наше месторасположение в трехэтажную казарму на Измайловском валу в районе Семеновской заставы. Казарма стояла на берегу Хапиловского пруда в тупике Измайловского вала. По ту сторону пруда виднелись стены церкви и службы Преображенского монастыря. В противоположном конце Измайловского вала – Семеновское кладбище, а дальше – Благуша с домиками, как в Сновске, и еще дальше – станция Черкизово и Лосиноостровская Окружной железной дороги. Штаб размещался на втором этаже, в остальных помещениях жили мы и комсостав с семьями. Почти рядом с казармой – футбольное поле. Центр Москвы был в 4-х километрах от казармы.

Меня всегда влекло побывать в новых местах. Познакомиться с их особенностями, красотой, с их историей – это меня всегда манило. За два с половиной года странствий в железнодорожных частях я во многих местах побывал, детально ознакомился с красавцем Киевом и другими городами юго-запада. Пожил по несколько месяцев в Белорусских городах: Орше, Жлобине, Борисове. Во многих местах побывал проездом, но попасть надолго в Москву – такой мысли не было! Поэтому неудивительно, что когда это чудо произошло, то я с азартом игрока кинулся знакомиться со всем, что таил в себе этот великий город. А чудес было – хоть от-

бавляй! Каждый свободный день и час я не сидел в казарме. Попросив товарища получить на меня обед, а то и ужин, я с увольнительной в кармане отправлялся в путь.

Ботинки я получил, были они тяжелые, но прочные, а это мне и требовалось. Денег я получал немного, рублей 100 в месяц. Купить за них можно было самую малость. Поэтому я предпочитал пешее хождение. А в масштабах Москвы это значило немало.

Наметив какой-нибудь из музеев, я добросовестно часами ходил по его залам и, закончив осмотр, шел еще или на Воробьевы горы, или другой какой пункт, отстоявший в десятке километров от казармы. Когда окончательно выбивался из сил, то назад добирался трамваем. Между прочим, за трамвай тогда платили в зависимости от расстояния. Обычно же туда и обратно я ходил пешком. Обед с ужином поглощался моментально.

Мое непосредственное начальство – адъютант Кучинский, а затем адъютант Николаев, были люди неплохие и увольнительные давали без всяких препятствий. Я у них пользовался авторитетом. Николаев – щедушный, немного нервный человек. Он близорук, пользовался очками. Чувствовалось, что он человек культурный, и своими манерами, и обращением подтверждал это. Кучинский был проще, в полку жил с семьей. Иногда какой-то польский гонор появлялся в нем, но, в общем, он был безобидный начальник.

Адъютанты мне иногда доверяли выполнение некоторых

своих функций. Так, например, поручали давать пароль и отзыв на сутки. С немалой гордостью я в виде пароля давал слова вроде «Камка» и отзыв «Бреч» – слова, очень близкие мне по родному Сновску, и ничего не говорящие тем, кому их приходилось заучивать и ими пользоваться.

Будучи в Жлобине на казарменном положении, штабная команда помещалась обособленно в небольшом здании лабаза. В Москве же нас поместили в большой комнате вместе с красноармейцами других служб и подразделений. У каждого отдельная постель: на двух козлах лежал матрас, подушка, простыни и одеяло. В шесть часов – подъем. Услышав залиvistый сигнал фанфары, мы, чертыхаясь, спешили поскорее одеться и заправить постели, чтобы уложиться в минуты, данные на это дело.

Впрочем, был у нас в казарме один чудак. Или у него от природы была замедленная реакция, или ленив он был до чертиков, но почти не было случая, когда бы он уложился в срок. Взыскания не помогали, он безропотно отбывал наказание, но исправляться и не думал.

Жил с нами и глухонемой Кириллюк Зиновий, недавно нашедший свою фамилию. Почему-то немой и чудак не любили друг друга. А мы, раскусив эту их неприязнь, стали пользоваться случаем, чтобы науськивать одного на другого для потехи. Например, подложив под подушку немого кухонный нож, знаками объясняли ему, что это сделал его недруг. Немой с рычанием и с ножом в руках подбегал к чу-



даку, а тот пускался наутек. Такие неумные шутки нас веселили, и мы дружно хохотали. Вообще же, эти двое – немой и его недруг, были постоянными объектами разных смехотворных и дурацких шуток. То привяжут к козлам веревку, незаметно дернут – и лежащий с вытаращенными глазами уже не лежит, а сидит на полу со своей рухнувшей кроватью. И если сидит немой, то ему внушают, что это сделал его недруг, и тот летит с дикими криками к чудаку. И наоборот. Немой не всегда был безобиден. Если его сильно разозлить, то он мог и изувечить. Одна вроде бы пустяковая комбинация очень раздражала немого. Стоило только приставить большой палец к виску около уха, а остальными помахать, как немой хватал что попало и гнался за обидчиком.

Было немало казарменных развлечений. Например, провинившегося в чем-то клали на постель, задирали рубаху, одной рукой оттягивали кожу, а ребром пальцев другой наносился быстрый удар по оттянутой коже. Это называлось «рубить банки». Иногда в казарме бывал такой тяжелый дух, что хоть топор вешай. Пробовали производить эксперименты с отходящими газами: один нагибается и пускает газ, в то время как другой с горящей спичкой стоит около него... Иногда получался небольшой взрыв. Или такое: у кого-то назревала большая порция дурного газа, он кричит: «Зуб!», а другой отвечает: «Рви!», и раздавался оглушительный треск. Так и рвали, и развлекались.

Жил с нами повар. Собой массивный, но какой-то рых-

лый, с бледным цветом лица. Дразнили его «Антанта». Нам, его сожителями по казарме, он старался наливать погуще и побольше.

Не могу не вспомнить «цыгана». Весь какой-то черный, с красным лицом, он и впрямь походил на цыгана, хотя родом был из-под Мурома. По утрам его спрашивали, сколько лошадей он украл за ночь. Он скалил свои белые зубы, и спрашивающий получал дружескую оплеуху.

Если в 1918 году моя мечта побывать в Москве осуществилась, и тогда за короткое время пребывания я мог ознакомиться с ней лишь в самых общих чертах, то теперь передо мной открывались новые горизонты. Да и за пять лет советская власть укрепилась, облик города изменился. В ресторанах нэпманы с музыкой распивали дорогие вина и коньяки. От них не отставали «совбуры» (прим. – советская буржуазия). Ну а кто попроще, те тянули «рыковку» – так называлась по имени предсовнаркома Рыкова сорокоградусная водка.

Между прочим, не помню, чтобы, будучи в армии, я бывал пьяным. Я не курил и не пил. А вот насчет ругани – ругался. Это чтобы не отставать от массы. Было у нас в ходу выражение «слабо». Оно употреблялось, когда нужно было кого-то подзадорить. А тот из кожи лез и доказывал, что ему «не слабо».

В первое время я направился на уже знакомые места по 1918 году, которых было не так уж много, а потом начал де-

тально знакомиться с внешним обликом Москвы, с ее проспектами, бульварами, кольцами, заставами, улицами, площадями, церквями чуть ли не в каждом квартале, с садами, скверами. Толкался на Сухаревке, Охотном ряду, у Ильинских ворот на «черной бирже» – это все места, где тьма тьмушая каких-то темных личностей и «нэпманов». Ходил кругом храма Христа Спасителя – этой громадины, видной со всех концов Москвы, вокруг которого соседствовали и Кремль, и Москва-река с мостами, и картинные галереи Цветковской и Западных искусств, Музей изящных искусств и много, много всего другого. Потом Нескучный сад, Воробьевы горы, Сокольники.

В музеи я стал ходить позже, когда в общих чертах ознакомился с городом. Одним из первых музеев, где я не раз побывал, был политехнический, недалеко от Лубянки. Потом исторический и другие. Это были бессистемные, одиночные экскурсии от случая к случаю.

Все изменилось, когда я ознакомился с одним крупным московским культурным очагом – рабочим дворцом им. Ленина, что на Введенской площади. Еще более широкие горизонты открылись для меня, когда стали понятны цели и задачи, проводимые дворцом. Дворец на Введенской площади находился немногим больше одного километра от нашей казармы в сторону центра. Поблизости много производственных предприятий, и одно из них, очень крупное, было таким шумливым, что мы, проходя по Семеновской улице, удивля-

лись, как терпят и переносят этот постоянный шум окрестные жители. По выходным дням дворец организовывал экскурсии в музеи, галереи, походы в разные интересные места. По обычным же дням во дворце проводились лекции, театральные представления, работали разные кружки.

При дворце было организовано общество Друзей рабочего дворца, сокращенно его называли ДРД. Члены общества дежурили, следили за порядком. Вскоре я стал членом ДРД, а позднее записался и стал посещать открытую при дворце советско-партийную школу вместе с несколькими товарищами нашего полка.

По выходным дням организовывались экскурсии. Подбиралась группа желающих из заводских рабочих и служащих, и нас, красноармейцев. Нам давали трамвайные талоны, назначали руководителя группы, и мы добирались до назначенного пункта. Осмотрев музей, мы расходились и домой добирались кто как. Я часто обратно шел пешком, и у меня образовался запас трамвайных талонов, таких спасительных при очень дальних походах.

В жаркий летний день я попал на Всероссийскую хозяйственную выставку, расположенную на территории Нескучного сада. Там мне посчастливилось слышать выступления Калинина М.И. и Клары Цеткин. Присутствие на выставке Калинина и его речь позволяют мне предположить, что это был день открытия выставки, т. е. 18 августа 1923 года. Сколько людей разных национальностей собралось на вы-

ставке! Какие-то с Востока на верблюдах оглушительно трубили в длинные трубы. Кругом пестрые одежды, непонятный говор вперемешку с русской речью, вся территория Нескучного сада застроена павильонами республик. Но вот на веранде второго этажа одного из павильонов появляются М.И. Калинин и Клара Цеткин. Они произносят речи. Клара Цеткин говорит по-немецки, голос сильный, энергичные жесты. М.И. Калинин – старичок в очках с бородкой клинышком, говорит не так громко, как Цеткин. Меня очень удивило, что Клара Цеткин в ореоле своих седых пышных волос, выглядевшая много старше М.И. Калинина, говорила необычно звонким, молодым голосом. Речь ее была далеко слышна. Голос Калинина намного слабее.

Запомнилась экскурсия на недавно открытую тогда Шаболовскую радиостанцию. Собралось нас немного и от дворца двинулись к трамваю. Добрались до Шаболовки. Нас поводили по комнатам. Рассказали в общих чертах о назначении станции, о ее работе. Около шумевшего и гудевшего какого-то агрегата мы постояли, раздвинув рты. Я лично мало что тогда понимал в радиотехнике, и не все объяснения руководителя доходили до моего сознания. Но я был доволен, что побывал в современном, передовом техническом сооружении, посещение которого было не совсем общедоступным. Выйдя из здания радиостанции, мы еще раз поглядели на гордо возвышавшуюся башню, такую на вид простую и такую чудодейственную.

На экскурсию в дом писателя Льва Николаевича Толстого, кажется, в Хамовниках, нас собралось несколько человек, причем большинство было красноармейцев. Миновали Воздвиженку и вот – особняк. Помещение не очень большое, обстановка – как при жизни Толстого. Пояснения давала пожилая женщина, почему-то мне запомнилось, что это была близкая родственница писателя. За время стоянки в Москве мы уже «окультурились» и, с присущем молодости легкомыслием, полагали, что многое нам известно и в жизни, и в литературе. К тому же мы были слушателями совпартшколы при дворце, так что обладали, по нашему разумению, кое-каким политическим багажом. В общем, самомнения и гонора у нас было хоть отбавляй! По этой причине мы, слушая пояснения женщины, начали показывать свою «образованность» и выступать с репликами и пререканиями. Я, например, высказал такое глубокомысленное суждение, что де, хорошо было Толстому, походив за плугом, прийти домой, плотно поесть, одеться во все чистое, лечь в хорошую постель и т. д. и т. п. И что, мол, крестьяне таких условий не имели. Я не понимал тогда, как это нетактично. Женщина поглядывала на нас и никак не реагировала на наши нескромные реплики. Ведь это было время, когда ореол славы таких людей, как Толстой, Пушкин, Суворов и многих, многих других, после революции поколебался. Ведь Толстой был не только писатель, но и граф... И пролетариат, и простые люди помнили, что они – представители свергнутого класса, и причисляли

их к категории буржуев. Да, нужно признаться, мы, будучи профанами, судили о многом со своей, не слишком высокой, колокольни, и некоторые наши реплики были неуместны. Так, лягнув ослиным копытом в память великого писателя земли русской, мы покинули музей.

Однажды во дворце объявили, что намечается организация экскурсий в Кремль и полет на самолете над Москвой. И хотя желание полетать и побывать в закрытом тогда Кремле с его царь-пушкой и колоколом было огромным, я тогда и не полетал, и в Кремль не попал. В Кремле в-первые мне пришлось походить много позже, когда он стал доступен для всех, а на самолете полетел еще позднее.

Но не только посещением музеев, галерей и исторических мест Москвы мы были обязаны дворцу. Здесь систематически проводились лекции на всевозможные темы. Запомнился ученый невропатолог Россолимо Григорий Иванович. Он учил нас разбираться в вопросах физиологии, рассказывал о нервных болезнях. На его лекциях всегда было много слушателей.

Но самыми интересными и желанными были лекции на антирелигиозные темы атеиста Ивенина. Мужчина выше среднего роста, коренастый брюнет с резкими чертами лица, с хорошей дикцией и могучим голосом, обладая талантом артиста, он сразу завоевывал симпатии аудитории. Правда, было что-то бульдожье в нижней части его лица, что не красило его облик, но мы, постоянные слушатели его лекций,

привыкли к этому недостатку. Стоя на трибуне, он всегда начинал лекцию спокойным, негромким голосом, и по мере того, как библейские или евангельские несурезицы, о которых он вел речь, все более и более становились противоречивыми, он начинал жестикулировать, и его голос все более и более повышался. Перед нами уже был не обычный лектор, а артист своего дела. Все его доводы были общедоступными и доходчивыми. Они убеждали, заставляли верить в правоту его высказываний. На трибуне у него лежали Библия и Евангелие, и он в нужных местах приводил цитаты из них и опровергал их логическими выводами. Часто он даже в каком-то экстазе ударял себя в грудь и призывал Бога покарать его на этой трибуне, дабы прекратить его богохульные речи. Но всемогущий, всевидящий, всезнающий и всемогущий Бог не мог справиться со своим несговорчивым и неуступчивым противником не только в Введенском рабочем дворце, но и во многих других клубах Москвы, где он сеял ростки атеизма.

Проводились во дворце и другие антирелигиозные выступления. Устраивались дискуссии, диспуты, но речи защитников так называемой «живой церкви» были малопонятны, аудиторию они не убеждали – слишком много туманного было в их речах. Во всяком случае нам, красноармейцам, больше нравились их оппоненты, тот же Ивенин и другие.

После лекций и диспутов моя и до того не слишком твердая вера в Бога, серьезно поколебавшаяся еще в 1917 году,



окончательно пошатнулась и пришла в упадок.

Жить в Москве и не побывать в Большом театре было бы непростительно. Конечно же, я мечтал об этом, и вскоре счастливый случай привел меня туда. Вероятно, был какой-то праздник, и нашим красноармейцам повезло: дали билеты в Большой театр. И вот, мы очутились в великолепном зале Большого театра, опоясанного ярусами, отделанными плюшем. Нас поражало и убранство зала, освещенного люстрами, и величина сцены размером, чуть ли не превосходящим зрительные залы обычных театров. Вот на сцену выходят и усаживаются за длинным столом президиума несколько человек. Среди них различаю знакомого по портретам, а еще более по знаменитым усам, Буденного С.М. Из выступлений с речами запомнил трех: Луначарского, Фрунзе М.В. и Буденного С.М. Это были видные и популярные деятели советской власти.

Луначарский, с внешностью старого интеллигента, подходит к трибуне. Его речь, длившаяся бесконечно долго, насыщенная словами не совсем понятными не только мне, но и моим товарищам-красноармейцам, не волновала нас. Его лексикон, изобиловавший неологизмами и политическими терминами, тогда, при моем двухклассном «академическом» образовании, полученном в Либавской железнодорожной школе, был недоступен для моего понимания. Как, впрочем, и соседям, сидевшим вблизи, что было видно по их лицам.

М.В. Фрунзе – среднего роста, коренастый, с прической «ёжиком». Одет просто – вид солдатский. Его продолжительная речь была более понятна, нежели речь Луначарского.

После Фрунзе, под гром аплодисментов, к трибуне подошел С.М. Буденный. Речь его была короткой, говорил он простыми словами, понятными большинству из аудитории.

После торжественной части был концерт и балет. Были исполнены фрагменты из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Это был единственный случай посещения мной Большого театра за время пребывания в Москве в 1923–1924 годах.

В других крупных московских театрах я не был. Единственным и доступным культурным центром, знакомившим нас с искусством театра, являлся Введенский рабочий дворец. Во дворце преобладали выступления «Синей блузы». Молодые артисты в синих блузках гремели на эстраде, маршировали по сцене, показывали короткие интермедии, высмеивавшие буржуев и расхваливающие пролетариев. Иногда проводились постановки с участием хороших артистов, на которые не всегда удавалось попасть. Запомнился мне почему-то артист Топорков, игравший в пьесе «Ванечка». В моде тогда были пьесы: «Гений или беспутство», «Коварство и любовь». Но я театром тогда интересовался мало.

Кроме постановок, кино, лекций и диспутов бывали в Рабочем дворце многолюдные собрания, на которых выступали

видные политические деятели. Помню выступление на болгарском языке известного болгарского революционера Василя Коларова (соратника Дмитрева).

А полк жил своей обычной жизнью с маршировками, политзанятиями, обедами, ужинами. Наша футбольная команда, в которой Сережа Трифонов пользовался большим почетом и славой лучшего игрока, вступала в борьбу с известными московскими командами на стадионе, организованном под боком наших казарм. Сережа пользовался успехом у женщин, но наибольшим, конечно, у жены начхоза Яковлева, который уже смирился с этим неизбежным злом. Да и как мог он, пожилой уже человек, противостоять двадцатилетнему Сереже в таком щекотливом деле как любовь. Уже у Ули появился ребеночек и Николай Заговалко почти не отрицал своего участия в этом событии... Стали часто появляться слухи о демобилизации, ведь мы служили, не зная никаких сроков службы, по принципу – служи, пока служишься. Рассудительный и спокойный Трубицын даже называл примерные сроки демобилизации, и с ним соглашался молоденький, похожий на девицу, Вася Корж. Я также мечтал об этом дне – пошел четвертый год моей военножелезнодорожной службы.

Как-то мало запомнился мне комиссар полка Верженский Адам Иванович, хотя при нем я демобилизовался и при нем прошел весь московский, богатый впечатлениями, период моей жизни. Может быть от того, что мало приходилось с ним иметь контактов и сталкиваться.

В Москве у нас часто менялись комиссары полка. И один из них мне крепко запомнился. Это пьяница Михайлов. Его редко видели трезвым. Был он по виду из рабочих, но парт-организация, направившая его комиссаром воинской части, явно дала маху! Его на пушечный выстрел нельзя было допускать к благородному званию комиссара.

Однажды я дежурил по штабу. Вваливается пьяный Михайлов и заводит речь: «Вот ты грамотный, напиши такое письмо на фабрику, чтоб полку отпустили мануфактуры для того-то и того-то. Только пожалостливее, чтоб не отказали. Понял?», и уходит. Я рад, что он отвязался, но приказ есть приказ, он закон для подчиненного. И я принялся «сочинять» письмо. Не помню, насколько оно было «жалостливое и убедительное», но на следующий день, утром, я передал его Михайлову, сидевшему с похмелья в своем кабинете. Он тупо поглядел на меня, на бумагу, что-то, видимо, припоминая:

– Что у тебя?

– Написал письмо, как вчера приказали.

Взял письмо, повертел:

– Иди.

Я вышел.

Не знаю, письмо ли помогло или что-то другое, но рулон красной мануфактуры я видел попозже. Его передали делегаты с мануфактурной фабрики...

В один из дней в штабе полушепотом сообщали друг дру-

гу, что должны привезти генерала Слащёва, который выступит с лекцией на военную тему. Врангелевский генерал Слащёв, проливший много красноармейской крови в боях у Крыма и попавший в плен, теперь подвизался в роли лектора. Я пытался попасть в зал, где это должно было состояться, но мне не удалось. Присутствовать могли только лица комсостава. Помощник адъютанта Кучинский, вертевшийся около двери, мимо которой должен был пройти Слащёв, шепотом запретил мне идти в зал. Только издали я видел, как прошагал генерал и сопровождающие его лица. Вообще же Кучинский вел себя как-то подобострастно, будто преклоняясь перед пленным вражеским генералом.

Большое печальное событие, всколыхнувшее не только москвичей, но и всю страну, весь многомиллионный народ, произошло 21 января 1924 года. В Горках, под Москвой, скончался В.И. Ленин.

Помню январский понедельник. В нашей казарме уже с утра чувствовалась какая-то напряженность. Говорили мало, и тишина, царившая в казарме с утра и весь день, угнетала. Еще накануне приходили тревожные вести о тяжелом состоянии В.И. Ленина, и это отражалось на настроении москвичей. Не помню, кто и как часов в пять вечера объявил нам известие о кончине Ленина. Каждый по-своему воспринял это сообщение, но настроение у всех было подавленное. Как-то не хотелось верить, что вождь революции, в сущности, не старый еще человек, ушел из жизни...

Потом в морозный день 21 января 1924 года недалеко от Красной площади я увидел процессию – это несли гроб с телом Ленина с Павелецкого вокзала в Колонный зал дома Союзов. Когда открыт был доступ в Колонный зал, потянулась нескончаемая движущаяся очередь. Дни стояли морозные. На площади горели костры. Народ бесконечным потоком вливался в зал. Прибывали делегации со всего Советского Союза, люди приезжие и москвичи прощались с Вождем. Медленно проходили мимо гроба, утопающего в цветах, впиваясь взором в черты Вождя, знакомые большинству по портретам, а меньшинству – по личным встречам с Ильичем. Прошел мимо гроба и я.

Наступил день 27 января 1924 года. День, когда гроб с телом Ленина, сопровождаемый массой народа, был перенесен из Колонного зала дома Союзов в сооруженный уже деревянный мавзолей на Красной площади.

Еще накануне нам, красноармейцам, выдали новые валенки и шинели. Снабдили вазелином для смазывания щек и носов. Подъем протрубили рано утром. Часов в шесть утра нас накормили. Потом построили, и мы пошагали к центру. Подошли к Охотному ряду и остановились невдалеке от дома Союзов. Мороз -27 с ветром обжигал лицо. На площади в разных местах горели костры, и мы поочередно бегали к ним греться. Потом нашу часть расположили в проезде между Театральной площадью и углом здания Комиссариата финансов (впоследствии музея им. Ленина). Нас расставили

шпалерами. Стояли долго. Бегали греться в здание Народного Комиссариата по иностранным делам (напротив Китайгородской стены). Помню, на этом доме была прикреплена доска: «Приемная М.И. Калинина».

И вот, со стороны Театральной площади показалась траурная процессия. Мы повернули головы налево. Сначала – масса венков, потом гроб. Гроб несли на руках. А вот кто нес, я не успел разглядеть. Ведь все внимание было приковано к гробу и лежащему в нем Ильичу. Хорошо запомнил прошедших Н.К. Крупскую, Калинина и, кажется, Рыкова. Многих людей я не видел в жизни и мог определить их только по сходству с портретами, на что требовалось время гораздо большее, нежели то, за которое они прошли мимо меня. И подсказать было некому, да и не это в тот момент было главное. А потом – колонны людей, делегации со всех уголков нашей огромной страны шли в безмолвии.

Я до сих пор считаю маленьким чудом, когда среди тысячной массы идущих я увидел представителя моего родного Сновска – Ивана Борисенко, и что самое неожиданное – он, Борисенко, среди стоявших шпалерами одинаково одетых красноармейцев узнал меня. Мы кивнули друг другу. Так приятно было хоть таким образом увидеть своих земляков – представителей Сновска, по которому я за три года порядком соскучился! И надо же было случиться такому стечению обстоятельств, что И.Борисенко шел именно по той стороне, где я стоял у края тротуара, и что он среди однород-

ной массы красноармейцев узнал меня. Правда, еще когда я был в отпуске в Сновске, он меня видел в военной форме. Все же эта встреча была необычной и запомнилась надолго.

Время подошло к 16 часам. Орудийные залпы, всевозможные гудки и заводские, и паровозные в течение пяти минут звучали по Москве. Да и не только в Москве: во всех пунктах Советского Союза прозвучали они. На пять минут остановилось движение всех видов транспорта... Гроб с телом Ленина установили в мавзолее.

Уже много позже, когда Сталин был в ореоле своей славы, а не таким скромным, как в год смерти Ленина, я подумал, что я его, возможно, видел в числе несших гроб. Слишком много впечатлений было за те несколько минут, когда мимо нас прошла эта процессия. Просто физически невозможно было все разглядеть и осмыслить. Вообще же, меня интересовал вопрос, кого же из несших гроб я мог тогда видеть. Но напрасно я искал тогда в музеях печати фотоснимки (а они, конечно, были), мне так и не удалось посмотреть их. А жаль!

После траурных январских дней слухи о демобилизации все настойчивее беспокоили нас. Дело шло к весне, не за горами были Первомайские праздники. Занятия во дворце шли успешно. Перед майскими днями нам выдали книжки по истории партии. Некоторые из совпартшкольцев, как, например, Цепке, Болдырев, стали кандидатами в члены партии...

После окончания школы нам выдали удостоверения. Мы сфотографировались, собрались, правда, не все. Фотокар-



точку я уже позже в Сновске получил по почте. Ее переслала мне Тоня Якшина. И хотя прошло немного времени после съемки, я уже не всех мог припомнить, и рассматривая теперь эту фотографию, пользуюсь расшифровкой на ее обороте. Вот в первом ряду слева направо сидит Карягин – заводской паренек, рядом с ним наш красноармеец Цепке Вася – один из лучших учеников, рядом с ним рабочий с завода Шишков, которому сидящая с ним рядом преподавательница школы С.Б. Жукова, учитывая его почтенный возраст и окладистую бороду, делала немало поблажек в учебе. Конечно же, С.Б. Жукова – симпатичная женщина средних лет, пользовалась большим уважением среди нас, ее учеников. Рядом с ней Болдырев – тоже из наших красноармейцев. А вот кто сидит между Болдыревым и рабочим завода Зуйковым, у меня не записано. Судя по одежке, это пожилой рабочий с одного из заводов. Во втором ряду слева стою я, рядом кто-то из наших, потом молодой заводской рабочий. С ним рядом в кепке – Антонова, живущая у Семеновской заставы. Справа от нее рослая деваха с Благуши – Захарова, подруга Тони Якшиной, правее от нее с писательской шевелюрой и с бородкой Дмитрий Иванович Попов – директор Рабочего дворца, всеми очень уважаемый человек, спокойный. В третьем ряду слева стоит Якшина Антонина, но о ней несколько теплых слов напишу ниже. Рядом с ней Ястребов Александр – один из моих друзей. Справа от него Курганова и еще правее Стреколин и Корольков – тоже наши красно-

армейцы, ничем не выдающиеся ученики совпартшколы.

Отдельно нужно сказать о Тоне Якшиной, о которой у меня сохранились самые наилучшие воспоминания. Девушка эта жила на Семеновской заставе. Работала машинисткой в ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) в центре, была достаточно скромна, развита и умна. Не красавица, но и не урод – красавиц в нашей группе не было. По общему мнению, Тоня была симпатичной девушкой, а по моему лично-му – лучшей из них.

После занятий во дворце мы компанией шли домой. Наши дороги до Измайловского вала совпадали, и я с удовольствием провожал Тоню и Захарову в компании с Цепке и другими, и изредка доводилось провожать ее до дома. Тоня была начитана, она, как и я, любила книги, стихи, а как позже я узнал, и сама кое-что сочиняла. Молодость, общность наших интересов постепенно сблизили нас, и знакомство перешло в дружбу. Короче говоря, я был немного влюблен в Тоню, и она это замечала. Особым успехом я не пользовался, но и отвергнут не был.

Поэтому, когда я демобилизовался, то заручился ее согласием: во-первых, прислать мне фотоснимок нашей группы, и во-вторых, отвечать на мои письма. И то, и другое ею было выполнено.

А уже после нескольких ответов на мои письма и получения мной группового снимка я послал Тоне свою фотокарточку и взамен получил ее. На обороте общей фотогра-

фии нашей группы Тоня написала такие лирические строки, которые как нельзя лучше характеризуют работу Рабочего дворца и нашу признательность ему за все доброе, что он нам дал. Вот эти стихи:

«Вот семь часов. Дворец открыт,  
Народ толпой в него спешит.  
Для всех найдется в нем уют,  
И знаний свет нам в нем дают.  
Там есть кружки, библиотека,  
Концерты, лекции, кино.  
Есть все для блага человека  
И для развития его.  
Дворец узнали мы недавно,  
Его успели полюбить,  
Теперь у нас одно желанье:  
Учителей благодарить!

*Москва, 18/VIII 1924 г.».*

Не знаю точно, кто автор этих строк, но у меня укрепилось мнение, что сочинила его Тоня.

Забегая немного вперед, я должен признаться, что переписывался я с Тоней порядочное время. Тоня на письма отвечала, но потом, когда я, войдя в «писательский раж», понес какую-то ахинею, сравнивая Тоню с Татьяной, а себя с Онегиным, то переписка наша пошла по линии затухания и прекратилась.

А еще позже я, будучи в Москве, назначил Тоне свидание

на Семеновской заставе под часами. Мы встретились, я побывал у нее дома в темной квартире. Тоня заметно сдала, жаловалась на потерю зрения на 50 %. После встречи дружба эта угасла. С Тоней у меня была чистая дружба на чисто платонической основе, даже без единого поцелуя.

Перед майскими праздниками появился приказ о демобилизации. Многие начали разъезжаться по домам. Я решил майские дни отпраздновать в Москве. На столе после прихода почтальона уже оставалось много писем, адресаты которых укатили кто домой, кто в неизвестном направлении. Одно письмо, валявшееся долгое время, заинтересовало меня своими штампами. Штампы были не русские, а, как мы расшифровали, американские. В письмо, написанное малограмотным человеком с обилием всяческих поклонов, был вложен истрепанный американский доллар. Позже, уже в Сновске, я этот доллар обменял в «Торгсине» на наши деньги. Я даже удивился, как его приняли – до того он был истрепан...

День 1 мая 1924 года был дождливый. Я сидел на крыше дворца и пускал ракеты. Одну из них «сэкономил» и привез в Сновск.

Когда в воскресенье около «цыганского берега» на Снови конторские во главе с И.И. Стадниченко причалили лодки к берегу, выбрав это место для маевки, я из-за кустов хотел сделать сюрприз и неожиданно пустить ракету. Но эффекта не получилось: ракета, видно, была подмочена, и, пущенная не из ракетницы, рванула в бок и обожгла мне щеку. Вся

компания собралась около меня в недоумении. Я, конечно, объяснил причину.

Сразу же после майских праздников 1924 года я распрощался с Москвой, прожив в ней ровно один год. Богат впечатлениями был этот год, и много он мне дал в моем общем духовном развитии. Музеи, картинные галереи обогатили мои знания и расширили кругозор. Я побывал почти во всех главных музеях и галереях. И не только в главных. Помню, попал даже в новый небольшой музей где-то на Разгуляе, где были выставлены произведения Коненкова и каких-то футуристов. Пешком я исходил немало мест, на которые не ступала нога коренных москвичей. Те же Тоня Якшина и ее подруга Захарова, раскрыв рты, слушали мои рассказы о незнакомых им уголках Москвы, где они отродясь не бывали. Много походил я по всевозможным Лефортовским, Немецким, Баумановским, Мясницким, Кузнецким, Грузинским, Пресненским и многим, многим другим улицам. Побывал на всех девяти вокзалах. Не раз замыкал круг Бульварного и Садового колец. Не раз попадал под ливни, и, разувшись, босиком, как все, шел домой. Особенно после ливня ревела, извергаясь из трубы в Москву реку, река Неглинка. Шлялся по Китай-городу, лазил по Воробьевым горам, бродил по Нескучному саду, не забывая заглянуть на Сухаревку.

1924–1936 гг. Сновск – Гомель

После демобилизации из Красной Армии в 1924 году я вернулся в свой родной Сновск в семью Гавриловых девятым ее членом. За время моего пребывания в армии в 1923 году появился еще один брат Александр. Когда я спрашивал потом у матери, почему его называли тоже Александром, мать объяснила, что это по инициативе отчима – он не был уверен, что я вернусь домой. Квартира была в доме № 1 на ул. Парижской Коммуны. Мне выделили угловую комнату, называвшуюся в дальнейшем «Сашиной комнатой». В двух других, кроме кухни с русской печью, жили отчим и мать, сестра Аня, братья Иван, Петр, Коля, Леонид и Шура. Начался новый этап в моей жизни.

Время было тяжелое, семья немалая, и нужно было без промедления устраиваться на работу. На прежнее место в конторе участка пути меня не брали. Предложили временную работу подавальщика угля на паровозы. Согласился. Проработал около двух месяцев, поднимая бадьи с углем на тендер паровоза при помощи журавля. То ли смилостивился заведующий конторой Стадниченко Иван Иванович, то ли заела совесть председателя месткома Пупанова Александра Александровича, но вскоре я был принят на старую должность конторщика. Ведь по закону я должен был быть принят на прежнюю должность сразу же после возвращения из армии. Определили мне зарплату, которая почти целиком шла в общий семейный котел.

По складу своего характера я не был модником и довольствовался одеждой, привезенной из армии, потому что домашний гардероб был очень бедный. Ну, известно, какая одежда была в те времена на красноармейце: шлем, костюм защитного цвета, ботинки на гвоздях типа «австрияки», обмотки и портянки. В таком виде я щеголял: и в контору, и на гулянку ходил в том же.

Гуляли около клуба. Ходили парочками, группами, а такие, как я, и в одиночку. Однажды меня остановила моя какая-то дальняя родственница, проживающая у тетки Лукашевич. Была она курносая до такой степени, что, глядя на нее, трудно было не улыбнуться. Звали ее Зося. Зося была не одна, с ней были еще две девчонки. Познакомились.

– Шура, – отрекомендовалась одна из них.

Так состоялось мое первое знакомство с моей будущей женой.

Очень смутно помню ее тогдашний образ – было темно, но помнится, что особого впечатления это знакомство не произвело. Обычная девушка, каких много можно было ежедневно видеть вечером у клуба. Как видно, и Шуру знакомство со мной мало заинтересовало, и уже позже, будучи замужем, она подтвердила это. Гимнастерка, штаны, не видевшие утюга, обмотки, потрепанные сандалии на деревянному ходу – все это не соответствовало образу интересного молодого человека. Да я и сам был далеко не красавец: худой, плохо подстриженный, неуклюжий. Такого мнения я был о

своей особе.

Сновск того времени был местечком, которого еще мало коснулась революционная новь, да и появившийся НЭП тормозил его движение по этому пути, и дух мещанства еще крепко сидел в умах его обитателей. Немудрено поэтому, что девушки придерживались морали своих матерей и стремились удачно выйти замуж. Но при этом не забывали судить о человеке, встречая его по одежке и манерам. Шура не была исключением, и наше знакомство пошло по затухающей кривой.

После армии я уже не был тем безропотным «Александром», каким был до этого, и уже к моему имени все чаще стали добавлять и отчество – Александрович. Я был трудолюбив, усидчив. Пребывание в армии, постоянное передвижение в новые места, знакомство и общение с разными людьми – все это заметно расширило мой кругозор. И уже через пару лет, в 1926 году, я стал старшим счетоводом отдела Пути Западных железных дорог, и даже чопорные старые девы Речицкие, работавшие в конторе, стали обращаться ко мне по имени и отчеству. Уже осужден был за взяточничество Стадниченко И.И. Не помню точных дат, но помню, что это было между 1924 и 1930 годами.

В помещении, занимаемом когда-то начальником участка пути Мартыновым, расположился штат новой районной конторы, заведующим которой стал потешный старичок Лукашук Иван Филиппович.



К концу двадцатых годов бывший дорожный мастер пути Зубаков Александр Александрович был назначен начальником объединенного участка пути и связи. Он был хорошим путейцем, но по связи мало что смыслил. А подчиненные жаждали аудиенции и разъяснений по работе. В конторе было два выхода. И потешно было наблюдать, как Александр Александрович, только что появившийся в одних дверях, сразу был осаждаем просителями и подчиненными. И как он медленно, но верно, двигался к другой выходной двери, и бросив на крыльце короткое: «Я сейчас приду», спасался бегством от этого нашествия.

В те двадцатые годы железная дорога довольно щедро снабжала своих штатных работников бесплатными билетами с правом проезда по всей сети железных дорог, а одно время даже и по водным путям. Выдавались также и провизионные билеты на проезд от станции Сновская до любой станции на расстоянии 300 километров от нее в оба направления. Не все железнодорожники использовали это свое право, но я при моем равнодушии к путешествиям все свои отпуска и свободное время употреблял на поездки, и неиспользованными билетами у меня не оставались.

В выходной день садился на поезд и, если не было свободных мест, лез на третью полку, устраивался там, подложив под голову кулак или фуражку, и ехал до указанной в провизионе станции в 300 километрах от Сновска. На всех этих конечных станциях я побывал. Запомнилась поездка в два

городка на Украине: в Золотоношу, что недалеко от Черкасс, и в Прилуки. Побродив до обратного поезда, я возвращался домой. Однажды мне выдали «провизионку» (прим. – железнодорожный билет) до Киева, и я не преминул ею воспользоваться и посетил этот уже знакомый мне город. А иногда от конечной станции, обозначенной в «провизионке», я покупал билет, например, до Минска или до Киева.

По разовым железнодорожным билетам ездил в отпускное время. Был на юге в солнечном Севастополе, городе славном. Лазил по его гористым улицам, ходил на раскопки древнего Херсонеса, любовался полотнами знаменитой Севастопольской панорамы, был у памятника Нахимову, Корнилову, Тотлебену. Ездил в рыбацкую Балаклаву, что в десятке километров от Севастополя. И, конечно, ел черешню и пил холодную бузу (прим. – буза – слабоалкогольный напиток из забродившего проса или кукурузы).

Однажды был в Ленинграде, вскоре после наводнения в 1924 году – наводнения, случившегося через 100 лет после того, которое было в 1824 году, описанное Пушкиным в поэме «Медный всадник». Я шел по Невскому, перешагивая через горы торцов. В те годы улицы Ленинграда были замощены деревянными торцами, и все это при наводнении всплыло.

В эту поездку я зашел к П.Н. Прокоповичу в квартиру его отца на Галерной улице около Кронверкского проспекта. Поднялся на пятый этаж, и дверь мне открыл Павел Нико-

лаевич, поздоровались.

– Вот, Морозыч, наши апартаменты, – сказал он.

Кругом чертежи, эскизы, обстановка подтверждала профессию его отца-архитектора. Квартира была обширная. Павел Николаевич познакомил меня со своим братом. Брат произвел на меня странное впечатление: он мне показался каким-то неполноценным субъектом, таким, про которых говорят, что у них «не все дома». Может, я и ошибался.

Вечером Прокопович повел меня на какое-то собрание в доме недалеко от Невского. Или я слишком отстал от этой компании, или сборище было чересчур «заумным», но я тогда мало чего понял.

Между прочим, при отъезде П.Н. дал мне несколько планов г. Ленинграда, в то время планов в продаже не было.

В одну из поездок в Ленинград я побывал на ледоколе «Красин», стоявшем на приколе после его знаменитого рейса по спасению экспедиции Нобиле в 1928 году (прим. – экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», потерпевшем катастрофу). И, конечно же, все поездки в Ленинград не обходились без заезда в Ораниенбаум к фонтанам. Исправно посещал Эрмитаж, Русский музей и другие. Много улиц пешим порядком я исходил в этом славном городе. Бывал и на верхушке Исакия.

В одну из поездок в Ленинград мне посчастливилось увидеть первомайские торжества. Доступ к трибуне на Дворцовой площади был свободен, и я очутился в непосредственной

близости от Зиновьева Г.Е., который занимал тогда важный пост. Он выступал с речью. Мужчина крупной комплекции, он говорил каким-то пискливым дискантом. Голос явно не гармонировал с фигурой и заставлял улыбаться слушателей.

Погода была хорошая, и я решил искупаться в Неве. Уже очень соблазнительна была перспектива рапортовать в Сновске, что я 1 Мая купался в Неве. Разделся где-то вблизи Ро-стральных колонн и в ледяной воде проплыл немного по течению.

Запомнились мне поездки в Мурманск и на Кавказ.

Выписан разовый билет до Мурманска. И вот, в середине августа 1927 года я выезжаю из Сновска. Маленький чемоданчик – весь мой багаж. Проезжаю хорошо знакомую Оршу, потом Витебск, Ленинград – здесь пересадка на прямой до Мурманска. На мое счастье к Волхову подъезжаем в дневное время. Медленно проходит поезд рядом с плотиной первенца электрификации Волховстроем. Катит свои воды Волхов, переливаясь через плотину. Потом поезд мчится через леса, озера, реки к Петрозаводску. Вот открылась широкая панорама Онежского озера. Видны пароходы. Поезд идет по склону горы, и еще долго мы едем вблизи берега. За Петрозаводском начинается настоящее царство озер и лесов. Станций мало, перегоны большие. Едем параллельно трассе будущего Беломорско-Балтийского канала до Беломорска. Тут уже самое настоящее Белое море. Подъезжаем к станции Кемь, отсюда морем до знаменитых Соловецких остро-

вов рукой подать. Погода какая-то невеселая, пасмурно, и несмотря на август – жарко. За Кемью поезд отрывается от Белого моря и мчит сквозь леса и воды дальше.

За 66-й параллелью проезжаем станцию Полярный круг. И лишь недалеко от станции Кандалакша мы опять видим водное пространство Кандалакшской губы, залива Белого моря. Видны небольшие горки с острыми зубцами скал, нависших над водой. За Кандалакшей прощаемся с Белым морем и вскоре подъезжаем к знаменитым Апатитам. Проехав Апатиты, мы почувствовали несовершенство еще необъезженной железной дороги. Вагоны то подпрыгивали, то качались из стороны в сторону. Помню, что на каком-то участке была проверка документов, ведь граница была близко. Кажется, я объяснил, что еду в Мурманск к брату и показал справку об отпуске, что удовлетворило пограничника.

Еще когда мы проехали станцию Полярный круг, я ожидал резкой перемены в ландшафте, но он оставался все тем же: леса, озера, реки, но только не тундра. И когда миновали Колу и подъехали к Мурманску, то к моему немалому изумлению этот город стоял в окружении высоких гор, покрытых зеленой растительностью, и на берегу широкого Кольского залива. По внешнему виду ну просто Ялта! Правда, было не жарко. И когда поддувал ветер с юга, то было прохладно, а ветерок с севера приятно согревал (влияние Гольфстрима).

Прибыл 18 августа, устроился в гостинице «Желрыба» Мурманской железной дороги. Первая ночь меня удивила

тем, что, несмотря на глубокую ночь, было светло. Где-то на горизонте был виден диск солнца, которое почти не заходило. Но в самое темное время электричество все же включалось.

Днем я ознакомился с городом. Много было улиц, на которых не было домов, а лишь таблички с названиями будущих улиц. Самым большим было здание гостиницы «Желрыба». На рынке увидел оленей. Много китайцев. А из какой-то статистической таблицы я узнал, что в Мурманске живет более 20-ти национальностей.

Город расположен среди невысоких гор. На самом высоком уступе – городские постройки, ниже – железнодорожный вокзал, здание очень скромное, а еще ниже у спуска к Кольской губе – причалы на высоких столбах. В порту стояло несколько судов. Было вполне тепло, и я решил искупаться. Кольский залив – это почти Ледовитый океан, а как же, будучи вблизи океана, да не покупаться! Я пошел берегом на север от города, шел по мокрому песку, усеянному водорослями со множеством камней. В одном наиболее чистом месте разделся и зашел в воду, на глубине я немного поплавал и пошел одеваться. Подойдя к одежде, я был поражен: моя одежда чуть ли не плавала! Так я сделал еще одно открытие – это был прилив. Скоренько оделся, и когда глянул на обратный путь, то был удивлен немало: вся дорога, по какой я сюда шел, была под водой. Где-то вдалеке виднелась возвышенность, и я пошлепал к ней. В Мурманске приливы и

отливов очень резко выражены. На Балтике и в Черном море я такого не наблюдал. Выбравшись на возвышенность, я пошел к городу, по дороге срывая чернику и бруснику. Ягоды здесь очень крупные, но сладости в них мало. От прилива весь ландшафт около порта изменился, вода скрыла все водоросли и камни, поднявшись на порядочную высоту.

Я вернулся из этой поездки обогащенный впечатлениями, и мой умственный багаж заметно возрос.

Вторично и опять по бесплатному билету я покатил в Мурманск в середине ноября 1930 года по удлинённому маршруту, т. е. с заездом в Москву. Меня подмывало посмотреть прямизну Николаевской железной дороги, которую построили по приказу Николая-І, проведшего на карте прямую линию между Москвой и Петербургом. Действительно, дорога была очень прямая, без особых подъемов и спусков. Правда, в районе станции Бологое поезд совершил большой круг, но это, видно, затея позднейших времен. И опять от Ленинграда до Мурманска по уже знакомому пути я еду не как новичок. Эта поездка, предпринятая в ноябре в надежде увидеть северное сияние, немного разочаровала: сияния я не увидел, но несколько дней прожил без дневного света при электроосвещении, так как день почти не отличался от ночи, и странным казался подъем ночью, тогда как по времени это было утро.

## 1928 год. Июнь

Наконец-то сбывается моя давнишняя мечта – в-первые еду на Кавказ.

У меня на руках разовый билет от станции Сновская до Батуми через Ростов, Таганрог, Баку, Тифлис (тогда еще железной дороги по берегу Черного моря не было). С собой маленькая авоська.

Миновали Харьков, проехали по Донбассу. В Таганроге наш вагон отцепили на несколько часов, пассажирам была дана возможность походить по городу, связанному с памятью А.П. Чехова. Побывал в доме-музее Чехова. Дом большой, но какой-то неуютный. Постоял у памятника Петру I, покупался в Азовском мутном море. Вагон наш прицепили к поезду, и мы долго ехали по побережью Азовского моря. Потом Ростов-на-Дону, и начался Северный Кавказ: сначала равнина, затем горы. Станция Минеральные воды, в Хасавюрте недалеко от поезда увидел женщину в чадре. Пересекли реку Терек и вот Петровск-порт (Махачкала) и простор Каспия перед глазами. Долго ехали берегом Каспия то удаляясь, то приближаясь к нему. Миновали Дербент и приехали в Баку. Еще когда подъезжали, бросились в глаза нефтяные вышки, черные закопченные дома с плоскими крышами, издали похоже на недавний пожар. Запах нефти чувствуется и в вагоне. В Баку покупался в Каспии, покрытом пятнами



нефти, и прокатился на первой в СССР электричке до станции Сабунчи. Видел афиши, из которых узнал, что вчера-позавчера здесь был А.М. Горький.

Дальше по Закавказской железной дороге через Алят, Казвин, пересекая в двух местах реку Куру, поезд подкатил к Тифлису. Беглое знакомство с городом. Опять афиши о пребывании тут накануне Горького. Оказывается, он ехал по тому же маршруту, что и я, но догнать я его не смог. Покупался в мутной Куре. Потом Хашури, Сурами с их тоннелями и дорогой, петляющей по обочине высоких гор. Едешь и видишь с одной стороны стену горы, с другой пропасть. Даже страшно! А поезд мчится, невзирая на повороты и подъемы. В вагоне проводники почти не понимают по-русски. Пассажиры почти все местные. Русской речи не слышно. Миновали перевал, едем по заболоченной местности, где дома стоят на сваях. Кахетия. Миновали реку Риони, тут где-то справа город Кутаиси. Вскоре открылась панорама Черного моря. Местами море совсем близко от железной дороги. Миновали Зеленый мыс с его знаменитым ботаническим садом, и вот – Батуми (Батум).

27 июня 1928 года за 40 копеек я обеспечил себе ночевку на сутки на койке общежития экскурсионного бюро и крепко заснул после длинного пути. Батум – городок небольшой. Запомнилась пальмовая аллея вдоль берега моря. Почему-то на берегу моря стоит особняком здание тюрьмы. Смотрю на горы, где-то недалеко турецкая граница.купаюсь в Черном

море. Особенно поразил меня наряд мужчин-аджарцев. На голову они наматывают длинный шарф, образуя целую копну на голове. Мужчины в большинстве красивы, белолицы, черноволосы, с правильными чертами лица, черными глазами.

Отправился в обратный путь. Снова болотистые места, дома на сваях, Хашури с его пропастями, и вот, Тифлис. Город расположен вдоль реки Куры по обе ее стороны. Брожу по городу. Купаюсь в Куре. Купил билет от Тифлиса до Владикавказа. Впереди увлекательная поездка по военно-грузинской дороге, воспетой поэтами, с ее замком Тамары, Дарьяльским ущельем, Тереком.

Вот подкатила автомашина открытого типа мест на 20. Мне выпало сидеть меж двух полнотелых дам, из которых одна, невероятно тучная (пудов на десять), сразу же заняла половину моего места. Одет я был легко, но, сжатый горячими телами дам, вскоре вспотел. Да и солнышко поднялось высоко и припекало сверху. Пересекли Куру, и машина пошла по шоссе в долине реки Арагва. Часто путь преграждали дети. Черномазые, они, как чертенята, бежали за машиной, выпрашивая подачки у туристов. Проехали Пасанаури, поднимались к Крестовой горе, стало свежее, а когда достигли перевала, то и холодно, и я невольно, поживаясь, стал прижиматься к телам своих спутниц. Машина петляла по склону горы, и дорогу, по которой только что ехали, мы через минуту видели уже внизу. И таких этажей я насчитал не ме-

нее десяти. Ох и страшно же было глянуть вниз на долину с самой верхней точки! Потом стало теплей, тучи рассеялись, и мы покатали дальше. Проехали скалу «Пронеси Господи», нависшую над дорогой, пили нарзан из колонок при дороге. Въехали в узкое, сумрачное ущелье реки Дарьял. Остановились около города Казбек с его снежной вершиной. Дальше ехали по Дарьяльскому ущелью. Вот как-то сразу оборвались горы, и в 20 километрах от Владикавказа мы едем по сравнительно ровной местности. Слева маячит Столовая гора, и вот, Владикавказ. Весь в пыли и грязи я бегу к Тереку и бросаюсь в воду. Меня моментально относит течением, и я с трудом выкарабкиваюсь на берег. Побродил немного по городу, который не произвел на меня большого впечатления. Низкие домики, ничего бросающегося в глаза.

Покупаю билет до Беслана и оттуда уже по своему железнодорожному билету продолжаю путь домой. Кавказ освоен! Потом Ростов, Донбасс, Харьков и, наконец, родной Сновск.

Ездил я и в Нижний Новгород, а вот даты не помню. Но было это до моей женитьбы и до переименования его в город Горький. Добрался до Москвы, побегал по знакомым местам и около 24 часов выехал из города. Всю ночь проспал и утром вышел на станции Купавино. На катере добрался до Нижнего Новгорода. Долго стоял на высоком месте, откуда любовался широтой волжских просторов, Волгой, впадающей в нее рекой Окой, не менее широкой, чем Волга. Купался. Потом ходил около стен Кремля. Ночью я выехал, так и не прожив

одного полного дня в Нижнем Новгороде. Туда и обратно ехал ночью, спал и о дороге между Москвой и Нижним не имею представления.

После возвращения из армии в 1924 году я уже твердо утвердился в штатных должностях старшего счетовода, а потом бухгалтера. Уже построили новый клуб около северного переезда, и все свидания, вместо церкви и старого клуба, назначались теперь здесь.

Вскоре Оля Пузач, дружившая с Шурой Тимошенко, опять познакомила меня с ней. При этом вторичном знакомстве мы вспомнили о первом, так неудачно оконченном. И это второе знакомство пошло по пути прогресса. Я стал более внимателен к Шуре, а она более терпима к моим недостаткам.

По вечерам, после работы, молодежь собиралась около клуба. Ходили вокруг, кто умел танцевать – танцевали. Ни я, ни Шура танцевать не умели. Я уже стал замечать, что Шура ничуть не избегает встреч со мною, а скорее ищет их. Да и меня стало как-то незаметно тянуть на эти встречи. Частенько, встретив Шуру у клуба, я шел с ней к их старому дому на Черниговской. В саду целовались. Сидели допоздна, пока сердитый голос матери на разгонял нас.

Раз, возвращаясь поздно домой, я попал в какую-то яму вблизи вокзала. К дому подходил не так прытко, как до ямы, и несколько дней болел живот, которым я ударился о кирпичную кладку в яме.

О женитьбе я боялся думать. Этот вопрос волновал меня, но на людях я старался показать, что об этом пока не думаю, и вообще жениться не собираюсь. На самом же деле этот вопрос меня мучил. Как и многие мои сверстники я волочился за девушками и даже, да простит меня Аллах, за замужними женщинами.

Ну что ж, начну с того, как я встречался с объектом моих первых увлечений – Раей Ботиной. После моего ухода в армию в 1920 году Рая, после несостоявшегося предложения Соколовым, вышла замуж за Юльяна Круковского. Ко времени встречи у нее уже была дочь. Иногда на свидание она выходила с ней, и я носил ее дочку на руках. Если до армии я не давал воли рукам и не целовался с Раей, то теперь обращался с нею вольнее. Бродили по темным улицам Сновска. Целовались, но ничего более не было. Постепенно встречи сокращались и вскоре совсем прекратились. Уже гораздо позже я узнал, что Юльян окончательно спился и был уволен.

Другим объектом, тоже замужней женщиной, была Лиза Ковалькова. Я был вхож в дом Ковальковых как старый друг Сани К. И, хотя Сани не было дома, я к ним заглядывал чаще, чем следовало. Если до армии Лиза никакого внимания на меня не обращала, то теперь ее отношение ко мне резко изменилось: при встрече со мной она бывала очень оживленной, и я чувствовал, что она ко мне равнодушна. Муж ее, Федор Ильин, бывший подпоручик старой армии, был не

красавец, но мужчина видный. Она же была старше меня, миловидной внешности. Детей у них не было. Обращался я с ней также, как с Раей, но дальше поцелуев дело не заходило. Конечно, это был каприз скучающей женщины, и с течением времени все заглохло.

Частенько заходила к Ковальковым их родственница Ксения Савченко – девица очень скромная, но какая-то бесцветная и вялая. Прогуливались, целовались.

В 1924 году я познакомился с Олей Пузач. Оля любила рисовать и рисовала недурно. Девица высокого роста, симпатичная, часто красневшая от самых пустяковых намеков – она мне определенно нравилась. И ее я потискивал и целовал. И даже слагал для нее стихи.

Вспоминаются встречи с Маргаритой Баглай – крупной девушкой, несколько рыжеватой и с веснушками, с которой вечером мы ходили к деревянному мосту через реку Сновь. А когда однажды мы стояли у калитки ее дома, мимо прошел ее отец, да так сердито посмотрел на нас, что Маргарита сразу стала прощаться со мной.

Еще вспоминается, как сидел на крыльце с Маней Севрут. И в Москву писал письма Тоне Якшиной.

Но, в общем-то, всех этих женщин я не обидел, хотя, возможно, некоторых из них и разочаровал, т. к. кое-кто явно был не прочь выйти за меня замуж. Но особенно настойчиво это проявляла Шура.

Она нигде не работала, жила у матери, вышедшей замуж

за машиниста Мышастого Кузьму Федосовича, у которого была дочь Таня. Отчим любил выпить, и, конечно, жизнь Шуры в семье была не из лучших. Образование у нее было не ахти какое (она дошла до 4-го отделения железнодорожной школы). Уже будучи замужем, Шура рассказывала, как им было трудно в голодные послереволюционные годы и после смерти в 1920 году ее отца. Как она торговала в лотках на станции Сновская (где, впрочем, добывала средства к существованию и моя мать Фекла Филипповна), как на ней лежала вся домашняя работа, и что ей было не до учения. Потом Шура подалась на курсы сестер милосердия, руководил которыми врач Бродянский. Было у нее что-то неладное с сердцем, но приняли. Кажется, на курсах она познакомилась с моим будущим соперником Ермоленко Федором. Был он единственным сыном ветеринарного фельдшера и будущим наследником приличного дома недалеко от церкви в Сновске.

Если мои ухаживания ограничивались встречами с Шурой вне ее дома: в клубе, на улице и т. п., то Федя Ермоленко пошел по другому пути. У него были серьезные намерения, и Шуру он любил. И если я избегал встречи с родными Шуры, то мой соперник наоборот – всю свою энергию направил на обработку родителей. Особенно нажимал он на отчима, просиживая с ним у них дома часами и почти ежедневно бывая у них. Атаки на родителей дали результат – Шуре дома стало невмоготу. Она, бедняжка, льнула ко мне, а я не пода-

вал никаких надежд на женитьбу.

Так тянулась эта неопределенность, пока Шура не устроилась при содействии предместкома Онуфриева в железнодорожную столовую. Она стала как-то материально оправдывать свое существование в семье, и нажим со стороны родителей ослаб. Но Ермоленко продолжал ходить к ним. Я уже ясно видел, что симпатии Шуры на моей стороне, и стал всерьез задумываться о женитьбе на ней. Зачастил ходить к окончанию смены и поджидал Шуру у столовой вместе с ее матерью, приходившей за помоями для свиньи.

Я уже прочно занимал должность бухгалтера с окладом 110 рублей. К тому времени Федора Е. перевели из Сновска в Бахмач. Но он продолжал при первой возможности приезжать в Сновск, чтобы встретиться с Шурой.

Помню, раз стояли мы около клуба: Оля Пузач, Петр Давыденко, Федор, Шура и я. Федя стал угрожать, что, де, у него есть большой нож, и пусть кое-кто поостережется. Это был намек в мой адрес. Кажется, мы это приняли за шутку. Федя любил похвастаться и показать себя. Однажды в клубе, где работала уборщицей мать Оли Пузач, он решил, как санработник, применить свою власть и в присутствии всех нас сделал «разнос» матери Оли, указав на дефекты в ее работе. И Оля, и ее мать чуть не сгорели со стыда!

Или, помню, стояли мы у входа в клуб. У Феде от расстройства потек нос, но он не растерялся, а двумя перстами схватил за нос и шлепнул на тротуар изрядную порцию пря-



мо под ноги проходящей парочки. Все мы чуть не расхохотались, но Федя не смутился ничуть, видимо, для него это было естественно. Я давно страдал от хронического насморка и часто прибегал к носовому платку, но всегда, особенно в женском обществе, старался сделать это незаметно. Что может быть смешнее «сопливого» кавалера, а Федя показал, как одним махом можно избавиться от неприятности.

Был 1931 год. Я уже все чаще стал просиживать у дома Шуры чуть не до рассвета. Разговаривали мало, сидели, прижавшись друг к другу. И если раньше я лез, куда не надо, и ходил с пощипанными и поцарапанными Шурой руками, то теперь я даже как-то боялся прикасаться к ней. Говорили о женитьбе. Я высказал ей все свои сомнения. Разные были разговоры на довольно щекотливые темы. Я честно и серьезно высказал Шуре свои сомнения о моих мужских недостатках. Посоветовались. Я съездил в Гомель, и принимавший меня в поликлинике веселый врач-еврей, выслушав мои опасения, уверил меня, что никаких препятствий для женитьбы у меня нет.

– Употребляйте побольше яиц, – посоветовал он.

Вернувшись из Гомеля, я объявил Шуре результат поездки, и мы договорились о дальнейших шагах. И только тогда я впервые начал говорить ей «ты». Как это ни странно, но мы чуть ли не до свадьбы были друг с другом на «вы». С Федором Е. Шура была на «ты» уже давно.

Дома я, как некий большой секрет, не сразу объявил своей

матери, что собираюсь жениться. Она с облегчением ахнула:

– Ну и слава Богу, сынок! А я думала, что у тебя беда какая, что ты такой смутный и не решаешься сказать.

Потом, помню, стоял перед Февроньей Федосовной – матерью Шуры, и что-то лепетал о том, что мы с Шурой решили расписаться.

– Ну что ж, расписывайтесь. Я не против – сказала она.

Начались приготовления к свадьбе.

1931 год был очень тяжелый. Но Шурина мать была женщина оборотистая, не всегда следовавшая букве закона, и организовала она неплохой по тем временам свадебный стол. И вот, 21 июня 1931 года мы в ЗАГСе г. Сновска. Мне 30 лет, Шуре 26. Сама запись прошла как-то ничем не примечательно. В те времена новые обряды бракосочетаний еще не привились, и от старых церковных мы отказались.

На свадебном вечере были наши родители, свидетели, близкие друзья, тетка Лукашевич, ее муж. Особенно уважаемыми гостями была чета Зайко – Василий Евсеевич с женой Вале́й (моей двоюродной сестрой). Эта семья была как бы образцом счастливой и дружной семейной жизни.

Потом мы вместе со свидетелями сфотографировались. К сожалению, портач-фотограф испортил снимок, и у нас не осталось памяти об этом немаловажном событии в жизни.

Вот разошлись гости, в доме воцарилась тишина. Мы лежим – Шура и я, опьяненные свадебным пиром и нашей любовью. Шутка сказать – я впервые в жизни лежу с полуобна-

женной девушкой, так близко прижавшейся ко мне. Мне понятно и состояние Шуры – она должна расстаться со своим девичеством, стать женщиной, узнать что-то таинственное, новое...

Обняв ее, я делаю попытку, но она так жалобно просит: «Не надо, Саша, сегодня не надо, сделай это для меня, если любишь». В недоумении и с досадой спрашиваю: «Но почему?». «Я тебе потом объясню», – сказала Шура. Уступил ее просьбе. И только через два-три дня, когда свершилось то, что и должно было свершиться, она мне утром объяснила, что у нее были «женские дни».

С неделю мы оба чувствовали некоторое неудобство при хождении, ощущение чего-то непривычного, нарушенного. Шура, смеясь, рассказывала, что ее подруги по столовой во главе с многоопытной в этих делах заведующей Федорович по походке точно определили день нашего «грехопадения». Позже, после замужества, Шура мне признавалась, что как ни хороша платоническая любовь, на которую она была согласна перед замужеством, половая все же несравненно лучше.

В конце июля 1931 года я и Шура с чемоданом, набитым сухарями, по железнодорожному бесплатному билету отбыли из Сновска в свадебное путешествие в Ялту. Побродили по Севастополю и дальнейший путь продолжили на товарно-пассажирском пароходе. В то время железнодорожный билет был действителен и на водном транспорте. Плыли, лю-

бовались видами южного берега Крыма. Пароход сопровождали стаи дельфинов, а над ним с криком носились чайки. Дельфины резвились, подпрыгивали над водой перед самым носом парохода. Небольшое волнение покачивало наше судно. А перед самой Ялтой нас уже изрядно качало. Несколько голов свешивались за борт – тошнило и рвало. Мы, кажется, не оплошали, хотя и пережили несколько неприятных моментов, но марку выдержали.

В Ялте наняли место на веранде одного дома и по вечерам допоздна, лежа, слушали духовой оркестр, игравший на открытой эстраде. Были в Гурзуфе, в Никитском саду, прошли пешком до Алупки, оттуда прибыли катером в Ялту. Плыли мимо Ласточкиного гнезда и прочих известных мест побережья. В общем, облазили все близлежащие места. Шура оказалась туристом не вполне на 100 %, но я ей это простил. Ведь я по части пешего хождения был натренирован более, чем она. В Алупке Шура нарвала мешок лаврового листа, который рос в изобилии и никем не охранялся. 1 августа 1931 года нас сфотографировал какой-то халтурщик-фотограф. Он усадил нас под кустами и снял в какой-то неестественно напряженной позе. Этот снимок мы не всем показывали. Так провели мы свадебное путешествие и двинулись домой.

В моем архиве я нашел билет с компостером 8/8 1931 года. Билет на украинском языке: «Олександрівск – Кичкас». И я вспомнил, как в этот день мы ехали в пригородном по-

езде к месту постройки Днепрогэса. Перед нами открылась грандиозная панорама уже вчерне готовой гидроплотины. Остров Хортица. Запорожье. Необузданный еще Днепр. Где по шоссе, где по кучам камней и песка добрались до плотины. Купили дешевого кисленького вина и распили в честь стройки. По-видимому, мы были сильно уставшие и голодные, потому что эта бутылка вина очень нас опьянила. Влезли мы в вагон дачного поезда сильно пьяненькие, но были довольны, ведь мы видели Днепрогэс!

Между прочим, где-то здесь находилась сестра Аркадия Мышастого – Шура Овчинникова, высокая девица уже в годах, которая, потеряв надежду найти свое счастье в родном Сновске, перебралась сюда на стройку Днепрогэса.

Вообще на эту стройку съехалось очень много народа. Людей нанимали отовсюду, привлекали высокими зарплатами, надбавками, возможностью обучаться в рабочих вечерних школах. Но тяжелые условия труда и быта выносили не все, и поэтому была огромная текучка.

После свадьбы я поселился в доме тещи. Нам выделили крайнюю угловую комнату с одним окном. По-прежнему ходили встречать Шуру у столовой и с помоями шли домой.

В интимной обстановке Шура любила похвалиться мне, как при очередном медосмотре все ее подруги восхищались и завидовали ее молочно-белому цвету кожи и прочим женским прелестям. Что правда, то правда – тело у Шуры было очень белое, и ее даже прозвали пшеничной. В те времена

девушки еще боялись загара. Конечно, такая похвальба Шуры была мне приятна, и радовало сознание, что у меня такая жена. Как ни странно, но лицо у Шуры было не такое белое, как все тело, и она пудрилась до старости. «Чтоб нос не блестел», – оправдывалась она.

Были у Шуры кое-какие недостатки, которые я вначале не замечал, и на которые мне указали отчим и Аня. Был у Шуры дефект речи – она не всегда ясно произносила слова, говорила скороговоркой. Я переспрашивал, она сердилась. Расположение зрачков было не вполне симметричным. Дышала она ртом – что-то мешало ей дышать носом. Но я любил ее и не замечал всех этих отклонений от норм.

1931 год был тяжелый. С братом Шуры Анатолием мы в лесу ловили ворон. Толя лазил на сосны или сбивал гнезда. Жареные они кое-как сходили за дичь, но ели эту дичь только мы – охотники. Женская часть дома не ела.

В этот год умер в Гомельской больнице Мышастый (отчим Шуры), и начались неприятности из-за дома. Дочь Мышастого Таня претендовала на долю наследства. Ругались. Потом Таня вышла замуж, и ее муж Колпаков Григорий перешел к ней жить. Шуру и меня переселили из крайней комнаты в смежную, а они поселились в нашей. Гриша Колпаков был не то кочегаром, не то помощником машиниста, и возвращался из поездок в разное время. Если это случалось ночью, то мы, естественно, просыпались и слышали, как он мылся, ужинал. Потом они ложились спать, и через несколь-

ко минут ночную тишину нарушал скрип кровати.

Поздней осенью 1931 года мы с Шурой бродили по Казенному лесу в Сновске и вели разговор о будущем нашем наследнике или наследнице. И хотя Шура не ощущала никаких признаков беременности, она, как показал дальнейший ход событий, уже носила в себе ребенка. А месяца два-три спустя стала «по секрету» нашептывать мне, что у нее что-то шевелится внутри. Шура была очень стыдлива и всячески старалась скрыть свою беременность, стягивала живот так, что окружающие почти не замечали перемен.

11 июня 1932 года в родильном отделении приемного покоя около вокзала Сновска родилась наша дочь Вера.

Я листаю свое «личное дело» с подшитыми документами с 1924 года до 1932 года, а то и просто вспоминаю некоторые детали и события тех лет. Вот анкета при поступлении на работу в 1924 году (после армии). В графе национальность я написал «украинец». А ведь мой отец Мороз из Минской губернии был явный белорус. Мне объяснили, что я могу причислять себя к той нации, к которой у меня имеется духовное тяготение. И я, после размышлений, пришел к такому выводу: отца своего, белоруса, я не помню, на его родине не был, сам родился в Сновске на Украине, мать – украинка, отчим – украинец, а значит и я украинец.

Членом Союза железнодорожников я стал еще в 1920 году. Когда вернулся из армии, меня, естественно, нагрузили всякой всячиной. Вот передо мной членские билеты

за 1925–1926 годы общества «Долой неграмотность», общества МОПР (Международная организация помощи борцам революции), а за 1927–1928 годы не только член обществ «Друзья детей», «Радио», «Осоавиахим» (общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), но и сборщик членских взносов этих обществ. Взносы эти я сдавал уважаемой билетной кассирше станции Сновская – Бовдзей Марии Васильевне. А удостоверения и мандаты 1925 года и других годов напоминают, что я бывал делегатом от Союза железнодорожников на разные районные конференции. Короче говоря, я был не совсем пассивным членом Союза.

Не могу без улыбки смотреть на листок «Учет посещаемости собраний за 1925 год». Вот какое каверзное дело было мне поручено. Но зато этот листок напоминает мне теперь о тех, с кем я работал в 1925 году. Это Горбач С.Я., Барановский В.Ф., Шапетко В.Ф., Утыро В.А., Фадеева А.К., Сенчура Е.В., Ярошевич Е.Ф., Кондратович В.С., Николаенко Н.М., Стадниченко И.И., Жуковский П.П., Плющ Е.Ф., Булденко А.И., Родзевич П.И., Савицкий, Свирская Ф., Ковальков А.А., Глущенко П.В., Станкевич В.И., Борейша П.Л., Животовский И.Н., Овсянников. Большинство из них я помню, некоторых – очень смутно, а таких, как Савицкий, Животовский, Овсянников – никак не могу себе представить.

Некоторые из них запомнились как любители выпить или, как тогда говорили, «помочить гриб». Организовывали по-



сле работы поход в ближайший кабачок и домой приходили не вполне уверенной походкой. Я не был завсегдаем этой компании, особого стремления к пьянству у меня не наблюдалось, но один случай мне запомнился.

После работы собралась компания: пожилые уже Шапетко и Барановский – оба Василии Федоровичи, Утыро, длинноносый Петро Жуковский (женатый на сестре Оли Пузач), молчаливый Сенчура, еще кто-то... Взяли и меня. Прошли ворота около приемного покоя и товарной конторы и очутились в кабачке. Я выпил два стакана водки, почти не закусывая... Проснулся я между штабелей досок. Высоко в небе мигали звездочки. Выбравшись из своего убежища, я определил, что нахожусь на территории строящегося железнодорожного клуба. Как я сюда попал – не помню. Пожалуй, это был первый случай в моей жизни алкогольного опьянения с потерей памяти. Случай, когда тебе рассказывают о твоём поведении, а ты только слушаешь, раскрыв рот, и не веришь, что было такое с тобой.

Однако вернусь опять к списку «посещающих собрания», вспомню тех, с кем мне приходилось служить, а с некоторыми и дружить.

Вот «богомольная» Стефанида Яковлевна Горбач – не только сослуживица, но и член нашей дружной четверки, состоявшей из Оли Пузач, Шуры Тимошенко, Стефаниды Горбач и меня.

Барановский Василий Федорович – прихода-расходчик

еще при кладовщике Сирота Кузьме Ивановиче, который до ухода моего в армию был моим начальником.

Утыро Витольд Адамович – спокойный старый холостяк (женился он много спустя на Федорович). С его братом Юзиком (впоследствии начальником почтового отделения) я в 1915–1916 годах работал на пути. Витольд Адамович занимал должность кадровика. Впоследствии он стал членом партии, и фотопортреты его красовались в скверах Сновска (Щорса).

Шапетко Василий Федорович запомнился как заядлый выпивоха.

Фадеева Шура – скромная чернявая девица со Старопочтовой улицы.

Стадниченко Иван Иванович – конторский «Царь и Бог». Женат на одной из дочерей Чилия.

Ярошевич Елена Фелициановна – уже пожилая женщина из рода Чилей. Пристроил ее Иван Иванович по родственной линии. Она вела журнал входящих и исходящих звонков. У нее дочь Женя Соколова.

Кондратович Виктория Станиславовна – девица весьма мною уважаемая, и Плющ Ефросинья Федоровна – тоже девица, но менее уважаемая мной (на что были причины).

Станкевич – старый холостяк, короткое время занимал пост начальника участка пути после Мартынова. Был большой мастер по ругани.

Счетовод по зарплате Жуковский Петр – худой чернявый

хороший работник, не дурак выпить.

Родзевич Павел Иосифович – «Пуся», как его звали товарищи, Глущенко, Ковальков – это все птенцы Гомельского среднетехнического училища.

Свирская – уборщица, рыжеватая особа.

Борейша – упитанный, блондинистый, коротконогий. Его назначили как политрабработника при начальнике участка.

Булденко Анастасия (Туся) – скромная, симпатичная девушка с характерным носом-картошкой, к которой, несмотря на ее нос, я относился не совсем безразлично. У ее отца – сторожа депо, был дом чуть ли не самый большой в Сновске. После революции дом перешел в ведение Горсовета.

Вспоминаются и другие, которые были, вероятно, позже, и их нет в списке.

На смену начальника участка Станкевича прислали нового – Зюбко Михаила Кирилловича, старого инженера путей сообщения. Невысокого роста, с плешью, он был глуховат. При разговоре всегда приставлял ладонь к уху. Отношение к новой советской власти было у него лояльное. Правда, иногда любил пустить «шпильку» в адрес этой новой власти, но служил честно.

Помощником у него был инженер путей сообщения Лихущин Павел Петрович, очень симпатичный молодой человек.

Еще вспоминается техник участка – контуженный летчик (фамилии не помню), человек со странностями, над которыми беззастенчиво измывались, считая его ненормальным.

Запомнился старший дорожный мастер Хоща Владимир Григорьевич – крупный мужчина с выпуклыми рачьими глазами и с багровым лицом. Был неуклюж, грубоват. Жил он с женой, семья была бездетная. Я ему простил многие его недостатки, когда однажды в теплый предвечерний час услышал его игру на баяне. Вначале я даже глазам не поверил, что эту прекрасную мелодию из какой-то оперетты исполняет толстый, краснолицый Хоща. Он сидел на крыльце и музицировал. Да, я тогда простил ему его непривлекательную красную физиономию, толщину и проникся уважением к его таланту музыканта.

Я любил делать дальние походы. Помню, зашли в лес, что в нескольких километрах от Сновска в сторону Корюковки. Там, в лесу, недалеко от реки Турьи – притока реки Сновь, я так увлекся сбором ягод, что потерял свою новую форменную фуражку. Не редко в моих походах сопровождал меня брат Иван. Помню, однажды мы с ним сели на товарный поезд и поехали до станции Низковка. С Низковки 20 километров шли пешком до Сновска. Пришли усталые и объяснили дома, что «прогулялись» от Низковки до Сновска.

Было у меня намерение побывать в Корюковке, где был сахарный завод. Мало того, был даже провизионный билет до Корюковки, и как это ни странно, это была единственная станция участка пути, где я ни разу не побывал.

Все отпускное время у меня уходило на разъезды по Советскому Союзу. И вот, когда (возможно, что в 1928 году)

вернулся в Сновск из дальней поездки, то узнал новость: Стадниченко И.И. и его соучастники были судимы за взятки. Процесс был для Сновска показательным. Многое, ранее непонятное мне, стало ясным... Например, его постоянное заигрывание с подчиненными, приглашение их к себе домой в гости, предложение им мне ботинок, которые, при острой нужде в них, из гордости я отказывался взять и точно не помню, взял ли я их под нажимом матери или не выдержал напора Стадниченко. Были и еще кое-какие мелкие случаи его повышенного внимания ко мне, что я приписывал его доброму, отзывчивому характеру – теперь, после суда, оказалось маневром, дешевым способом хитрого хохла завоевать себе авторитет доброго дяди и чуткого начальника. Стало также понятно его подобострастное заигрывание с госконтролером Михеевым, который часто брюзжал, не соглашался с чем-то, но в конце концов ставившим свой штамп-факсимиле на расценочных ведомостях. Понятно стало, почему Иван Иванович так цепко держал в своих руках положение с расценками работ, присвоив себе чисто технические функции, и пользовался параграфами этих расценок далеко не бескорыстно.

В конце двадцатых – начале тридцатых годов сестра Аня была замужем, жила в Унечи, где в железнодорожной стрелковой охране служил ее муж Петр Макеев. Неудачно сложилась судьба Ани: жили они с мужем неважно, обвиняли друг друга в изменах, а потом разошлись. У Ани остался сынок.

Было у сестры стремление к театру, и она впоследствии на клубной сцене немало сыграла ролей. На некоторых спектаклях с ее участием бывал и я. Играла она недурно. И игра ее заметно выделялась по сравнению с остальными. Она играла, а не бездушно повторяла реплики суфлера, как это делало большинство любителей.

Братья учились: Иван в Гомельском железнодорожном техническом училище, а остальные в ФЗО в Сновске или в средней школе.

Годичное мое пребывание в Москве не прошло для меня бесследно. У меня появился интерес к знаниям, стали возникать какие-то смутные желания чему-то научиться, как-то интереснее устроить свою жизнь. Сновск, конечно, мало мог дать в смысле развития, но в печати все чаще появлялись сообщения и призывы поступить на учебу в заочные учебные заведения. Прельщали такие заманчивые слова, как «техник», «инженер», «электричество». После размышлений я пришел к выводу, что наиболее перспективная и передовая отрасль науки – это электричество. Пришлось оставить незаконченными свои заочные занятия по стенографии, на которые я немало времени убил, хотя желаемых результатов в скорости письма и не добился. Свое брэнчание на мандолине тоже пришлось оставить: короткие, негибкие, немзыкальные пальцы, кое-как выводившие «Не брани меня, родная», не способны были создать хорошую музыку.

И вот я послал заявление в Москву на заочные профтех-

нические курсы НКПС (впоследствии – заочный институт). В дополнение к основной работе в конторе пути, к общественным нагрузкам, к ухаживаниям и прочему, я получил серьезную нагрузку – заочную учебу. В начале, как водится, идет интенсивная работа по выполнению контрольных материалов. Получаю их обратно с хорошими оценками. Не без гордости хваюсь своими успехами перед конторскими. Новый начальник участка Зюбко Михаил Кириллович не без иронии замечает: «Мой будущий коллега». Меня смущает «панибратство» начальника. У меня в памяти свежо воспоминание об отношении к простому люду того же Мартынова, единственного тогда в Сновске инженера путей сообщения. Уж он бы, наверно, «не снизошел» до такого обращения с подчиненными. Вот, что значит революция! Впрочем, Зюбко был неплохой человек, хотя на первых парах знакомства с ним по службе я считал его «буржуем».

Заочная учеба отнимала много времени. После работы я садился в своей комнате и готовил контрольные задания. Правда, очень часто приходил к нам Ваня Горобцов. Если он приходил до моего возвращения из конторы, то молча сидел где-нибудь, никому не мешая. После моего прихода он присаживался около меня и сидел, частенько не произнося ни слова, допоздна. Иногда я, уже порядком уставший от занятий, говорил ему: «Ну, Ваня, я ложусь спать». Он нехотя и не спеша поднимался и шел к себе домой на Старопочтовую улицу. Да, странный человек был этот Ваня! Быть

может он просто искал дружеского участия? К моему стыду я мало уделял ему внимания. Жил он в семье поездного машиниста Горобцова, имевшего объемистый собственный дом на Старопочтовой улице рядом с домом Аникеенко, в котором раньше мы снимали квартиру. Мать его, Горобцова Анна Владимировна, была учительницей. Она прославилась тем, что в свое время подготовила к поступлению в железнодорожное училище легендарного Н.А. Щорса. Кроме Вани в семье была еще дочь.

На редкость молчаливый, худощавый, высокий Ваня был старым холостяком. Я тоже был уже не первой молодости, и, возможно, это обстоятельство и тянуло его ко мне в противоположный конец города для того, чтобы, просидев безмолвно несколько часов, шагать к себе домой. Почему-то он нигде не работал, из редких разговоров я узнал, что он служил на флоте матросом. Как-то не вязалось его поведение, наружность и неповоротливость с понятием о матросской удали и ловкости.

Недалеко от нашего дома проживала семья Луцик. Были там дочки, устраивались вечеринки. И вот, Ваня стал захаживать к ним. Приглянулась ему Аня Луцик. Но и там он вел себя не лучше, чем у меня. Девушки смеялись над ним, оставляли его часто один на один со старухой-матерью, а сами уходили. Об этом докладывала мне Шура, дружившая с Аней Луцик. Так он, бедняга, и не женился. Предмет его воздыханий – Аня, вышла замуж за кузнеца из путейных ма-



стерских Терещенко.

Примерно в конце 20-х годов мне в руки попала книга Мюллера «Моя система». Этот немец рекомендовал систематически заниматься физкультурными упражнениями. Я стал ежедневно по пять минут делать эти упражнения и почти непрерывно всю жизнь их совершаю. А вот по части курения я оплошал. Если в Красной Армии я не курил, то после женитьбы дымил, как паровоз.

Листая свое «дело», я вижу любопытный документ «Наказ секретарям ячеек ОСО», и внизу дата 27/X 1931 год. Председатель базы ОСО Пахолкин и секретарь Мороз А.А. В наказе, как водится, перечисление недостатков и семь пунктов наказа, как их изжить.

Эта бумажка напомнила мне автора наказа – председателя базы Пахолкина, высокого, худощавого блондина, деятельность которого изобиловала сочинением подобных бумаг, громоздких планов работы, которые я, как секретарь, должен был размножать и раздавать ячейкам. Писанины было много, и она порядком мешала моей заочной учебе. Была на базе женщина, кажется, Яблонская, немного хромавшая, которая тоже была каким-то начальством надо мною и поддерживала Пахолкина, когда тот меня «распекал» за некоторые оплошности.

Время от времени из Гомеля наезжал к нам партработник – инструктор ОСО, от которого попадало и самому Пахолкину. Это был человек среднего роста, коренастый, с «ря-

бинками» на лице, в полувоенной форме, Ромбаев Евгений Иванович, впоследствии после Великой Отечественной войны прославившийся как партизан и как один из авторов книги "Криничка". Позднее, при встрече с ним в Гомеле, я не решался завести разговор о его наездах в Сновск в 30-е годы, да и он меня не запомнил, конечно...

После первого года заочного обучения я должен был отбыть практику.

В конце 20-х и в начале 30-х годов мода на «реорганизацию» еще продолжалась, и линейная контора обслуживала, кроме службы пути, еще несколько служб, в том числе связь и телеграф. Сновский дорожный мастер Александр Александрович Зубаков, волею судьбы назначенный начальником этого объединения, разрешил мне отбывать практику на подведомственном ему участке. И вот я по утрам еду товарным поездом до станции Камка, а иногда и дальше на три километра, где на «метлахе» (так назывался подъем на участке Камка – Городня) соскакиваю на ходу с поезда. Там располагалась палатка ремонтной колонны связистов. Руководил колонной электромеханик Васильченко – большой любитель выпить. В колонне он был почти гостем – всем руководил старший рабочий. Да и рабочие были достаточно квалифицированные, не особенно нуждались в начальстве. Из состава колонны запомнился кучерявый Куценко – тоже не дурак выпить, бабник. Впоследствии он стал сватом моих родителей, после женитьбы моего брата Петра на его дочери.

Практика моя ограничивалась тем, что я на участке Камка – Городня немало очистил изоляторов от копоти и грязи и научился славно лазить по столбам на когтях-серпах, а потом и на шведских. Лазание по столбам заставило меня подумать над тем, как облегчить этот процесс. И я придумал особое приспособление – подножку из проволоки, позволяющую лучше взбираться с когтями на рельсовые опоры, державшие столб. Одновременно это приспособление было удобно для переноски запасных изоляторов и прочего инвентаря.

В те годы была в ходу так называемая картотека СОТ (социальный обмен трудовым опытом). Это были небольшие листки календарного формата, на которых типографским способом печаталось описание принятого изобретения или предложения, и рассылались эти карточки по участкам для внедрения. Мое предложение было принято, внесено в СОТ, и образец был изготовлен в мастерских. Но широкого применения оно не получило.

В палатке я ночевал редко, старался ежедневно попасть домой, что было нелегко.

Позднее я ездил на практику на участок Хальч – Жлобин. Там также чистил изоляторы. Иногда около Хальча в лесу собирал подосиновики. Домой ездил пореже. Потом писал отчет о практике, который Васильченко утвердил беспрекословно, почти не читая.

Помнится еще один случай практического применения

моих монтерских навыков. Электромонтер Сновской железнодорожной электростанции Александр Горбач проводил свет на улице Парижской Коммуны. И вот, он предложил мне ввинтить крюк с изолятором на столбе. Я полез на серпаках, укрепился ремнями, и началась мука. Боязнь, что свалюсь, а тут еще проклятый крюк не идет, пот с меня градом, а внизу ехидно посмеиваются. Кое-как завинтил крюк (потом его Горбач перевинтил), и я под веселый гогот монтера спустился вниз, где уже стояла кучка зевак – свидетелей моего позора. «Что? В конторе легче?», – издевался Горбач.

И уже гораздо позже меня направили на практику в Днепрпетровск. Там я неделю или более жил в компании заочников с разных мест самого разного возраста и развития.

А какой конфуз получился, когда в зале, заставленном электрическими приборами, меня попросили включить динамо-машину и запустить мотор. Все мои теоретические знания как ветром выдуло из головы, и я беспомощно стоял около агрегата и только с помощью руководителя все же запустил его.

В доме тещи, где я после свадьбы поселился на правах «примака», я прожил недолго. Дом этот, расположенный в начале Черниговской улицы, после смерти Мышастого, оставившего вдовой свою жену Февронию Федотовну (мою тещу) и сиротой свою дочь Таню, был объектом спорным. Свой небольшой домик напротив Лукашевичей теща моя продала. Этот новый дом был обширный, при доме вишневый сад,

несколько яблонь, огород, самодельный колодец.

Теща моя, Февронья Федотовна, была женщина изворотливая, любила выпить. На Черниговской улице была женская компания, куда входила и она. Шура мне рассказывала, что ее мама еще раньше сидела в Городнянской тюрьме за самогоноварение.

Иногда приезжал на подводе из Тупичева высокий, худой, веселого нрава мужчина – муж сестры моей тещи. У них в Тупичево в тяжелые времена подолгу проживала моя Шура. Позже этот дядя Иван умер от голода. Остались вдовой его жена, сиротами сын и дочери Арина и Катя.

Сын тещи, Василий, учился в Москве в железнодорожном институте на факультете по планированию. Еще раньше, когда Василий жил дома, он очень любил хорошо одеваться, как говорится, пофорсить, и моя Шура, которая всегда в доме была главной работницей, старалась все ему выстирать, выгладить... «Никогда не забуду твоих забот и услуг и отблагодарю тебя», – говорил он Шуре. И уже позже Шура с горечью жаловалась мне, что это были пустые слова.

Вера – сестра Шуры, училась в Чернигове, но недолго. Помню, одно время вертелся около нее один молодой человек на правах жениха. Он ухаживал за Верой. Мы с Шурой посмеивались над его манерами: как кокетливая барышня, он не расставался с зеркалом, маникюрил ногти и прочее. Не знаю, чем у них все закончилось, но вскоре Вера со своей подругой Ниной Гринцевич в поисках лучшей доли уехали в

Удмуртию в город Можгу.

Запомнился один забавный случай. Однажды Шура и я пошли в лес за грибами. В Казенном лесу грибов оказалось мало, а грибников много, и мы двинулись дальше – в лес около разъезда в сторону Низковки. Чтобы попасть в тот лес, нужно было пройти полем 1,5–2 километра. Когда мы подошли к лесу, то в кустах, немного в сторонке от дороги, наткнулись на почти неприкрытый пятипудовый мешок. Оказалось – мука. Что за мука? Почему в кустах? Решили, что краденая из колхоза. Время было голодное (мы с Толиком (брат Шуры) даже ворон тогда ели). Сблазн был настолько велик, что, презрев страх, Шура сняла нижнюю юбку, кое-как завязала концы и насыпала в нее несколько килограммов муки. Как мы мчались по кочковатому полю – трудно описать! Наверно, «быстрее лани», как сказал бы поэт. Ведь получилось, что вор у вора дубинку украл. И что бы было, если бы нас поймали вдали от Сновска? Ведь воры редко отличаются человеколюбием. В Казенном лесу вздохнули свободнее. Запыхавшись, прибежали домой. Теща одобрила нашу инициативу, и мы пожалели, что тара оказалась малоемкой.

В начале 1932 года в Сновске организовали 14 дистанцию сигнализации и связи (ДШ-14). Я попросился на эту вновь открытую дистанцию, мотивируя свою просьбу желанием быть ближе к тому делу, которому я учился на заочных курсах НКПС. Просьбу мою уважили и с 15 февраля 1932 года назначили заведующим конторой ДШ-14 на пра-

вах старшего бухгалтера. Первым моим начальником по дистанции связи был Павел Семенович Янкович. В штате были: счетовод Горбач Степан Яковлевич, техник дистанции Пуханов И.А., нормировщица Женя Соколова.

Основным качеством Янковича было то, что он редко бывал трезвым. А трезвый он был невесел и необщителен. Зато, будучи «под мухой» преображался, и ухватка у него тогда была Наполеоновская – он никого и ничего не боялся. Любил философствовать и читать лекции на любые темы. Был он чуть ниже среднего роста, щуплого телосложения, смазлив лицом, женат и, как утверждала молва, равнодушен к женскому полу. О том, что он бабник, я убедился сам.

Помню такой случай. С бумагами я пришел к кабинету. Дверь была закрыта на ключ. Рассыльная сказала, что начальник в кабинете и «под мухой». Нужно было подписать что-то срочное, и я стал ждать. Наконец, дверь открывается, и на пороге... нормировщица Женя! За ней петушком Янкович. Женя с раскрасневшимся лицом, немного растерянная и смущенная, с виноватым видом прошла мимо. Да, как видно, слухи о его Дон-Жуанстве были не безосновательны. Не знаю, какие нормы они разрабатывали, во всяком случае, не моральные. Да и после я замечал подобные штучки, только Женя вела себя уже самоуверенно.

Вскоре Янкович был судим за уничтожение поголовья лошадей, мясо которых его жена возила на продажу в Гомель, и, по совокупности, за кражу лошадей и продажу телеграф-

ных столбов и проволоки в Макошино ему дали, кажется, пять лет тюрьмы.

Будучи заведующим конторой, я частенько возил зарплату в колонну связи на разъезд Кузничиха за 127 километров от станции Городня. Впрочем, это дело было мне не в новинку. Путейцем я тоже раньше подвозил деньги в сторону Низковки. Существовал такой неписанный порядок, что доверенный от коллектива получал деньги у узлового кассира Мисюто и раздавал по списку своим работникам.

Из окон нашей конторы мы видели эшелоны товарных за-решеченных вагонов. На север везли раскулаченных с семьями. Однажды завели разговор о том, что, дескать, не сладко вот так зимой ехать куда-то в неведомые края в закрытом товарном вагоне и смотреть на волю через маленькое окошко с решеткой. Через день-два меня вызвал к себе в кабинет в здание станции уполномоченный ГПУ (Государственное политическое управление) Катерли – худощавый черно-волосый человек, судя по фамилии – грузин. Приоткрыв столик письменного стола и читая какую-то бумагу, он стал задавать мне вопросы: был ли в конторе разговор об эшелонах с кулаками. Я подтвердил, что да, был. Тогда он расспросил меня о моей семье. Я ответил, что женат, есть маленькая дочка.

– Так вот, если не хочешь попасть в места отдаленные, вроде Сибири и прочего, то чтобы в конторе таких разговоров не было.



Я, конечно, перепугался немало и пообещал. И об этом визите было приказано молчать. И уже много лет спустя, когда был развенчан культ Сталина, и я при встрече со своей старой сослуживицей Горбач С.Я. рассказал ей об этом эпизоде, то она мне призналась, что и ее тогда вызывал Катерли. По ее мнению, донос был состряпан Иваном Пухановым. А я подозревал, что это сделала уборщица-еврейка.

В дистанции проводились занятия по техминимуму. Основным лектором был сам начальник Янкович – читать лекции и вообще поучать он любил. Узнав, что я заочник, он привлек меня к этому делу. Лектор из меня, прямо скажем, был никудышный. Мало того, что не хватало ораторского опыта, не доставало еще и знаний. Но я все-таки читал им основы электротехники, пользуясь пособиями, присланными мне с заочных курсов. Старым телеграфистам, вроде Нагорного Онуфрия Борисовича, Дорошенко Ивана, Бояринова, Охременко, Будукевича и других, я старался внушить истины, которые они знали без меня и лучше меня. Вопросов мне тактично не задавали, по-моему, из нежелания поставить меня в неловкое положение.

К сожалению, слухи о ликвидации Сновской дистанции связи скоро стали печальной реальностью. Передо мной встала сложная жизненная проблема: что делать, куда деваться? Ведь я уже был несвободным одиночкой, а семьянином. Мне предложили должность техника в Гомельской дистанции (учли мою заочную учебу). Деваться было неку-

да, и я согласился. И вот, с 16 февраля 1934 года я техник 15-й дистанции связи. Заместителя ШЧ Шумака перевели старшим электромехаником в Гомель, Горбач С.Я. осталась в Сновске.

Покончив с ликвидацией, я и Шумак едем в Гомель. Я прощаюсь с Шурой, у которой слезы на глазах, и дочкой Верочкой, которая к тому времени уже кое-что лепечет, прощаюсь с тещей. В Гомель приехали под вечер и пошли на Гомель-хозяйственный в комнату электромеханика. Взобрались на длинный верстак и, не раздеваясь, заснули.

Шумак – старый связист-практик, был неплохой дядька, и я ему очень благодарен за его участие ко мне в первые дни моей службы в Гомеле. В Гомеле он и умер, и причиной смерти была гангрена. Кусочек проволоки от стального семафорного троса проколол ему палец на руке, он сначала не придал этому значения, а когда болезнь обострилась, попал в больницу, где и умер. Похоронили его на крестьянском кладбище (позднее ликвидированном).

Я уже не стал ночевать в комнатке у Шумака, а обосновался в конторе 15 дистанции связи Западной железной дороги. Контора помещалась в доме на Либавской аллее вблизи вокзала.

Ко времени моего появления в ШЧ-15 начальником дистанции был Куган Александр Игнатьевич, начальником конторы – Петровский А., инженером – Самуйлов Евгений Исидорович, парторгом – Васильев, председателем местко-

ма – Захаров Иван Фролович, кладовщиком – Кулик Тимофей Акимович. Мне выдали пригородный билет до Сновска, и началась моя семейная жизнь на два дома. Квартир в Гомеле не было, и я сначала ездил в Сновск часто, а потом стал ночевать в конторе, наезжая к семье лишь по выходным, а иногда в середине недели.

Начальник конторы Петровский Антон был большой человек, хотя и не старый. На дистанции царила бестолочь. Мое появление обрадовало Петровского, ведь я тоже был главным бухгалтером и мог ему помогать. С согласия начальника дистанции меня не стали полностью загружать технической работой, а использовали и на бухгалтерской. Я старался работать честно: вел бухгалтерию, чертил схемы как техник, выполнял задания как заочник, ездил в Сновск как семьянин. Петровский болеет часто и серьезно. Работа нервная, не хватает того-другого, в руководстве неразбериха.

Начальник дистанции Куган А.Н. – человек слабохарактерный, обещает и не выполняет обещанного. Правда, и время было такое, что трудно было удовлетворить разнообразные просьбы. Он же никому ничего не отказывал и обещал, назначая сроки. К примеру, скажет прийти за результатом в среду, а в среду назначит дату в понедельник и т. д., пока проситель не плюнет на все обещания и уже не обращается к нему.

Однажды Петровский пришел утром на работу, посидел около часа и вдруг склонился над столом. Его положили на

стол, вызвали скорую помощь. Как выяснилось, положение было серьезное, и его положили в больницу. Пролежал он в больнице полгода и там и умер. Бухгалтерией во время его болезни заправлял я.

После смерти Петровского администрации стало ясно, что на должность начальника конторы (главного бухгалтера) им человека не найти; на эту довольно каверзную должность претендентов не было. Мне предложили тянуть эту лямку и дальше, обещая в ближайшем будущем улучшить мои жизненные условия. Пришлось согласиться.

Я стал ездить с отчетностью в город Калугу в Управление Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги, которое разместилось в здании бывшего монастыря. Поговаривали об укрупнении и образовании Белорусской железной дороги с Управлением в Гомеле. Возможно, что в связи с этим в Гомеле организовали курсы подготовки бухгалтеров без отрыва от производства, куда послали и меня. Вдобавок ко всем моим нагрузкам прибавилась и эта. Кроме чисто бухгалтерских предметов были и такие, как детальное изучение ПТО (правила технического обслуживания). Причем бухгалтера зазубривали ПТО наравне с поездными машинистами и движенцами. Для чего это было нужно нам, бухгалтерам, знание марок крестовин, разных габаритов и всей сигнализации – мы не понимали, но долбили. Помню, я все сдал не менее, чем на «хорошо». На этих курсах я в-первые получил понятие о бухгалтерии как науке. Курсы очень мне помогли

как практику, подвели теоретическую базу. Многое, туманное прежде, прояснилось. Особенно я благодарен преподавателю Каешкину, который так понятно, толково и доходчиво умел довести до каждого секреты бухгалтерской науки, иллюстрируя это примерами в виде Т-образных значков. Нам выдали удостоверения о том, что мы прошли курс бухгалтерии и имеем право работать бухгалтерами. Это было единственное свидетельство о моем бухгалтерском образовании.

В выходные дни, а иногда и среди недели, я ездил домой в Сновск. Когда же не ездил, то спал в конторе на столе.

Заниматься приходилось много, даже в кино не ходил – не было времени. Устав от работы, я смахивал со стола свои бумаги, подстилал какую-то подстилку, на бумажные связки клал небольшую подушку и, закинув ноги на стол, засыпал. Утром – обратная процедура: опустив ноги со стола и убрав атрибуты своей «постели», я был готов к труду... Потом подходили сотрудники, начинался рабочий день, и заканчивался он вышеописанной процедурой. Странная это была жизнь!

Кроме всего прочего, еще проводились занятия по химической обороне: теоретические – в помещении, а практические – недалеко от села Давыдовка. Надевали противогазы и шагали к лесу. Помню, однажды ночью я проснулся от яркого света. Передо мной стоял Куган А.И. и улыбался:

– Не пугайтесь, – успокоил он меня, – Тут такое дело, Александр Александрович, объявлена химическая тревога и нужно сейчас же доставить противогазы на Гомель-хозяй-

ственный. Я вас попрошу их отнести.

Противогазы я отнес и часа через два-три продолжил прерванный сон. Засыпая, я подумал, не от того ли улыбался у стола Куган, что около меня стоял специфический запах, который испускают люди, питающиеся всухомятку.

В одну из своих поездок в Сновск я узнал, что город переименован в город Щорс – было это в мае 1935 года, но станция осталась с прежним названием Сновская.

Приезд в Сновск был настоящим праздником для меня – Шура и Верочка радовались моему появлению. Время буквально пролетало, а особенно, когда я приезжал в середине недели. Мне нужно было, приехав в – девять часов вечера, уезжать в три часа ночи обратно в Гомель. Часто из-за боязни проспать мы не спали до времени отъезда. Лежали, тесно прижавшись друг к другу, и Шура допытывалась: «Котик, когда мы опять заживем вместе?». «Не знаю», – отвечал я, да и что я мог ответить, если кроме сомнительных обещаний о квартире в Гомеле ничем реальным я не мог похвалиться.

По выходным заходили к моим. Братья работали, а меньший Шура учился. Иван после окончания Гомельского технического училища ездил на паровозе как практикант-машинист. Брат Петр женился на падчерице Куценко из села Гвоздиковка. Вскоре у них появилась дочка, а немного спустя Петр уехал в Забайкалье одни, без семьи. Брат Леонид был парень серьезный. Он увлекался фотографией. У меня сохранилось несколько сделанных им фотографий: снимок

Веры в 1933 году и несколько 1936 года. Сестра Анна работала учительницей в селе Кучиновка. Отчим все порывался куда-то уехать, сбежать от семьи – насилу его отговорили. Мать ревновала его и не без оснований. Бедная моя мать билась за создание маломальских условий существования. Были козы, потом и небольшая черная коровка вместо них появилась.

Примерно в 1936 году теща Февронья Федотовна продала свой дом, отдав какую-то долю Татьяне Мышастой, Шура подарила швейную машинку и уехала в город Ижевск к дочери Вере, которая уже из Можги перебралась в Ижевск. Свою подругу Нину Гринцевич, трагически погибшую (ее убил муж), она похоронила в Можге. Снимок, сделанный в апреле 1936 года, у меня сохранился: на нем теща, моя Шура, сестра Вера и почему-то оказавшийся там в ту пору брат Анатолий. После отъезда тещи моя Шура с Верочкой поселились в доме Недбайло, что рядом с домом моей двоюродной сестры Вали Заико.

Так, в обстановке «двойственности» прожил я почти три года (1934, 1935 и 1936): по службе – техник и бухгалтер, по семейным обстоятельствам – сновчанин и гомельчанин. Дистанция обогатилась новыми инженерами: Мончинским и Деевым.

Молодой инженер Мончинский Георгий Степанович – человек веселого нрава, способный и энергичный, особенно запомнился мне тем, что он первый раз в жизни протащил ме-

ня в ресторан. Дело в том, что с названием «ресторан» у меня ассоциировалось место нехорошее, нечестное, недостойное порядочного человека. При царизме это заведение было просто недоступно простым людям, и о ресторанах всегда ходила дурная слава, как о притонах, где веселились богачи, всевозможные жулики и темные личности. Я органически сторонился этого учреждения, куда без больших денег совать нос не следовало.

И вот меня, убежденного недруга ресторанов, да еще и в рабочее время в ресторан на улице Советской затащил Мончинский. В банке я продвинул его дело, и ему выписали не то премию, не то вознаграждение за рацпредложение... Несмотря на упорное мое сопротивление, я очутился за столиком, выпил и закусил... Навеселе к концу рабочего дня мы заявили в контору.

1936 год прославился обилием реорганизаций и сменами руководства. На место Кугана А.И. назначили ШЧ Трегубова. Вместо панибратского обращения Кугана, в кабинете у которого свободно могли толкаться любые посетители, к Трегубову можно было попасть только через «фильтр» – через секретаршу. Он восседал в кабинете за широким столом и вел себя с достоинством, пожалуй, даже высокомерно. Побыл он недолго.

Потом некоторое время руководил дистанцией его заместитель Мончинский Г.С. За ним назначили нового ШЧ-1 Суркова Георгия Ивановича. Сурков предложил мне запол-



нить анкету на выдвижение меня на должность главного бухгалтера дистанции, которая вводилась по приказу Наркома. Я из скромности стал отказываться от такой чести. Я писал: «Занимать эту должность на такой крупной дистанции, как Гомельская, я не могу, т. к. не имею для этого достаточных знаний бухгалтерии, административных и организаторских способностей. К тому же жить на два дома, работать и учиться мне стало нелегко. Прошу переместить меня в одну из служб в Сновске».

Анкету Сурков послал, и с 1 октября 1936 года меня назначили главным бухгалтером ШЧ-1 Гомель. Просьба моя так и не тронула начальство – им нужен был бухгалтер. Правда, Сурков на моем заявлении сделал резолюцию: «Поставлен вопрос о предоставлении Вам квартиры в г. Гомеле и создании хороших условий быта».

В этом же 1936 году разукрупнили Московско-Белорусско-Балтийскую железную дорогу с Управлением в Гомеле. С образованием Управления в Гомеле жилищный кризис еще более обострился, и начальство было занято расселением новых управленцев, прибывших из Калуги. Конечно же, я не довольствовался обещаниями своего начальника Суркова и написал заявление в три инстанции: начальнику Белорусской железной дороги, ШЧ-1 и местному при ШЧ-1. В нем я подвел краткий итог моих трехлетних скитаний между Гомелем и Сновском.

Я привожу свое заявление полностью – оно как нельзя

лучше отражает мое тогдашнее настроение:

«Служу я на железной дороге с 1915 года. Работал в дистанции пути, конторщиком, рассыльным, бухгалтером. Служил в Красной Армии три с половиной года с 1920 по 1924 год. Мотивом для перехода из службы пути в службу связи послужило желание переменить квалификацию. Я учился в Заочном железнодорожном институте. В 1934 году был переведен из Сновска в Гомель в связи с ликвидацией дистанции в Сновске. Затем, ввиду смерти бухгалтера Гомельской дистанции, был назначен на его место. Перегруженность работой привела к тому, что пришлось забросить учебу, и меня исключили из института за непредоставление контрольных работ. С 1934 года я живу в Гомеле, жена с ребенком – в Сновске. Ночую в конторе, а на выходные езжу домой. Жена в связи с продажей дома тещей в 1936 году временно на лето упросилась на квартиру, с которой теперь предлагают убраться. В результате нет дома ни в Сновске, ни в Гомеле. Зарплату получаю 259 рублей, из них на руки 223 рубля – на два стола и два дома жить трудно. Образ жизни, который я веду, никак нельзя назвать культурным. Нервничаю я, обозлена жена. Трудно работать в таких условиях. Никто не обращает внимания – комиссии, обследующие быт, проходят мимо меня. Прошу вашего распоряжения или дать мне квартиру в Гомеле, или перевести в одну из служб в Сновске хотя бы счетоводом. Дальше так жить стало невозможно. 17/IX 1936 г.».

Заявление мое Сурков направил Желубовскому с хорошей характеристикой на меня как работника и с просьбой создать мне человеческие условия. Он рекомендовал после перехода конторы в новое помещение на станции Гомель-хоззайственный помещение конторы на Либавской аллее отдать под квартиры работникам ШЧ, в том числе и мне. Не знаю, читал ли мое заявление начальник дороги, но мне 22 сентября 1936 года объявили резолюцию рассерженного Желубовского: «ШЧ-1. Я о квартирах с Вами неоднократно говорил, для Вас должно быть ясно, что жильем будут обеспечиваться после удовлетворения вывезенных из Калуги».

Прочитав Шура такой неопределенный и туманный ответ Желубовского, я ее, конечно, не обрадовал. Заплакала Шура. Успокоил я ее, а у самого от обиды душа не на месте. Посоветовались и решили, что я буду усиленно добиваться перевода меня в одну из служб в Сновске хотя бы на низшую должность и с меньшей зарплатой. Шура моя измоталась от такой неопределенности нашего быта. Ей, как и мне, хотелось совместной жизни, ведь мы любили друг друга и были, как говорится, в расцвете сил.

Сурков, несмотря на кажущуюся недоступность и суровость, был человек неплохой. Упустить такого усидчивого бухгалтера, каким был я, не пьяницу, ему не хотелось, но, прочитав резолюцию раздраженного Желубовского, решил пока воздержаться от дальнейших ходатайств и не дразнить высшего начальства назойливостью. И мне стало ясно, что

из Калуги будут ехать начальники рангом выше моего, а т. к. Желубовский боится начальства, то мои шансы на получение квартиры были ничтожны. Сурков хоть и сочувствовал мне, но мало чем мог помочь.

Я решил действовать через печать. Написал письмо в газету «Железнодорожник Белоруссии». Закончил его так: «Обращаясь к печати, я прошу помощи, товарищеского совета, какими путями мне добиться справедливости». Газета связалась с Дорпрофсоюзом и прочими имеющими отношение к жилью организациями, и после двух-трех месяцев волокиты мне в начале 1937 года предоставили квартиру, освобождаемую электромехаником Барановым, по Сортировочному тупику в доме № 12, квартира № 16.

## 1937–1941 гг. Гомель

Пока шла эта борьба за квартиру, моей бедной Шуре отказали в жилье у Недбайло, и она с Верочкой поселилась у моих родных, пополнив немалую семью моей матери. У матери, теперь уже бабушки, собрались все ее внуки: две внучки Вера и Рая и внучек Юра – Анин сын. Немало хлопот они ей доставляли!

Когда я приезжал «на побывку» из Гомеля, то у печи наткнулся сразу на трех хозяек: мою мать, мою Шуру и жену Петра, которая после отъезда мужа в Сибирь обосновалась здесь со своей дочуркой Раей.

Зная неустойчивый характер Петра, а также его пристрастие к пьянке, все советовали его жене поскорее ехать к нему. Совета она послушалась и вскоре уехала в Забайкалье. Сначала они писали письма о том, что Петро занимал какой-то видный пост в Бурятской АССР, затем спился, был изгнан с этого поста, попал в депо Улан-Уде, оттуда на разъезд Заиграево лесником. Потом письма прекратились, и десятки лет ни Петр, ни его семья не интересовались судьбой близких, даже свату Куценко перестали писать.

Итак, благодаря помощи печати мне наконец-то дали квартиру в Гомеле! Этой однокомнатной квартире на втором этаже с общей кухней и водой на кухне мы с Шурой были несказанно рады. Получили наряд. И в один прекрасный день начала 1937 года на пути около восстановительного поезда станции Сновская, вблизи от дома моих родных, мы стали грузить вещи в поданный вагон. Быстро закончили погрузку, и я попросил дежурного по станции Сергея Петрукевича отправить нас побыстрее в Гомель. Сергей проявил максимум внимания и распорядился прицепить вагон к стоявшему товарному поезду.

Шура и я на фоне цветов (у нее было много цветов), стоя у раскрытой двери вагона, прощались со Сновском. Сергей помахал нам флажком, и мы без остановок через три часа были на станции Гомель-сортировочный. На следующий день вагон подали в тупик, упирающийся в здание резерва проводников и 9-й школы. К этому времени из Сновска приехала

моя мать. Переносили вещи из вагона в квартиру, и старушка-мать активно нам помогала. У меня до сих пор в памяти трогательная картина: худенькая старушка – моя мать, ухватилась за угол шкафа и помогает тащить его на второй этаж, и столько было усердия и напряжения с ее стороны, что я боялся, не подорвется ли она. Так мы начали жить втроем.

Сосед Шляйцев работал в ПВРЗ. Жена его – домашняя хозяйка, была женщина вздорного характера. Два сына тоже далеки от идеала. В общем, с соседями нам не совсем повезло. Ну что ж, пришлось с этим примириться, главное – свой угол! Теперь оставалось только работать и работать.

Бесславно завершилась моя заочная учеба: за непредоставление контрольных работ меня исключили из заочного института железнодорожного транспорта. У меня осталась зачетная книжка с отметкой зачетов по некоторым предметам третьего курса. Мое стремление стать инженером-электриком не осуществилось. Электрика из меня не получилось, инженера тоже. Впрочем, звание инженера-лейтенанта мне позже, в военное время, присвоили, так что с точки зрения чина мое честолюбие было удовлетворено. Мое увлечение электротехникой, заочной учебой оказалось временным, как в свое время занятия стенографией и игрой на мандолине... Судьба уготовила мне скромную бухгалтерскую должность в конторе, избрав профессию, к которой я никогда не стремился, но с которой был связан в течение многих лет моей жизни.

Правда, еще после операции в 1917 году она, эта судьба, толкнула меня на конторскую, нефизическую работу, и я за несколько лет как-то привык к ней, хотя все время хотел переменить конторскую профессию. И вот теперь, основательно осевши в бухгалтерии, я успокаивал себя рассуждениями, что вряд ли бы я достиг чего-либо лучшего, если бы закончил заочную учебу. В самом деле, рассуждал я, после окончания института мне бы дали должность электромеханика на дистанции, потом бы достиг должности старшего электромеханика, оклад которого одинаков с моим главбуховским. Значит, в деньгах я не проигрываю. Добиваться должности выше старшего электромеханика с моим характером и моими способностями я вряд ли сумел бы.

За время работы в дистанции связи я насмотрелся на работу электромехаников – незавидная должность: помехи, повреждения, беспокойство и днем, и ночью; недаром на квартире у каждого из них стоял телефон, который будит тебя ночью и гонит искать неисправность. Конечно, не мед и главному бухгалтеру, и голова частенько болит от разного, но что скрывать – жить спокойнее.

После организации Управления в Гомеле, размещенного в бывшей женской гимназии, наша дистанция была расформирована на две: 9-ая при Управлении и наша 1-ая на станции Гомель-хозяйственный. Контора ШЧ-1 помещалась в кирпичном домике между путями около восстановительного поезда.

Вскоре ШЧ Сурков уехал куда-то на Волгу на свою родину. На короткое время появился Милковский Роман, которого сменил Сырченко Митрофан Яковлевич, он тоже недолго пробыл на дистанции – убыл в Москву. Я уже порядком привык к частой смене начальников, и появление очередного нового ШЧ Жарина Дмитрия Ефимовича меня не особенно беспокоило. Старался работать честно, заменять меня не было причин, и я продолжал сочинять приемосдаточные акты при смене руководства. Конечно, нужно было приноравливаться к нраву нового ШЧ – характеры у всех разные, но мне это пока удавалось.

Жарин Д.Е. – высокий, худощавый мужчина с карими глазами, нервный. Любил выпить и, выпивши, не терпел возражений. С ним мы сработались, конечно, в рамках дозволенного законом. Мне он верил и к моим сигналам как главбуха прислушивался.

После поселения в новой квартире в Гомеле мои поездки в Сновск стали редкими. Ездили с Шурой и Верой, и нас принимали уже как гостей. Не менее гостеприимно принимала нас и моя тетка Лукашевич Елизавета Карловна. Давнишняя отчужденность между семьей Гавриловых и родственникам отца моего Мороза забылась.

Мы так рады были своему отдельному гнездышку, которое моя Шура стала заботливо обставлять мебелью и безделушками. На подоконниках (благо, они были широкими) она наставила горшков с цветами (цветы – ее страсть), а на по-



ду поставила огромный не то фикус, не то пальму. На стены навешала фотоснимки. Но главное, что одни. Первое полугодие 1937 года было одним из самых счастливых времен в нашей супружеской жизни. Поженились мы не молоденькие – Шура в 26 лет, а я в 30, а к этому времени нам уже двоим было за тридцать. Так что мы, как говорится, нагоняли упущенное. В дни получения зарплаты мы распивали с Шурой четвертушку водки и были довольны жизнью, хотя, конечно, полного довольства не было – кое-чего еще не хватало вдвоём.

Теща Февронья Федотовна жила у дочери Веры в Удмуртии. У меня есть запись, что ей 27 марта 1937 года 3-м отделением милиции выдан паспорт ГАК631814 сроком до 27 марта 1944 года, и год ее рождения 1883. Мы с Шурой бывали у Веры Тимошенко (сестры) в Можге.

В 1936, а особенно в 1937 году, творилось что-то необъяснимое. Процессы над еще недавно видными деятелями правительства, над военачальниками и прочими «врагами народа» создавали, конечно, беспокойство и страх среди простых смертных. В книгах вычеркивались фамилии известных гражданских и военных лиц. В 1937 году, проснувшись утром, узнавали, что кого-то из знакомых или сослуживцев ночью «забрали». Все делалось в секрете от общественности, человеку пришивали ярлык «враг народа», и этому нужно было верить, не вдаваясь в суть дела. Немало было семей, которых коснулось это непонятное дело, далеко не созвуч-

ное Ленинским принципам и заветам.

Не обошло оно стороной и нашу семью. В одну из поездок в Сновск я узнал неприятную новость – арестована и сослана сестра Анна, оставив бабушке внучка Юру. За что – толком не объяснили, да они и не знали. Над отчимом нависла угроза исключения из партии, братьев – из комсомола. Уже много лет спустя брат Иван рассказал мне, что в это время, будучи в Унечи, он получил зуботычины за то, что мать народила ему такую неудачливую сестру. И уже в 1951 году брат Иван писал мне:

«В 1937 я за Анну пострадал здорово, что и сейчас еще ощущаю, нет 14-ти зубов, сильно развита нервозность, потеря общего состояния здоровья. Ведь ты много не знаешь...».

Меня миновала сия чаша, хотя в анкетах я писал правду, что сестра Гаврилова Анна сослана. Может быть от того, что фамилии разные, и жили в разных городах – не знаю, но меня не тронули.

Лишь двадцать лет спустя на XXI–XXII съездах партии, когда не стало Сталина, и начали реабилитировать с оплатой двухмесячного оклада невинно пострадавших людей, прояснилась «деятельность» всевозможных Ежовых, Берия и прочих деятелей времен культа Сталина.

Когда в 1939 году сестра Анна вернулась домой, причем, к большому удивлению, не одна, а с сыночком Шурой на руках, то рассказала, что, работая до ссылки учительницей в селе Кучиновка, они с учителями однажды собрались на ве-

черинку, выпили. Желая блеснуть своими актерскими способностями, сестра рассказала какой-то анекдот. Нашлась «добрая душа» – доложила, куда следует, а немного позже Анну повезли в далекий сибирский край.

Из ее документов я узнал, что она осуждена была по статье 54-1 УК по приговору от 2 июня 1937 года сроком на два года и освобождена из Бургинского железнодорожного исправительно-трудового лагеря НКВД (Бурлаг) при станции Известковая 2 октября 1939 года. В лагере она сошлась с каким-то репрессированным доктором... И приехала домой со вторым сыном Шурой (Николаевичем). С доктором, который еще не отбыл срок, она сначала переписывалась, он ей обещал совместную жизнь после отбытия ссылки. Потом переписка прекратилась, и сестра осталась матерью-одиночкой.

После переезда семьи в Гомель быстро пролетели весна и лето. Шура с Верочкой копались в грядках неподалеку от дома за канавой. Однажды (по секрету) Шура объявила, что ждет ребенка.

Из Ижевска приехала ее мать, моя теща Февронья Федотовна. В один из январских дней Шура почувствовала резкие боли. Потихоньку мы двигались по Советской улице, подошли к детскому парку... Вот уже и узловая железнодорожная больница. В приемной ее сразу же оформили в родильное отделение. И вот настал день, когда при посещении больницы мне объявили: 25 января 1938 года родился сын, состояние

матери хорошее. Через несколько дней Шура с ребеночком были дома. Назвали сына Борисом – так пожелала Шура.

Не помню, уважили ли мою просьбу, но 15 февраля 1938 года я просил выдать мне билет-карточку на имя тещи для поездок в Сновск за молочными продуктами, где они были дешевле, чем в Гомеле. У меня же такая карточка была до конца 1938 года.

Стали жить впятером. Весной садили картошку где-нибудь за городом. Осенью копали. На вопрос: «Как жизнь?», отвечали бытующей тогда модной фразой: «Лучше всех!».

Однажды поздней осенью я копал картошку на делянке в 10 соток за заводом «Сельмаш». Шура и теща заболели, а картошка еще не выкопана. День выдался холодный, земля покрылась каким-то скользким ледянистым покровом. Сначала я копал, нагнувшись, потом на коленях, выбившись из сил, я кое-как доконал это дело и уже не помнил дальнейших событий. Вероятно, обещанная подвода доставила меня с картошкой домой мокрым, кругом облепленного грязью. С тех пор у меня резко развился острый ишиас, а позже радикулит, много лет мучавший меня. Родоначалником этих болезней я считаю этот мой, не совсем удачный, сбор урожая.

В старой потрепанной записной книжке я натолкнулся на любопытную запись 1939 года, напомнившую мне о нашей поездке в Загорск. Брат Шуры Анатолий женился на девушке из Загорска Зое. Они пригласили нас приехать к ним в гости, благо билет у нас бесплатный, и мы 19 февраля 1939

года прикатили в Москву, а 20, 21 и 22-го были в Загорске. Приняли нас, как родных: угощали, поили сливянкой. 23 февраля мы уже были дома в Гомеле, а 25-го Шура заболела. Очень возможно, что у нее был очередной приступ малярии, от которой она немало перестрадала.

Немного позже мы стали получать письма от Зои с жалобами на недостойное поведение Анатолия. Она обращалась и к матери Анатолия – моей теще. В общем, Анатолий поступил с этой симпатичной девушкой нехорошо – он ее бросил. Конечно, наши симпатии были на стороне Зои, но чем мы могли помочь?

А еще позднее, уже в 1940 году, из письма сестры Зои мы узнали печальную новость. Вот что написала сестра: 11 марта 1940 г. из-за несоблюдения техники безопасности при взрыве пять человек обгорели до неузнаваемости, среди них была и Зоя. Их узнавали лишь по фамилиям, которые они произносили. Ожоги были на две трети тела. Трое умерли сразу, а Зоя, помучавшись пять дней, умерла 16 марта 1940 г. в 10 часов утра. Похоронили ее 18 марта 1940 года. Сестра узнала поздно и на похоронах не была.

После переезда в Гомель круг наших знакомых, по сравнению со Сновском, заметно сузился. Кроме наших соседей по дому № 12 мы изредка общались с семьей брата Ивана Гаврилова, который после женитьбы в Унече в 1937 году перед войной оказался в Гомельском восстановительном поезде. Жена его – Федосия Федоровна Щербак, была женщина

с неуживчивым характером и не очень-то стремилась к общению. Уже после войны, когда у них уже было два сына, и когда она по каким-то соображениям стала именовать себя Фаиной, мы пытались наладить связь между нашими семьями, но эти стремления Фаина всякий раз пресекала, выкидывая какой-нибудь трюк. Брат Иван, как человек слабохарактерный, плотно сидел у нее под башмаком.

Нечасто бывали мы и у родственницы Шуры Веры Ротозей, которая работала в качестве прислуги у богатых панов-евреев, а потом поступила на работу на швейную фабрику. Заходила и она к нам. Она изредка ездила в гости к своей матери в Тупичев, как, впрочем, и моя Шура посещала тетку Матрену. Жила Вера в Гомеле на квартире у какого-то еврея в хибарке где-то между теперешней ул. Крестьянской и проспектом Ленина. Неудачное замужество Веры Ротозей завершилось рождением в 1939 году сына Виктора и исчезновением ее мужа Тимченко.

А в один летний день в 1939 году у нас гостили брат Шуры Василий с женой Юлей и сестра Шуры Вера с мужем Василием.

После того, как мы с Шурой побывали в Москве в общении на Всехсвятском, где жили тогда Вася и Юля, это было наше первое свидание с ними. Василий уже жил и работал в г. Свободном в Управлении Амурской железной дороги. Еще до окончания института он женился на дочери Сновского железнодорожника Коленченко Александра Павлови-

ча Юлии Александровне Коленченко. Я уже гораздо позже, когда мне пришлось выкупать в Гомеле какой-то ее груз по доверенности, узнал из документов, что ее настоящее имя Иулиана. Точно также, как Иванова жена захотела именовать себя Фаиной, Иулиана окрестила себя Юлией. Сменили деревенские имена на городские.

Васина Юля, лицом миловидная особа, имела крупный физический недостаток – одна нога у нее была короче другой, и она сильно хромала. Несмотря на это она сумела очаровать Василия, и он был любящим, послушным мужем. Как мне казалось, мать он любил меньше, если любил вообще. Он был на нее в претензии за то, что она еще раньше, не дождавшись от него сыновьей заботы, оформила исполнительный лист на алименты, и с него через бухгалтерию удерживали ежемесячно 10 рублей. Конечно, ежемесячное напоминание об алиментах матери его не могло не раздражать. Я из опыта, как бухгалтер, знаю, что слава алиментщика в коллективе не в почете.

Когда подвыпили – стали высказывать друг другу взаимные претензии и обиды.

Верин муж, тоже Вася, в этот приезд вел себя вполне пристойно. Пил мало. Себя он зарекомендовал как хороший повар, и чувствовалось, что это дело ему по душе.

В Сновске 18 июня 1939 года брат Шуры Вася сфотографировал нас в кругу семьи своих сватов Коленченко около их дома на Черниговской улице, д. № 27. На снимке только

Шура и я. Дети наши, как видно, остались с бабушкой в Гомеле.

И еще запомнился случай. В Гомеле у нас гостил Петр Коленченко со своей женой. Петр Александрович Коленченко, как и вся семья Коленченко, был натурой музыкальной. Впоследствии он долго руководил духовым оркестром в Сновске. Когда слегка подвыпили, закусили, потянуло на песни. Запел Петро, ему вторила его жена. Дуэт этот был настолько хорош, что мы даже не подтягивали, боясь испортить впечатление. Дело было под вечер, жители дома уже вернулись с работы. На другой день нас засыпали вопросами: что за артисты пели у вас вчера? Мы с гордостью отвечали, что не артисты это были, а наши хорошие знакомые.

У меня сохранился выцветший от времени протокол за 23 мая 1939 года цехового собрания работников конторы ШЧ-1. А появился он вот почему. Когда приказом начальника Белорусской железной дороги за хорошую постановку работы мне была выдана премия в шестимесячном размере, кажется, 450 рублей, то я обратился к своему начальству с просьбой премировать и моих помощников, благодаря старанию которых я и был премирован. Мой начальник отказался их премировать. Тогда я собрал свой конторский штат и высказал им свое мнение, что в премировании меня начальником дороги есть и заслуга некоторых из них. Рассказал им, что на мою просьбу выдать премии и им начальство не согласилось, и я решил поделиться своей премией. Так



появился этот протокол, в котором работники конторы взяли обязательства «улучшить свою работу по учету и добиться образцовой постановки учета».

Почему я так поступил? Я рассуждал примерно так: премиальная система была далеко несовершенна, не гибка и почти не касалась низовых работников. А премировать своих работников мне было нужно – они этого заслуживали. Ведь не секрет, что среди рядовых конторских работников бытовало нехитрое мнение: раз премировали одного «главного», а нас нет, то и пусть сидит этот «главный» и работает на здоровье... Кстати, у него и день ненормированный. Ну а что я сидел благодаря этому знаменитому «ненормированному» времени много больше, чем следовало, то это точно! Не даром же в одном премиальном приказе наряду с разными похвальными эпитетами в моей адрес было написано и «усидчивому работнику».

В июне 1940 года дочери Вере не повезло – приступы малярии с температурой до 40 градусов мучали ее несколько дней. Эту, тогда еще неизлечимую, болезнь она, как и ее мамочка, подхватила на огороде, где за сточной канавой были наши грядки. У канавы кишели комары, в том числе и малярийные. Приступы малярии довольно часто бывали у Шуры, реже – у меня.

Я уже упоминал о своем неудачном сборе урожая картофеля, после которого меня мучал ишиас. Ходил с палкой на всевозможные процедуры, но болезнь меня не отпускала.

Мой начальник Жарин Д.Е. не на шутку сочувствовал моей беде, да и желание иметь здорового бухгалтера побудило его принять более реальные меры. В результате чего появился приказ с благодарностью за хорошую работу с выдачей путевки на курорт.

На комиссии врачи дали направление во вновь основанный тогда курорт в Цхалтубо около Кутаиси. И вот я снова покотился по уже знакомой дороге через Донбасс, Кавказ в Закавказье. Около Кутаиси на какой-то станции свернули с главной линии и по короткой ветке добрались до Цхалтубо. Поселили меня в комнате с горняком из Донбасса по фамилии Жук. Курортных построек было еще мало. Ежедневно ходили на процедуры, в том числе на главную – в общем неглубоком бассейне нужно было сидеть минут 20 в воде с температурой 37 градусов. Вода считалась целебной, поступала в бассейн прямо из-под земли. Тело покрывалось мелкими пузырьками.

С горняком подружился. Он был хороший парень, и мы некоторое время даже переписывались. Бродил по окрестностям курорта, сорвал несколько гранатов, но они мне не понравились – кислятина. Жаль, что не было моря. Бывал в Кутаиси.

Побыл на курорте с 4 сентября по 22 сентября 1940 года и отправился в обратный путь, заметно поздоровевший, уже без палки и с советом врачей приехать еще раз для окончания цикла лечения. К сожалению, война и все, что за ней по-

следовало, не позволили мне еще раз попасть на курорт. А в доме отдыха и вообще ни разу не был. Профсоюз от моего членства убытков не имел.

Вот уже дочери Верочке 8 лет. В 1940 году ее определили в среднюю школу № 9, расположенную рядом с домом, где мы жили. Училась она нормально, в числе лентяев не была.

Хотя 1939 и 1940 года были годами мирными, но международные события, развернувшиеся в эти годы, такие как нападение гитлеровских войск на Польшу, короткая война с финнами, присоединение западных областей к Украине и Белоруссии – все это настораживало и чувствовалось назревание каких-то неприятных событий. Успехи Гитлера на Западе создавали тревожную обстановку. Наши учения по химобороне приняли еще более активную форму, ходили в походы с противогазами. На дезинфекцию противогазов выдавали денатурат.

Мои братья попали в Красную Армию. От брата Николая я сохранил письмо за 29 февраля 1940 года из Ленинграда. В нем он писал, что вышел из госпиталя, что учится он в училище ЛКУ ВОСО им. Фрунзе (Ленинградское краснознаменное училище военных сообщений). В нем он упоминает брата Петра, который ему тоже не пишет, но что живет хорошо и занимает пост предместкома. В письме приглашает кого-либо из нас приехать в Ленинград за покупками. Пишет, что ему присвоили звание старшего сержанта, и что он

член партии с 1939 года, что выпуск их группы намечается на сентябрь 1941 года. Есть в его письме такая фраза: «Когда будете писать мне, то пишите не красноармейцу, а курсанту, а то меня здесь засмеяли, что меня мои братья превратили в рядового». Не правда ли, странная логика у этих молодых будущих офицеров!

Это было последнее и единственное сохранившееся письмо от брата Николая, пропавшего без вести. Вообще же, по сведениям отчима, брат Николай был призван в Красную Армию в Улан-Уде, дрался на озере Хасан, и за отличие был направлен на учебу в военное училище ЛКУ ВОСО им. Фрунзе в Ленинграде. В моей старой записной книжке есть адрес Николая Гаврилова: Улан-Уде, в/ч 7464/59, и рядом адрес Петра Гаврилова: Улан-Уде, ул. Пролетарская, 86.

Второй брат, Леонид, тоже к 1940 году уже был в армии. Его адрес был: Тернопольская область, Бережаны, п/я 20-108.

Любопытные данные в моей записной книжке о том, во что примерно обходился нам посев картофеля:

18/V 1940 г. посадили 32 кг картофеля, купленного  
за  
и 81 кг полученного от организации за  
Шоферу за подвозку навоза  
Пахарю  
6/VI 1940 Боронование

Шоферу

60 р.

33 р.

15 р.

40 р.

10 р.

15 р.

173 рубля

Если бы не угроза со стороны немцев-фашистов, с которыми, несмотря на договор о ненападении, не было веры в их добропорядочность, то можно было бы жить. Хлеб, продукты первой необходимости были. Правда, за сахаром бывали очереди, и порой его ограничивали нормой. И голыми не ходили.

Подходил к концу 1940 год, и наступил 1941-й.

После окончательного моего обоснования в Гомеле я работал неплохо, о чем свидетельствуют записи в моей трудовой книжке:

В 1934 году премия за хорошую работу – 200 р.;

В 1938 году за хорошую постановку учета, рацпредложения – благодарность и месячный оклад;

В 1939 году за отличное выполнение соцобязательств 3-й пятилетки как стахановцу – благодарность;

В 1940 году как лучшему стахановцу – благодарность с выдачей путевки на курорт;

В 1941 году как лучшему стахановцу – благодарность.

Возможно, что кадровики не все записали в трудовую

книжку – за ними водились такие грехи.

В 1936 и 1937 годах в отпуске не был – получил компенсацию деньгами. Вообще же, после переезда в Гомель отпуска я использовал нерегулярно, частями. Все эти годы я, конечно, подписывался на займы, был членом Осоавиахима, Мопра (Международная организация помощи борцам революции) и даже Госстраха.

1941-й год начинался, как будто, как и все до него. И все же, с самого начала он был какой-то необычный, тревожный. Теща моя уехала жить в Ижевск к своей дочери Вере, и мы остались без бабушки, которая очень помогала нам. Еще в конце 1940 года я получил повестку явиться 23 декабря 1940 года в военкомат на перерегистрацию. Это настораживало – до сих пор военкомат железнодорожников не трогал. Настойчиво твердили об усилении бдительности, о разоблачении сновавших всюду шпионов. Ведь граница с немцами приблизилась и была не так уж далеко.

Со мной творилось нечто не совсем обычное и непонятное. Потянуло на стихи. В апреле-мае 1941 года нарисовал с натуры детей, Шуру, себя самого (в зеркало). Рисунки эти далекие от совершенства, но это мое «искусство» доставляло радость моим близким.

В мае, как обычно, посадили шесть пудов картошки на участке далеко за «Сельмашем». Садил дружно всей семьей, не догадываясь о том, что нас ждет впереди...

## Часть 3

Война 1941–1945 годов, продолжавшаяся три года и десять месяцев, разлучила меня с моей семьей, с близкими и родными на три года и два месяца.

С семьей у меня были короткие встречи, хотя связь осуществлялась в основном при помощи переписки. Мы обменивались письмами, ждали их с нетерпением, перечитывали по несколько раз и бережно хранили. В письмах мы делились своими бедами, невзгодами, и редкими радостями. У меня сохранилась переписка с женой, письма братьев, двое из которых – Лёня и Шура – погибли, а третий – Николай – пропал без вести. А как они хотели жить, увидеться с нами!

От времени письма пожелтели, поблекли, особенно фронтовые, писанные карандашом, и я возобновил их текст чернилами. Некоторые письма пропали при переезде на другую квартиру... Но даже после такой «реставрации» письма, написанные разными почерками и на плохой бумаге, было трудно читать. Когда я, описывая свою семейную хронику, дошел до рассказа о начале войны, мне пришла в голову мысль воспользоваться письмами наряду с другими документами. Я переписал их, расположив в хронологическом порядке по датам составления, и получил более правдивое описание нашей жизни в годы войны. Некоторые письма жены Шуры мне пришлось отредактировать, освободив их от

грамматических ошибок и придав им удобочитаемую форму.

Я очень прошу каждого, кто прочитает эти письма, в особенности письма моих братьев, встать и почтить их память минутой молчания. Они, погибшие в расцвете лет за Родину, заслужили это.

## **Начало войны**

Воскресенье 22.06.1941

День начался как большинство летних воскресных дней. С утра было тепло. Мы были дома, хотя обычно в такие дни мы уходили на «Мельников луг» купаться и загорать. В полдень радио возвестило, что будет передано важное правительственное сообщение.

Спустя какое-то время из репродуктора послышалось сообщение о нападении Германии на СССР, о бомбежке Киева и других городов в четыре утра. Речь Молотова В.М., произнесенная дрожащим голосом, закончилась словами: «Наше дело правое – победа будет за нами!».

Война...

Я уже не помню точно, как мы восприняли это тяжелое известие. Думаю, что были ошеломлены до крайности. С этого момента заканчивалась привычная мирная повседневность. Мы стояли на пороге новой, пока еще непонятной, тревожной, не сулившей ничего хорошего жизни.



А позже по радио посыпались разные приказы, постановления, наставления и советы о бдительности, готовности к налетам вражеской авиации и прочие, прочие сообщения, слушая которые мы понимали – прежней наша жизнь уже не будет...

Началась мобилизация.

24.06.1941

Мне, как и всем железнодорожникам, выдали удостоверение о взятии на железнодорожный специальный учет военнообязанных. От коменданта Гомельского гарнизона, капитана Матвеева, я получил круглосуточный пропуск для хождения по городу Гомелю сроком по 30 августа 1941 года.

В кабинете ШЧ Жарина Дмитрия Ефимовича (прим. ШЧ – дистанция сигнализации и связи, шнуровая часть) установили пирамиды винтовок. Бывали случаи, когда сильно подвыпивший Жарин, в чем-то не соглашавшийся с монтером-парторгом Зубовым Степаном Сергеевичем, хватался за винтовку, и его с трудом успокаивали. Горяч был Дмитрий Ефимович, а в состоянии опьянения – особенно. Не даром много позже пьянство довело его до трагического конца.

25.06.1941

Я выписал билет на троих: жену Шуру, дочь Веру и себя до «Сновской» (прим. – ехали вчетвером – у маленького сына Бориса билета не было).

Каждый день из окна своей квартиры мы наблюдали движение военной техники по улице Кирова. По утрам, выслушав неутешительную сводку информбюро об оставлении нашими своих городов и о быстром продвижении гитлеровцев, я бежал в контору. Налетов вражеской авиации с бомбежкой пока не было, но об угрозе таких налетов изо дня в день твердило радио.

03.07.1941

По радио с речью выступил Сталин И.В. Обращение его к советскому народу, из-за дефектов его речи и грузинского акцента, было не совсем понятно. Речь его, если можно так выразиться, была «нерадиогенична». Вероятно, он редко выступал по радио именно по этой причине. Ко всему прочему гитлеровцы старались заглушить это выступление своими маршами, шумами и треском.

А вскоре началась эвакуация. Особенно интенсивно грузились в вагоны евреи. Слухи о зверских расправах над евреями, об их преследовании гитлеровцами, заставляли евреев быть особенно активными, и эшелоны из товарных вагонов около полесского переезда и на сортировке быстро заполнялись эвакуированными.

09.07.1941

Шура с детьми погрузились в вагон № 566442.

Она, бедняжка, старалась взять с собой побольше вещей,

больше того места, которое выделялось в вагоне каждой семье: швейную машинку, постель, кое-что из одежды, белья, ведь всё не легко было нажить и трудно было бросить.

В вагон погрузились утром, а после обеда, когда поезд стоял уже где-то в районе Гомель-хозяйственный, в наш дом на «Сортировке» № 12 (прим. – переулок Сортировочный) попала бомба.

11.07.1941

В шесть часов утра вагон с моей семьей уже укатил в сторону Унечи.

Вскоре стало известно, что Шура с детьми оказались в вагоне ШЧ строя, который стоит в Почепе. Связь с эшеленом поддерживалась через электромеханика Даниловича, изменявшего своей жене с еврейкой Миневич, заведующей магазином. Благодаря этой связи Данилович слыл большой докой по добыче разных продуктов и прочего. Его жена и любовница находились в одном эшелоне с моей Шурой. Сам же Данилович часто курсировал между Гомелем и эшеленом.

Шура сохранила немало моих писем к ней, а я сохранил ее письма. Эти письма помогают мне вспоминать события тех дней, будят память, которая сейчас уже не может точно подсказать пережитое. Поэтому в дальнейшем я буду приводить сжатое их содержание, либо цитировать особенно яркие места. Возможно, это будет выглядеть несколько сухо, протокольно, но точно соответствовать правде.

После отъезда семьи я все чаще стал ночевать в конторе на столе. Дома стало как-то безлюдно и неуютно. Около конторы имелось надежное убежище, всегда были дежурные по дистанции (прим. – дистанция на железнодорожном транспорте осуществляет контроль на участке пути). Здесь чувствовалась какая-то моральная поддержка. А убежище около нашего дома, наспех сооруженное, не внушало доверия, и при объявлении тревоги оставалось пустым. Иногда в подьезде прятались какие-то личности, похожие на шпионов. В нескольких сотнях метров от дома, в педагогическом институте, было фундаментальное убежище, в котором до отъезда отсиживалась Шура с детьми, но оно было далеко и при тревоге не всегда успеваешь до него добежать.

18.07.1941

Письмо из Гомеля к жене Шуре:

«Здравствуйте, Шура и дети!

Вчера получил от Даниловича письма. Более подробно напишу и передам деньги через Даниловича, если его увижу. А это письма передаю через товарища, который едет сегодня. Я жив и здоров. Вчера был дома, варил картошку. Еще маленькая. Шура, будь экономна с деньгами, потому что еще длинный путь впереди. Старайся попасть в Ижевск (прим. – в Ижевске живет сестра Шуры – Вера). Может по дороге удастся пересесть в другой эшелон, идущий на Ижевск, Казань или Свердловск. Особенно узнавай в Рузаевке или Пен-

зе, если будете проезжать. Обратись за советом к Даниловичу или другим знающим людям. Я уже писал одно письмо 16 июля, не знаю – получила ли? Ну, пока. Спешу. Ваш А.М. Верино письмо получил тоже (прим. – автор говорит о дочери).».

24.07.1941

Письмо из Гомеля к жене Шура:

«Здравствуйте, Шура и дети!

Сейчас, когда я пишу это письмо, над Гомелем кружится немецкий самолет, и идет стрельба. Последние дни их не было, а вот опять появились. Данилович передал мне твое письмо и Жарина тоже. Ты, Шура, не пишешь – получила ли через Скоробогатова сто рублей денег? Я послал сначала через главного бухгалтера ШЧ строя товарища Скоробогатова сто рублей, а потом через Даниловича тридцать рублей. Больше не могу, потому что нужно жить самому. Вчера получил письмо из Ижевска, вернули обратно то, которое было послано до востребования. Указали, что из-за неявки и истечения срока возвращается обратно. Вчера был на картошке с сапкой, немного посаповал, но еще много вечеров нужно, чтоб всю пересаповать. Очень заросла. В выходной день рвал траву, аж надоело. Не знаю, думаю заканчивать саповать, все равно пропадет... Что-то плохи дела... Если будет время и будет спокойно – постараюсь пересаповать всю, но кажется в Гомеле нам не быть. Ну, пока. А.М.».

Мою просьбу проведать семью в Почепе Жарин с готовностью удовлетворил и даже дал денег своей жены Марии Андреевны, родом из Почепа (адрес: Почеп, Трубечевска 12, Белоизук – это на случай, если моя семья захочет остаться у них до лучших времен). Все еще была какая-то надежда, что немцев остановят. И вот, я на дрезине, на которую меня взял майор моботдела Карчевский, мчусь до Унечи. Пролетел самолет, но без бомбежки, и мы продолжаем на минуту прерванный ход. От Унечи добрался до Почепа и наконец нашел своих дорогих родных, но уже почему-то в другом вагоне под номером 380330 Лен ж.д. Вместе с моими в вагоне расположились семьи, кажется, Захарова, Андрейченко и другие. На втором этаже под потолком – мои.

Борик оказался болен – у него корь, весь покрылся сыпью.

Шура рассказала, что однажды при налете напротив их вагона упала фашистская бомба, но не разорвалась, и их состав передвинули на другой путь.

Мы с Шурой пошли к речке Судость, чтобы искупаться и постирать кое-какие вещи. И друг, над городом вдаль, мы увидели падающие с самолетов бомбы. Опрометью мы кинулись к вагонам, но все обошлось – к вокзалу самолеты не полетели.

С тяжелым сердцем я уехал из Почепа в тревожный Гомель. Что ждет их впереди? Да и меня тоже...

28.07.1941

Письмо из Гомеля к моим беженцам:

«Здравствуй, Шура и детки!

Приехал благополучно. Сегодня видел Жарина – он говорит, что вы выедете первого августа. Вчера тут опять был налет, бомбил сортировку за третьим постом. Сейчас, когда я пишу, опять стреляют и где-то в нашей стороне сбросили две бомбы. В общем, Шура, езжай дальше. Я говорил с Демиденко, он тоже будет писать своим, чтоб ехали дальше. Здесь, как видно, ничего хорошего не будет. Езжайте, там устроитесь в колхозе, будете себя кое-как кормить. Раз такая штука, то нужно будет поработать. Или старайся к маме попасть в Ижевск. Неужели Васька (прим. – муж сестры Шуры) окажется таким бессердечным, то не даст приюта? Конечно, Шура, никто не говорит, что все это легко переживать, но раз нужно, то нужно. Сахара у нас уже нет, и вообще ни черта нет в магазинах. Может достану килограмма два сахара и перешлю. Купи себе жиров в Почепе, заготовь сухарей и потихоньку езжайте. Если будут подходящие условия попасть с Рузаевки до Ижевска с барахлом, то вылазь из вагона, а если плохо, то езжайте до Куйбышева, а оттуда споемся с Ижевском. Я просил Кучерявого, чтобы он пристроил тебя куда-нибудь на работу. Вере внуши, чтоб смотрела Борика. Смотри, сама Борика не застуди. Старайся, главное, сохранить себя и детей, а барахло как-нибудь наживем. По дороге не бегай далеко, чтоб не осталась без поезда. Я говорил

с некоторыми управленцами, они рассказывают, что не так уж там и плохо, как говорят. Главное, не теряйся и не впадай в панику. Ну, всего хорошего. Желаю вам всем выздороветь и добраться до места. Если кто будет ехать сюда (кажется, Скоробогатов еще вернется). То пиши, как выехали, как Борика здоровье. Целую всех. А.М.».

Да, советы, советы... Просто их давать, да нелегко выполнять. Много пришлось моей бедной Шуре перетерпеть невзгод, пока добралась она до Ижевска к своим родным.

30.07.1941

Письмо из Гомеля к жене Шуру:

«Шура!

Вчера бомбили – попало в девятую школу и разворотило все. Две бомбы попали в сарай, а одна – в наш дом, в квартиру Васильева, но не разорвалась – упала на диван. Вчера сбросили шесть штук и все около нашего дома. Ну, пока. А.М.

Данилович обещает достать три килограмма сахара, не знаю, передаст или нет...».

В ответ получил такую (без даты) деловую, добрую, немного наивную, с заботой обо мне записку, которая очень хорошо характеризует мою хозяйственную Шуру, не забывающую проинструктировать меня даже в это трудное, бомбежное время, как следует вести себя в вопросах хозяйства:



«Саша, сахар я не получила от Даниловичихи. Она говорит, что ее племянник привез только один килограмм сахара, и что он его взял сам в магазине, а Данилович не передавал. Это сказала так Даниловичиха. Но ничего, сахар у меня есть, пока тут в эшелоне дали пятьсот грамм, да Миневич София Разоровна (прим. автора – наверное, ее отчество было Лазаревна) тоже дала пятьсот грамм, так что сахар у меня есть и, в общем, продукты есть. Главное – доехать благополучно. Саша, копай картошку, вари, ешь побольше. Нам не придется уже есть ее. Саша, найди купца на картошку и на дрова, а деньги лучше расходуешь на продукты, а будет хорошо – будут и дрова. Домой часто не ходи, часто не оставайся, я все боюсь за тебя. Будь счастлив. Твоя Шура.»

Конечно же никакого купца на дрова я не искал, и на картошку тоже. Как-то все потеряло цену. Мало кто думал о приобретении, а больше о том, чтоб не попасть под бомбежку. И робкая Шурина надежда, что все будет хорошо, тоже не оправдалась.

На картошку я ходил, подкапывал ее, еще не вполне созревшую. Не раз видел, как в стороне нашего дома и девятой школы, около высоких тополей, от бомб поднимался густой черный дым. Когда приходил домой, обнаруживал следы новых разрушений. Рядом было вагонное депо и сортировочный парк, и немцы, стараясь повредить эти объекты, попадали в район нашего дома. Частенько бывало, что дома я не мог сварить картошку. Только разожжешь плиту, поставишь

котелок – летят. Гасишь огонь и бежишь в укрытие. После отбоя опять разжигашь – и снова налет. Вот так иногда побегаешь, и не сваришь.

В нашем доме не доставало угла, и квартира Лехмана была вся на виду и разворочена. В нашей комнате стена дала трещину, местами обвалилась штукатурка. По прочищенной дорожке я подходил к окну и кровати. Некоторые вазоны выбросил на улицу. Впрочем, дома я уже не ночевал... Спал в конторе на столе.

01.08.1941

Немцы приближались к Гомелю. Безрадостные сводки сообщали об оставлении нашими своих городов. Эшелон с моей семьей пришел в движение и выехал из Почепа.

Гриша Старовойтов, который уже давно вылакивал спирт-денатурат, отпускаемый для промывки противогазов, уговорил меня попробовать этот яд. Я попробовал – ничего. Потом мы с горя несколько раз вдвоем поднимали себе настроение. Яд бодрил нас.

Постепенно штат конторы, особенно женская часть, стал под разными предлогами оставлять работу. Кого-то из дистанции призвали в армию. Работа не шла на ум – мысли о семье тревожили...

03.08.1941

Мой ишиас от цыганского образа жизни, от постоянных

воздушных налетов и нервного перенапряжения обострился, а условий для лечения не было. Наоборот, стали гонять на рытье противотанковых траншей. Об этом напомнила мне одна сохранившая справка о работе в течение восьми часов.

Рыли траншеи в районе аэродрома, недалеко от «Прудка» (прим. – Прудок – бывшая деревня, вошедшая в 1957 году в городскую черту Гомеля). Сырость, ночевка тут же на траве около вырытых траншей, поездка на автомашине куда-то за Поколюбичи, километров за 25–30 от Гомеля, где нужно было заканчивать пояс траншей – все это окончательно вывело меня из отряда землекопов.

05.08.1941

Врач выдал справку, что Мороз А.А. страдает люмбоишиалгией, и от тяжелых работ и сырости должен быть освобожден.

Как показал дальнейший ход событий, все эти траншеи оказались малоэффективными. Налеты с бомбежками участились, став практически ежедневными, а потом и ночными...

11/12.08.1941

Я побежал домой вместе с электромехаником Станюнасом, жившем на Черниговской улице, как вдруг объявили тревогу. Станюнас забился в какую-то щель, а я побежал домой: снял со стены кое-какие фотографии, захватил доку-

менты и простыню и, с тоской окинув взглядом оставляемое жилище, закрыл дверь на ключ. Я бежал в контору с чувством невозвратной потери чего-то очень дорогого...

Примерно с таким чувством в Либаве в 1915 году, спасаясь от немцев, расставались мы с квартирой: бабушка Гаврилова (прим. – мать отчима автора) оставляла имущество, а я – свои книги. Только теперь и имущества, и книг у меня было больше, чем тогда. После армии библиотека моя пополнилась. Благодаря заочной учебе образовался довольно солидный отдел книг по электротехнике: томов пять БЭС из десяти существующих. Столяр Генкин в Сновске за 23 рубля сделал мне книжный шкаф. Потом был переезд в Гомель, где количество моих книг продолжило расти.

И снова приходилось все бросать из-за немцев...

Контора ШЧ-I располагалась среди железнодорожных путей за Никольским переездом между заводом ПВРЗ и Гомсельмашем в месте, далеко не безопасном от бомбежек. Немцы обычно начинали бросать бомбы над Сельмашем, затем бомбардировали парк путей около конторы, а также завод ПВРЗ (прим. – есть старое фото).

12/13.08.1941

Не помню точно, но кажется именно в эту ночь произошла особенно интенсивная бомбежка Гомеля вражеской авиацией. Ночь была темная, немцы набросали зажигательных бомб около крыльца конторы, и они ярко освещали все во-

круг, создавая видимые цели для дальнейшей бомбардировки. Несколько человек, в том числе и я, выскочили тушить их. Лежа на животе, я подполз к шипевшей бомбе и нос к носу столкнулся со своим братом Иваном, который работал в Гомельском восстановительном поезде. Когда засыпали песком эти нежелательные светильники – стало веселее на душе. Темнота действовала успокаивающе. После мы забились в убежище и в полудреме дождались утра. Спали мало – всю ночь убежище дрожало и трясло от взрывов бомб в округе, а свист летящих снарядов болезненно отзывался в животе.

Утром я пошел в Госбанк за выпиской по расчетному счету. Весь район Гусевской, улицы Созонова, Вокзальной, Ауэрбаха и Горелого болота дымился. Много домов сгорело. Около вещей и кроватей сустились дрожащие люди, в большинстве своем это были евреи. Дальше Почтовой улицы, что упиралась в Советскую, я не пошел – мешали дым и гарь... Да и вряд ли банк работал.

В дистанции усиленно закапывали разное оборудование, которое не успели эвакуировать. Ушел эшелон с работниками Белорусской железной дороги в направлении на Воронеж. Жарин дал мне список работников ШЧ, эвакуируемых в сторону Сновски и далее на Воронеж:

1. Главный бухгалтер Мороз А.А.
2. Бухгалтер Стычинская Т.Н.
3. Счетовод Щигельская В.И.
4. Техник Кулик Т.О.

5. Часовой мастер Тыль П.А.

6. Заведующий кладовой Азявчик

7. Электромеханик Чеплюков

Подписал ШЧ Жарин Д.Е.

Перед выездом я получил удостоверение о том, что эвакуируюсь с семьей в Воронеж в управление Москва-Донбасской железной дороги. Подписал мое удостоверение почему-то ШЧ-9 Котов.

15.08.1941

Нас посадили в машину, и мы покатали по Черниговскому шоссе, потом свернули на Добрянку и вздохнули свободно. Тихо, никаких взрывов, свиста боевых снарядов – мирная жизнь! Добрались до Городни, а потом и в Сновск.

С собой я вез желтый портфель с документами дистанции и своими личными, связку документов, по которым еще не успел отчитаться, казенные часы «Павел Буре» и бутылку с постным маслом, которую отдали мне как руководителю группы на питание. В парусиновой сумке, похожей на бочку, которую сшила когда-то Шура, были небольшие деньги и облигации, по которым я должен был отчитаться. Кассир Стычинский решил остаться в Гомеле и остаток денег передал мне. Суммы, правда, небольшие, но в дороге я рассчитывался с работниками дистанции, не получившими зарплаты.

Прибывшие со мной эвакуированные разбежались все, кроме Тыля П.А., с которым я позже добирался до Вороне-

жа. По-видимому, они решили остаться у немцев, что после войны и подтвердилось. Дома я застал всех в смятении (прим. – имеется в виду дом родителей автора). Отчима не было – он работал где-то на участке с восстановительным поездом. Бутыль с маслом я затащил домой к своим, где и оставил ее.

16.08.1941

Обрывок письма из Сновска к жене Шуре:

«Здравствуйте, Шура и детки!

Пишу в Сновске на вокзале. Вчера выехал из Гомеля на машине. Не знаю, куда дальше пошлют, но пока я в Сновске. Во всяком случае буду стараться увидеться с вами. Гомель немцы разбомбили и сожгли почти весь. Очень хорошо, что ты с детьми выехала вовремя. Кто не выехал – теперь мечутся и мучаются. Шура, старайся всеми силами попасть в Ижевск. Я еще нигде в Сновске не был, кроме дома. Ну, пока, не буду задерживать человека. Целую всех, ваш Саша.».

Немцы все чаще налетали на Сновск, и мы прятались от бомбежки в погребе – месте, в котором можно было спастись от снарядов, обладая лишь большой долей фантазии. Не помню точно, было ли этот в тот период, но бомба угодила в соседский погреб, в котором никого не было.

18.08.1941

Начальник ШЧ-І Жарин – он был уже в Сновске – по моей просьбе выдал мне удостоверение о том, что я с семьей эвакуируюсь в Ижевск. Я надеялся, что Шура с детьми будут ждать меня там. На возвращение в Гомель в ближайшее время надежды не было.

По ночам от зарниц светилось небо, и слышался гул орудий, похожий на раскаты грома. Во время одного из налетов я лежал на животе рядом с заместителем начальника железной дороги Вижуновым, недалеко от пешеходного моста у вокзала. Случись такая ситуация при других мирных обстоятельствах, валяющийся на песке замначальника, наподобие шаловливого мальчишки, вызвал бы громкий смех. Но не в этой ситуации, тут уж было не до смеха.

19.08.1941

Я послал в Ижевск Вере, сестре Шуры, 60 рублей. В этот день, как потом стало известно, Гомель заняли враги. В доме у моих родных в Сновске было тоскливо: спали мало и беспокойно – боялись немцев. Все время после начала войны о настоящем, здоровом сне оставалось только мечтать.

Бедная моя мать вся извелась от горя, сестра Аня и брат Шура тоже. Он только окончил десятилетку, нужно было решать что-то дальше, а отчима не было... Бывал у тетки Лукашевич Е.К. Там тоже метались, не зная, что делать и как быть. Я понимал – мне нужно ехать дальше, оставаться у немцев даже не думал.



В один из дней старший электромеханик Карамачев И.М., в ведении которого была летучка связи ШЧ-I, при встрече со мной и глядя на мои потрепанные туфли, предложил взять ботинки из запасов летучки. «Все равно пропадет все», – сказал он. Я помнил, что являюсь главным бухгалтером – стражем сохранности народного добра, поэтому отказался. Обычно таких главбухов называют дураками, но что сделаешь, если таким уродился? Да и книг начитался о разных «благородных» поступках, и понятие о честности для меня не было пустым звуком. Карамачев только пожал плечами.

Уже после войны я узнал, что Карамачев остался у немцев и в дальнейшем работал в дистанции. Куда он дел имущество летучки – я так и не узнал.

21.08.1941

Из связевого начальства я смог встретиться с начальником службы связи Желубовским Василием Дмитриевичем, которому доложил, что из эвакуируемых на машине из Гомеля остались только часовой мастер Тыль и я, остальные разбежались. На вопрос «что делать?» ответил: езжать в Воронеж, справку он нам подпишет. Надо сказать, что Василий Дмитриевич, по мнению многих сослуживцев, не отличался храбростью и очень боялся высшего начальства. И конечно бомбежки пугали его не меньше, в чем я сам имел возможность убедиться. Пока я на клочке бумаги сочинял справку о том, что главный бухгалтер Мороз А.А. и часовой мастер

Тыль П.А. эвакуируются в Воронеж в управление Белорусской железной дороги, Желубовский успел исчезнуть с территории станции. Расспрашивая всех встретившихся мне сотрудников, я по горячим следам догнал начальника службы связи в конце Черниговской улицы около мостика на дороге, ведущей в Займище, где он и подписал мне справку, приложив печать.

Всего в Сновске я был с 15 по 22 августа 1941 года.

22.08.1941

Со слезами на глазах, в каком-то оцепенении от горестной разлуки, я распростился со своими родными, и мы с Тылем очередным движущимся эшеленом поехали в сторону города Бахмач. Составы двигались гуськом, с небольшими интервалами между ними. Перед Бахмачем в Чесноковке из-за усиленной бомбежки составов мы пошли пешком в стороне от железной дороги.

Добравшись до города, мы, сев на порожнюю платформу, двинулись в сторону Ворожбы, миновали город Конопотоп и проехали станцию Дубовязовку, на которой еще раньше немцы бомбили управленческий эшелон. Были жертвы – кажется, тогда была убита Шапошникова. Проезжая станцию Путவில், видели вдалеке знаменитые степи, где плакала Ярославна. Мы с Тылем приехали в Ворожбу и выбрали себе подходящий вагон из многочисленных эшеленов, направляющихся в сторону Воронежа.

Потешно было наблюдать, как мой спутник еще до прибытия к крупной станции нетерпеливо ерзал и, не дожидаясь полной остановки поезда, соскакивал и рысью бежал к ближайшему магазину за водкой, где уже виднелась очередь из подобных Тылю страдальцев. Ему не всегда удавалось достать водку – приходилось в надежде терпеть до следующей станции. Выпить он любил и в дистанции славился как неисправимый выпивоха. Теперь же, как он оправдывался, пил с горя. Был он родом из Шуи, платил алименты, как часовщик халтурил и зарабатывал лишь на пропой.

Миновали Львов. Днем проехали Курск, пересекли в одном месте длинную широкую улицу, вероятно, одну из главных. Город растянулся в длину и имел вид прямоугольника. Кажется, на станции Касторное мы засели в вагон, груженный путевскими прокладками практически до потолка. Немало поработали и образовали себе углубления, в которые засели, постелив сено. Так ехали до наступления темноты. На какой-то крупной станции пересели в эшелон, паровоз которого уже пытел, готовый к отправке. К утру добрались до станции, забитой составами, и, к нашему удивлению, снова набрали на наш вагон с прокладками. Открыв дверь пошире, мы обнаружили, что сделанные нами углубления сравнялись, и сено торчало клочьями. Плохо бы нам пришлось ночью, если бы накануне мы не поступили разумно и не поехали другим эшелоном.

Приближаясь к Воронежу, мы на некоторое время поте-

ряли друг друга. Я со своим портфелем и пачкой документов устроился на платформе с углем и вскоре стал похож скорее на шахтера, чем на бухгалтера.

27.08.1941

Подъехав к Воронежу, мы вновь встретились с Тылем.

На каком-то перегоне при подъезде к Воронежу я попал в вагон-арбель ШЧ-8, где встретил знакомого Шапорова Миленция Иакинфовича (прим. – возможно, Никифоровича) и даже пытался его нарисовать! Он подарил мне фотокарточку с надписью: «В память совместного эвакуопутешествия в Воронеж с Белорусской».

В Воронеже, сойдя с поезда, мы с Тылем начали встречать гомельчан. На пропускнике мы помылись и продезинфицировали одежду, после чего определились, не помню куда, на ночевку. Замелькали знакомые лица из управления: Вижунов, Желубовский В.Д., Макаров А.В., Бортников, Казаков, Кровин, Лысый, Редько и многие другие. Из дистанционных: шофер Мохнач А.Г., монтер Ковалев, электромеханик Бондаренко, Олейников и другие. Пообжившись и осмотревшись, я нашел вагоны сновского восстановительного поезда, а в одном из них и своего отчима Гаврилова В.А. Это была радостная встреча! У него я частенько ночевал в дальнейшем.

Послали такую телеграмму:

«Сновск ул Парижской коммуны 3 Иовшицу Карлу. Теле-

графьте семье Гаврилова адресу Воронеж главпочтампт востребования Морозу Александру Александровичу».

Иовшиц – это сосед, жил рядом с домом родителей. Но это была пустая затея, потому что немцы уже заняли Сновск.

Меня направили на работу в службу связи Москва-Донбасской железной дороги. Управление МДЖД размещалось в большом шестиэтажном доме на проспекте Революции. В этом же доме находилось и Управление Юго-Восточной железной дороги. Когда я явился со своим портфелем и связками бухгалтерских документов, перепачканными углем, да в одежде, повидавшей и уголь, и накладки с мазутом, и еще черт знает что, то все чуть не ахнули, больно непривлекательный вид я имел. Сочувствовали. Пошли расспросы о Гомеле, бомбежках, семье – я рассказывал. Они пока не верили, что такая же участь ждет и Воронеж.

Через некоторое время, освоившись, я уже знал этих людей и записал в свою записную книжку их фамилии: Шевцова Зоя Александровна, Караянова Клавдия Трифионовна, Махова Елена Александровна, Воробьева Анна Витальевна, Обыденникова Анна Захаровна, Швецов Иван Яковлевич, Воропаев Иван Яковлевич, Ионова.

Особенно сочувственно отнеслась ко мне Караянова Клавдия Трифионовна. Она дала мне свой адрес: г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 74/8, кв. 4. С ее семьей я познакомился позднее и часто бывал у них.

Работа у меня не спорилась, да и у всех настроение бы-

ло подавленное. Невеселые сводки информбюро и белорусы, нахлынувшие на Воронеж, приносили с собой далеко не радость... Заместитель по кадрам Макаров А.В. подписал мне справку, что я состою главным бухгалтером ШЧ Белорусской железной дороги. Зарплату из расчета 450 рублей в месяц получил по 15 августа 1941 года и эвакуационными не удовлетворен. Отпуск за 1941 год получил. Выдали мне также постоянный пропуск № 263 на право входа в Управление Москва-Донбасской железной дороги и талоны в столовую при Управлении. Столовка была самым оживленным местом, где мы, белорусы, встречались, вместе обедая. Но и проходя по проспекту Революции, широкому и длинному, иногда казалось, что идешь по Советской в Гомеле, так часто встречались знакомые лица.

С Тылем П.А., моим спутников по эвакуации из Гомеля, последний раз я виделся вскоре после приезда в Воронеж – мы вместе купались в городской реке. На берегу он угостил меня вином (этого добра у него всегда было в запасе), и с тех пор я больше его не видел.

06.09.1941

Телеграмма от жены Шуры:

«Воронеж, почта до востребования. Шура на станции Есипово Воронежской области о встрече телеграфируй».

Получив телеграмму от Шуры, я зашевелился: узнал местонахождение станции Есиповка – между станциями Гря-

зи и Борисоглебск, отпросился у начальства, и мне выписали билет до Борисоглебская. Я пустился в путь, надеясь, что мои еще в Есипово. Миновав станции Грязи и Оборона, в поезде встретился с Шуркой Лукашевичем – он работал в Сталинграде. Потом остановились на крупной станции Жердевка, и я с нетерпением ждал отправления поезда на следующую станцию Есипово. Но, по прибытии добежав до дежурного, узнаю, что эшелон № 630 с моими родными отправился третьего сентября в 16:23 в сторону Борисоглебска. Снова сажусь в свой поезд и еду дальше, регулярно справляясь об эшелоне № 630. Слышу лишь: «Да, проезжал! Может и догоните». В Поворино дежурный, вероятно, чтобы отвязаться, сказал, что нужный мне эшелон ушел шестого сентября в 22:50 под № 468 в сторону Ртищево.

В Ртищево я безуспешно пытался узнать хоть что-нибудь об эшелоне, в котором находилась моя семья...

08.09.1941

Глубоко разочарованный, не найдя свою семью, я вернулся в Поворино, а потом и в Воронеж. Обрато ехал уже без билета в каком-то порожняке. Около Балашова много бегал за эшелонами, выбирая первый отходящий. Вдали виднелся город с куполами церквей и утопающий в зелени. Говорили, что накануне Балашов бомбили немцы. Приехал я в Воронеж порядком измученный...

12.09.1941

Телеграмма в Ижевск:

«Был в Есипово эшелона нет телеграфируйте где Шура. Адрес пока старый».

13.09.1941

Запоздалая телеграмма из Ижевска от 10.09.1941:

«Воронеж, почта до востребования Мороз А.А. 3 сентября со станции Есипово выехала в сторону Куйбышево хочет Ижевск ты приезжай сюда».

Но я уже и сам, на месте, в Есипово, убедился, что третьего сентября Шурин эшелон оттуда ушел...

14.09.1941

Письмо в Ижевск из Воронежа:

«Здравствуйте все!

Сегодня получил от вас телеграмму, посланную вами десятого сентября. К сожалению, точного адреса Шуры не имею, и как она себя чувствует, не знаю. Я от Шуры получил телеграмму, посланную ею из Есипово 29 августа, только пятого сентября. Я сейчас же отпросился у начальника и поехал в Есипово. Там мне сказали, что эшелон ушел третьего сентября, а я прибыл шестого. Все-таки я решил ехать вдогонку. Узнал номер эшелона и стал гнаться. В Поворино мне сказали, что номер эшелона изменился, и я стал догонять этот номер. Я бегал с поезда на поезд по километру



и больше, с большими трудностями, не спавши двое ночей. Догоняю в Ртищеве этот номер эшелона! Как же я жестоко разочаровался, когда нагнал в Ртищеве этот состав и узнал, что он совсем чужой. Я мечтал, что вот-вот увижусь с женой, с детками, и вдруг такое глубокое разочарование! Так я ни с чем и вернулся в Воронеж. Обидно и досадно было, но ничего не поделаешь. Это меня так подвел дежурный по станции, соврав про номер эшелона. Теперь я пока в Воронеже. Не знаю, что будет дальше. Может быть дадут направление в другое место, тогда и напишу. Я попрошу, чтобы и, я сдаю дела по Гомелю, а как закончу – могут послать в рабочие или еще куда, а может и в армию, ведь мой год призывной. Сейчас выбирать место службы и профессию мне не приходится. Как военнообязанному мне положено подчиняться во всем. Теперь, зная, что Шура будет у вас, я буду знать, как поступать в будущем и куда держать путь в случае чего. Убедительно прошу поддержать мою семью. Пусть Шура поступает работать. Я буду помогать, чем смогу. Конечно, если попаду в армию, то ничем помочь не смогу, но, может быть, останусь по-прежнему на железной дороге, тогда буду высылать денег, сколько смогу. Много пришлось пережить за это время и много моментов было, когда думал, что уже не увидимся. Если буду жив, увидимся, расскажу. Все в Гомеле пришлось бросить, и так вышло, что я даже галоши не взял из дома, а теперь в дождливую погоду плохо. На зиму я, как будто, одет. Начальник дал мне ватные штаны, одеяло,

матрац, валенки, так что зимовать можно. Но до зимы придется ходить в туфлях. Хоть бы мои добрались, наконец, до места. Перемучались они, бедняжки. Когда приедут к вам – телеграфируйте, и пусть Шура сейчас же напишет письмо. Сейчас я живу в восстановительном поезде Сновском, в вагоне у отчима Гаврилова. Моя мать и сестра Анна с детьми остались в Сновске, вернее в Займище. Что с ними – не знаю, живы или нет – не знаю. Отчим их не успел взять в поезд. Во время бомбежки Сновска они удрали в деревню, а их поезд из Хоробич проехал Сновск и поехал дальше. Они погрузили постель в поезд, а сами остались. Все со Сновска ушли по деревням. По слухам, от Сновска мало что осталось, как и от Гомеля. Шура хорошо сделала, что уехала раньше. Говорят, что в дом, где мы жили в Сновске, попала бомба, но точно не знаю. Станция и все дома вокруг сгорели. Ивана Гаврилова до сих пор нет и не знаем, где он. Анапрейчик, скажите Шуре: в Ельце Данилович на Ярославской железной дороге, Демиденко – не знаю где. Станюнас пока в Воронеже, Жгун – тоже. В Воронеже пока спокойно. Сегодня посылаю 400 рублей эвакуационных, что я получил на себя. Если Шура будет в другом месте, то перешлите ей. Постоянный адрес Шуры телеграфируйте на Воронеж. Я попрошу, чтобы письма мне пересылали по новому адресу, если он изменится. Жду ответа. Ну, пока. Целую всех. А.М.

P.S. Здесь все дорого и прожить трудновато. Со Сновска я послал шестьдесят рублей, получили ли? От Анатолия имел

открытку в Гомеле, он в Ленинграде. В письмах пишете, что деньги получили.».

21.09.1941

После возвращения из Ртищева и отправки в Ижевск телеграммы 12 сентября я до сих пор находился в тревожном неведении о судьбе моей семьи. 21 сентября я послал телеграмму в Москву в пересылочное бюро, в котором описал все, что мне было известно о движении эшелона ШЧ строя до станции Есипово и просил сообщить адрес моей семьи. Ответа от бюро я не получил.

27.09.1941

Запоздалая телеграмма-молния из Ижевска от 22.09.1941:

«Молния Воронеж почтамт до востребования Мороз А.А. В Куйбышеве на вокзале не прописывают отчаивается».

Что делать?!

В отчаянии я в этот же день шлю молнию в Ижевск на Азина, 52 Тимошенко Вере (прим. – сестра Шуры):

«Где Шура».

29.09.1941

Телеграмма в Куйбышев из Воронежа:

«Куйбышев. 5е почтовое отделение до востребования Мороз Александре Харитоновне. Телеграфируй Воронеж поч-

тамт до востребования Мороз Александру ехать ли мне Куйбышев».

30.09.1941

Телеграмма-молния из Ижевска от 29.09.1941:

«Молния Воронеж почтамт до востребования Мороз А.А.

Шура у нас приезжай».

Это был настоящий праздник! Я вздохнул свободнее...

Уже гораздо позднее, когда я встретился с Шурой в Ижевске, из выправленного билета я узнал, что Шура из Куйбышева ехала через Сызрань, Рузаевку и Агрыз. Также я узнал, что в управлении в Куйбышеве она получила пособие 200 рублей.

01.10.1941

Я написал Шуре письмо в Ижевск о том, что с радостью узнал об их приезде и добиваюсь отпуска для поездки к ним, но нет соответствующего начальства, которое бы меня отпустило. Советовал Шуре устроиться в соседнем колхозе, если не пропишут в Ижевске.

03.10.1941

Сетую в открытке жене на то, что нас, главных бухгалтеров, собираются отвезти в Пензу и держать там в резерве.

Шура же написала мне в Воронеж, что дела у нее неважные, в Ижевске не прописывают, предлагают поступить на

работу. Писала, что устала от долгих скитаний с детьми, что у нее нарывы и неважное здоровье. А письмо свое закончила фразой: «Ты должен приехать, должны мы с тобой увидеться, ждем все тебя. Целую крепко, твоя Шура».

Все время после прибытия в Воронеж я скитался почти без определенного места жительства. То ночевал у отчима Гаврилова в Щорском восстановительном поезде, то где-нибудь в Воронеже в одном из вагонов, то ездил в Подклетное (в 7 км от Воронежа), что около Семилук, то еще где-либо. В Подклетном стояли вагоны с эвакуированными с Белорусской железной дороги, где я находил приют. Недалеко от Подклетного течет мутный Дон. Здесь я наблюдал переправу скота на пароме, который угоняли на восток.

Более-менее постоянное место работы было в службе связи Москва-Донбасской железной дороги. Я отвечал на запросы о заработках сослуживцев по ШЧ Белорусской железной дороги. Мои справки, телеграммы и прочие документы подписывали или Воропаев, или Макаров, Желубовский, Бортников... Короче говоря, любой, кто власть и печать был имущий.

Помню жену Болховитинова, которая добивалась помощи. Ее муж остался партизанить в Гомеле. Кажется, ей дали какую-то небольшую сумму.

О моем пребывании в Подклетном напоминает записка: «Товарищ Сергеенко! Погрузите, пожалуйста, сундук ШЧ-I с бумагами на машину с обедами в Подклетное 8/X

41 г. Мороз».

Так из Воронежа в Подклетное возили обеды эвакуированным.

09.10.1941

Письмо семье в Ижевск из Подклетного:

«Здравствуйте все!

Вчера уже погрузились в отдельный вагон (классный). Нас посылают в Пензу, где будем делать балансы. Пока не пишите, потому что из Воронежа я уже убрался. Приедем на новое место – тогда напишу. Я очень рад, что вы добрались до своих. Мороз А.А.».

Если не ошибаюсь, то в письме идет речь о классном вагоне Белорусской железной дороги № 3888. В этом «историческом вагоне» за время скитания «спецгруппы Белградской железной дороги» пребывали люди, чьи имена я записал в свой архивный список без учета рангов и чинов:

Клепач Федор Корнеевич

Клепач Екатерина Николаевна

Севастанюк Надежда Сергеевна

Баневич Константин Антонович

Кирилкин Никита Егорович

Заварнов Петр Степанович

Верелий Николай Антонович – шофер

Толкачев Николай Игнатьевич

Лысый Давид Яковлевич

Кириленко Степан Иванович  
Крестьянинова Мария Ильинична  
Зеленков Кирьян Максимович  
Кровин Михаил Иванович  
Войский Иван Михайлович  
Володькина Татьяна Сергеевна  
Володькин Петр Тихонович  
Войский Михаил Иванович  
Митрофанов Петр Митрофанович  
Голубов Липа Абрамович  
Борисов Иван Филиппович  
Халецкий Семен Гаврилович  
Гера Виталий Федорович  
Сахневич Иосиф Васильевич  
Масальский  
Клименко

15.10.1941

Я ходил пешком в Воронеж, чтобы отправить открытку, а потом и письмо с Подклетной. В них я писал, что уже три дня живу в Подклетной, что раньше ночевал в восстановительном поезде у отчима Гаврилова на станции Воронеж-II. Пишу, что недавно встретился с братом Иваном, который с восстановительным поездом пока в Касторной. Его семья где-то в Новосибирской области. Иван рассказал, как он в Сновске зашел в квартиру Гавриловых: все было раскрыто, окна

и рамы разбиты – одна бомба попала в веранду. Квартира Иовшица разрушена... Дома Иван на стенке написал: «Здесь последний раз такого-то числа был сын Иван. Привет всем!». По его словам, все около Сновского вокзала было сожжено и разрушено по обе стороны пути. В дом, где жила его семья, попала бомба. Брат Шура ушел пешком и где теперь – неизвестно. Далее я писал, что стараюсь попасть к ним, хотя это трудно – нет вакансий. Жене Шуре советую устроиться если не в городе, то в ближайшем колхозе, и прошу Веру и Васю помочь ей в этом, как старожилам в Ижевске. Обещаю посылать деньги, сколько смогу. Закончил письмо словами о том, что мы выехали на Пензу и уже стоим на станции Сомово в 14 км от Воронежа.

На станции Сомово мы стояли по 21 октября. У меня сохранились три открытки, посланные мной Шуре в Ижевск из Сомово, но существенного в них ничего нет. Я жалею, что болят ноги, что скучаю по ним и что погода скверная – мокрый снег.

21.10.1941

Со станции Усманы послал письмо Шуре в Ижевск. Писал о том, как продвигаемся к Пензе – в классном вагоне тесно, и о том, как при расставании в Воронеже отчим дал мне старые, но целые галоши.

22.10.1941



Миновали станцию Дрязги, где я получил паек: 1 кг повидла и 1 кг конфет. Мы прибыли на станцию Грязи, на которой простояли до 26 октября.

Название станции вполне оправдывалось той грязью, которая там царила. Даже на главной улице, на шоссе и тротуаре лежала черная липкая грязь, которая никуда не стекала, и люди шлепали, будучи в ней по щиколотку. Местные жители как бы не замечали этой грязи, а нам же, приедем, она немало досаждала. Вот уж действительно меткое название дали этому поселению!

Отправил открытку жене Шуре.

24.10.1941

Отправил письмо в Воронеж Шевцовой З.А. в службу связи. Также написал письмо жене Шуре, из которого понятно, что я продолжаю беспокоиться о судьбе Шуры и детей и пока не знаю, что меня ждет впереди. Жалуюсь, что из-за переездов не получаю от них писем. И по-прежнему прошу писать мне в Пензу до востребования. Упорно говорят, что нас повезут в Куйбышев. В конце письма пишу: «Береги деток, Вере скажи, чтоб не баловалась и слушала маму».

27.10.1941

Утром приехали в Мичуринск: идет дождь, в вагоне тесно. Я пробежал по ближайшим улицам – обычный районный городок наподобие Орши, одноэтажный.

Опустив письмо Шуре в Ижевск, я в очереди за хлебом встретился с семьей Прокопенко – стариками-соседями по дому № 12 в Гомеле. Куда их везли, они не знали.

Ночью выехали из Мичуринска.

28.10.1941

Во вторник прибыли на станцию Кочетовка, которая поразила меня своими сортировочными горками и обширными вагонными парками, забитыми поездами.

29.10.1941

В среду выехали из Кочетовки и в 14 часов прибыли в Тамбов, а уже через час отправились дальше. При обозрении города из окна вагона Тамбов похож на большую деревню.

30.10.1941

На станции Иноковка, в 26 км от Кирсанова, я написал письмо Шуре, описав ей встречу с нашими соседями Прокопенко. Еще, в который раз, просил писать мне в Пензу до востребования и выразил надежду, что в Пензе меня уже ждут письма от нее. В этот же день мы прибыли в Кирсанов, откуда я и отправил ей письмо.

31.10.1941

Прибыли на станцию Ртищев, которой 7 сентября я горько разочаровался при «погоне» за эшелонем с моей семьей.

01.11.1941

В 16 часов двинули в сторону Пензы.

02.11.1941

В воскресенье в семь часов я прочитал на здании вокзала – Скрябино (это в 58 км от Пензы).

03.11.1941

Мы прибыли на станцию Пенза-III, а немного позже нас передвинули на станцию Пенза-I.

А Шура в те дни, когда я подъезжал к Пензе, строчила мне открытку в Воронеж с жалобами, что больше двух недель от меня нет писем. Рассказывала, как Вера ходит в школу, а Борис с Эдиком часто не мирят (прим. – Эдик – племянник Шуры). Ждут меня в гости. Беспokoится о моем питании, туфлях и прочем. Пишет о дороговизне в Ижевске: масло 120 рублей за килограмм, литр молока 50 рублей, картошка 25 рублей ведро.

Да, невеселые, грустные новости, но что я мог сделать? С собой я не распоряжаюсь, как хотел бы... Война, а я – военнообязанный.

Еще до выезда из Воронежа в Пензу я подал заявление в Москва-Донбасскую железную дорогу с просьбой посодействовать мне в направлении на работу на Москва-Казанскую железную дорогу, поближе к семье. Аналогичное заявление послал в Москву. Ответа я не получил. Мое вышестоящее

начальство по Белорусской железной дороге Кровин Н.Б., Баранов Н.Ф. предложили ожидать прибытия ШФ (прим. – штаб фронта) Белорусской железной дороги Скоробогатова В.И. Вскоре Скоробогатов появился в Пензе, была с ним и дочь Таня.

По прибытии в Пензу первой моей задачей было попасть на главпочтамт. Но, к великому моему разочарованию, писем от жены не было. После выезда из Воронежа так и не было от них известий.

06.11.1941

Телеграмма-молния в Ижевск:

«Молния Ижевск Азина 52 Тимошенко. Молнируйте Пенза главпочтамт до востребования Мороз. Где Шура».

Но и на этот «воплъ души» ответа я не получил...

07.11.1941

На станции Пенза-I я встретил нашего инженера дистанции Пискуна Ф.Е. и дорожного мастера Ведя П. Пискун дал мне полбуханки хлеба, чему я немало удивился.

09.11.1941

Я получил удостоверение на право входа в столовую Пенза-I, которое подписал начальник спецпоезда Белорусской железной дороги Кровин. Также выдали заборную книжку (прим. – книжка талонов на приобретение продуктов и това-

ров в строго определенных магазинах), по которой я получил какую-то мелочь по двум талонам из шестидесяти. Получил и хлебную карточку на ноябрь.

Постоянно пишу письма Шуру. В этих посланиях жалобы на отсутствие вестей от нее, что уже больше месяца ничего о них не знаю. Пишу, что в Пензе снег, а нас в поезде 40 человек – занимаемся балансами. Сообщаю, что Кровин обещает дать направление на Казанскую железную дорогу, но когда это будет – неизвестно. Во всех посланиях прошу Шуру поцеловать деток...

Не получая от своей семьи вестей, я нервничал. От этого и от ежедневных безрадостных сводок информбюро, от малокалорийного питания и прочих невзгод моя болезнь обострилась.

13.11.1941

Начал ходить в поликлинику на лечение радикулита. Поясницу и ноги разными процедурами лечила врач Максимова (кажется, из Гомеля), а потом другой врач. Вплоть до выезда из Пензы я продолжал ходить на процедуры.

В этот день вдруг похолодало настолько, что я надел валенки, выданные мне Жариным в Воронеже.

16.11.1941

Купил себе шапку за 20 рублей.

19.11.1941

Отправил жене Шуре открытку, в которой пожаловался, что со времени выезда с Подклетной (9 октября) я не имею о них никаких известий и беспокоюсь о их судьбе. Отрапортовал, что к зиме подготовился: ношу валенки, теплые штаны и отремонтированную мной фуфайку, которую дал отчим.

В этот день главный бухгалтер дистанции Гомель – Леонovich был пойман с украденной мукой. В стоявшем рядом составе он стащил пятипудовый мешок. Я всегда считал его несимпатичным типом. До поздней ночи он в компании с Толкачевым и прочими личностями шумел, играя в «очко», чем мешал спать другим. Часто бывал пьян. Все это требовало денег, и он решил добывать их подобным путем, чем опозорил нашу спецгруппу.

По утрам мы, в частности я и главный бухгалтер Зеленков К.М., слушали сводку информбюро. Надо сказать, что сводки эти были очень и очень неутешительные и повергали в уныние.

ШФ (штаб фронта) Белорусской железной дороги Скоробогатов В.И., мой непосредственный начальник (после Жарина), появился в Пензе, чему я был очень рад. От него я мог получить распоряжения, касающиеся моих служебных дел. Я еще не отчитался балансом за август 1941 года: у меня в подотчете было 108 рублей денег и на 500 рублей облигаций. Я не знал, кому их сдать.

Скоробогатов начал свою деятельность с розыска подве-

домственных ему бухгалтеров (и начальников) Белорусской железной дороги, но из главных бухгалтеров – связистов были только Кирилкин и я. Кирилкину он не особо доверял, поэтому кое-какие поручения предпочитал отдавать мне.

Нашим «связным» между Воронежем и Пензой был Баневич. Ему я дал письмо на имя ШЧ-8 Воронеж, в котором от имени ШФ Белорусской железной дороги просил отдать дела и карточки ШЧ-I, ШЧ-II и других, которые были оставлены в кладовой ШЧ-8 на станции Воронеж II. Через него я передал письмо отчиму. Баневич вернулся, но ничего не привез – все было эвакуировано, а куда – неизвестно.

Я заготовил письмо на имя ШФ Москва-Донбасской железной дороги с просьбой командировать в Пензу Жарина Д.Е. с актами и отчетом по эвакуируемому. Скоробогатов зачеркнул «Пензу» и написал «Уфу». У него уже были сведения, что мы поедem в Уфу. Жарин, конечно, еще в Уфу не приезжал. Он в вагоне-арбелли, не знаю точно, в каком из трех: 510762, 342756, 818963, сидел (с женой?) сначала в Воронеже, а потом в Батраках.

22.11.1941

Чувствуя, что дело принимает затяжной характер, я написал заявление на имя ШФ Белорусской железной дороги с просьбой ходатайства перед начальником спецпоезда Коровиным М.И. о направлении меня на Казанскую железную дорогу, ближе к семье, от которой я два месяца не имею писем.

Также указал, что болен ишиасом.

24.11.1941

Скоробогатов, после суточного раздумья, написал на моем заявлении на имя ШФ Белорусской железной дороги следующее: «Полагал бы возможным разрешить товарищу Морозу отлучку в Ижевск на время переезда бюро со станции Пенза до станции Уфа с обязательным возвращением в Уфу, что возможно по маршруту Пенза-Уфа через станцию Дружинино. Ш.Ф. Скоробокатов. Станция Пенза».

С радостью я собрал свои пожитки, получил разовый билет (благо его выписывала своя билетная группа Белорусской железной дороги), получил удостоверение личности, подписанное начальником спецпоезда Кровиным. В нем я именовался сотрудником спецпоезда Белорусской железной дороги с местопребыванием на станции Уфа Куйбышевской железной дороги.

И вот я выехал из Пензы – города, ничем особо не примечательным, кроме быстрой реки Суры; города, где я прожил двадцать дней, походил по его улицам и побывал на всех трех Пензах.

25.11.1941

Я прибыл в Рузаевку. Ехать было не так просто. Пассажирские поезда были перегружены и попасть в вагон можно было с трудом. Попав в тамбур или устроившись в перехо-



де между вагонами, можно было считать себя счастливецем. А за езду на товарных поездах полагался год тюрьмы, да и при таком морозе с ветром не очень-то устоишь на тормозной площадке.

26.11.1941

Выехал из Рузаевки. Проехал мимо города Саранск – столицу Мордовской АССР.

27.11.1941

Я прибыл на станцию Красный узел. Порыскав около эшелона с поднявшими пары паровоза, я пристроился на тормозной площадке вагона, в котором ехали эвакуированные с Донбаса. В вагоне было довольно свободно, но пустить меня они категорически отказались и, лишь когда я окончательно околел по пути через город Ардатов и реку Суру, эвакуированные сжалились и пустили погреться. Так я доехал до станции Канаш, а от него была уже была прямая дорога до Агрыза.

28.11.1941

Я выехал из Канаша и миновал реку Волгу, город Казань и реку Вятку в Вятских полянах.

30.11.1941

Приехал в Агрыз. Не помню всех перипетий моего пере-

движения. Помню, как преодолел последний участок Вятские Поляны – Агрыз: я ехал на платформе с эвакуируемым оборудованием и станками, согнувшись в три погибели и обернувшись одеялом. В Агрызе осмотрщик вагонов рукояткой молоточка толкнул меня: «Эй, ты живой?». Надо мной был сугроб снега.

И наконец я прибыл в Ижевск на улицу Азина к моей семье, к моим родным! Это был один из счастливейших дней в моей жизни. Поцелуи, объятия и слезы радости. Мой приезд обрадовал Шуру и деток, тещу и Веру, чего нельзя было сказать о Васе Уварове (прим. – муж Веры, сестры Шуры). Он никогда не отличался доброжелательностью, а такая «нагрузка», как моя семья, нарушившая их мирный быт, была ему не по душе. Его старуха мать также косилась и брюзжала на мою Шуру и детей. Лишь сестра Васи, Лида, проявляла такт и терпимость. Я понял, как трудно бедной Шуре жить в такой обстановке, но что я мог сделать? Я и собой не распорядился.

Двенадцать дней моего пребывания с семьей пролетели очень быстро... Я уже привык к ночному освещению города, чего не было ни в Гомеле, ни в Воронеже.

12.11.1941

Я выехал из Ижевска. Шура провожала меня до станции Агрыз, а оттуда я в 22:00 отправился в сторону Урала.

14.11.1941

Миновал Красноуфимск – деревянный одноэтажный город.

15.11.1941

Был на станции Дружинино. Отсюда железная дорога идет параллельно уральскому хребту по его западному склону.

Проехали мимо Нязепетровска.

17.11.1941

Прибыли на расположенную в горах станцию Бердяум. Теперь предстояло ехать на запад от Уральского хребта.

Миновали станцию Кропачев.

19.11.1941

Наконец, я прибыл в Уфу.

Еще накануне моего отъезда из Ижевска мы с Шурой условились: если в письмах я пишу, что приходил *Иван* Гаврилов и приносил подарки, значит я имею в виду налеты и бомбежку немецкой авиации; если же пишу о *Ваньке* Гаврилове, то это означает, что я действительно встретился с братом Иваном. Таким способом мы обходили бдительность цензуры, которая вычеркивала в письмах строки о налетах и бомбежках.

С дороги я послал Шуре открытку из Дружинино и две из Уфы.

25.11.1941

Полный отчет о своем переезде я послал Шуре в Ижевск заказным письмом из Уфы:

«Здравствуйте, дорогие!

Из Агрыза я уехал в том вагоне, в который ты, Шура, меня посадила. Ехал в нем два дня, по ночам мерз. Беспokoюсь, как ты доехала? Выехавши от вас, я почувствовал разницу между жизнью, что провел у вас, и той, которая мне предстоит. Спасибо за хороший прием, внимание и заботу... Сухарики меня здорово поддержали в дороге. Долго сидел в Дружинино: тесно, грязно. Пришлось ехать пассажирским, потому что при попытке сесть на товарный поезд милиционер свел меня в милицию и отпустил с условием, чтоб я по путям не шатался, и что если еще раз поймают, то дадут год за проезд на товарных. Добрался до Уфы 19 ноября вечером. Спросил у дежурного про белорусский вагон – ничего не знает. Переночевал на вокзале, а утром нашел его. Все обошлось благополучно, на завтра сходил в баню. Дали матрац, одеяло, подушку и прежнее место в вагоне 3888 Белорусской железной дороги. Сходил к Некрасовым. Оказывается, они вместе не живут. Некрасов сошелся с какой-то особой, и теперь его жена живет с дочерьми Таней и Марусей. У Тани сын Эдуард и еще скоро будет. Муж ее на фронте. Она работает техником. У Маруси-учительницы дочка трех лет. Когда я пришел к ним на улицу Крупской, д. 29, то у них по случаю новоселья

– к ним вселили двоих эвакуированных, было вино, и слегка выпили. Приняли меня хорошо. Таня держится особняком и в выпивке не участвовала. Нужно будет найти Некрасова, посмотреть, какой он есть...».

Здесь я должен прерваться и пояснить, что встретиться в Уфе с Некрасовыми мне рекомендовала Вера, сестра Шуры. Таня Некрасова ей девичья подруга, и судьба ее интересовала Веру.

Далее я писал:

«Шура, двести рублей я послал тебе 22 ноября. Хожу в столовку на обед и ужин – в день обходится около 4–5 рублей. Карточки на хлеб дали на 500 граммов. Очень холодно, много снега. Город порядочный, побольше Ижевска, есть трамвай. Мясо стоит 70 рублей за килограмм, масло – 50 рублей фунт, и все остальное, как у вас. Махорка 5 рублей стакан – я почти бросил курить. Паспорта наши прописали на месяц в Уфе, что будет дальше – не знаю. Грызу сухарики, имею кусочек сала, что вы мне дали. Писем нет, вам послал три открытки. Пишите на «Уфа 20-е отделение при вокзале». У нас уже начинают рассылать кого куда. Одним дают назначения, других посылают в командировки. Меня пока не трогают. Шура, скажи Вере и Борику от моего имени, чтобы не баловались и слушали старших».

Да, упоминая в письме про хождение в поликлинику, я не описывал подробностей. На самом деле меня «прижало» чувствительно. Боли в пояснице, диагноз – люмбаго. Доктор

Вагнер прописал лечение, и я исправно ходил в поликлинику на процедуры. Если не ошибаюсь, там был и наш известный Гомельский невропатолог Лякерман.

Декабрь 1941 г.

Немцев отогнали от Москвы – это вселило надежду в сердца советских людей.

Этот несчастный 1941 год закончился. Почти полгода войны – небольшой срок, но сколько жертв он унес, сколько лишений причинил!

Любопытная табличка есть в моей записной книжке. Она напоминает, что автор ее – бухгалтер, и служит она отчетом моих личных финансовых дел с августа до конца 1941 года:

Откуда поступили деньги

Куда израсходованы

Зарплата за I половину августа

163 р. 22 к.

19.08.1941

Из Щорса в Ижевск кв. 1058 – 60 р.

14.09.1941

Из Воронежа в Ижевск кв 1085 – 400 р.

02.10.1941

кв 150–200 р.

14.10.1941

кв 292–200 р.

Почтовые и телеграфные расходы – 85 р.

16.11.1941

Из Пензы в Ижевск кв 2223 – 300 р.

02.12.1941

Отдал Шуре в Ижевске – 200 р.

08.12.1941

250 р.

22.12.1941

Из Уфы в Ижевск в 455–200 р.

31.12.1941

150 р.

Зарплата за II половину августа

225 р.

Эвакуационные на себя

450 р.

Зарплата за I половину сентября

214 р. 45 к.

Зарплата за II половину сентября

195 р.

От Ивана

90 р.

Зарплата за октябрь

421 р. 50 к.

Зарплата за I половину ноября

214 р.

От Тарасевича

250 р.

От Шуры

162 р.

Зарплата за II половину ноября

204 р.

Зарплата за I половину декабря

214 р.

Зарплата за II половину декабря

225 р.

Всего: 3028 р. 17 к.

Всего: 2045 р.



1942 год

Новый, 1942 год я встретил в далекой Уфе и вдали от семьи. Веселого было мало.

07.01.1942

Выдержки из письма из Уфы к жене Шуре:

«В Уфе 6 января мы были в военкомате, где нам дали отсрочку до 1 марта 1942 года. Живем в вагоне, некоторые на квартирах. В вагоне тепло, но от окна дует. Ношу валенки, питаюсь в столовой. Скоро, наверно, поедем поближе к своей дороге, по мере того как Красная Армия будет гнать фашистов. Видел Владимира Лабуша и Леньку Шляйцева...».

Шляйцевы – наши бывшие соседи по квартире, теперь живут здесь. Завод ПВРЗ из Гомеля эвакуирован в Уфу.

Также спрашиваю у Шуры как учится Вера, как балуется Борик.

17.01.1942

Выдержка из письма из Уфы к жене Шуре:

«... Вчера, 16 января, получил первое письмо от вас после свидания. Ты опечалила меня, что больна. Надеюсь, когда получишь это письмо, уже будешь здорова и бодра. Я лечу в поликлинике ноги и бок. Ходят слухи о направлении нас снова в Воронеж. Прочитав книгу Молотова о зверствах фашистов, я очень разволновался: моя мать – жена комму-

ниста, а Аня – его дочь. Где они теперь, бедные, и что с ними? Получил письмо от отчима – он тоже беспокоится об их судьбе...».

Написал Шуре, что по расстоянию мы недалеко друг от друга – триста километров по прямой (по реке) от Уфы до Ижевска. Написал ей, чтобы получила выигрыш 75 рублей по облигации № 89299.

«...Вчера приехал к нам один человек из Валуйска и рассказал печальную новость: при нем от немецкой бомбы 14 сентября 1941 г. был убит электромеханик Станюнас, которого я в последний раз видел в Воронеже в октябре 1941 г. – тогда он собирался распить с нами в Гомеле 1/2 литра...».

Я сообщил Шуре адрес жены Станюнаса: «станция Бузулук Чкаловской области, Грачевский район, Новоандреевка, почтовое отделение д. Чебриковка, колхоз «Рассвет», Иванову А.А. для Станюнас Елены Николаевны».

Был у Шляйцевых на квартире, застал только его жену и Толика. Самого Шляйцева и Леньку я встречал раньше. Живут они неважно – в квартире холодно. Шляйчиха говорит, что теперь бы не ругались, а жили бы мирно. Да, горе и беды сближают людей.

Также в письме передал спасибо бабушке за рукавицы, а Шуре – за ремонт моей фуфайки.

28.01.1942

Сохранились письма, которые мы с Шурой писали друг

другу в один и тот же день.

Узнав из моего письма о гибели Станюнаса, она соболезнует его жене в постигшем горе. Собирается получить 75 рублей по выигравшей облигации. Шура спрашивает адреса Даниловича и Демиденко, жалуется на дороговизну. Сообщает, что Вера в школу не ходит – отдали в подшивку валенки. Просит меня устроить так, чтобы они из Ижевска уехали, что с каждым днем жить становится тяжелей, что Вася «выкидывает коленки» и что с Верой они живут неважно: «Он такая свинья, какую трудно поискать». С продуктами тяжело – нечего купить, а он, хоть роди, просит дать ему вкусное. Тяжело с таким человеком. «На нас смотрит чертом. Он, его мама и Лида думали, что ты нас заберешь с собой, когда ты приезжал, а мы остались. Ведь они думают, что мы из Гомеля уехали так себе, а не Гитлер тому виной».

В этом письме Шура с особой настойчивостью и надеждой просит меня забрать их из Ижевска к весне, если я не забыл и люблю их. Наивная моя женушка! Она никак не поймет, что не в моих это силах...

Я же в этот день писал ей следующее:

«Наконец-то сегодня выяснилось, что едем в Воронеж. Я просился на Казанскую железную дорогу – отказали. На учете в военкомате отсрочка до 1 марта 1942 года. Возможно, что пошлют в военно-восстановительные поезда... За все время получил от вас одно письмо от 4 января, теперь опять буду без твоих писем, а без них жить скучно. Пиши на Во-

ронеж главпочтамт до востребования. Шура, смотри детей и не ссорься со своими. Попроси от меня маму и Веру, чтобы поддержали вас. Загоняй, в случае чего, кое-что из барахла, будем живы – наживем. Шлю 140 рублей за первую половину января. Правда, при теперешней дороговизне деньги небольшие, но больше мне не дают. Недавно уведомили из Управления Куйбышевской железной дороги, что жены Мороза и Демиденко получили авансом 200 р. Ты зря, Шурочка, думала, что это безвозмездно: их с меня удержат. Ходил к Старженской Прасковье Доминиковне, ее адрес: Уфа, ул. Миасская, д. 25. Она просила писать ей. Тебе же пишу письмо в столовой. В 16 часов по московскому (в 18 – по местному) должны выехать из Уфы своим поездом и со своим паровозом. На Уфу не пиши. Теперь буду читать только твое единственное письмо от 4 января. Поздравляю Борика с четырехлетием, поцелуй его. Теперь я удаляюсь от вас в более теплые края. А здесь, в Уфе, минус 35–38 градусов. В Уфе мясо 80 рублей за килограмм, масло – 200 рублей, но его почти нет. Как бы я хотел хоть на минутку увидеться с вами...».

В Уфе я был зимой, в сильные морозы, которые мешали лучшему и детальному ознакомлению с городом, который стоит на горе, и если идти с вокзала, то нужно порядком попытеть, пока залезешь на эту гору. Уфа расположена в месте впадения одноименной реки в реку Белую, недалеко от которой находится вокзал. Паровозы заправляются нефтью,

поэтому около железной дороги стоит специфический запах. Был в доме-музее, где в 1900-х годах временно жили В.И. Ленин и Н.К.Крупская. Обстановка скромная.

29.01.1942

Из Уфы выехали не 28 января, как наметили, а на день позднее.

02.02.1942

Прибыли в Куйбышев, но небольшая стоянка не позволила побывать в городе. К тому же был порядочный мороз, болел бок и нога. Переехали Волгу: мороз и туман.

04.02.1942

Приехали в Сызрань. По-прежнему читаю и перечитываю последнее письмо от Шуры за 4 января.

Помощник Кровина, главного бухгалтера Белорусской железной дороги, Лысый Давид Яковлевич задает концерт, лежа на своей верхней полке. Он где-то когда-то выступал с сольными оперными номерами, и теперь на радости, что продвигается ближе к Белоруссии, вспомнил минувшие дни. Поет недурно.

По утрам мы с бухгалтером Зеленковым К.М. ждем первой радиосводки информбюро, но она, к сожалению, уже менее радует, чем в декабре 1941 года.

Пока мы двигались к месту назначения – Воронежу, в

Ижевске у Шуры произошли события, о которых я узнал из ее писем позднее.

03.02.1942

В открытке, отправленной мне Шурой из Ижевска, наряду с жалобами на дороговизну и на то, что Борик сильно исхудал, она сообщает, что ее и сестру Веру мобилизовали на завод № 71 (прим. – Ижевский металлургический завод) рабочими до конца войны, а также и то, что 5 февраля они должны идти оформляться. Борика собирается определить в детский сад, но ходить ему туда не в чем: нет пальто, порвались штаны. У Верочки валенки были в ремонте, и она неделю не ходила в школу. Пишет, что Вася очень рад, что ее, Шуру, послали работать, но недоволен тем, что также отправили работать и его жену Веру. Заканчивает свое письмо Шура так: «С Васей жить стало невозможно, хоть бы скорей закончилась война».

В дальнейшем из ее писем я узнал, что Шура работает на заводе в цехе 27 штамповщицей деталей на станке. Борика в детский сад устроила, но идет он туда с плачем.

09.02.1942

Мы стоим на станции Саловка (перегон Пенза – Ртищев). Метель, в вагоне прохладно.

Вчера ходил в Пензе в амбулаторию, подлечили ноги, дали рецепт, по которому лекарств нет.

10-11.02.1942

Стояли в Ртищеве. Была сильная метель, расчищали пути и стрелки от снега. Ночью выехали.

12.02.1942

Приехали в Тамбов, где нас переместили в другой классный вагон, в котором мое место было не боковое, как в предыдущем.

14.02.1941

Мы снова очутились на станции Сомово. На этот раз стоянка не была долговременной, и вскоре мы двинулись к Воронежу. Я даже не успел опустить открытку Шуре в почтовый ящик.

По словам жителей, на Сомово фрицы налетают редко.

15-17.02.1942

Стоим на станции Отрожка, в шести-семи километрах от Воронежа.

15 февраля первым делом навестил Караяновых, у которых бывал после эвакуации из Гомеля и оставлял свои вещи. Приняли как родного, накормили. Рассказали, что бывают редкие налеты фрицев, но без бомбежки. От них пошел разыскивать восстановительные поезда отчима и брата Ивана. К сожалению, их в Воронеже не было. По слухам, они

находятся где-то в Ельце или Узловой. Разочарование полное! А так хотелось увидеть родных... Встретил кое-кого из дистанционных ребят: ходили в баню-пропускник, перетрусили свое барахло.

Воронеж чем-то напоминал мне родной Гомель.

Утрясли вопрос со столовкой при Управлении Москва-Донбасской железной дороги. Хлеба нам дают по 500 граммов в день. На главпочтамте получил открытку от Шуры от 1 ноября 1041 года, но и ей был рад!

22.02.1942

Все еще стоим на станции Отрожка, и только к вечеру нас передвинули в Воронеж.

Довольно часто появлялись немецкие самолеты, но не бомбили. Наши вагоны стояли на Воронеж-I, иногда их передвигали на Воронеж-II, частенько приходилось рыскать по путям в поисках «своего дома». Не раз ночевал у Караяновых – спал на большом столе.

Управленцы и другие работники Белорусской железной дороги снова стали стекаться в Воронеж. Начальником административного отдела Управления был Бортников – наш сосед по гомельскому дому, выпивоха и бабник. Впрочем, днем он был неплохой парень, но неважный семьянин. Жена его, худенькая тихая женщина, обитавшая с двумя детьми где-то на станции Раевка, немало горя хлебнула, живя с ним.



14.03.1942

Издан приказ № 18, подписанный заместителем начальника Белорусской железной дороги Вижуновым, о назначении бухгалтером оперативной группы т. Мороз А.А. с 9 марта 1942 года.

Почему выбор пал на меня – я так и не понял, было немало кандидатов из числа управленцев. Помогала мне в составлении список, кажется, Липская Любовь Андреевна.

11.03.1942

Из письма жены Шуры из Ижевска:

«Вера будит меня идти на работу, так неохота вставать! Поспала всего два часа – с часу ночи работать. Очень тяжелая для меня эта неделя. Ну, сегодня последний день, а завтра – выходной. Но вот беда: нездоров наш сын Боря, температура 39, а к вечеру до 40, болит голова, руки, ноги... Завтра, думаю пойти с ним к врачу».

15.03.1942

Из очередного письма Шуры я узнал, что Борик еще не совсем здоров: днем нормально, а под вечер температура до 39. По-прежнему жалуется на дороговизну: картошка 250 рублей за пуд, мясо 100 рублей килограмм, молоко 40 рублей за литр, масло 160 рублей за килограмм. От таких цен жутко делается. Как жить! Пишет, что променяла свой шелковый платок на картошку, что обедает в столовой по карточкам.

Деньги от меня из Уфы получила, и за работу с 10 по 26 февраля заплатили 152 рубля. Работает Шура по восемь часов, а ее сестра Вера по семь. Жалуется на обсчет в бухгалтерии – обещали разобраться. Шура подала заявление о приеме ее в члены союза.

Закончила свое письмо так: «Как-то у нас было собрание, и мастер, узнав, что я эвакуированная, предложил мне выступить и рассказать, как нас бомбили, и что мы видели. Когда воцарилась тишина, я все по порядку рассказала, как и что было, как нас везли... А рабочие просят – еще расскажите, очень интересно. И так твоя Шура начинает выступать с целыми докладами на собрании рабочих... Саша, пиши, какие планы у тебя насчет штанов и туфель. Может, ты сможешь это купить в магазине или на рынке. Денег в эту получку не посылай, обойдусь своими, лучше себе что купи. Саша, такая скука, так охота видеть тебя, Борик и Вера тоже скучают. Целуем все. Твоя Шура».

Да, небыстро доходят письма – сказывается влияние военной цензуры. Например, ее письмо от 27 февраля я получил только 14 марта.

15.03.1942

Пишу Шуре, что в вагоне холодно, на дворе метель, и я, спасаясь от мороза, решил работать. Докладываю, что вчера мне постирали пару белья и рубашку, а с очередной стиркой мне придется обращаться к моим воронежским знако-

мым. По выходным столовая закрыта, поэтому я сегодня без обеда. Пишу, что встречал Палашенко, Сашку Никитина (маленького). Наш начальник Охрицевич и бухгалтер ШЧ-9 Третьяков М.С. тоже здесь. Вообще, гомельчан в Воронеже много. Сосед Бутов, что жил над нами, очень худой, и говорит, что я тоже сильно похудел. Спрашиваю Шуру о ее работе, о детях, о бабушке и о сестре Вере с грудным ребенком (прим. – мальчик Борис – второй ребенок, первый – Эдик). Жалуюсь Шуре, что письмами она меня не балует. Сообщил, что на базаре не бываю и связи с отчимом и Иваном не имею; о налетах немцев без бомбежек.

21.03.1942

Выдержки из письма жены Шуры из Ижевска:

«...Сегодня получила письмо от восьмого марта, очень ему обрадовалась, потому что долго не было писем. Получила, прочитала, и мне как-то не совсем оно понравилось, как-то холодом веет от него... Написано очень мало, ты только и пишешь о своих знакомых Воронежских, уж больно они по душе пришлись тебе. Боюсь, что у них совсем останешься и про нас забудешь. Вот, уже за неделю ты не нашел времени написать семье письмо. А к своим знакомым ходить каждый день ты время находишь. Ты, Саша, смотри, особенно не увлекайся своими знакомыми и старайся ночевать не у них, а в своем вагоне...».

После этой трогательной нотации она описывает свое жи-

ть-быть, работу, пишет о нормах продуктов по карточкам, об обедах в столовой с вырезкой талонов. Обижается, что редко пишу. Снова советует купить себе на рынке ботинки и брюки, а очередную отставку денег не делать. Пишет, что за починку валенок расплатилась хлебом и на хлеб же выменяла мыло. Мороз в Ижевске до 41 градуса, и Вера несколько дней не посещает школу. Переболела сама и Борис тоже, но уже как четыре дня он ходит в садик. Очень исхудал – не узнаешь, капризничает, часто плачет. Дочь Вера со всеми ругается, на тетю и бабушку кричит, не слушается. Прямо беда, не знает, что с ней делать.

«Тебе, Саша, лучше: поработал, поел и никто у тебя не просит есть. Нехорошая мне выпала доля – надо думать, чем накормить, во что одеть, да и самой не в чем ходить на работу... Целую крепко, твоя жена Шура.»

28.03.1942

В следующем письме Шура отвечает на мое письмо от 13 марта: на мой вопрос о взаимоотношениях она пишет, что с мамой и сестрой Верой у нее все хорошо, а с Васей она видится редко. Если и видится, то не разговаривает...

«...Мне так хочется уехать, пожить по-человечески... Борик все спрашивает: «Где наш папа? Хоть бы он скорей приехал, наш папа». В детский сад не всегда хочет идти, а лишь после уговоров. Вера учится хорошо, но очень балуется и не слушается. Сейчас у них каникулы на неделю...».

На работе, после выходного, у Шуры две смены по двенадцать часов. Норму она выполняет на 150 процентов. За первую половину марта заработала 170 рублей – это аванс. Снова просит не посылать ей деньги, а купить себе кое-что из одежды и еды. К работе Шура уже привыкла, хотя при поступлении боялась, что никогда не выполнит нормы, а теперь перевыполняет.

«...Нашей работнице оторвало два пальца. После того другой случай – оторвало один палец...».

03.04.1942

Письмо жены Шуры из Ижевска:

«Не балуешь ты меня письмами. Вот беда – не имею на чем писать тебе, нет бумаги. Саша, ты в письме пошлай по конверту с твоим адресом. Я получила письмо от Станюна-сихи, но нет времени ей ответить. Как вышло с ботинками и брюками? Борику в садике дают утром чай с хлебом, в обед суп, иногда на второе кашу или пирожок, но чаще один суп – плата 45 рублей в месяц, и на хлеб нужно отдавать талонов на 2,6 кг. Питание постное. На рынке крестьяне все продают на обмен, денег не хотят – им нужен товар. Работаю пока хорошо. На пятиминутке мастер читает, кто сколько сделал, и говорит: вот, Мороз, недавно работает, а уже перегоняет старых работников. Выполняю 150 % нормы. Недавно было собрание, на котором меня единогласно приняли в члены союза. Рассказывала свою биографию, где родилась, где жи-

ла, отвечала на вопросы...» (в членском билете № 086378 в графе «вступление в союз» записано 10 апреля 1942 года).

Далее Шура подробно описывает, что она сделала за этот день. Пишет она мне каждый выходной. Спрашивает, когда мы сможем поехать на Родину и зажить хорошей жизнью, как раньше.

«...Скучаю, какие у тебя планы, может весной приедешь к нам? Вера учится хорошо, но нет тетрадей; балуется, не слушается. Напиши ей хорошую проборку. Бабушка и Вера ее ругают, а мне от этого беда. Саша, сегодня мне повезло: выменяла себе на таз один пуд картошки. За деньги картошка стоит 300 рублей. Без тазика буду жить, а без картошки как прожить? Пиши чаще, а не только по выходным...».

06.04.1942

В своем письме к Шуре я сообщил, что меня радует ее вступление в члены союза, ее выступления на собраниях, но печалит то, что ей приходится работать и растить детей при дороговизне всего. Сообщаю, что воронежские цены практически такие же, как в Ижевске. Отвечаю, что посылок в Воронеже не принимают. Пишу, что на получаемые мной деньги одежды не купишь, поэтому я посылаю ей все, что возможно – вчера послал 160 рублей за вторую половину марта. Это, конечно, ерунда, но пусть детям хоть полфунта масла купит.

«...Меняй, Шура, из барахла все, что у тебя есть. Разо-

бьем Гитлера – начнем жить сначала. Вчера пятого апреля была Пасха, был воскресник, чистили дороги от снега. Сегодня встал в пять утра и начал писать это письмо. В девять часов вечера ложусь спать. Света в вагоне нет. Заявление на счет ботинок и штанов подал давно – штаны починили, хожу в галошах (один протекает). Недавно в отделе кадров узнал адрес брата Шурки: Чкаловская область, Краснохолминский район, почтовый ящик 013–416, курсанту Гаврилову Александру Владимировичу. Получил письмо от отчима, привет вам от него. Пишет, что болеет с желудком. С братом Иваном связи он не имеет, наверно, Иван держится «своей линии» и не пишет батьке. Отчим рад моему письму – я послал ему адрес Шурки...».

Также условным способом я сообщаю Шуре о налетах фашистов на Воронеж.

«...Пиши о своей жизни, о детях, маме, обо всех, о своей работе – твои письма подбадривают меня. Хоть бы поскорее мы смогли опять собраться вместе! Мама бы наварила бражки и пустилась в пляс, как раньше... Как здоровье у Бориса, у него не малярия ли? Твои письма идут ко мне дней 12–15...».

12.04.1942

Письмо из Воронежа жене Шуре:

«Сегодня выходной, к восьми часам нужно идти на воскресник. День хороший, снега почти нет. Вчера долго мыл-

ся в бане, что аж дурно стало и банщик дал понюхать нашатырного спирта. В следующий раз придется быть осторожней. Белье не менял, не было чистого. Жду, когда потеплеет, и можно будет постирать и высушить на речке. Летом со стиркой белья проще, нежели зимой. Твое письмо от 15 марта получил 4 апреля. Ты пишешь письма размером больше двух листов и потому их тормозят. Придерживайся почтовых правил. В письме ко мне отчим пишет, что много работает по восстановлению путей, вспоминает маму и Аньку. Далее сообщаю адрес брата Шуры (еще раз). Получил я наконец-то летний костюм за 90 рублей синего цвета, ботинки простые типа «гоп-ца-ца» за 40 рублей и форменную фуражку за 17 рублей. Так что теперь щеголяю во всем новом. Одежда обошлась мне в 157 рублей. Все зимнее думаю присыпать нафталином и положить в мешок. В получении одежды помог, спасибо, Бортников и наш главбух Кровин Н.И. Деньги заплатил сразу (я их сэкономил за прошлые месяцы) и на очередной отправке денег этот расход не отразится. На обеды иногда я тратил один рубль в день, а по «смете» можно было расходовать три. Обед, правда, слабенький: суп за 25 копеек, каша за 40 или 60 копеек плюс хлеб 500 граммов в день – вот и вся моя еда...».

Так вот, после воскресника пошли в столовую – простоял в очереди около трех часов; вырезали восемь штук талонов (из 80 на весь месяц) и дали суп и кашу. Такую «роскошь» я себе позволил, потому что поработал ломом на воскресни-



ке и проголодался здорово. На трамвае добрался до почты, получил письмо от Шуры от 21 марта, в котором она отчитала меня за посещение моих знакомых.

«...Я хотел дописать письмо тебе на почте, но тут руки мерзнут, поэтому пришлось идти к своим знакомым (они живут недалеко), чтобы закончить писать. У них я бываю редко и не знаю, почему ты решила, что часто. Иногда они угощают меня затиркой. Как правило, пишу тебе по выходным. В будни на работе нельзя, а в вагоне темно. Ты, Шура, упрекаешь, что я охладел к вам, но откуда ты это взяла? Я все время думаю о вас и с нетерпением жду того времени, когда мы опять сможем жить вместе. Да, я тебе не завидую. Если я забочусь только о себе, то тебе, бедняжке, нужно заботиться о детях. Крепись, Шура! Я бы с удовольствием помог, но ничем, кроме зарплаты, не могу...».

Далее я пишу жене о воронежских ценах: «...молоко 40 рублей литр, картошка 480 рублей пуд, редька 15 рублей штука, мясо 75 рублей килограмм, масло постное 180 рублей за литр, сливочного почти нет, но оно 500 рублей килограмм, лук 40 рублей килограмм, капуста 50 рублей килограмм...».

«...Спрашиваешь, что за отсрочку мне дали? Отсрочку от призыва в Красную Армию, что ж тут не понять. Скажи Верре, чтобы не баловалась. Очень возможно, что скоро куда-то выедем, но пока неизвестно».

16.04.1942

Открытка от жены Шуры из Ижевска:

«Саша, ты меня извини, что не написала тебе в выходной, не было времени. Стирала белье, потом угорела, чуть жива осталась. После двенадцатичасовой работы придешь домой – завалишься скорей спать. Я очень устаю. Не везет мне – Борик нездоров, заболел ветрянкой. Говорят, дней двенадцать нельзя ходить в садик. Деньги за II/II – 250 рублей, за I/III – 150 рублей, и за II/III – 160 рублей получила...».

Опять предлагает мне оставить себе одну получку. За март она получила 208 рублей.

«Саша, вчера я отдала за квартиру Уваровой 60 рублей, по 30 рублей за месяц: март и апрель. Они договорились, что раз ты работаешь, то мы можем платить. Живем – хвалиться нечем, трудно с продуктами. Снег у нас растаял, очень много воды. Завтра напишу тебе письмо. Приезжал Иван и, что привозил, у нас не было ни разу...». Это Шура, наконец, вспомнила наш уговор насчет налетов и бомбежек.

17.04.1942

Обещание Шура выполнила и написала мне письмо. Сообщила, что мое письмо от 6 апреля пришло, и снова повторила, что любит получать от меня письма (хоть каждый день).

«...Ходила на базар за продуктами. Вот уже больше месяца ходим туда с Верой и не можем купить детям фунт масла

– его нет. Живем совсем без жиров. На базаре ничего, кроме молока, за деньги купить нельзя. Я совсем отдельно живу и столуюсь, поэтому что куплю, то и едим. Мама иногда купит нам молока, но за наши деньги. У нас была подписка на военный заем – я подписалась на 400 рублей, а Вера в школе на 25 рублей – деньги я отдала сразу...».

Далее Шура задает старые вопросы о брюках и ботинках, о том, что пишут отчим и Шурик, а также о том, что условный Иван у них не бывает.

«...Толик нам пишет, но очень коротко. Его адрес: г. Вологда, п/я 117 литер 16, Тимошенко. Сегодня выходной, только собралась тебе написать. Заболел Верин маленький Борик, всю ночь кричал и не давал спать. Не спавши – тяжело, поэтому я днем немного поспала. Мастер все хвалит за хорошую работу. По приказу Наркома обороны тем, кто выполняет норму (перевыполняет), положен добавочный обед. Вчера я получила талон на такой обед: дали котлету и кашу без отрыва талонов с основной карточки. Все это унесла домой Борикку покушать. А у вас есть такие обеды? Вчера нормы не сделала на 100 % – не было работы, а потом станок сломался, и я не работала, но это мастер должен учесть. Вообще же у нас на обед бывают одни супы. Борика из-за болезни ветрянкой еще три дня нельзя пускать в садик. Два дня у него была температура, сейчас же хорошо себя чувствует. Вера в мае заканчивает учиться. Вера-старшая пошла к директору, хочет уволиться с завода. Куда ты ездил и сколько

получил командировочных? Мне одну получку не высылай, купи себе что-нибудь поесть. Пиши, как живешь, работаешь, на сколько подписался на заем. Целуем все тебя крепко, твоя жена Шура».

И в эти апрельские дни 42 года, когда Шура и я в письмах делились своими новостями, радостями и невзгодами, мой брат Шура 17 апреля строчил мне письмо из Красного холма Чкаловской области. Это была первая весточка от него после эвакуации из Щорса:

«Здравствуй, дорогой братик Сашенька!!!

С какой радостью я получил письмо от тебя, весточку, которая связала меня с моими родными. Ведь, дорогой Сашенька, вот уже девять месяцев как я блуждаю по белому свету одиноким. 23 августа, когда немец был в Зябровке, и были слухи, что останемся в кольце, я задался вопросом: «Что мне делать?». Поверь, милый Сашка, когда ждал отца с фронта вместе с восстановительным поездом, чуть не сошел с ума. 22 числа выходили от нас эвакуационные эшелоны. Мы (я, мама и Аня) три раза пробовали грузиться, но, задавшись вопросом: «Куда без отца, без денег?», всегда срывались наши попытки. И мы не погрузились 22 числа. Я добивался узнать об отце, но, увы, все напрасно. Все начальники разбежались. Я обратился в военкомат – его не было. Пришло 23-е число. Людей в Сновске почти не было, кроме военных в нашем погребе. Настигала большая бомбежка, одна бомба упала в двадцати метрах от погреба, две – в са-

ду. Под вечер один комсомолец повстречался со мной. Мы знали, что всю молодежь он (Гитлер) высылает себе в тыл на работы. Я обратился к матери за советом, что мне делать? Аня сказала, что точно будет ждать восстановительный поезд, т. е. отца. И с отцом, и с организацией можно эвакуироваться, т. к. снабжали и питанием, и хлебом. Так и постановили, что выход из положения – дождаться отца. 23-го в 18:00 я, простившись с матерью (очень и очень было жалко), пешком вышел из города вместе с Ушковым. Я, дорогой Сашка, так решил: 19 июля я был призван на действительную военную службу, и комиссар сказал, что надо эвакуироваться и в первом военкомате встать на учет. Значит, если вернется отец, он заберет мать и Аню с детьми, а я, призывник, решил идти из вражеского кольца. Почему отец проехал и не взял мать – не знаю, очевидно, они ждали, ждали и перешли в село. Возможно, отец проехал, об этом не зная. Какова судьба моей матери и сестры с племянниками... Пешком дошел до Макошино, обогнал эшелон, нечаянно встретился с соседями Анискиными, с которыми и поехал в далекий путь. Сашенька, так трудно было ехать. Я вышел в шинельке и брезентовых туфлях. Мама дала мне 70 рублей (я не хотел брать). Так мучался целый месяц. 23 сентября, пройдя 120 километров пешком от железной дороги, вошел в колхоз Чкаловской области и работал рядовым колхозником, получая в день один килограмм печеного хлеба. Жил вместе с Анискиными, но потом колхозница пригласила меня жить

к ним, но быть работником, т. к. мужа забрали в армию. В колхозе все очень дорогие, а моя хозяйка тем более. Приходилось очень трудно...».

Конец письма не сохранился.

19.04.1942

Я купил географический атлас и книжку. Река Воронеж разлилась, как Волга...

Письмо из Воронежа жене Шуре в Ижевск:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Вчера получил письмо от 27 марта. Сегодня выходной. Побрившись и попив чаю без сахара, отправился рыскать по городу в поисках обеда. В городе много воды, тепло – весна. Постояв в очереди два часа, получил по карточке один килограмм хлеба на два дня, а затем, после долгого стояния, пообедал: четыре порции лапши по одному рублю. Порция – в самый раз Борику...».

Благодарю в письме Веру-большую за ее записку. Пишет, что похудели все, как селедки. Я тоже худющий. Когда не поешь, то ходишь злой, как пес.

Еще раз пишу в письме о получении обмундирования, о посланных Шуре деньгах, о подписке на заем на оклад. Отсрочка у меня до 1 мая 1942 года.

«...У нас уже двоих послали в восстановительный поезд, а пять человек взяли в Красную армию: один старик старше меня, другой – младше на год. Так что и твой муж скоро бу-

дет красноармейцем. Смотрите, Шура и Вера, будьте осторожны с пальцами на станках. Пишите мне про бабушку, как она, шевелится? А лучше пусть сама напишет, а то совсем разучится писать. Не думаете ли садить картошку, дает ли завод землю и семена? Как Борис, Вера? Как бы хотел увидеться!».

22.04.1942

Уже давно я запросил в центральном справочном бюро информацию о местонахождении жены Шуры. И вот, 22 апреля в Воронеже из Бугуруслана получил открытку с датой 20 марта с обещанием сообщить ее адрес. Да, слабовато работает бюро.

23.04.1942

В 5 часов утра я писал жене Шуре, что вспомнил наши весенние заботы в Гомеле о посадке картошки. Советую Шуре организовать маленький огород и, если завод будет выделять участки, обязательно посадить картошку. Даже товарищ Калинин предлагал нажимать на посев картошки в эту весну.

24.04.1942

Письмо брата Шуры моей семье в Ижевск:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Вера и Борик!

Первым долгом сообщаю, что жив-здоров, того и вам желаю, дорогие родные! С огромной радостью пишу вам, узнав

ваш адрес от Саши...».

Далее Шура описывает свои скитания так же, как он описал их мне в письме от 17 апреля, только с добавлением, что восстановительный поезд. Куда были погружены почти все вещи, 20 августа 1941 года был потребован на фронт и в Щорс не вернулся.

«...В колхозе жилось тяжело. Сейчас я курсант, учусь быть советским офицером-командиром РККА (прим. – рабоче-крестьянская Красная армия). Может быть скоро попаду в Щорс – надо отбить свою Родину-мать! Около месяца болел брюшным тифом, потерял много сил... С питанием не налажено, дают два раза в день и то не очень...».

Далее Шура описывает, как через Управление в Воронеже он нашел мой адрес:

«И вот моя весточка попала к Саше, который со всей добродушностью дал мне заказной ответ, указав ваш адрес, папин и Ванин. Дорогая Шурочка, поверь, когда вручили мне, больному, эту дорогую записку, то у меня слезы накатились. За девять месяцев я в-первые связался с родным, любимым тезкой, братом Сашей. До этого жил, как оторванный листик. Правда, в колхозе работал вместе с соседями из Сновска – Анискиными. Пишите, как эвакуировались, сколько ехали, как снабжались. Привет вам, Александра Харитоновна, Верочка и Борик, и сестра Вера. С почтением ваш Шура».

И на свободной стороне треугольника он написал: «Пишите, не забывайте, жалко, что нет в Красном холме фото-



графа, прислал бы вам свою личность в военной форме».

26.04.1942

В своем письме к Шуре в Ижевск я, в основном, повторяюсь о своей жизни, питании и прочем. Перечисляю ей, для проверки, даты и суммы посланных мною денег. На ее письмо от 3 апреля, полученное мной 25 апреля, отвечаю на вопрос, скоро ли заберу их или приеду в отпуск: это от меня не зависит – идет война, а я военнообязанный и собой не распоряжаюсь. Некоторых из нас уже порассылали, но мы с Бортниковым останемся до последнего. Нашу группу думают выселить из вагонов, об отпуске и думать нечего. Настойчиво советую Шуре садить картошку. Товарищ Калинин в этом году особенно на это нажимает.

«...Бортников передает привет тебе и всему семейству. Его семья в Ак-Булаке, а семья соседа Бутова в Мичуринске. Рад твоим успехам по работе, ты у меня, женка, молодец, с тобой не пропадешь. Конверты, Шура, у меня без клея и их тоже нет. Был сегодня на воскреснике в подарок к 1 мая – выгружал кирпич. Хожу по-летнему, тепло. Недавно получил из Бугуруслана ответ, что разыскивают твой адрес, а я уже сам давно побывал у вас. Как бабушка живет? Нехай мне напишет».

В этот же день Шура в свой выходной писала мне:

«...Кое-что подлатала Борику, пошила ему рубашу белую...».

В своем письме она описывает домашние дела день за днем, кое в чем повторяясь. Опять был несчастный случай: оторвало палец хорошенькой семнадцатилетней работнице.

«...Говорят, что после первого мая нас переведут на 12-ти часовой рабочий день, но что поделаешь, поработаю, нужно помогать Красной Армии громить врага. Сегодня я имею шестьсот рублей, а купить нечего, кроме молока по 50 рублей за литр. Как надоела эта проклятая война. Бабушка очень похудела, она сейчас с маленьким Бориком (Веринным), который опять болен воспалением легких. Наш сын Борик часто вспоминает тебя, я тоже все время думаю о тебе».

01.05.1942

В очередном письме Шура пишет о получении моих писем за 19 и 12 апреля, поздравляет с 1 мая. Сообщает о выполнении ею нормы на 165 %, о том, что два дня гуляли – работы не было. Спрашивает, почему встаю рано, почему не спится?

«...Борику в садике обещают дать подарок, а вчера ему дали значок Сталина. Вера балуется. Бабушка наша думает ехать куда-нибудь устраиваться на работу, и мне станет еще хуже. Очень рада, что получил одежду и обувь. Не шли одну получку и не слабей, как в бане. Нет бумаги и конвертов, и я, кроме тебя, никому не пишу. Как твои ноги, сердце? Рада твоим письмам. Саша, не сердчай на меня за то, что укоряла

тебя за хождение к знакомым. Чувство ревности во мне заговорило, ты знаешь, как я тебя люблю. Я думаю, что мы будем верны друг другу. У нас наушники, радио, но когда Вася дома, то не дает мне слушать. Вера ушла насчет увольнения с завода...».

Также условно Шура сообщает, что налетов немцев на Ижевск не было.

03.05.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск:

«...Первого мая мы работали. Получил письмо от Станюнас. Также получил письмо от брата Ивана из-под Ельца. Его семья в Сибири, и живут они неважно. Опять возник вопрос об удержании двухсот рублей, полученных тобой в Куйбышеве. Их с меня удержат. К празднику получил 300 граммов сахара и 300 граммов постного масла. Хотел получить пол литра водки да выпить, но очередь такая, что ни черта не вышло. А интересно, вы не выпили на праздник? Мне иногда хочется толченки. Все-таки до войны неплохо жили, хотя ты, Шура, и поскрипывала иногда, что и то плохо, и того нет. Получил твою открытку за 16 апреля. Был в кино, смотрел фильм «Суворов».

08.05.1942

В своем письме от 8 мая Шура жалуется на головную боль. Пишет, что вступила в «ОСОАВИАХИМ» (прим. – об-

щество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и записалась на семена. Получила 280 рублей за первую половину мая. Пишет незначительные новости, о которых сообщала ранее.

13.05.1942

Жена Шура пишет мне, что ее мама продала Шурино крепдешинное платье за 700 рублей – это детям на молоко. Еще одной работнице оторвало палец.

«...Делаю больше нормы, получаю стахановские талоны на обеды. Вчера с Бориком ходила в кино на фильм «Чапаев». В кино Борик был в-первые, очень ему понравилось. Вера в кино ходит часто со школой. Оставь себе одну получку, а то возьму и вышлю тебе обратно! Купила один литр молока за 60 рублей и ведро картошки за 200 рублей – это мне еще повезло. Работаю хорошо, проверяли знания. Часто плачу, вспоминаю, как хорошо мы с тобой жили, ездили в Сновск, как там нас хорошо встречали. Как хочется увидеться, многое тебе рассказать. Дети по тебе скучают. Передай от нас привет Бортникову и его семье. Вера, взяв своего Борика, опять пошла к директору завода по поводу увольнения...».

17.05.1942

Письмо из Воронежа жене Шуре в Ижевск:

«...Недавно виделся с братом Иванов Гавриловым в Отрожке, что в 9 км от Воронежа – там стоит их восстанови-

тельный поезд. Ходил пешком. Иван накормил меня обедом, дал буханку хлеба. Обрато я приехал поездом. На следующий день вечером поел камсы, ночью тошнило, рвало – все купе загадил. У нас тепло, все зазеленело. Что будет с нами – проживем-увидим. Дали нам отсрочку до 1 июля 1942 года...».

О налетах фашистов условным образом пишу, что давно не было. Наши начали гнать фрицев в харьковском направлении в хвост и гриву.

«...Я получил ответ от брата Шурки. Радуюсь твоим успехам по работе. Сегодня я опять у брата Ивана. Пришел в Отрожек пешком. Иван пишет своим, а я – вам. Пообедал у него. Иван похудел, хотя не так, как я. Его представили к награде. После обеда ходили на речку: я постирал все, что на мне, и выкупался. Иван не купался, решил поспать. Щемит спина – загорел. Домой вернулся поездом...».

В конце моего письма Иван дописал: «Шура, Вера, мамаша, маленькая Вера и Борик» Примите от меня пламенный привет, а маленькому Вериному особый – я его не видел. О себе писать ленюсь, да и нечего. Горю желанием встретиться после войны, а это будет скоро, в Сновске на цыганском берегу выпить чарку вина. Ваня».

19.05.1942

В моей открытке жене Шуре нет ничего нового, кроме того, что брату Ивану дают отпуск, и он не знает, сможет ли

уложиться – семья его далеко в Сибири.

21.05.1942

В своем письме жена Шура обижается, что мои письма идут долго.

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Уплатила 150 рублей как аванс за семена. Землю еще не дали. Вера перешла в третий класс, занятия в школе уже закончились, она сдает старые учебники и получает для третьего класса. Вера балуется, огрызается со старшими и со мной тоже, лениться что-либо сделать. Вся ее работа – отвести и забрать Борика из садика. Сестра Вера уже рассчиталась с завода, еще позавчера ушла на село за 40 километров, может достанет фунт масла, хочет устроиться счетоводом в колхозе. Она думает перебраться с детьми на село, в городе жить невозможно, ничего нельзя купить. Работаю хорошо. Была неприятность: снизили прогрессивку со 100 % на 50 %. Все, и я тоже, расстроились. С хозяйкой взаимоотношения так себе, а выгнать она не может – плачу за квартиру, рабочая и член союза. Получила письмо от Шурика, читала и плакала, завтра отвечу. Толик пишет, что 5 мая едет на фронт, семья его в Ленинграде. Мама собирается написать тебе...».

24.05.1942

Свое письмо из Воронежа к жене Шуре я начинаю с сообщения, что ее письмо от 24 апреля я получил только 17 мая.

Далее пишу о письмах, которые долго идут.

«...На нашем собрании выступал начальник группы и говорил, что недалеко то время, когда мы вернемся в Беларусь. Оклад мой теперь составляет 650 рублей, удержаний 203 рубля, на руки отдают 447 рублей, из которых 300 рублей посылаю тебе. Ходил сегодня пешком в Отрожку к Ивану, он угостил обедом и даже выпивкой. Ходили на речку, где тоже выпили. В общем, в этом году я второй раз выпил. Первый раз был на Новый год в Уфе у Некрасова и Лабуша, а теперь у Ивана. Ты видишь, что даже пишу не совсем твердо, прости, Шура, выпил. Это так редко бывает! Сегодня поездкой очень доволен. Иван дал хлеба, кусок рыбы, и я на почте поужинал. Иван через неделю уедет, и я останусь один. Иван никак не решит – ехать ли ему к семье, боится, что одного месяца отпуска не хватит. Я ему говорю: «Если б мне, я бы ни минуты не раздумывая поехал». Утром получил открытки от Шурки и от отчима. Отчим пишет, что послал вам письмо...».

26.05.1942

Письмо от жены Шуры из Ижевска:

«У меня новость: мама и Вера завтра уезжают в колхоз, где Вера устроилась счетоводом. Пишу и плачу с досады – мне и детям без бабушки будет очень плохо. Вчера ходили на поле делить землю, это в 4 км от нас. Завтра всех посылают на подсобное хозяйство. Получила аванс за первую половину мая – 300 рублей, купила молока литр (стоимость цен-

зурой замазана), отдала за квартиру и в садик 50 рублей, купила ведро картошки (стоимость также замазана бдительной цензурой). Земли мне выделили 200 кв. метров, картошки еще нет. Верочка очень довольна письмом, что ты ей писал отдельно...».

28.05.1942

В открытке жене Шуре я условно написал, что прилетали немцы. Брат Иван уезжает в Узловую с восстановительным поездом.

31.05.1942

Письмо к жене Шуре в Ижевск:

«...Письмо от 1 мая я получил 27 мая. Да, долго идут письма. Ты пишешь насчет верности – ну, в этом, Шурочка, будь спокойна. Знаешь, как-то не до этого, больше думаешь насчет пожрать. К знакомым хожу не чаще раза в неделю. Числа 23 мая помог им посадить картошку и бураки около дома (прим. – бурак – свекла), они не хотели, но я уговорил. А как у тебя с огородом? Пишешь, что загнали платье – что ж делать, вещами сыт не будешь. Если из моей шинели не будешь делать себе пальто, то загоняй и ее. Когда-нибудь наживем все. Отчим пишет, если меня заберут в Красную армию, то он будет помогать вам. Это он, видно, в порыве особых чувств! Скоро будет полгода, как мы виделись. Скорее бы собраться вместе. Я теперь, кажется, сам съел бы горшок



толченки. Был у брата Ивана в Отрожке. Отмахал туда и обратно 25 километров. Были на реке, купались, загорали, я постирал все, что на мне. Вспоминали довоенное житье, я ему почитал твои письма. В 18 часов в вагоне дали мне борща и, пока я его ел, мой поезд на Воронеж ушел. Пришлось идти пешком, и через два с половиной часа я был у себя...».

В этом письме я условно пишу, что стали чаще налетать фрицы. Посылаю конверт.

07.06.1942

В своем письме из Воронежа к Шуре я, после перечисления полученных от нее писем, пишу, что всю ночь шел дождь, похолодало.

«...Брат Иван со своим поездом стоит рядом с нашим. Позавчера я поужинал у него, Иван дал мне буханку хлеба. Он мне чем может – помогает, и табачку дает. Он получил письмо от своих: можешь его поздравить, у него родился второй сын – Леонид. Пятого июня я получил письмо от брата Шуры. Пишет, что отец послал ему 200 рублей. Брат Иван никак не решается ехать в отпуск к своим. У нас многих разослали кого куда. Меня пошлют тоже, но в последнюю очередь. Как у вас дела с посадкой картошки? Здесь уже всходит кое-где. Будь осторожна у станка. Ходили с Иваном в кино и дом-музей Никитина, находились здорово. Прошло полгода, как мы не виделись, а мне кажется, что несколько лет. Ходишь ли ты по выходным с детьми в кино в город, в лес? Как по-

живает бабушка?».

04.06.1942

Письмо от жены Шуры из Ижевска:

«...Чувствую себя неважно, но доктор освобождения от работы не дал. Думаю, сходить в свободное время к маме и Вере в деревню за 30 километров. Лида и Вася были у них, говорят – живут хорошо. На работе стало плохо, в «скорой помощи» дали лекарства и направление на более легкую работу. Насилу доработала до утра, плакала. Потом стало легче. Домой пришла – спала весь день. После ночных работ решила сходить в деревню. Попутчица отказалась идти, но объяснила дорогу. И я пошла одна. Вера (дочь) проводила меня до базара, хотела идти со мной, но ведь Борика нельзя было оставить. Я дала ей деньги на молоко, и мы разошлись. Дорога оказалась хорошая. Нашлись попутчики. Один мужчина, очень веселый, всю дорогу рассказывал. Потом попутчики свернули с дороги, а идти еще далеко, впереди лес. К счастью, меня догнала женщина с подводой, я попросила подвезти меня, но у нее лошадь больная, и мы обе пошли пешком за подводой. У своих долго говорили, до 12 часов ночи, вспоминали. Угостили даже – рюмку водки дали. Эдик бегаёт, рвет цветы, Борик ползает. Днем в лесу набрала ягод – детям гостинец. Вечером сидели, читали твои письма и опять вспоминали. Потом вернулась домой: дома Верочка делает уборку, моет полы. По работе мне дали за-

дание – 500 кг, я сделала 519 кг...».

14.06.1942

Пишу жене Шуре, что Ванька Гаврилов уехал со своим поездом, куда – неизвестно. Условно даю информацию, что участились налеты немецких самолетов.

«...Я все стараюсь представить, какие вы сейчас бледные, худенькие. Уже скоро год, как я живу на колесах, в вагоне. С Бортниковым отношения нормальные, он не так задается, как в Гомеле. Его семья в Ак-Булаке. Своего начальника, Жарина, встречаю почти ежедневно. Жена его тоже с ним. К своим знакомым хожу редко, они все ноют, поэтому не хочется у них бывать. Особенно старуха жалуется, что все дорого и т. п., а остальные – кто спит, кто лежит. На грядках, которые я им организовал, начались всходы, но они за ними не ухаживают, бурачков не рассаживают, а все хнычут, что, мол, дети все потопчут. В общем, ищут оправдание своей лени. Они огородом никогда не занимались. Вчера весь день беспокоили фашисты (пишу условно), сбросили четыре бомбы. Сегодня выходной, был на речке, постирал белье. Пошел дождь, и я хожу в мокром...».

15.06.1942

Письмо от жены Шуры из Ижевска:

«...В выходной тебе не писала – не было времени, ездили на Воложку (прим. – поселок на берегу ижевского пруда, из-

любленное место отдыха ижевчан), немного выпили. В выходной посадила картошки 35 кг на низком месте...».

Далее Шура сообщает о своих домашних делах, о том, что сестра Вера устроилась хорошо: в отдельной квартире, дров много, работы мало. А вот Шуре стало хуже...

«...После посадки картошки сразу пошла на ночную работу не спавши. Надоело жить одной, без мужа...».

Рассказывает о нормах на работе, о деньгах – переживает, что не слушаю ее и отправляю все полочки ей. Спрашивает, худой ли я, болят ли ноги, курю ли я? Вспоминает Ивана Гаврилова и Шурика. Пишет, что на работу не опаздывает, всегда является вовремя.

23.06.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск:

«...Получил твое письмо от 15 июня. Очень рад, что весело провели время на Воложке, иногда выпить тоже не мешает. Рад, что посадила картошку, что за май получила 461 рубль – это уже больше, чем я могу тебе выслать. В общем, молодец, Шура, и денег, и хлеба стала получать больше, чем я. Скоро тебе придется брать меня на иждивение. Это мое письмо – внеочередное, потому что пишу от радости, получив твое бодрое послание. У нас дожди и прохладно. Получил также письмо от Ивановой жены, адресованное ему. Я его почитал: пишет, чтоб приезжал к ней и, если можно, забрал. Где сейчас Иван – не знаю. Пусть Вера напишет

мне...».

Также условным способом сообщаю, что фрицы налетают нечасто.

26.06.1942

Получил потешное письмо от дочери Веры из Ижевска. Пишет, как она хозяйничает, как водит Борика в детский сад, как ему там хорошо. Сообщает о посадке картошки, о ценах. Рассказывает, как с Бориком и подружкой Риммой ходит домой. В середине письма оговаривается: «Папа, ты не запутывайся, потому что я половину письма писала вчера, а сегодня закончила». В конце письма Вера оставила скромное пожелание: «Папа, когда закончится война, забери нас в Гомель. И мою подружку Римму». Здесь же нарисована стрекоза. Полная идиллия!

В конце письма мама своей рукой написала, что дочка ленится писать папе, и просит дать ей за это проборку.

Письмо было возвращено из Воронежа в Ижевск, откуда Вера переслала его в Абдулино.

28.06.1942

Последнее сохранившееся письмо из Воронежа жене Шу-ре в Ижевск начинается со слов о слишком частых налетах фашистов на город.

«...Вчера был у Жарина, его жена угостила хорошим обедом. Писем ни от кого нет. Скоро нас будут из Воронежа

рассылать. Когда меня оформляли в оперативную группу, то дали ставку 650 рублей, предупредив, что это временно, а теперь собираются дать прежние 450 руб. Мне приходится со всем мириться и ехать, куда отправят. Пиши пока на Воронеж, а я на главпочтамте оставлю заявление о пересылке писем по новому адресу...».

29.06.1942

Письмо от жены Шуры из Ижевска:

«...Была у Веры в колхозе. Обрато ехала узкоколейкой, еле успела на работу, боялась за опоздание попасть под суд. Из колхоза привезла две буханки хлеба, два килограмма муки, сыр и молоко...».

В письме Шура ободряет меня, надеется на возврат к довоенной жизни. С хозяйкой отношения у нее так себе... Хозяйка выкупает ей продукты. Вася – чертом смотрит. Шура хлопочет дрова на заводе. Картошка всходит.

«...Береги котелок, что я тебе дала, он нам пригодится. До свидания мой дорогой, любимый Саша. Целуем тебя крепко по очереди, твои дети и жена Шура».

## **Конец июня – начало июля 1942 г.**

По-видимому, письмо к жене Шуре, написанное мной 28 июня в Воронеже, было последним, потом что дальше начали происходить такие события, что стало не до писем. Эти

события надолго остались в моей памяти...

Последние дни июня и первые дни июля наш вагон стоял на железнодорожных путях станции Воронеж-II в некотором отдалении от центра города. Налеты приняли постоянный характер. Немцы налетали поочередно, разрывы бомб и выстрелы зениток почти не умолкали. К счастью, до станции Воронеж-II они не всегда долетали, и мы наблюдали разрывы бомб и светящиеся налеты трассирующих пуль над центром города. Когда приближался гул зениток, мы бежали в щели-канавы и, переждав налет, опять шли в вагон. Наконец, троим из нас надоела такая гимнастика, и мы один налет пересидели в вагоне. Все обошлось благополучно, и в дальнейшем мы оставались в вагоне, а не бежали в сырое от дождя ущелье. Один из троих – главбух гомельского вагонного депо Голубев Липа Абрамович – всякий раз при разрыве фугаски грозил кулаком и ругался: «Вот сукин сын, вот skin сын!». Второй – главбух ДС Гомель хромой добродушный Володькин Петр Тихонович – курил и поглядывал в окно в вагоне. Я, конечно, нервничал тоже.

Воронеж эвакуировался.

Нашу группу обслуживала кассир Москва-Донбасской железной дороги. Она не хотела бросать свое имущество и эвакуироваться, и со слезами и воплями просила ее уволить и принять от нее деньги нашей оперативной группы. Желающих ехать в неизвестность не находилось, а времени на раздумье было мало, тогда мой непосредственный те-

перь начальник Бортников, посоветовавшись со своим начальством, решил поручить это дело мне. Я не стал особенно возражать: получил от кассирши что-то около 70 000 рублей наличными и не помню какую сумму облигациями займа, положил все в холщовую сумку, сшитую Шурой для продуктов, и был с ней все время неразлучно.

Наконец, нас вытащили с путей Воронежа-II и поставили в вереницу эшелонов, двигавшихся на восток. Бортникова в эшелоне не было – мне сказали, что он на легковой машине укатил из Воронежа. Передвигались мы очень медленно, с частыми остановками, под непрерывным грохотом от разрыва бомб и зениток. Особенно страшной была остановка состава на мосту недалеко от Воронежа, который немцы пытались разбомбить. Но вот позади остались и станция Отрожка, и мосты, и наш эшелон остановился, немного не доезжая до станции Графская, что в 40 километрах от Воронежа.

Был теплый июльский день. После воронежского шума и грохота просто не верилось, что может быть такая тишина. Как будто и нет войны. Эшелон стоял в лесу, очень напоминающем Сновский «казенный» лес. Как заядлый грибник я решил порыскать поблизости и поискать грибов: взял котелок, который Шура наказывала беречь для послевоенных времен, свою холщовую сумку, ставшую дорогой, и, вскоре, набрав сыроежек и прочих грибов, недалеко от вагона разжег костер и стал варить суп. Но вот со стороны Воронежа послышался шум, который все нарастал. Над нашим эшело-



ном пролетели шесть или семь самолетов по направлению к Графской. Над станцией они развернулись обратно: послышался один взрыв, другой, поднялось облако черного дыма над станцией, самолеты пролетели над головой. Я еле успел поставить котелок на подножку вагона и помчался к штабелю дров, одиноко торчавшему около путей. Прижался к дровам. Недалеко от меня стояла проводница, крестилась и повторяла: «Боже мой, спаси и помилуй». Тем временем фашисты не только бомбили, но и строчили из пулемета. И, как когда-то, в памятные августовские дни 41 года, у меня при каждом взрыве что-то обрывалось в животе. Со страшным и неприятным чувством я переживал эти события. Но в Гомеле у меня над головой была условная защита – потолок убежища, а тут я стоял под открытым небом, видел над головой самолеты и падающие с них бомбы. И хотя я не зывал прямо к Богу, как проводница, но в мыслях обращался к каким-то неведомым небесным силам и просил их спасти меня от бомбы и пули.

Отбомбившись, фашисты улетели. Котелок мой с недоваренным супом так и стоял на подножке. По шоссе, которое находилось параллельно железной дороге, опять задвигались люди, беженцы, а среди них и военные. Запомнилась фигура бледного, потерянного майора, шагавшего с беженцами. На станции было много повреждений. Горел вагон, еще что-то полыхало.

Немного позже со станции двинулись эшелоны, с корот-

кими и частыми остановками. В одну из остановок к вагонам поднесли раненых. Запомнился один, у которого живот – сплошная рана, видны кишки. Поезд пошел быстрее, и мы прибыли на станцию Грязи.

03.07.1942

В дни, когда я переживал неприятные события, жена Шура писала мне письмо о том, что получила 1,2 кг масла и 12 яиц – теперь есть чем кормить детей – она очень рада. Пишет, что если я не послушаю ее и пошлю очередную посылку, то она пришлет мне из своей: «чтобы я поддержал себя» и «не вздумай вернуть обратно».

«...После выступления Сталина ровно год назад мы, работницы 27-го цеха, отмечая этот день, обязуемся работать по-стахановски. Ты, Саша, знаешь, я не ленилась дома и теперь на заводе работаю честно, не теряю зря ни минуты, стараюсь дать фронту больше. День отметила хорошей работой: вместо 385 кг по норме сделала 570! Не с кем посоветоваться, все на тебя смотрят чертом. Хозяйка нажимает насчет дров. Прополола огурцы и 15 кустов помидоров. Я только и живу для детей, где что достану – все им, они у меня пока сыты и здоровы. Мы с Верой едим все, а не как в Гомеле, когда разбирались с едой. Борик уже сам хочет ходить в садик. Работницы говорят, что я постарела и похудела. Сестра Вера послала тебе письмо из деревни. У дочери порвались тапочки – она босая. В лагерь, наверное, ее не отправлю, пусть

едет в деревню, когда поспеет малина. Сообщаю адрес Толика. Дождь перестал, иду на картошку...».

Также Шура сообщила, что ее фотографию вывесили на доске почета.

04.07.1942

Мой брат Шура писал из Красного холма моей семье в Ижевск. Благодарит за присланное ему письмо и вспоминает прошлое, надеется увидеться со всей великой гавриловской родней. Сочувствует моей жене в ее трудной жизни, с болью вспоминает о своей матери и Ане. Он занимается по 12 часов, а иногда и ночью по четыре. Трудно, но нужно.

Получил от братьев по открытке и одну общую. От отца тоже.

06.07.1942

Я, отъехав от злополучной Графской, пишу жене Шуре в Ижевск:

«Жив, здоров, вчера послал открытку с Мичуринска, которую писал в Грязях. Нового адреса не знаю. Подъезжаю к Рязани, где, наверно, и отпущу эту открытку. Не буду описывать тебе, что со мной было, но раз пишу, значит все обошлось благополучно. Когда увидимся – расскажу. Последнее ваше письмо от 15 июня получил 27 июня. Очень рад, что ты посадила картошку. Держись, Шурочка, держи детей. Первого июля я послал тебе из Воронежа 147 рублей за первую по-

ловину июня, проследи получение. О дальнейшем буду писать. Ваш А.М.».

В Рязани я эту открытку не опустил. Была ночь, на фасаде я увидел надпись «Рязань» и услышал стрельбу зениток. Удалось отправить открытку только в 100 километрах от Рязани на станции Шилово.

08.07.1942

Открытка жене Шуре в Ижевск из Рузаевки:

«...Не знаю, долго ли мы будем в Сызрани, но ты напиши мне на главпочтамт Сызрани. Я из своего последнего места жительства выехал 4 июля. Что было – расскажу при встрече. Рузаевка – это самая близкая станция к вам, дальше буду отдаляться...».

11.07.1942

Открытка жене Шуре в Ижевск, пишу по дороге в Куйбышев:

«Вчера прибыли в Сызрань, и нас отправили на станцию Абдулино за Куйбышевым. Так что если писала на Сызрань, то зря... Теперь пиши на Абдулино. Жарко. По дороге молоко стоило по 15–20 рублей за литр, но я не беру – дорого. Обеды нам дают, хлеб по 500 граммов в день. Здесь спокойно, не то, что там. Уже давно не имею писем от вас...».

13.07.1942

Открытка жене Шуре в Ижевск:

«Отправил тебе из Кинели заказное письмо. Сейчас стоим на маленькой станции в 50 километрах от Абдулино, к вечеру будем на месте. Из Абдулино буду стараться попасть к вам на пару дней».

15.07.1942

Открытка жене Шуре в Ижевск из Абдулино:

«Вчера приехали в Абдулино. Стоим вблизи речонки Ик. Покупались, постирали белье, привели себя в порядок. Пиши скорей. Если останемся здесь надолго, то постараюсь захватить к вам хоть на пару дней. Бортников обещал отпустить».

14 июля на небольшой станции Абдулино приостановилось продвижение на восток. Здесь мой начальник Михал Михалыч Бортников развернул свою деятельность. Он со мной, как с главбухом группы, а после Воронежа и кассиром, позаботился о своевременной выплате всем жалования. Составили списки, и я медленно, но верно, стал опустошать свою торбу с деньгами, вывезенными мной из Воронежа. Деньги оказались очень кстати, так как с оформлением нашей группы в финансовых вопросах у местного ДН-3 задерживалось, требовалась команда из управления дороги и т. п. В конце концов нас прикрепили к ДН-3 (третьему отделению службы движения). Через главбуха ДН-3 Карамышева Петра Николаевича (моего ровесника) в дальнейшем я получал

деньги для группы и отчитывался о них. С Карамышевым у нас конфликтов не было, и мы были на правах хороших знакомых. Позднее, 30 ноября 1942 года, я даже отправил ему открытку.

В роли парторга группы был связист Белорусской железной дороги Желубовский Василий Дмитриевич. Он не раз подозрительно косился на мой «денежный ящик» – холщовую сумку – такое хранение денег не укладывалось ни в какие инструкции и правила. Слава Аллаху! Все мои денежные операции прошли без инцидентов.

В Абдулино мы простояли лето и осень. Почти непрерывно громыхали на запад воинские эшелоны с техникой. Мы с нетерпением ждали сводок информбюро. У Бортникова выстукивала на машинке какие-то бумажки Крикунова Софья Алексеевна. Сам Бортников не всегда вел себя достойно. Ропот прошел, когда однажды он, будучи пьяным, свалился на перроне. Но у меня отношения с ним были неплохие. Свое обещание он выполнил и отпустил меня в отпуск.

19.07.1942

Шура написала мне, что послала письмо в Сызрань о том, что на заводе добавили норму выработки при той же оплате, и от этого Шура будет получать не 700 рублей в месяц, а меньше. Просит выслать мою фотокарточку или нарисовать себя: «...давно не видела и хочу представить, какой ты сей-

час есть».

«...Была у мамы два раза, и кое-что приносила от них...».

21.07.1942

Я получил билет № 050383 сроком до 5 августа 1942 г. до станции Ижевск. В этот же день я выехал из Абдулино.

24.07.1942

Когда я, выехав из Бердяуша, покатил вдоль Уральского хребта к своим дорогим родным, Шура писала мне письмо, в котором сообщала, что получила открытку из Абдулино и очень рада, что я предполагаю быть у них: «зайчик наш скучает по папе». Говорит о получении денег и писем от меня, о нормах выработки. Их цех получил переходящее красное знамя. На заводе ей дали два кубометра дров из отходов. Один кубометр Шура привезла домой, заплатив извозчику 100 рублей, а дрова два километра стоят 30 рублей. На дополнительной работе по уборке территории завода Шура заработала еще три кубометра дров: «только как их привезти?». Были в деревне.

«...На работе было плохо – температура 38,1, грипп. Но потом оказалось, что переутомление. Врач сказал: «Вам нужно отдохнуть», а освобождение не дал. Борюсь со своей болезнью, но нужно дать больше боеприпасов фронту. Приезжай, ждем. Твои Вера, Борик и жена Шура».

25.07.1942

Я прибыл в Ижевск, была трогательная встреча и слезы радости.

Срок билета и, следовательно, отпуска заканчивался пятого августа. А так как дорога отнимала четыре дня, в моем распоряжении была только неделя, которая пролетела незаметно.

Не знаю, в этот ли мой приезд в Удмуртию или позже память сохранила приятные эпизоды: вот мы с Шурой стоим у куста малины, и ее так много, она такая вкусная, ее обилие я впервые в жизни вижу только здесь, в Удмуртии; а вот мы с Шурой и Бориком идем вдоль узкоколейки – Борик устал, просится на ручки, но мама уговаривает его, и он идет и идет, бедняжка, прошел не один километр под непрерывные мамины призывы дойти то до того, то до другого кустика или дерева. Помню также, как пленные немцы грузили на платформу кряжистые бревна – работали быстро, слаженно. Вспоминаю, как в Среднем Постоле купаюсь в речке, а Шура на берегу сушит белье. Такие эпизоды всплывают у меня в памяти, когда пишу эти строки. К сожалению, память не всегда может воспроизвести и подсказать события в их хронологическом порядке, как это делает сохранившаяся запись на бумаге. Но ничего «бумажного» об этих днях моего отпуска у меня не сохранилось.

02.08.1942



Я снова расстаюсь со своей семьей.

Далее восстановить прошлое мне снова будут помогать письма тех времен.

03.08.1942

На следующей день после моего отъезда жена Шура пишет мне в Абдулино о работе, о том, что после болезни ведет Борика в детский сад. Шура жалеет, что мало хлеба дала мне с собой.

«...Саша, ты прости мне мои слезы, нужно было хорошо распрощаться, а я плакала, не могла удержать слез. Буду больше и лучше работать, чтоб скорее одержали победу над врагом. Плохо пишу – болит палец, но в скорую помощь не пошла, боюсь, будут резать...».

В этот же день на станции Дружинино я пишу Шуре, что выехал из Агрыза ночью, удалось хорошо поспать на третьей полке. В Дружинино приехал в 15 часов и до семи утра следующего дня нужно ждать поезд, т. е. ночь придется дремать на вокзале.

«...Думаю, доберусь до места к пятому августа. Поел в буфете суп, с чаем съел пол хлеба, который ты дала мне в дорогу...».

Третьего же августа мой брат Шура Гаврилов писал мне в Абдулино:

«Жду ответа, а его нет. Кажется, близко один возле другого, а связь у нас долгая. Послал письма тебе, Шуре, отцу. Ответа нет. Живу в Красном холме. Надоело... Ночью холодно, днем – бураны с пылью. Заканчиваю учиться. Если ответишь сразу, то ответ получу, если несколько запоздаешь – сомневаюсь. Что знаешь об отце? Я с Вернадовки ничего от него не получал. Пиши о себе. Должен получить фото и, если получу, то тебе, дорогой Саша, пришлю обязательно. Целую крепко, твой братыш Шура».

09.08.1942

В своем коротком письме жене Шуре в Ижевск я написал, что был на речке, постирал и высушил все, что на мне, даже суконный пиджак. Но пиджак мало изменился, просто очень выцвел, а мне казалось, что грязный.

«...Это письмо пошлю 10 августа, потому что сегодня на почте выходной, а я хочу отправить заказным. Вере в колхоз письмо заканчиваю. Сахневичу на его открытку, посланную тебе, я ответил».

15.08.1942

Письмо от жены Шуры из Ижевска:

«Сижу на тротуаре, на коленях книга и на книге пишу это письмо. На работу нужно идти к часу ночи. На своем огороде накопила корзинку картошки. Под кустом штук шесть-семь. Идут холодные дожди, гниет картошка. Помидоры и

огурцы не зреют. Дочка Вера в деревне, и нам стало легче. Из-за болезни пальца работаю не на станке, а на разных работах. Скучно после твоего отъезда, чуть не плачу. Работницы все спрашивают, не больна ли я, такой странный вид. Борик плачет, допытывается, где папа, наверное, уехал на войну? Однажды встал в шесть утра и просит кушать, пришлось встать и накормить, а он опять: «Где папа? Он на войне, а ты меня дуришь». Насилу его успокоила. Приехала Уварова, бурчит. Получила письмо от отчима и Шурика. Адрес отчима: ст. Вернадовка, восстановительный поезд 3052 (Тамбовской области)».

19.08.1942

Письмо брата Шуры из Красного холма моей семье в Ижевск:

«Получил письма от вашего папы и от вас. Саша считается моим спасителем, который нашел меня и связал с семьей. Сообщите мне его адрес. Был очень рад, получив письмо от племянницы Верочки. Живу, учусь, скоро выпустят командиром. Получил от отца 200 рублей, за которые очень и очень благодарен. Я не забуду этот гостинец отца».

25.08.1942

Брат Шура снова пишет моей семье в Ижевск из Красного холма, благодарит за их письмо. Рассказал, что из моего письма узнал о том, как «я был у семьи и очень радостно и

счастливого провел несколько дней». О моих описаниях, как тяжело приходится Шуру с детьми, что рад моим письмам. Получил от отца со станции Мещовска, что под Москвой, письмо. Пишет об учебе, о том, что они обедают за «земляными столами, и пыль летит к нам, как прибавка». Сообщает цены.

«Сколько я не спрашивал у брата Вани, где его жена, он мне не писал. Я ехал с ней до самого Кинеля, где шатался с Жориком Анискиным дней пять-шесть, валяясь под заборами. Мы ехали вместе, и, кажется, родная связь у нас есть, и она знала, что я еду сам, один, но никогда не спросила – кушал ли ты сегодня или за эти три дня – нет. Люди помогли. Один еврейчик из Сновских, у которого я работал на засол-пункте последнее лето, и то, узнав о моем положении, дал мне 30 рублей, которые мне сильно помогли. Тогда они еще немного больше стоили, чем сейчас. Но это ерунда, на это я не серчаю. Пусть живут своей жизнью. Будем мы живы – заживем! Только, пожалуйста, дорогая Шура, прошу не сообщать это Ване. Пусть он об этом не знает. Пишите, хоть и не часто. Если есть у вас фотокарточка, то прошу выслать мне. За своей, в военной форме, пойду завтра».

26.08.1942

Сохранилась справка Краснохолмского военно-пехотного училища о том, что семья Гаврилова пользуется льготами как семья военнослужащего.

28.08.1942

Жена Шура пишет, что ездила к маме в колхоз:

«...Ходили с Бориком за грибами: грузди, рыжики. Жарили – вкусно. Вера пока осталась в колхозе, и нам остается больше хлеба. Достала 20 штук открыток. Из-за отсутствия транспорта дрова, три кубометра, еще не получила...».

В этот же день брат Шура пишет мне из Красного холма в Абдулино:

«Здравствуй, дорогой брат Сашенька!!!».

До смерти рад, что получил от тебя письмо. Я все там же, учусь успешно. В сентябре предполагается выпуск, потом госэкзамены и все!!! Эх, как было бы хорошо увидеться с тобой при переезде после окончания. С Шурой переписываюсь, тяжело ей с детьми. Получил письмо от дорогой племянницы Верочки. Несмотря на ее малые годы, она так умело сформулировала письмо, что не верилось, что это писала ученица, окончившая два класса. Такая еще крошка, прожившая на свете каких-то девять лет, описывает, что очень тяжело приходится ее маме. А она, как хозяйка, остается сама дома. Я горжусь такой племянницей Верочкой! Недавно получил письмо от 18 июля от отца и Вани. Письмо со станции Мордвес, что в 200 километрах от Москвы. Они работают вместе. Считают Ижевск и твою жену связующим пунктом. Я был семь дней в госпитале. Большое спасибо отцу за

200 рублей, которые получил после госпиталя, но я их не требовал. Я этого не забуду, отца поблагодарю, лишь бы живым остаться в этой кровавой войне. Просит выслать фотокарточку и обещает выслать свою. Крепко, по-братски, целую, твой верный брат Шура».

02.09.1942

Письмо жены Шуры из Ижевска в Абдулино:

«...Пишу письмо в очереди за рыбой. Наконец, привезли дрова на двух подводах. Уплатила за разрешение 58 рублей, за дрова 45 рублей, за подводу 300 рублей и 1 килограмм хлеба. Очень устала с перевозкой дров, болит спина и все тело, кашель, насморк. Наша Вера еще в колхозе, а занятия в школе в первого сентября. Мне без Веры как-то спокойнее, я с ней все нервничаю. Картошка подросла, нужно копать. Тертую морковку Борик ест каждый день. Помидоры зреют слабо – холодно. Беспокоюсь насчет обуви. Рыбы не хватило – зря стояла, досадно, плакать хочется, а на ночь на работу...».

05.09.1942

В короткой открытке, которую Шура пишет в 12 часов ночи из Ижевска мне в Абдулино, сообщает, что собирается на работу на ночь. Вера все еще в колхозе, и Шура собирается туда съездить. Борик сам одевается, сам ходит в детский сад, часто вспоминает папу.

07.09.1942

Пишу жене Шуре в Ижевск о полученных от нее письмах, о письмах из колхоза от Веры шестого сентября.

«...Ездил на следующую станцию, работал с шести часов утра до семи вечера на воскреснике по замене рельс. Не вздумай, Шура, возвращать обратно деньги. Один я проживу, а у тебя дети. Если будут рассылать, то попрошусь на Казанскую железную дорогу. Варю супы из круп, данных тобой, запускаю лапу в сухари. Верочке в колхозе хорошо насчет кормежки, а вот учеба срывается. Встречал соседку по дому № 12 Ряпину – она здесь в колхозе. Встречал Лехманшу – тут с вагоном стоит, сам Лехман около Белебея. Бортников поехал к семье, а семья в письмах спрашивает – где он? У нас по ночам холодно, пыльно, ветрено. Отвечу Вере в колхоз и Шурке нашему напишу, pošлю ему фото, где мы в саду у Коленченко сняты. Ивану шлю ответ. Есть слух, что нас отправят в Горький...».

09.09.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск из Абдулино:

«Здравствуйте, моя дорогая Шура и сынок Борик!

Получил твое письмо. Доволен, что ты получила дрова. Я добыл два килограмма воблы и пачку табаку, так что теперь «откурюсь» за долгое время. Значит, ты моего третьего письма не получила? В нем я описывал, как у нас проходило

переосвидетельствование и переучет. В этом письме я кое-что повторяю из написанного мною седьмого сентября. Заканчиваю, копилка начинает гаснуть. Да, уже ясно, что мы разъедемся. Но пока пиши на Абдулино».

В этот же день жена Шура вместе со своим письмом вернула мне свои старые письма, которые вернулись ей из Воронежа: «Не сердчай, дорогой, что шлю старые письма».

Шура написала длинное письмо, в котором полно и много описала текущие дела, полученные письма, работу, дрова.

«...Приехала на подводе моя Вера с колхоза. Мама и сестра Вера советуют оставить нашу Веру в колхозной школе... Собралась ехать на дровяной узкоколейке в колхоз. Доехала до колхоза «Ударник», а оттуда пешком. Пришла к своим, после бани выпили по рюмке, хорошо угостили. Купила молока, мама дала кое-что. Когда собралась уходить – пришел Вася. Шла домой с 10 часов утра до трех дня, болят ноги, хочется спать».

Также Шура спрашивает моего совета – оставить ли Веру учиться в колхозе. Шура решила не отсылать ее в деревню до выкопки картошки.

«...Получила письма от Шурика и Толика. Адрес Гавриловых В.А. и И.В.: станция Шилово, в/п 3052. Обещают дать мобилизованным ботинки. Взаимоотношения с хозяйкой натянутые. За квартиру плачу, дрова даю, что им еще надо? Лидя советует ехать к тебе и ездить вслед за тобой. Я



ей отвечаю: мне и здесь хорошо, надо поработать для фронта...».

Молодец, Шура!

10.09.1942

Вижунов получил несколько телеграмм.

Из Горького в Абдулино Вижунову:

«Согласно ЦГЛ прошу немедленно командировать Локоть, Ковалева, Молчанова, Митрофанова. Телеграфте выезд. Решение с вопросом помещения задерживается. Требуется ваше вмешательство. Райгумто Соколов».

И вторая:

«Вижунов. Немедленно командуйте мое распоряжение Локоть Молчанова Мороз Митрофанова Севастюк могу принять Котельнич окладом 700 рублей. Телеграфте выезд. Место бронируется до 15 сентября. Райкумто Соколов».

11.09.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск из Абдулино:

«...У меня уже есть коптилка и немного керосина, и я не ложусь спать с наступлением темноты...».

Спрашиваю ее совета, проситься ли на Казанскую железную дорогу, где я могу быть ближе к ним, но не вместе, или же на Горьковскую железную дорогу в Котельнич вместе со всеми нашими, и где будет наш начальник Соколов. Пишу, что некоторые забрали свои семьи в Абдулино, а теперь не

знают, как быть. Высказываю мысль, что, если устроюсь где-либо на Казанской железной дороге – сорву Шуру с завода, а потом меня возьмут в Армию. Жду быстрого ответа. Далее описываю свои дела с питанием, что закончилось ее пшено и прочее. О ценах: картошка 60 руб. пуд, молоко 20 руб. литр, мясо 150 руб. за килограмм.

«...От дум про вас спал плохо, да и клопы не давали...».

14.09.1942

В открытке жене Шуру я сообщаю, что как главбуху мне дали хлебную карточку на 800 граммов, надолго ли? Пока в Абдулино. Купался, хотя прохладно.

15.09.1942

Письмо из Абдулино в Казань главному бухгалтеру Казанской железной дороги:

«...Я работал главным бухгалтером Гомельской дистанции сигнализации и связи до эвакуации Гомеля, то есть до августа 1941 года. В настоящее время работаю главным бухгалтером руководящей группы Управления Белорусской железной дороги, которая через недели две ликвидируется. Я бы хотел работать на Казанской железной дороге, дабы быть ближе к семье, проживающей в Ижевске. Убедительно прошу ответить мне, если у вас вакансия главного бухгалтера и где, и могу ли я просить назначить меня на Казанскую железную дорогу. Год рождения 1901. С 1915 по 1920 гг. ра-

ботал в службе Пути рассыльным, конторщиком, счетоводом. С 1920 по 1924 гг. служил в Красной армии, с 1924 по 1932 гг. на счетной работе в службе Пути, с 1932 до 1936 гг. – начальник конторы дистанции связи, и с 1936 г. по настоящее время – главным бухгалтером».

17.09.1942

В письме к жене Шуре в Ижевск, написанном в Абдулино, я жалуясь, что вагон не отапливается – дует так, что коптилка гаснет. Понемногу рассчитываю людей и заканчиваю свои дела. Есть распоряжение направить меня на Северо-Печорскую железную дорогу, где-то на север от Котласа.

И действительно была такая телеграмма от НКПС (прим. – народный комиссариат путей сообщения):

«Абдулино Вижунову. Освободившихся работы отчетной группы бухгалтеров Мороз, Митрофанова откомандируйте ст. Котлас распоряжение Северо-Печорской для работы специальности. Севастюк ст. Котельнич Горьковской ж.д. главным бухгалтером базу ГУМТО НКПС. Зам ИГЛ Бунин».

В этот же день жена Шура писала мне, что картошку выкопала, нарвала три корзины помидоров. Рассказала о Вере – пошла учиться в Ижевске, Борик капризничает. У Шуры совет один – чтобы я был поближе к ним. «Скучаю, нет прямо сил».

18.09.1942

В письме к жене Шура я опять жалуясь на холод в вагоне – окна выбиты, кое-где фанера. Ночью накрываюсь двумя одеялами и шинелью с головой. Днем на дворе сварил в котелке картошку, сделал толченку.

«...Рад, что дети у тебя в хорошем состоянии, а вот сама ты, бедняжка, похудела. Нажимай на обеды в столовке, не перебирай, ешь все, что дают и проси добавки. Рад, что с работой наладилось, и ты опять перешла на станок... Лидин совет никуда не годится, ехать вам ко мне не следует. Она так рассуждает, потому что живет вдали от войны и не знает ее прелестей. Другое дело, что вы им надоели, и они готовы спихнуть вас хоть куда, лишь бы вернуть себе мирный покой. Привет колхозникам. Да, Вера с бабушкой немало помогают, спасибо им большое. Жалею, что не распилил всех дров, будучи у вас, болели ноги. Как ты решила с переделкой шинели себе на пальто? Письмо мое к отчиму вернули из Вернадовки. Шурику послал фото».

Шура же написала мне, что из колхоза сообщили о болезни корью Эдика и Борика (дети Веры), и что Борик безнадежен – он слаб, не ест.

«...Вера просила Васю приехать, но он и не думает. Вася ведет себя нехорошо как муж, и не знаю, зачем Вере жить с таким. Ко мне придирается: «Почему не поехала с Сашей?». А я отвечаю, что мне и здесь хорошо. А вчера говорит: «Ты

поставь свою кровать в комнату, а я свою – в спальню». Я говорю – хорошо, только не сегодня, потому что Борик уже спит. Тогда он предложил перейти в комнату, где хлопцы живут, а их сюда. Я не соглашаюсь. Прибежала хозяйка и кричит: «Выбирайся, я здесь хозяйка!». Я отвечаю, что там холодно и с детьми не пойду, а будете выгонять силой – пожалуюсь. В выходной переставлю кровать в комнату, пускай Васька спит в спальне. У нас холодно, вчера принесла щепок и топила...».

19.09.1942

Жена Шура снова написала мне письмо в Абдулино с советом ехать туда, куда и все. Так, по ее мнению, мне будет легче среди своих. На зиму у нее есть картошка пудов десять, для Веры валенки, галоши и пальто пошила бабушка из своего старого. У Шуры и Борика есть пальто, обуты. К зиме готовы.

«...У Веры больны дети. Если будет поезд, я съезжу в колхоз...».

Тем временем брат Шура писал мне в Абдулино:

«Госэкзамены сдал на отлично, присвоили звание лейтенанта. Обмундирован хорошо, а теперь выпала великая честь от Великой Родины – стать на ее защиту. Три дня гуляли по Красному холму, а завтра в путь-дорожку. Говорят, туда, где ты работал, то есть в Воронеж. От отца ничего нет,

очень скучаю и волнуюсь. Свои фото разошлю через твою Шуру, так верней. Если что узнаешь об отце, передавай ему привет от всего сердца, и всем, кто знает меня...».

20.09.1942

В письме жене Шуре в Ижевск говорю о разных мелочах своей жизни, как она просила.

«...Пробуду в Абдулино до конца месяца, а потом, рассчитав всех, обязан ехать на Северо-Печорскую железную дорогу. Там, говорят, цыгане, поэтому я купил три пучка чеснока. Хорошо, что у вас к зиме есть дрова, картошка, хлеб, с работой дело налажено, и я буду более-менее спокоен за вас. Мне остается переживать лишь разлуку с вами. Бортников как уехал 20 августа, так его и нет. Говорил – к семье, а жена в письмах спрашивает: где он?...».

22.09.1942

Хотя брат Шура писал ранее, что 20 сентября они выезжают, 22 сентября он пишет мне из Красного холма о том, что пока совершенно неизвестно, как долго они тут будут. Мое письмо с карточкой получил: «Карточка напомнила мне тихую жизнь, закрепил образ твоей жены».

Жена Шура делится в открытке своими неприятностями. В восемь часов повела Борика в садик, а с девяти до трех мерзла в очереди за сахаром, но получила только 1,4 кг.

«...У меня неудача. Бураки, что во дворе, которые я садила, полола и поливала, наша хозяйка все вырвала – пуда два, и когда Вася спросил – зачем, она ответила: «Что я, с голоду должна помирать?». Мой труд пропал даром, пусть она ими подавится, пусть ее черт заберет».

24.09.1942

В письме к жене Шуре в Ижевск из Акмолинска я пишу, что меня переселили в другой вагон: купе отдельное, но не закрывается. Вагон не отапливают, а уже прохладно. Сам варю редко, дожди мешают, а варю во дворе.

«...Значит, Вера у тебя. Конечно, ей в деревне лучше, но раз Борик сам боится, то приходится согласиться...».

25.09.1942

На мою просьбу главный бухгалтер Казанской железной дороги Давыдов ответил так:

«Главному бухгалтеру Руководящей группы Управления Белорусской железной дороги товарищу Мороз А.А.

На Казанской железной дороге вам может быть предоставлена должность старшего бухгалтера в одной из хозяйственных единиц Агрызского узла (близ города Ижевска). При согласии на такое перемещение прошу прибыть в Управление дороги, имея на руках передаточные документы. Если к моменту вашего прибытия на дорогу в Агрызском узле окажется должность главного бухгалтера какой-либо хозяйствен-

ной единицы, возможно, вы будете назначены главным бухгалтером».

Этот ответ я получил в Абдулино третьего октября, то есть тогда, когда у меня уже были назначения: сначала на Горьковскую, а потом на Северо-Печорскую железную дорогу. Это предложение отпадало.

Тем временем, брат Шура писал мне в Абдулино, что из Красного холма он выехал:

«...Пишу в вагоне. Куда едем – не знаем. Очевидно, к Ленинграду. По дороге спрашиваю работников белорусской дороги, привет всем, кто знает меня. Отправляюсь на правое дело – выполнять долг перед Родиной – на фронт. Не забывайте меня. Я вас никогда не забуду. Когда адрес установится – напишу. Саша, я часто тебя вспоминаю по твоим часам, подаренным мне. До скорого свидания, твой меньшей брат Шура! Целую крепко за всю родню, особенно за мамашу. Вспоминай, не забывай меня. Прощай! До свидания, брат Шура. Целую очень крепко».

27.09.1942

Выдержки из письма жене Шура в Ижевск из Абдулино:

«...Говорил со своим начальником, он у меня теперь другой – Бортникова нет, где-то пропал – насчет заезда к вам, но он «ни мычит, ни телится». Нужно два билета, а по одному такой маршрут недопустим. Но все это пока лишь мое



желание. Ты, Шура, не настраивайся на встречу, чтобы не разочароваться, если она не состоится. Возможно, все еще переменится, и меня пошлют не туда, а в другое место. Вчера получил письмо от тебя и Шурика. Толику я писал письмо по адресу, данному тобой. Держись, Шура. Вере скажи, чтобы слушалась тебя и была помощницей. Борику – чтоб не коверкал слова. Сама ешь все обеды, что дают в столовой, не перебирай и будешь здорова.

28.09.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск:

«Сегодня счастливый день на письма. Получил от тебя три письма: от 18, 19 и 21 сентября, и от Верочки от 22 сентября. Вчера на речке постирал белье, рубашку, сам окунулся – вода холодная. Ты пишешь, что Вася начинает заниматься выселением и переселением, но, накануне зимы, ты ничего не бойся, за тебя как эвакуированную и работницу завода постоит Горсовет. Я не понял, в какую комнату он хочет тебя выселить? На кухню что ли? На его разговоры и упреки, почему ты не поехала со мной, не обращай внимания. Это рассуждения несерьезного человека, какие-то детские. Он до сих пор не может понять, что идет тяжелая война, что люди лишились угла и потеряли все. Я больше года скитаюсь по вагонам и уже забыл, как люди живут в квартирах, а он, нахал, говорит – пусть заберет семью к себе. А куда это к себе, интересно? Сегодня я здесь, а завтра в Печоре или в Ар-

мии, и что тогда с семьей? Его это не интересует. У него свой чисто эгоистический подход: выпереть вас хоть на улицу, а самому жить, как до войны. Да он, собственно, войны и не видел еще, и единственное неудобство, которое им принесла война – это то, что ты с детьми у них поселилась. Его тоже могут оторвать от маменьки и лишить брони, пусть он не очень гарцует. Все-таки какие черствые люди! Хоть бы скорей конец войне, да избавиться от этой их зависимости. Ты, Шура, особенно с ними не задавайся и, в чем можно, уступай, конечно, не допуская, чтоб сели на шею верхом. Когда я прочитал про это, то расстроился. Но довольно об этом. Ты пишешь, что с колхоза вернулась с горохом и буханкой хлеба – да, эти люди не чета Васе, не дадут пропасть человеку. Поблаговари их от моего имени. Думаю, до 15 октября будем в Абдулино. Спасибо за совет – поеду туда, куда пошлют. Что-то нет ответа с Казанской железной дороги. Почему не перешиваешь шинель себе на пальто?».

Заканчиваю письмо словами о главной теме: о хлебе, обеде и т. п. Ох уж эта еда!

30.09.1942

О том, что вместо Бортникова был, кажется, путеец Кашлачев, свидетельствует подписанная им доверенность на получение мною из почтового ящика № 27 почты на имя руководящей группы Белорусской железной дороги.

Жена Шура написала мне письмо, в котором сообщает о полученных от меня 150 рублях, которые она хотела вернуть мне, но не сделала этого, потому что не уверена, в Абдулино ли я еще нахожусь. Рассказывает, как была в колхозе, принесла оттуда продуктов. Картошка есть, так что высылать ей деньги, по ее мнению, не нужно. Сообщает о горе, постигшем Веру – 25 сентября умер от кори малютка Борик. Шура ездила к ним. Хоронили его в 8 км от деревни, мама на кладбище не ходила, была с Эдиком. Все очень плакали. Вера, еще когда он был жив, дала зарок, несмотря на сопротивление Васи, что если Борик выживет, то она заберет нашу Веру в деревню. Теперь же, когда Борик умер, это отпадает, и Вера останется в Ижевске.

«...Вася уже все уши прожужжал Вере, чтобы я искала квартиру и убиралась. Но не так легко найти квартиру, перезимуую здесь. Вчера на работу ходила в лаптях, наши работницы все смеялись. Черт с ними, пусть смеются. Получила аванс за первую половину сентября 278 руб. У Веры все еще болят ноги и руки, в школу не ходит. Жду с нетерпением твоего приезда и дети тоже. Получила от отчима его адрес: г. Бугульма, ул. Железнодорожная, д. 5, Фанюкова Пелагея Сергеевна, для Гаврилова В.В. Отчим просит твой адрес, Шуры и Ивана».

01.10.1942

Жене Шуре выдали удостоверение: «Готов к ПВХО I-й

ступени» сроком до 31.12.1943 (прим. – ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона).

Написал письмо жене Шуре в Ижевск: коротко описал свои продовольственные дела, рассказал о том, что посылаю ей 450 рублей за вторую половину сентября «детишкам на молочишко».

«...Сегодня приехал Бортников, он не против моего заезда к вам. Но ты, Шура, особенно не надейся на свидание, чтоб потом не разочароваться. А бураки пусть ест хозяйка на здоровье. Получил письмо от Шуры, он едет в сторону Ленинграда. Отвечай ему – он еще мальчишка и ему нужна моральная поддержка. Отвечай всем, ведь ты связная. Поклон от меня колхозникам и пожелание выздороветь Борику. Самая приятная новость от вас, что вы не голодаете...».

02.10.1942

Жена Шура сообщает мне в Абдулино, что будет рада встрече. Пишет, что 27 сентября была на похоронах Вериного Борики.

«...Приезжай скорей, целую крепко, твоя Шура».

04.10.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск:

«...Я варю на ужин суп в котле парового отопления (подошла моя очередь). Ходил на базар – грязь черная и липкая,

дождь. Я купил фунт масла за 200 рублей. Откуда деньги? Я получил суточных 230 рублей за командировку и сэкономил на обедах. Масло растопил, и оно будет подарком тебе. Еще купил себе на 10 рублей чесноку, тебе купил носки за 18 рублей, перчатки. Вчера пришел ответ от главного бухгалтера Казанской железной дороги, но его предложение туманно, мне могут дать место старшего бухгалтера с окладом 300 рублей в Агрызе, то есть все равно будем порознь жить, потому что при таком окладе взять вас к себе я не решусь. Да и не надо забывать, что идет война, а я – военнообязанный, и меня могут призвать в Армию. К тому же мой начальник может дать мне передаточные документы только как ему предписано, т. е. на Север, а на Казанскую железную дорогу не может. Так что следую твоему совету и буду ехать, куда все, куда пошлет НКПС (прим. – Народный комиссариат путей сообщения). Твою просьбу, Шура, написать в город Свободный об алиментах я выполнил, и завтра пошлю».

05.10.1942

Заказным письмом я написал в г. Свободный:

«Город Свободный Амурской области, Управление Амурской железной дороги, начальнику административного отдела Амурской железной дороги. Уже два месяца я не получаю от вас судебных удержаний с моего сына Тимошенко Василия Харитоновича. Прошу сообщить причину невысылки денег по адресу: г. Ижевск, Удмуртская АССР, ул. Азина, д.

52, Мышастой Февронии Федотовне (прим. – матери Шуры и Веры)».

06.10.1942

Жена Шура пишет мне из Ижевска в Абдулино:

«...Теперь писем от тебя уже недостаточно, жду, когда приедешь хоть на один день. Работаю хорошо, живем пока тоже хорошо. Борик балуется, не слушается. Вера не совсем здорова, в школу пока не ходит...».

Телеграмма из Горького № 1132 436652:

«Абдулино КБШ зам П Кашлачеву. Дайте указание Гутареву остальным представителям форсировать имущество дороги базы выездом подробными актами сдачи Горький отчет. Обеспечьте проездными документами. Сами лично после отправки документов автомашиной выезжайте вместе с Мороз в Горький. Время выезда телеграфируйте. Вижунов».

07.10.1942

В своем письме жена Шура хвалится, что пишет мне часто: с 23-го по 26-ое ежедневно, а дальше – через день. Очень хочет встречи. Вера в школу не ходит, болеет. Борик часто самостоятельно ходит в садик.

«...У нас будет сокращение, будут переводить в другие цеха, а мне из нашего неохота идти, нервничаю. Я уже писала, что Вера мне заказала замечательную обувь – лапти, и я хожу

в них на работу. После смерти Борика мама выглядит старухой, а Вера похудела. Пиши им...».

Снова говорит о напрасной пересылке им денег. Рада, что не голодает.

«...У нас все дороже, чем у вас. Приедешь, угощу помидорами. Поговорить есть о чем, всего не опишешь. Отчим просит, чтобы ты писал ему на Бугульму».

Тем временем, я подал заявление начальнику Белорусской железной дороги следующего содержания:

«В последней Вашей телеграмме мне приказано прибыть вместе с товарищем Кашлачевым в Горький. Прошу Вашего разрешения приехать в Горький не вместе с т. Кашлачевым, а по маршруту: Уфа, Дружинино, Казнь, Горький, дабы иметь возможность заехать к семье, живущей в г. Ижевске. Этот маршрут не на много длиннее кратчайшего пути, и я убедительно прошу удовлетворить мою просьбу и дать возможность побывать у семьи. А. Мороз».

09.10.1942

В письме к жене Шуре в Ижевск я описывал новости последних дней, которые менялись с удивительным непостоянством:

«Я еще в Абдулино. За эти дни было распоряжение, что я должен со всеми документами выехать в Горький. О моем заезде в Ижевск мой начальник говорит, что такого билета

дать не может без разрешения свыше. Заявление о разрешении заезда я послал вчера. Итак, до вчерашнего дня я имел назначения на Северо-Печорскую железную дорогу или на Горьковскую. Вчера же приехал из Москвы наш главбух Белорусской железной дороги Кровин М.И. и сказал, что я, вероятно, с ним поеду в Москву. Буду ждать распоряжения, уже третьего, насчет Москвы. Конечно, если в Москву, то это уже совсем не по дороге...».

В своей открытке ко мне в Абдулино жена Шура ничего нового не сообщает: пишет о полученных ею письмах, о том, как прошел день. И, конечно, ждет моего приезда к ним. Я уже и не рад, что пообещал – ничего толком сам не знаю, как все обернется.

Брат Шура сообщил моим в Ижевск, что он шлет привет из <...> (вытерто цензурой) с фронта и просит сообщить об этом мне.

«...Выслал вам семь фотокарточек, где снят курсантом, а из Красного холма вышлют, где я командир. Посмотрите и вспомните меня. Жаль, что не имею связи с отцом. Если будет возможность, вышлю вам, Шура, аттестат, а вы – отцу. Как вы живете, где находится Саша?».

В обратном адресе: ППС 1402 часть 140, дальше вычеркнуто.



10.10.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск из Абдулино:

«...Жаль, что не осталось фотоснимка умершего Вериного Борика. Ты смотри, Шура, своих зайчиков, их нужно сохранить для более счастливых дней. Веру обязательно своди к врачу. Что смеются с лаптей – не обращай внимание. Только не простудись в них. Загони что-либо и купи себе обувь. Пиши чаще в местком насчет обуви. Зря я зародил мысль о приезде к вам. Теперь уже к Горькому и Северо-Печорской прибавилось назначение в Москву, а может придет еще и четвертое. Только закончил письмо в колхоз Вере. Идет дождь. На почту не добратся, грязь. Не знаю, удастся ли сварить суп, котел еще не разжигали... Суп сварил, котелок твой здорово выручает. Дождь перестал, иду в столовую насчет обеда, а свой суп на ужин оставил. Хлеб пока получаю по 800 граммов. Завариваю малину, что ты дала. Как вспомню нашу согласную жизнь, так просто не верится. Пиши, твои открытки я просматриваю и читаю по несколько раз».

11.10.1942

В своем письме в колхоз соболезную по поводу смерти Борика.

Обещание Кровина взять меня с собой в Москву пока не имело никакой твердой почвы, а Вижунов из Горького продолжал командовать.

14.10.1942

Телеграмма Вижунова из Горького:

«Абдулино Кбш зам п Кашлачеву № 1233, Машина А 2-53-18 мотор 212046 шасси 64797 высылайте паспорта всех машин. Телеграфьте прибытие грузов. Форсируйте окончание дел для возможности личного выезда. Разрешаю удовлетворить просьбу частично вашему усмотрению. Морозу разрешаю заезд ограничением времени. Подводами обратитесь НЖЧ. Вижунов».

15.10.1942

Жена Шура написала мне в открытке в Абдулино, что ждет моего заезда. Просит взять свои валенки для ремонта, чтобы купил масла топленого («деньги верну») и чеснока, У них холодно. Просит, чтобы привез перчатки. Жалуется – после работы мало спала. Дочка Вера еще болеет.

16.10.1942

Жена Шура пишет в своем письме, что получила от меня деньги, предлагает больше не посылать. Советует купить пуд картошки и масла, потому что в Москве все дорого. Говорит о новом варианте моей отправки – о поездке в Москву она уже знает.

В этот же день я строчу жене Шуре:

«В вагоне холодно, мерзнут руки, ноги, нос. Ночью закру-

чиваюсь с головой. Спасибо, что пишешь – твои письма согревают. Варить негде. Изменений пока нет. Побольше накручивай портянок, не мочи ноги, а что смеются, то плюй на них, настоящий человек смеяться не будет. Сейчас по вагону бегают Бортников, тоже греет ноги. Он на днях едет на Северо-Печорскую. Говорит, вся его семья болеет малярией. Они живут в Раевке, недалеко от Уфы. Наверно, до конца месяца я буду здесь. Пиши, в какой комнате сейчас живете?».

18.10.1942

В очередном письме жене Шуре я снова жалуясь на холод в вагоне.

«...Очень рад, что вы не голодаете и не мерзнете. Пишу письмо, а ноги заколели. Сейчас побегу на вокзал погреться. Сварил бы картошки, но нет очага. Обедаю в столовке: обед сносный, но малая порция. С отъездом пока тоже все попуталось. Но я, на всякий случай, приготовил тебе мыло, поллитра масла топленого, фуфайку, носки, а вот как их передать тебе? Почему молчишь насчет перешивки моей шинели на пальто? Хватит ли на зиму дров?».

21.10.1942

Письмо жене Шуре в Ижевск из Абдулино:

«В вагоне холодно. Как будто к первому ноября должны выехать отсюда. Куда я поеду – пока точно не знаю, но договорился с начальством, что если даже и в Москву, то к вам

заеду. Но это только тогда, когда буду иметь на руках билет. Деньги за первую половину октября я тебе пока не шлю, оставлю на покупку тебе масла. О заезде в колхоз – посмотрим, мне дадут только один день. Когда приеду, отпросись на день от работы. Итак, опять появилась надежда на свидание с вами, если что не помешает этому, то жди».

В этот же день, когда я с таким оптимизмом готовил себя и Шуру ко встрече, она строчила мне письмо о своих новостях в последние дни: напомнила о смерти Борики от кори и воспаления легких, о том, как переживают горе Вера и бабушка. Описывает свою поездку 18 октября в колхоз:

«Поездом приехала на «Ударник», дальше по пути темнота, грязь чуть не по колено. Перед деревней сбились с дороги, зажигали спички. В общем, все на свете прокляла. Пришла домой – мама накормила, легла спать – чуть согрелась. Утром пошли на перекопку, я заработала себе три пуда картошки. Мама взяла себе мелкую, мне отдала крупную. На следующий день, когда возвращалась домой, шел мокрый снег – очень замерзла, дома переоделась в сухое и так, уставшая, пошла на работу. Как только не заболела! Но все обошлось благополучно. Принесла 4 литра молока, круп один килограмм, три яйца, масла 100 граммов. Давали капусты, но я не взяла – тяжело нести. Дали немного хлеба. Эта поездка была тяжелая. Все ради детей – сама бы не ходила. Сегодня думаю уволиться на три дня, да поехать еще на пере-

копку картошки. Не знаю, уволят ли? Вера в школу еще не ходит, ей уже лучше и скоро пойдет. Борик в садик ходит, у него на лице такие «вавки», как у Веры. Это от простуды. Обuvi мне пока не дали. Деньги мне не отправляй, покупай себе молока, у вас оно дешевле, а у нас 70 рублей за литр. Мы пока картошкой и хлебом сыты, и ты свои деньги пусти, как я советую. Будешь ехать – купи масло. Вера просила заехать к ней. Ты ей, Саша, пиши, утешь ее. От Шурика есть письмо, от батьки нет. Не знаю, пересылать ли батьке справку, присланную Шуриком, может он уже в другом месте. Приезжай, будем ждать».

22.10.1942

Как и писала мне жена Шура, она просила уволить ее, но не на три дня, а на семь. Вот ее заявление от 22 октября 1942 г.:

«Помощнику директора отдела найма и увольнения 71-го завода от работницы Мороз. Заявление. Прошу меня уволить на семь дней, так как я не имею средств к проживанию. Я хочу съездить к матери в деревню, она работает в колхозе, может чем поможет. У меня осталась только детская карточка на хлеб, кроме хлеба ничего нет, крупяную карточку уже проели, обедать нечем и дети дома голодные. Мать пишет, что у них в колхозе есть работа по уборке огородов. Прошу дать мне возможность, пока есть работа в колхозе, что-нибудь заработать из продуктов. За всю работу платят карто-

фелем, и поэтому прошу меня уволить, так как нахожусь в безвыходном положении. Я получила зарплату за сентябрь 131 рубль, и как я на эти деньги проживу с двумя малолетними детьми 10 лет и 4 года? Прошу разобрать мое заявление и не отказать в просьбе, посодействовать как эвакуированной. Просит Мороз А.Х.».

Сбоку на уголке неутешительная резолюция: «Начальнику цеха № 27 Андропову. Уволить не могу, так как в смене Большакова уволил 4 человека и работать некому». Так кадровик «посочувствовал» моей бедной Шуре.

Как я узнал позже, Шуру все же отпустили на восемь дней.

02.11.1942

Неожиданно для меня мы очутились в Раевке. Почему именно здесь, мне не совсем понятно, и я, грешным делом, подумал, не связана ли эта поездка с тем, что семья Бортникова М.М. здесь, в Раевке? А возможно я заблуждаюсь.

Во всяком случае, довольно бодрое письмо я пишу Шуре из этого места:

«Вчера, в Абдулино, получил от тебя письмо и открытку с колхоза. Раевка в 130 км от Абдулино, здесь пробудем три дня и вернемся обратно, а оттуда я поеду к вам. Готовься к торжественной встрече с пол-литра и закуской. Поздравляю вас с 25-й годовщиной октября. Рад, что накопили картошки. Надеюсь, что вы выглядите лучше, чем в прошлую встречу. Где я буду – пока сам не знаю, важно то, что увидимся. Ве-

рочке на ее письмо ответил. В Раевку приехали со своими вагонами, получили дрова, уголь, так что теперь не мерзнем. За октябрь деньги тебе не выслал – кое-что купил».

06.11.1942

Пришла телеграмма: с отправкой вагонов воздержаться до распоряжения.

А насчет меня пришла телеграмма из НГПС:

«№ 4827-35 06.11 4-10 Абдулино КБЖ отчетной группе Белорусской Кашлачеву копия Акмолинск КРГД начальнику Картранстопа Тимохину. Откомандируйте станцию Акмолинск Карагандинской распоряжение начальника Картранстопа работника группы Мороз А.А. для работы главбухом топливной инспекции. Исполнение телеграфируйте. ЦТП Волков».

Да, это была неожиданная новость!

Все варианты об откомандировании меня на Горьковскую, на Северо-Печорскую, в Москву, все обещания устроить заезд в Ижевск – все летело к чертям! Маршруты на Горький, Печору, то есть на север и московский на запад перечеркивались этим неведомым – на восток. Естественно, что я сразу же забил тревогу насчет заезда к семье, так как Кашлачев не решался дать билет на Акмолинск через Ижевск.

В тот же день, когда пришла телеграмма, я посылаю ответную:

«ЦГЛ Волкову. Убедительно прошу разрешить ехать Акмолинск согласно вашей телеграмме № 4827 с заездом к семье Ижевск. Главбух группы Мороз».

К сожалению, это был «глас вопиющего в пустыне» – ответа не было.

07.11.1942

Письмо жене Шура в Ижевск из Абдулино:

«Здравствуйте, Шура и мои зайчики Вера и Борик! Поздравляю вас с 25-й годовщиной Октября!

На дворе буран, снег, ветер валит с ног. В вагоне жарко. Пообедал хорошо – за 3 руб. 15 коп., а выходя из столовки нашел 3 рубля, значит, пообедал даром. Из Раевки приехали вчера. Я писал тебе из Раевки о скорой встрече. Когда прибыли в Абдулино, здесь на ждал сюрприз... Телеграммой из НКПС я назначаюсь главным бухгалтером топливной инспекции в Акмолинск. Стал договариваться со своим начальником насчет заезда в Ижевск, а он – не близко, боится нарушить распоряжение НКПС и дать кружной путь. Тогда я за свой счет послал телеграмму в НКПС с просьбой разрешить заезд к вам. Не знаю, что ответят, но надежды не теряю. Я уже не рад, что взбудоражил вас поездкой, лучше бы приехал неожиданно. Я, Шура, не виноват, что так все меняется. На сегодняшний день положение такое, а что будет завтра – не знаю. Я уже тебе и деньги не посылал, и гостинцы приготовил, и вдруг все рушится с поездкой... Ваш Саша».



Не получив ответа на свою телеграмму, я отправил вторую следующего содержания:

«Москва ЦГЛ Волкову НКПС Расчет с работниками и отчет заканчиваю 13 ноября. Разрешите кратковременный заезд к семье в Ижевск по пути в Акмолинск согласно Вашей телеграммы 4827. Главбух оперативной группы Мороз».

12.11.1942

Наконец, начальник оперативной группы Белорусской железной дороги Кашлачев издает такой приказ:

«Приказ по оперативной группе Управления Белорусской железной дороги № 213 от 12.11.1942 по личному составу. На основании телеграммы ЦГЛ № 4827 от 06.11.1942 главного бухгалтера оперативной группы Белорусской железной дороги Мороза Александра Александровича откомандировать в распоряжение начальника Картранстопа на должность главного бухгалтера топливной инспекции. Начальник оперативной группы Бел. ж.д. Кашлачев».

Прихлопнул печать и вручил мне приказ. В трудовой книжке кадровик Ломакин, да и сам Кашлачев, с оговорками позачеркивали мои «перемещения» на Северо-Печорскую и Горьковскую железные дороги, оставив последнее – «Картранстопа» и, выдав мне разовый билет от 13.11.1942 сроком до 31.12.1942 № 053845 до Акмолинска через Челябинск, Курган, Петропавловск, пожали мне руку и пожелали добро-

го пути.

Оба они, Кашлачев и Ломакин, были неплохие люди, и воспоминания о них у меня самые положительные. Особенно сочувственно ко мне относился Кашлачев, и не его вина, что я, несмотря на страстное желание хоть на день попасть к семье, так и не попал, а покати́л на восток, все удаляясь от нее.

14.11.1942

Я, находясь еще в Абдулино, пишу жене Шу́ре последнее письмо отсюда:

«Так ничего и не вышло с поездкой к вам. Я послал в НКПС три телеграммы, но ответа не было. Если бы ты знала, Шура, мое настроение сейчас... Оно отвратительное. Тем более, что мне все время обещали, а напоследок подложили свинью. Теперь все, что приготовил вам, придется таскать с собой. И вам деньги не слал за весь октябрь. В общем, сбили меня с панталыку. Сегодня послал тебе, Шура, за ноябрь 300 рублей. Получил от Веры и Верочки письма, что ты в колхозе на восемь дней. Буду писать с дороги, а ты пиши на Акмолинск до востребования. Пиши чаще, скучно без писем. Все мои планы пошли насмарку. Что делать, время военное, и нужно делать то, что приказывают».

15.11.1942

На перегоне Уфа-Челябинск писал жене Шу́ре в Ижевск:

«Лежу на третьей полке, на остановках пишу это письмо. Вчера в четыре вечера выехал из Абдулино. До Уфы, до шести часов утра, стоял в проходе, было холодно. Потом занял третью полку, пишу лежа. Затопили – стало тепло. Бердяуш, где я делал пересадку к вам, к сожалению, проехали мимо. Много пережил я за время до отъезда – мой начальник обещал дать билет для заезда к вам, а когда пришла телеграмма из Акмолинска – не дал. Обидно, но что поделаешь. Неудобно и темно писать, пока на этом закончу. Бегу опустить это письмо».

16.11.1942

В Челябинске я написал письмо жене Шуре в Ижевск:

«Миновав Бердяуш, я окончательно смирился с тем, что не пришлось увидеться со своей семьей. В Челябинск приехал 16 ноября утром, уехать думаю 17 ноября в час ночи. Пишу на колене, неудобно. Недавно пообедал, померз, пока получил обед. Мороз небольшой, снега мало. Был в городе – Челябинск лучше Ижевска, да и, пожалуй, лучше нашего Гомеля. На вокзале требуют справку о санобработке. Пошел в баню. В бане холодно, никакой обработки там не оказалось, и я занялся «самообработкой». Постирал белье, кое-как высушил. Справку мне выдали. На вокзале достал плацкарту, так что спать буду. Еще раз сходил в город: до центра порядочно, но до часа ночи нужно убить время. Цены на базаре, как в Ижевске. Как питаюсь в дороге? Хлеба маловато, ем

сухую воблу. Напиши, Шура, что делать с маслом топленным, у меня его два пол-литра и один фунт отдельно, это все предназначено вам. Как долго оно может храниться? То же самое с чесноком. Я послал тебе за ноябрь 300 рублей, а за октябрь не выслал – на них купил масло и все впустую, раз не попало по назначению. Не теряй надежды, Шурочка, увидимся, но когда – не знаю. Будет и на нашей улице праздник, как сказал товарищ Сталин. Сколько накопила картошки за восемь дней? Так я толченки и помидоров не поел...».

17.11.1942

Письмо к жене Шуре в Ижевск пишу в поезде на перегоне Курган-Петропавловск:

«Смотрю в окно. Гор уже нет, Урал позади. Местность напоминает участки около Новобелицы или Низовки. Леса, как я по ним соскучился! А тут их вдоволь: и сосны, и березки, и ольха. Рядом мальчик четырех лет декламирует: «Спи, елочка, бай-бай», точь-в-точь как наш Борик. Девочка постарше его перебивает, он волнуется, жалуется маме – знакомая картина, напоминающая жизнь нашего семейства в Гомеле. В Петропавловск приехали в шесть вечера. Был поезд на Акмолинск, но из-за вещей я к кассе не пробился и билета не достал. Вещей два тяжелых тюка: валенки драные, два одеяла, простыни, штаны, галоши, туфли, портфель с бумагами, книжки, мыло, белье, подарки, что вам не довез. Сдал в камеру хранения, сижу на стуле, дремлю. Часов до 12 ночи

сидел в буфете, съел четыре супа с клецками за четыре рубля. До Акмолинска остался 471 км. Не знаю, что меня там ждет, и долго ли там пробуду».

18.11.1942

Прибыл в город Петропавловск. Город напоминает по своему построению Сновск, только гораздо обширнее по масштабам. Центр – небольшой кусочек, чем напоминает Ижевск. Пишу Шуре письмо на главпочте:

«...Руки и ноги померзли, шапку и рукавицы оставил в камере хранения. До центра идти далеко, побаливают ноги. Пройду по лучшей улице, и на вокзал. В восемь часов выеду, на месте буду 20 ноября, а может и 19-го».

19.11.1942

Итак, я прибыл на станцию Акмолинск, по-казахски «белая могила». По преданию здесь от снежной бури погиб караван. От вокзала до города проложена ветка 3 км, по которой периодически курсирует пригородный состав. Пригородным добираюсь до Управления Карагандинской железной дороги, в одной из комнат которого знакомлюсь со своим новым начальником Тимохиным Алексеем Алексеевичем и его заместителем Лаврищевым Иваном Филипповичем.

Как я узнал позже, Тимохин А.А. был эвакуирован из Орла, где он занимал пост начальника локомотивного депо г.

Орел. Он был на три года моложе меня, слегка заикался, с рыжинкой в волосах, вел себя просто и, как определилось позднее, был неплохим человеком. С его женой Софией Павловной и сыном Владимиром я встречался редко.

Лаврищев И.Ф. – седоватый мужчина лет шестидесяти, много курил, покашливал, часто беззлобно ругался. Эвакуировался он из Донбаса, кажется, из Ровеньки. Старик был добродушный, и впоследствии мы чуть ли не подружились: жили в одной комнате, имели общий огород и т. п.

После эвакуации из Гомеля наконец-то закончилась моя жизнь на колесах, и я попал в общежитие с крышей, твердо стоящее на земле. Город Акмолинск походил на большую деревню с широкими улицами. Дома с плоскими крышами были похожи на товарные вагоны, снятые с колес. Да и по размерам они не превышали кубатуры двадцати тонного железнодорожного вагона. Растительности мало – казахи не любят деревья. Говорили даже, что они уничтожают посадки молодых деревьев. Почти в центре стоит здание Управления Карагандинской железной дороги, а недалеко от центра течёт река Ишим, на берегу которой раскинулся городской парк.

20.11.1942

Вышел приказ о моем назначении:

«Приказ № 5 по топливной инспекции «Картранстопа».

На основании телеграфного распоряжения ЦГЛ т. Волкова из НКПС за № 4827 от 06.11.1942 зачислен на долж-

ность Главного бухгалтера «Картранстопа» Мороз Александр Александрович с 20 ноября 1942 года. Начальник топливной инспекции НКПС «Картранстоп» А.Тимохин».

Собственноручную подпись товарища Тимохина удостоверяет гербовая печать Управления Карагандинской железной дороги.

22.11.1942

Немного освоившись с новой для меня обстановкой, я пишу жене Шуре из Акмолинска в Ижевск:

«Приехал в Акмолинск 19 ноября. Работаю главбухом топливной инспекции при Управлении Карагандинской железной дороги. Временно ночую в общежитии, насчет постоянной квартиры пока ничего неизвестно. С квартирами неважно, трудной найти и дорого просят. На рынке цены немногим ниже, чем у вас, так что с моими деньгами на базаре делать нечего. Обедаю раз в день в столовой при Управлении по карточкам. Оклад 600 рублей, а после удержаний налогов, займа и квартиры останется не очень-то много. Уже месяц как не читал твоих писем. Пиши обо всем, как живете, только не ври. Загоняешь ли что-нибудь из барахла? Как с квартирой? Сколько выкопала картошки за восемь дней? Город неважный, даже тротуаров нет. Намного хуже Ижевска, хотя и областной. Что-то вроде Сновска, только побольше. Ходил по городу, был на почте, ездил на вокзал (это за 3 км от города), хотел найти Живова и его семью, но не на-

шел. Сейчас не холодно, снега мало, но рассказывают, что здесь бывают бураны, и люди держатся за веревки, чтобы не унесло. Я хожу в рваных валенках... Не помню, писал ли я тебе из Раевки, что был у семьи Бортникова. Когда заходил к ним, они все лежали – болели малярией. Жаловались на плохую жизнь, да и немудрено: они не работают, а только продают барахло на базаре. Живут в халупе. Сам Бортников теперь где-то на севере. Да, наделал дел Гитлер, много народа мучается... Пообедать мне удалось, хотя и выходной. Жду письма с нетерпением. Ваш Саша».

В этот же день, когда я описывал свое «приземление» на акмолинской земле жене Шуре, она писала мне первую открытку на Акмолинск, поливая ее слезами:

«Вчера из твоего письма узнала, что ты едешь в Акмолинск без заезда к нам. Такое разочарование, я же так ждала. Я столько плакала, читая твое письмо, что оно стало мокрым от слез. Пишу эту открытку, а слезы льются из глаз, какая я несчастная. Все думаю, что, уехав далеко, ты забудешь про нас. Мой дорогой Саша, если любишь меня, то пиши часто, я тоже буду писать часто. Пиши все мелочи жизни. Завтра напишу письмо, а сегодня слезы мешают. Крепко, крепко целую тебя, твоя Шура».

23.11.1942

Начальство предписало:



«НЖЧ-8 тов. Глазунову. Предоставьте одно место в общежитии вновь прибывшему главному бухгалтеру топливной инспекции «Картранстопа» Мороз Александру Александровичу». И следом резолюция: «Обязываю Вас предоставить одно постоянное место в общежитии вновь прибывшему главному бухгалтеру топливной инспекции. НКПС, подпись».

В общежитии мне дали место в комнате на четыре койки. Выдали пропуск № 77 для входа в здание общежития № 1 сроком до 31 декабря 1943 года. Итак, после многомесячного скитания по вагонам, я попал в жилье под крышей и на твердой земле. Общежитие было почти в центре. До управления, где была наша контора, а также до реки Ишим было близко.

24.11.1942

Свое письмо ко мне жена Шура начинает с сетования на судьбу, которая так коварно поступила, лишив нас встречи. Что она, Шура, приготовила мне подарки: теплые перчатки, расческу, табак, заказала в колхозе сухарей, круп, горох, мучки, договорилась о починке валенок и многое другое для хорошей встречи. В колхозе даже обещали зарезать поросенка, и вот, все планы рушились – я не заехал.

«...Завтра после ночной смены пойду в деревню к маме и Вере, расскажу про свое горе. Когда я увольнялась на восемь дней, то накопила картошки тринадцать пудов, мне под-

везли. Вера получила валенки в школе, а Борик через детский садик. Верины валенки мне тесноваты. На работу хожу в лаптях и летнем пиджаке, хотя на дворе холодно. Вера и Борик одеты и обуты, а сама – не очень. Получаю стахановский талон. Иногда приношу Борiku кашу или колбасу, а он говорит: «Какая ты хорошая, мама». Не верит, что ты не приедешь. Деньги, 300 рублей, и письма с дороги я получила. Живу в большой комнате, Вася – в спальне. Я топлю грубку (прим. – небольшая печь), и ему тепло. Дров у меня еще много. Нам можно с завода носить стружку, я принесла три мешка – тяжело, но что поделаешь – надо. Схожу в колхоз, тогда напишу, что у них там. Ну, Саша, не грусти, работай хорошо. В эти дни по радио хорошие известия, может скоро поедем на Родину. Я тоже буду лучше работать, чтоб скорей разбить врага. Целую тебя. Я, Вера и Борик».

26.11.1942

В своем письме к жене Шуре в Ижевск я кое в чем повторяюсь, например, что мой оклад 600 рублей, а с вычетами меньше, что за общежитие плачу 30 рублей в месяц. Обед около 5 рублей в день. На работе завожу все документы сначала. Радуюсь успехам Красной армии на сталинградском фронте – приближается час, когда мы сможем вернуться в родные края и зажить вместе.

«...Жду писем. Все еще никак не успокоюсь от неудавшегося свидания. Сейчас 10 часов вечера по-местному, семь

– по московскому. Жду известий, радио рядом. Я живу в комнате, где нас четыре человека. Светло, тепло, чисто. Все разошлись, после «известий» ложусь спать. На улице сыро, дождь, побаливают ноги. Посылаю фото – это снимали для удостоверения. Ты, Шура, тоже пришли свою – посмотрю, какая ты сейчас».

В этот же день я пишу брату Шуру:

«Здоров, Шурик! Я очутился в Казахстане вместо Печеры, как намечалось, попал в Акмолинск. Моя Шура сообщила, что ты прислал ей 250 рублей – большое тебе спасибо за внимание к моей семье. Работаю главбухом топливной инспекции, получаю 600 рублей. Живу в общежитии, питаюсь в столовой так себе – ни хорошо, ни плохо. На базаре с моими деньгами покупать нечего – все дорого. Своим посылаю 300 рублей в месяц. В Абдулино мне обещали дать возможность заехать к своим в Ижевск, а потом отказали. Было очень обидно, но что поделаешь. Приготовил им кое-какие подарки, и все напрасно. Как живешь, воюешь? Поздравляю тебя с победой Красной армии под Сталинградом! Скорей, Шурик, гоните паразитов с нашей земли русской, чтобы скорее был праздник на нашей улице, как говорил тов. Сталин. (прим – имеется в виду обращение Сталина ко всему советскому народу: «Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной армии. Будет и на нашей улице праздник»). Сегодня пишу батьке и Ивану. Не узнал ли, где Лео-

нид и Николай? В Воронеже я их адресов не добился. Сообщаю адрес бабки: г. Бугульма, ул. 14-ти Павших, д. 43, Ольге Афанасьевой для Гаврилова В.А. Адрес Ивана: ПТС 694, часть 701, Гаврилову Ивану Владимировичу. Пиши, жду с нетерпением».

Это письмо вместе с карточками прислала обратно медсестра после гибели Шуры в 1943 году.

29.11.1942

Пишу жене Шуре в Ижевск из Акмолинска о своих буднях, о том, как, идя с работы, зашел в баню, помылся, а в общежитии переоделся в чистое белье. Баня хорошая, но под конец не было горячей воды.

«...Вчера стоял в очереди за карточками для нашей организации и не достал – много людей. Полмесяца нет от тебя писем. Пиши, Шурочка, и Верочка пусть мне пишет. Досадно, что загнали меня сюда, всей душой болею за вас, а помочь ничем не могу. Теперь буду на 50 рублей меньше получать, чем до этого. Дороговизна, на базаре бываю редко. Здесь живет много украинцев. С квартирами трудно. Не знаю, стоит ли добиваться казенной квартиры с тем, чтобы забрать вас сюда. Как твое мнение, Шура? Я не знаю, насколько это мое место постоянно – время военное, меня могут послать куда-либо в другое место, а вы останетесь в чужом городе одни. Узнай, Шура, уволят ли тебя с завода, если бы ты захотела переехать сюда? Напиши мне свое мнение насчет этого. Если

же вам очень трудно жить, то пиши, и я буду стараться найти семейную квартиру. Поздравляю тебя, Шура, с победой Красной армии с наступлением, кроме Сталинграда, в районе Ржева и Великих Лук. Карточки получил в картбюро для инспекции. Заглянул на базар, на почту – писем нет, съездил на вокзал, где пообедал в буфете за 10 рублей довольно сытно, с собой взял кусок ливерной колбасы. Я уже полноправный житель Акмолинска, вчера прописался. Привет нашим колхозникам передавай».

30.11.1942

А пока я высказывал Шуре свои сомнения насчет постоянства моей теперешней службы в Акмолинске, в Москве в НКПС готовили мне еще один неприятный сюрприз в виде телеграммы, которую привожу полностью:

«Мск 30.11.1942 19–14 НКПС 28917-19, Акмолинск КРГ Картранстоп Тимохин. Временно назначается бухгалтером топливной инспекции НГПС в Карагандинском угольном бассейне товарищ Мороз А.А. № 361012 ЦТЧ Краснобаев».

Подписал телеграмму Краснобаев Нил Иванович, наш начальник Белорусской железной дороги, руководивший теперь ЦТЧ НКПС.

Во-первых, в телеграмме подчеркивалось, что назначаюсь временно, а во-вторых, просто бухгалтером, а не главным бухгалтером, как было объявлено в телеграмме ЦГЛ Волкова и в приказе начальника топливной инспекции Тимохина. И

вот эти, казалось бы, мелочные расхождения впоследствии лишили меня получения моих 800 граммов хлеба и прочих продуктов по карточкам, что испортило немало крови.

В этот же день мой брат Шура писал моей семье в Ижевск.

«Здравствуйте, дорогие Шура и племяннички Верочка и Борик.

Разрешите передать свой фронтовой командирский привет. Дорогие родные! Я жив и здоров, чего и вам желаю. Интересно, где сейчас Саша, отец, получили ли вы мои деньги? Дорогая Шура, от Воронежа я уже давно уехал, немного отдохнули, пополнили свои силы и сейчас готовимся дальше громить по-новому боевому гадов-гитлеровцев. Нахожусь на самом действующем фронте. Сталинград скоро весь будет нашим. Думаю, что скоро будем держать путь к новым победам. Доберемся еще до своих гнездышек на милой Украине, к своей матери и сестре Ане и ее пацанам, отомстим сволочам за нашу русскую кровь. Передавайте привет дорогому и любимому отцу, крепкий семейный поцелуй, а также дорогому брату Саше. Целую всех вас. Ваш Шура».

01.12.1942

В письме ко мне в Акмолинск жена Шура пишет – рада, что хорошо доехал. Спрашивает, какие карточки мне дали, какие цены на рынке? Пишет, что у них есть хлеб, мука, квашеная капуста, пол-литра постного масла, покупает молоко.

С едой хорошо. В выходной была в деревне, там зарезали поросенка, угощали ее пирогами, блинами, живут хорошо. От них принесла крупы, муки, молока, сметаны, пирогов. Читая мое письмо, плакали, что мне не удалось приехать. Просит, чтобы я благодарил Веру и бабушку за помощь – если бы не они, то Шуре с детьми было бы тяжело. Дров еще много.

«...Целую, твоя Шура».

А на обороте листа такое, почти без ошибок, письмо:

«Здравствуй, мой дорогой папа! Получили твое письмо из Акмолинска и от дедушки из Бугульмы. Я недавно пришла из школы. Сейчас мама спит, Борик в садике. Папа, сегодня у нас на дворе холодно, сильный ветер. Папа, напиши, сколько получил от меня писем. Мама недавно ездила в деревню, привезла молока и кусочек мяса, хлеба. У нас скоро три часа. А маму надо будить к трем пятнадцати, ей к пол пятого на работу. Мама сегодня пекла блины. В комнате у нас тепло. У нас много снега, можно кататься на санях и лыжах. У нас сегодня в школе была физкультура, я упала 12 раз. Физкультура была на дворе. Я уже пионерка, с пятого декабря будем носить две звездочки и галстук. Папа, мне уже больше нечего писать. Ну, до свидания, мой дорогой папа. Приезжай к нам. Мороз Вера Александровна».

Акмолинским военкоматом НКО СССР мне был выдан следующий документ:

«Удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации»

№ 532. Действительно только при предъявлении военного билета. Выдано военнообязанному Мороз Александру Александровичу, работающему в топливной инспекции НКПС в должности главного бухгалтера в том, что ему на основании Постановления ГОКО (прим. – Государственная областная казенная организация), СНК СССР (прим. – Совет народных комиссаров), Комиссии при СНК СССР по отсрочкам от 04.11.1942 за № 6737 и № 9289, предоставлена отсрочка от призыва по мобилизации до особого распоряжения. Учетные признаки: год рождения – 1901, группа учета – НКО, состав – рядовой».

Подписал Военный комиссар, проставлена печать. Срок действия удостоверения по отсрочке продлен.

Получил я и временный пропуск № 54 на право входа в здание Управления Карагандинской железной дороги.

02.12.1942

В письме ко мне жена Шура отчитывается, как она провела день на работе и дома. Беспокоится, как я живу один. Сообщает, что они не голодают. Скучает. Предлагает не высылать одну получку, иначе вернет деньги. Работает на станке, из-за увольнений на восемь дней аванса получила мало – 140 рублей. Стахановка, получает дополнительный талон на обед. С первого декабря за Борика берут в детском саду талонов на хлеб на 200 граммов в день и всю карточку на жиры, крупу, мясо, сахар.



«...Как писала раньше, приобрела Вере валенки за 44 рубля, Борику за 23 рубля – это по справке из школы и детского садика...».

Снова упоминает о своих лаптях, хоть и не красиво, но тепло.

«...Мама из старого пошила мне жакет, а Верочке пальто. С квартиры меня хотят выжить, Вася говорит: «Паразиты, скоро ли мы от вас избавимся», Я отвечаю: «Ругай немца», а он: «Зачем в деревню ходишь-грабишь». Я отвечаю, что ходила к матери и сестре, и ходить буду. Хозяйка бурчит: не бери ведра, не бери сковороды – свое нужно иметь. Их зло берет, что дети обуты, одеты и накормлены, а не голодны и раздеты. Плевать я на них хотела и квартиру не ищу. У меня ни кровати, ни стола, да и дрова перевозить надо. Мы не такие худые, как ты нас представляешь, мы такие, как были во время свидания с тобой. Как я писала, картошки накопила 13 пудов, из них четыре уже привезла, а остальные девять подвезет Вера. Батька из Бугульмы пишет, просит, если ты увидишь Кулика, то попроси его, чтобы он забрал батьку в свой поезд. У нас много снега, мороз».

03.12.1942

И на следующий день Шура пишет все о том же:

«Вася пристаёт, чтобы искала квартиру и не ходила в деревню к матери и сестре. Я отвечаю, что нет таких законов. Что поделаешь с дураком. Хоть бы скорее конец войне, да

избавиться от них. Вася еще спрашивает, почему я не работала в Гомеле, а все ждала от них помощи? Пойду куплю кусок мыла, нужно стирать белье. Шурик выслал отцу 461 рубль, просит, чтобы я переслала. Завтра, может, пошлю. У нас большие морозы».

04.12.1942

В день, когда я получил от жены Шуры ее первую открытку в Акмалинске, которую она отправила 22 ноября, я писал ей, что сам виноват в том, что широко афишировал свой приезд к ним. Нужно было молчать, а потом явиться неожиданно. Это наука на будущее, теперь я поуспокоился.

«...Напрасно, Шура, пишешь, что забуду вас. Я только и живу надеждой, когда наступит счастливый момент, и мы проживем вместе. Беспokoюсь о вас, не голодаете ли?».

Пишу о том, что, получая на 50 рублей меньше, ничем не могу помочь, кроме грошей.

«...Сейчас сижу один, время около десяти по-местному, свет тусклый, за дверью радио заливается. В торбе обнаружил негодный чеснок, оставшиеся головки срочно пожираю. Сухая рыба, предназначенная вам, тоже изменяется, я ее ем. Жду консультации, что делать с топленным маслом, которое вез вам? У нас тепло, снега почти нет. Хожу в ботинках, валенки рваные, одежда ветшает. Обедаю в столовой, пообедав, еще больше хочется есть. Очень детская посуда в столовой. Получили ли мою фотографию? Последние дни болят

веки и голова, надеюсь, пройдет. Жду подробного письма. Я послал письма Вере и Ивану, но ответа пока нет».

05.12.1942

Получив от жены Шуры сразу два письма, правда, одно было от Верочки, но не менее желанное, я накатал в ответ объемное свое – снова заверяю Шуру, что не забуду их, что все мысли только о них. Радуюсь, что выкопала 13 пудов картошки, что дети в валенках и не голодают.

«...Прочитав, какую встречу ты мне готовила, у меня слюнки потекли. Со жратвой скуповато, и твое упоминание о капусте, помидорах, поросятине увеличивает мой и без того неплохой аппетит...».

6 декабря я продолжил письмо:

«Выходной. Встав, послушал радио, побрился, починил ботинки, штаны. В столовке взял только суп. Затем доехал до вокзала, это в трех километрах, и тут, в ожидании поезда, сидел и писал это письмо, чтобы по прибытии поезда под маркой пассажира попасть в буфет и пообедать. На вокзале чисто, тепло, людей немного. Купил две порции колбасы-кровянки за шесть рублей на ужин – немного горьковатая, но не беда. Смешно: ты купила мне перчатки за 200 рублей, а я – тебе (правда, дешевле), а обменяться не можем. Но у меня есть рукавицы, пошитые твоей мамой, и перчатки мне ни к чему. Пишешь, что мерзнешь, а почему не перешьшь мою шинель? Напиши, все также у вас воняет око-

ло завода или уже устранили этот недостаток? В буфете пообедал на восемь рублей, с вокзала пришел пешком. Зашел в баню, но там много людей – отложил. Я уже писал, что в вагоне у меня порядком развелись вши, теперь в общежитии их нет, но клопы покусывают. Постельное у нас – две простыни и наволочка, меняют раз в десять дней. Беда, что белье негде помыть – не лето. Попробую в бане, но тогда сушить негде. Чеснок доедаю. Запасов никаких нет, плита есть, но варить нечего. Правда, есть один килограмм соли, да масло, что приготовил вам. Верочке и в колхоз отвечу. Пиши, от ваших писем мне веселее жить».

Пятого же декабря жена Шура в своем письме описывает, как провела вчерашний выходной – обычный день хорошей хозяйки.

«...На дворе хорошо. Болит голова, не знаю, как буду работать... И опять, как почти в каждом письме, скучаю, когда же мы будем опять вместе».

06.12.1942

Как бы продолжая, жена Шура снова пишет:

«Так болела голова – чуть доработала, пришла ночью, спала до семи утра. Можно бы еще поспать, но Борик не дал, стал просить кушать – встала, накормила. На работу идти и до часу ночи работать, не знаю, как я только живу. Иногда чувствую себя плохо, но потом проходит. У нас было со-

кращение, идет мобилизация на фронт. Из нашего цеха (зачеркнуто цензурой) многие девушки идут туда добровольно. Привет таким девушкам! Из нашей бригады пять девушек подали заявление добровольцами на фронт. Пиши о своей жизни все и подробно. Борик собирается чистить снег. Вера пошла прикреплять карточки, но она стала страшно плохая, не слушается. Твоя Шура и дети».

13.12.1942

В своем письме к жене в Ижевск жалуясь, что нет от них писем, да и сам неделю не писал. Описываю мелкие житейские новости. В баню хожу каждую неделю.

14.12.1942

Письмо брата Шуры из Орска моей семье в Ижевск:

«Здравствуйте, дорогие Шура и племянники Вера и Боря!

Передаю вам пламенный боевой командирский привет. Сейчас я нахожусь в городе Орске, поэтому письма, которые вы мне пишете, я не получаю, но, надеюсь, что мне их перешлют. И все же за эти четыре месяца я ничего не знаю про отца и Сашу. Мое здоровье хорошее, скоро буду сам писать письма, тогда и напишу все подробнее. Привет Саше, отцу и всем родным. Ваш Александр».

Эту открытку писал друг Шуры Александр.

16.12.1942

Отвечаю жене Шуры в Ижевск:

«Сообщаю цены в Акмолинске: картошка 25 рублей килограмм, молоко 50 рублей литр, масло 700 рублей за килограмм (но трудно достать), пшеница 500 рублей пуд, мука 700 рублей пуд. С моими деньгами на базаре делать нечего. Рад, что вы не голодаете. Пока, в этом месяце, получаю хлеба по 800 граммов, обед – супы, на второе уже нет талонов. Вечером хлеб с кипятком. Жрать, по правде сказать, хочется в любой момент. На дворе сильный ветер, но тепло. Поздравляю Верочку, пионерку. Скоро и Борик будет пионером. В газете было шестого или седьмого декабря, что земельные участки закрепляются на 1943-й год, так что тебе должны закрепить тот, что был в этом году. Поклон колхозникам».

17.12.1942

Письмо жены Шуры из Ижевска моему брату Шурику:  
«Здравствуй, дорогой Шурик!

Горячий тебе привет. Вчера получили от тебя печальное письмо, что ты ранен. Я так горько плакала, Верочка тоже, она говорит: «Бедный дядя Шура». Пиши, как себя чувствуешь, серьезная ли рана и когда ранило? Почему не писал, когда ранило? Желая скорее поправиться и здоровым вернуться на фронт бить проклятого Гитлера, чтобы мы вернулись в родные края. Я думаю, мы еще увидимся с твоей мамой. Я работаю на заводе, часто по 12 часов, да и дома уйма дел, отдыхаю мало. На работе – стахановка. Дома не со-

всем хорошо. Вера моя две недели болеет: болит голова, горло, а сейчас уши (плохо слышит). Борик здоров, бегают в садик. За деньги 250 рублей, полученные от тебя, я очень благодарю, об их получении писала тебе ранее. На днях получила 461 рубль, которые ты шлешь отцу. Как только получу от него постоянный адрес, сразу перешлю деньги ему. Саша мой из Абдулино уехал в Акмолинск, главпочтамт до востребования. Саша собирался заехать к нам, но ему не удалось: подвело начальство. Я многое тогда пережила от несостоявшейся встречи, к которой готовилась. Что поделаешь, война. Пиши отцу по адресу: г. Бугульма, ул. 14 Павших, дом. № 43, Афанасьевой Ольге для Гаврилова, он очень просит. В Акмолинске ваш Иван был в Красной армии, теперь там Саша. Завтра думаю сходить к своим в деревню. Извини, что плохо пишу – свет плохой. Дорогой Шурик, просись к нам в Ижевск в лазарет. Я бы могла тебя проведать, это такое счастье было бы для меня. К нам много раненых привозят, и ты бы мог сказать, что у тебя в Ижевске есть родные. Крепко все тебя целуем».

Это письмо вернулось обратно Шуре в Ижевск.

20.12.1942

Написал свое 42-е письмо жене Шуре в Ижевск из Акмолинска в надежде, что оно дойдет к Новому году:

«Здравствуй, Шура дорогая,

Славная жена моя!  
Шлю из угольного края  
Свой привет горячий я.

Пишешь ты, что вас забуду,  
Что заехал далеко...  
Не забуду, любить буду,  
Вас забыть мне нелегко.

Ты, родная, не печалься,  
Что в разлуке мы теперь,  
На судьбу свою не жалься,  
Это временно, поверь.

Временна разлука наша,  
Как и немцы на Руси.  
Все невзгоды, моя Саша,  
Ты безропотно носи.

Пишешь, в лапти ты обута,  
Ходишь в летнем пиджаке,  
Да, видать, что зиму-люту  
Ты встречаешь налегке!

Чем помочь тебе, родная?  
Эх, ничем я не могу!  
Посочувствовать могу я,  
Да поохать помогу.



Пишешь, что глупцы смеются,  
И с лаптей, и с пиджака.  
Богатеи зазнаются —  
Смотрят как-то свысока.

Говоришь, смеются эти,  
Не выдавшие беды,  
У кого забиты клетки,  
Да не выпросишь воды.

Пусть смеются, ясно – глупы,  
Да душа у них низка,  
Коль насупивши тулупы  
Просмехают голяка.

Будет время, непременно  
Посмеемся также мы,  
Вспомним лапти, вспомним время,  
Время грозное войны.

Вспомним бомбы и тревоги,  
Ночи летние без сна,  
Будут в прошлом все тревоги,  
Будет и для нас весна.

Мы припомним все сначала,  
Что с собой несла война,  
Вспомним вместе всем кагалом (прим. – кагал –  
еврейское собрание народа, сход)

С чаркой белого вина!

Ты – стахановка в заводе,  
Это радостно читать!  
Знаю, не в твоей природе  
По работе отставать!

И тебе почет и слава!  
Как и множеству подруг.  
Я тобой доволен, право,  
Я тобой горжусь, мой друг!

Ты работаешь и деток  
Смотришь, холишь, как цветы,  
И сама хоть не одета,  
Зато их одела ты.

В дет. садок сыночек Боря  
Ходит сыт, обут, одет,  
С ним теперь немного горя —  
Ведь ему уже пять лет!

Парень Борик наш серьезный,  
Ну, и надо полагать,  
Что он скоро, точно взрослый,  
Будет маме помогать.

Вера, доченька, дежурит,  
Сон твой чутко караулит,

И сама хоть глазки жмурит,  
Но на смену точно будит!

Вера учится отлично,  
Это точно знаю я,  
Мне о том писала лично,  
В общем, радует меня.

Передай приветы нашим  
В Средне-Постольский совет.  
Мой поклон твоей мамаше,  
Вере с Эдиком привет!

Говорю я им спасибо,  
Добрым родичам твоим,  
Жить богато, да счастливо  
Много лет желаю им!

Проявили к нам участие  
С бескорыстной душой,  
Помогли они в несчастье  
Очень много нам с тобой.

Мы у них в долгу, родная,  
В неоплаченному долгу.  
Не придумаю, не знаю,  
Оплатить чем я смогу?

Ну, пока. Писать кончаю,

Всех целую горячо,  
С Новым Годом поздравляю,  
И целую раз еще!»

Хотя это поздравление я послал заранее, оно пришло Шу-ре с опозданием, а именно 9 января 1943 года.

21.12.1942

Свое письмо к жене Шуре я начал со слов о письмах, полученных и отправленных. В среднем письмо из Акмолинска в Ижевск идет 12 дней, а из Абдулино шло 6 дней.

Пишу о еде, кровяной колбасе, которая скоро портится.

«...Вчера послал письма тебе, в колхоз и Верочке... В этот день был мороз минут 30 – надел шапку и драные валенки. Недавно была телеграмма, что я назначен сюда временно. Как долго здесь пробуду – не знаю. Раньше я тебе писал, что, может, заберу вас сюда. А теперь считаю, что этого делать не следует. Меня могут опять куда-то направить, а вы останетесь одни среди чужих. Как видно, Шура, придется тебе и это лето 1943 года быть в Ижевске. Готовь картошку на посев, землю тебе дадут по постановлению прошлогоднюю. Пишешь, что Василь придирается за квартиру, ну, это понятно, а то, что за хождение к твоим на деревню – это дико. Что пишут Шурик и отчим? Вышли Шуркину фотокарточку и, если есть, свою. По сводкам дела на фронте неплохие. Деньги за декабрь еще не получил».

22.12.1942

В открытке жена Шура пишет:

«Поздравляю тебя с Новым Годом и желаю, чтобы в Новом Году нам жить вместе. Спасибо за письма, завтра отвечу, нет времени писать».

23.12.194

В письме, которое жена Шура начала писать еще 17 декабря, она описывает свои новости за несколько дней:

«Пришла с работы, голова болит, большой мороз. Хотела постирать, но лягу – устала. Отработала смену, дома все приготовила и ушла в деревню, по дороге удалось подъехать. Меня ждали, хорошо покормили, жила у них весь день. Из одеяла пошили мне штаны. Вымылась. Утром 19 декабря ушла рано, километров 12 ехала, домой пришла в два часа дня. На работу нужно к половине пятого. Из колхоза принесла: молока, хлеба, два пирога, 3 кг муки, круп 1 кг, мясо и кусочек баранины, баночку сметаны, кусок мыла. Ведро Вера достала в колхозе для меня, так как хозяйка своего не дает. Да, как-то до этого Вера была у нас и тоже привозила кое-что. На заводе работаю по 12 часов, тяжело. Нет времени для отдыха, и писать тебе письма перестала. На базаре купила один фунт масла за 300 рублей, дешево попало. Рубила дрова и ушибла руку, придется оставить стирку белья. Вера уже выздоровела, завтра пойдет в школу. Борик здоров. Я чув-

ствую себя хорошо. На дворе много снега, холодно. Получила твои письма от 29 ноября и 4 декабря. Очень хорошо, что ты ходишь в баню. Я разделяю твое мнение, что ехать нам к тебе не надо. Положение твое неустойчивое, ты можешь попасть в армию и так далее. А нам что потом делать? Придется мне тут ждать конца войны. Я просила – одну получку оставь себе, у нас есть картошка и хлеб, а тебе все надо покупать. Твоя шинель лежит, на перешивку из нее пальто нет ваты. Мама пошила мне жакет из старого пальто, я одета. Работаю на старом месте, гонять перестали. Зарплата за ноябрь 336 рублей, но я восемь дней не работала, а пять болела. В каждый большой выходной бываю в колхозе (через три недели). Саша, купи ведро картошки и масло, что вез нам, расходуй. Обедай в буфете, береги здоровье. На днях получила от Шурика письмо, что он ранен под Сталинградом в правое плечо, но рана не тяжелая. Вот бедняжка, жаль парня. Что поделаешь – война. Его адрес: Пензенская область, Городищенский район, Фабричное п/о 294, лейтенанту Гаврилову А.В. Привет от него, просит писать. Вот видишь, написала письмо за несколько дней. Твои дети и жена Шура».

У меня сохранилось два любопытных документа конца 1942 года.

Первый – это ордер № 4234, выданный металлургическим заводом г. Ижевска тов. Мороз на получение «детский воротник» в магазине № 31.

Второй – заборная книжка № 17807, выданная заводом тов. Мороз на второе полугодие 1942 года в магазин ОРС № 22 (прим. – отдел рабочего снабжения). В книжке 60 талонов, и они не тронуты.

25.12.1942

Жена Шура в открытке пишет:

«Пошла на работу, болело горло, и, после двух часов работы, в «скорой помощи» дали освобождение – температура 38,5, ангина. Спала плохо, завтра пойду к врачу на Советскую. Вчера начальник цеха вызвал меня и дал ордер на воротник, я не хотела брать, могу обойтись без него. А вот обувь нужна. Наш мастер просил старшего мастера, в чем я нуждаюсь, и он пообещал дать обувь. Пока хожу в лаптях. Трудно кушать – болит горло, а есть хочется. С едой у нас пока хорошо, а вот дрова пилить не с кем».

27.12.1942

Шура снова пишет мне открытку в Акмолинск, в которой сообщает, что все еще болеет ангиной: «Болит все тело, уши и губы. Дали больничный с 24 по 29 декабря. От врача чуть дошла домой. Устала, сидя в длинной очереди...».

Шура просит писать чаще о себе. От Шурика получила открытку, которую писал его товарищ под диктовку, он уже в Орске, просит писать на адрес: г. Орск, 2-ое отделение, 13 палата, Гаврилову А.В. Передает привет.

В эти дни, когда Шура болеет, я пишу ей из Акмолинска, еще не зная о ее болезни. Рассказываю о своих обычных мелочах, о пропавшем чесноке, о рыбе и топленом масле в бутылке. Рад, что они не голодают, а вот с квартирой беда...

«...Но зимой не перебирайся. Вообще не везет нам на квартиры: в Гомеле Шляйцевы были, а тут эти – хуже Шляйцевых. У меня выходной: был в бане, помылся сам и белье помыл. Позанимался в Управлении и поехал на вокзал, но мне не повезло – купил за три рубля одну порцию кровянки, правда, съел три супа. Туда шел пешком около четырех километров, мороз, побаливают ноги, но не лечу – от лечебных процедур болит сердце... Ты, Шура, наверно, смеешься, что часто хожу в баню. Раньше ты меня выпроваживала с большим криком. Но тут баня под боком, и постельное меняют через 10 дней – это, наверное, действует. Я как бухгалтер привык всему вести учет и для этого нумерую письма, да и ты свои, а вот добиться от тебя, какие мои номера ты получила и когда, я никак не могу. А Василь не подбирает мои письма? При его «доброжелательстве» этого можно ожидать. Получила ли мое письмо № 42? И фотокарточку в письме № 36? Пойду сушить кальсоны. Привет колхозницам. Целую всех вас крепко».

28.12.1942

В своем письме № 14 жена Шура обижается, что пишу



коротко – нечего читать. Говорит, что цены в Акмолниске дешевле, чем в Ижевске.

«...Если, Саша, любишь меня хоть капельку, то денег за декабрь мне не высылай. Мы сыты, и ты подумай сам о себе. Я даже боюсь писать тебе о еде, думаю, что, читая, ты думаешь: вот черт забери, они лучше меня питаются. Пишу тебе от чистой души: будешь слать мне деньги – верну их обратно, а будешь продолжать, то перестану писать письма. Ответь на мой совет и помни, что я живу возле своих и мне помогают».

Далее пишет, что у нее запас открыток, но нет бумаги. О колхозниках, которые сожалеют, что я не заехал.

«Я еще больна ангиной: все болит, нет аппетита».

Далее описывает процесс болезни с ее начала, о чем уже писала раньше.

«Ой, Саша, как тяжело болеть, когда некому поухаживать, а еще и за детьми смотреть. Лучше работать, чем болеть, я и так недавно болела гриппом. А тут еще света нет, горит лампа без стекла. Дети спят, а я не могу – болит голова и горло. Рассказываю о твоём сынке, Саша. Очень уж характер плохой, как сказал – дай что-нибудь, то все бросай и обслуживай его. Ночью, когда слышит, что пришла с работы: «хочу хлеба», или в шесть утра проснется и просит есть. Совсем нет терпения. Мне спать хочется, а он свое: «хочу есть». Или поет песни, а хозяйка злится – почему шумит? То Веру ногой заденет, та в плач, а хозяйка на меня – ты виновата. Если что дам, так Вера кричит, что ей меньше, а Борика больше.

Борик же кричит, что Вере лучше. Балуются, не слушаются. Вера Борика то толкнет, то ущипнет, то как-нибудь обидит... слезы, крик. Я уже Борика пугаю, что папа купит новую маму, а старую выгонит на улицу. Он этого боится, не хочет новой мамы, пусть будет старая. Вот какой сын жулик! Сегодня Борик пошел в садик сам, Вера – в школу. Болит горло, голова, слабость, спать не могу. Плохо придется встречать Новый Год».

Сохранилась карточка на промтовары на апрель-декабрь 1942 года, выданная мне в Акмолинске. В ней из 49 талонов только два реализованы, а 47 свидетельствую о плохом снабжении товарами.

В подтверждение телеграммы Краснобаева о временном назначении бухгалтером был издан приказ:

«Приказ № 154 от 28.12.1942 по топливно-теплотехническому Управлению Центрального Управления Паровозного хозяйства НКПС. Назначить тов. Мороз Александра Александровича бухгалтером Топливной инспекции НКПС в Карагандинском угольном бассейне».

Проставлена гербовая печать, подписал заместитель начальника Управления ЦТ НКПС Чикунов.

Здесь слово «временно» отсутствует. Начальство снова что-то перерешило.

30.12.1942

В своей открытке № 46 я пишу жене Шуре, что никак не добьюсь от нее, какие номера моих писем она получила, в том числе и № 42 – поздравление с Новым Годом.

«...Сейчас ложусь спать, хотя могу пойти бесплатно на оперетту. В общем зале Управления ставят приезжие артисты. Что-то нет настроения. Пиши, как встретила Новый Год».

31.12.1942

Жена Шура сообщает мне, что в болезни ее большой перелом – прорвал большой нарыв, стало хорошо и «я, после бессонных ночей, хорошо поспала. Сейчас сижу в очереди к врачу и пишу тебе. Температуры нет, но чувствую себя не совсем хорошо. Завтра напишу подробно. Получила письмо о том, что ты назначен временно. А потом куда? ... Вот, была у врача – дала бюллетень на два дня, пойду к врачу второго января».

Мой примерный отчет о деньгах, посланных Шуре в 1942 году:

Дата

№ квитанции

Откуда

Куда

Сумма

06.01.1942

167

Уфа

Ижевск

150 руб.

27.01.1942

700

Уфа

Ижевск

140 руб.

12.02.1942

86

Тамбов

Ижевск

140 руб.

22.02.1942

61

Воронеж

Ижевск

140 руб.

12.03.1942

1015

Воронеж

Ижевск

140 руб.

20.03.1942

835

Воронеж

Ижевск

150 руб.

05.04.1942

446

Воронеж

Ижевск

160 руб.

25.04.1942

1670

Воронеж

Ижевск

144 руб.

07.05.1942

446

Воронеж  
Ижевск  
160 руб.

19.05.1942  
2653

Воронеж  
Ижевск  
145 руб.

09.06.1942  
1159

Воронеж  
Ижевск  
150 руб.

19.06.1942  
2457

Воронеж  
Ижевск  
147 руб.

01.07.1942  
15

Воронеж  
Ижевск

147 руб.

Отвез лично

300 руб.

14.08.1942

1221

Абдулино

Ижевск

150 руб.

03.09.1942

442

Абдулино

Ижевск

150 руб.

15.09.1942

756

Абдулино

Ижевск

150 руб.

01.10.1942

216

Абдулино

Ижевск  
150 руб.

14.11.1942  
657

Абдулино  
Ижевск  
300 руб.

01.12.1942  
120

Акмолинск  
Ижевск  
150 руб.

15.12.1942  
19

Акмолинск  
Ижевск  
125 руб.

## **1943 год**

01.01.1943

«С Новым Годом, Шура, Вера и Боря!» – так начал я свою открытку.



«...Желаю всего наилучшего, и чтобы в этом году зажить нам вместе. Как встречал? Без пятнадцати двенадцать проснулся, прослушал речь М.И.Калинина и опять заснул. На новогодний вечер билета не достал. Сегодня написал открытки: в колхоз, Ивану, Шурику и отчиму. Сейчас иду на вокзал насчет обеда. Целую всех оптом и в розницу».

Моя Шура в этот день строчила мне объемистое письмо, начав его с поздравления с Новым Годом – она сообщает, что чувствует себя хорошо. Далее описывает, как затопила грубу, покормила детей, как они вспоминали меня, елку в мирное время, вокруг которой танцевали. Потом Борик пошел во двор гулять, а Вера по воду, Шура сварила суп, и прочие хозяйственные дела. Сообщила, что получила мое письмо № 43, а № 42 – нет. Одобряет мои поездки на вокзал в буфет и не одобряет высылку ей денег – жалуется, что снова выслал 150 рублей.

«...Напиши, сколько берут за ремонт валенок? Карточку твою получила, вид у тебя не совсем плохой. Пишешь, что ты там временно, а куда пошлют – не узнавал? У меня фото нет, найду время – снимусь и вышлю. Я уже писала, что Шурик ранен, лежит в госпитале в Орске. Иван прислал открытку с фронта, просит твой адрес. Вера из колхоза ему ответила. Ты пишешь, что мне лето придется жить в Ижевске, а потом пишешь, что зиму – я с этим не совсем согласна. Насчет посадки весной – я и без тебя знаю, была бы картош-

ка. Не болей, будь бодрым. Это я все болею, но я женщина: у меня дети, работа на заводе и дома неприятности квартирные. Не с кем поговорить, только когда в деревне бываю, но это нечасто...».

Шура снова выражает надежду на совместную жизнь в Гомеле, о свидании с мамой и Аней, о том, что три ночи я ей снился, и о прочих лирических переживаниях.

«...Получила 500 граммов сахара, так что у меня праздник – чай с сахаром. Пишу тебе письмо, а дети пристают – мешают. Не мирят – то одному больше, то другому меньше, то одному пригарки, а другому нет. Сдам письмо, напилю дров. Завтра, если врач выпишет, работаю с часу ночи. Борик ест – за ушами трещит, а Вера нюни разводит – палец порезала, я же смеюсь: «Нужно вызывать скорую помощь».

03.01.1943

Жена Шура пишет мне открытку в Акмолинск:

«Была вчера у врача – подписала бюллетень до пятого января. Решила сходить в деревню, кое о чем поговорить. У Веры моей каникулы до 11 января. Мне шестого января нужно идти к профессору, так что можно до колхоза прогуляться. Погода хорошая, может кто подвезет. Чувствую себя хорошо. Вчера купила 500 граммов мяса за 150 рублей, сварю им супа и поджарю по кусочку, а завтра Вера сама сварит суп».

04.01.1943

Я во второй открытке к жене Шуре спрашиваю, получила ли она от меня деньги и мое письмо № 42?

«...Хлеба на январь получаю по 800 граммов, есть картошка, но варить некогда. Сейчас у меня много работы, конец года – сама знаешь. Шлю открытку Верочке».

07.01.1943

Пишу жене Шуре открытку № 3:

«Что нового? Дал мне мой начальник один пуд картошки, но она, видно, мороженая: когда поешь, во рту кисло. Но что делать, спасибо и за это. Давал ему деньги, он не взял. Он ее себе достал по одному рублю за килограмм, а на базаре по 25 рублей за кг продают. Мне нужно было заплатить за нее 20 рублей, но он не взял, говорит: «Ты носил ее, сушил и т. д., поэтому даю тебе бесплатно». Хочу купить себе 1 кг пшеницы за 40 рублей, но такого малого веса не продают, только пудами. Цены у нас: масло подсолнечное 500 рублей за литр, сало 500 рублей за килограмм, масло сливочное 600–700 рублей за килограмм».

09.01.1943

В открытке к жене Шуре жалуясь, что нет от нее писем.

«...Картошка неудачная, во рту горечь, невкусная. Получил 1 кг соли. Погода – идет снег, небольшой мороз. Валенки «просят каши», разваливаются, буду чинить сам. Иван, Шурик и отчим на мои письма не отвечают. Привет всем. Если

есть твоя свежая карточка – вышли мне».

10.01.1943

В письме к жене Шуре в Ижевск я пытаюсь добиться от нее, получила ли она в письме № 36 мою фотокарточку.

«Тебя интересуют мелочи моей жизни. Изволь. Сегодня выходной, встал в семь утра, прослушал известия по радио. В бане помылся, помыл белье, взял с собой кое-что. Вшей уже нет (как водились в вагоне), но зато клопов и тараканов хоть отбавляй! И белье меняют, и вообще чисто в общежитии, а вот клопы водятся. Варил картошку – толченку с постным маслом. В столовке съел суп и поехал на вокзал к поезду. В буфете достал котелок супа на ужин. Вернулся домой, так день и прошел в охоте за едой, но поел сегодня неплохо. Свет погас».

Продолжаю писать 11 января:

«Был на почте, получил твое письмо № 11 с фотокарточкой и еще твои письма № 12 и 13 о болезни ангиной. Я помню, как ты мучительно ею болела раньше, надо было тогда сделать операцию, как предлагал врач, с миндалинами. Очень печально, что вы, кроме Борика, больны, а также опечалила новость про ранение Шурика. Я ему завтра напишу, его адрес ты дала какой-то неясный. Знает ли отец о ранении? Поправляйся, Шура, твои болезни с этими миндалинами меня особенно пугают. Я уже «закидывал удочки», чтобы побывать у вас, но обнадеживать не буду, чтобы не получи-

лось, как в прошлый раз. Удастся – приеду без предупреждения, думаю, не выгонишь, если на день приеду. Новый начальник человек, как будто, хороший и обещает тоже хорошо, но не знаю, как выполнит. Поправляйся, самое главное».

В этот же день Шура в открытке шлет мне горячий привет. Девятого января она получила мое 42-ое письмо – очень понравилось: «наверное, ты долго сидел и сочинял. Получила его девятого, видишь, как оно долго шло. После твоего 43-го давно нет писем, почему не пишешь? А я тебе пишу ежедневно».

Далее рассказывает, как варила обед.

«...Вчера работала первый день после болезни. На заводе был митинг. Заключили договор с другими заводами ко дню Красной армии – дать фронту больше боеприпасов. Я тоже хочу вызвать свою работницу на соревнование. Вчера получила зарплату 191 рубль – окончательную, потому что болела. Твоя Шура и дети».

12.01.1943

А вот эта квитанция напоминает о скромном участии моей жены Шуры в патриотическом движении:

«Квитанция № 38, цех № 27, рабочий № 38. Принято на постройку танковой колонны «Ижевский рабочий» от Мороз двадцать рублей. 12 января 1943 г.».

Помню, было такое движение – вносили средства в фонд Красной армии, а на них строили танки, самолеты.

И одним из инициаторов этого движения был пасечник Головатый Ф.П. В БСЭ (прим. – Большая советская энциклопедия), куда попало его имя, сказано, что на его взносы, два раза по 100 тысяч рублей, построены два самолета. Были у него и последователи. Но невольно возникает вопрос: откуда у них, в общем-то простых людей, такие огромные суммы денег? Уж не им ли моя Шура платила за один килограмм масла 600–700 рублей – весь свой месячный заработок, или за подвозку дров 300 рублей – половину месячной зарплаты? А мед стоил еще дороже. Их заслуга, по-моему, лишь в том, что они перестали держать эти большие деньги «в кубышке», а пустили на правое дело. А сколько таких, что и не думали этого делать, а по спекулятивным ценам выколачивали у рабочих их несчастные рубли.

13.01.1943

Пишу жене Шуре в Ижевск:

«Очень обеспокоен исходом твоей болезни, жду известия о выздоровлении. По всему видно, что Новый Год ты встречала неважно. У меня немного побаливают ноги. Получил от Верочки письмо с марками на шесть рублей, завтра ей отвечу. Скорей выздоравливай, может быть, скоро увидимся».

14.01.1942

В своем письме жена Шура сообщает о полученных и полученных письмах, пытаясь доказать, что она пишет мне чаще и больше.

«... У нас уже три дня большой мороз. Вера два дня не ходила в школу, Борика вожу в детский сад, одеваю тепло. В квартире не холодно. Вчера подписалась на танковую колонку на 50 рублей, внесла наличными, Вера подписалась на 10 рублей и Борик на пять. Пиши, как ты помогаешь Красной армии. Хозяйка Уварова предложила искать квартиру, но я ответила, что зимой выбираться не буду, что нет закона – выкидывать зимой, и до весны никуда не уйду. Саша, я могла бы выбраться, есть одна комната, но тогда нам придется спать на полу и сидеть на нем же, у нас нет никакой мебели. Решила не выбираться, уже привыкла к их придиркам и близко к сердцу не принимаю. Еще я заметила, что картошка у меня взята, да и дрова тоже. Как-то раз поругалась с Васей, а он говорит: «От вас покоя нет», а я ему: «А на фронте покой? Ты, тряпочник, зарылся в барахле и не видишь, как люди нуждаются, ходят босые и голые. Ты такой сознательный, вот и поделился бы». Молчит – ни слова. У него дров нет, и теперь я жгу свои, а он хоть бы полено разрубил. Грубый, мелочный, низкий человек, считается только со своими интересами, а на всех наплевать. Я с ним не церемонюсь: на грубость отвечаю тем же, и на моей шее он не поедет. Кончится война – уедем, и пусть тогда живут свободно. Вера сегодня дома, все только и думает, что о еде. Да и Борик куша-

ет помногу и все просит вкусного. Твоя Шура».

В этот же день я писал открытку брату Шуру в госпиталь в Орске. Ее вернули мне в Акмолинск с пометкой «выбыл». В ней я просил его подробно описать ранение; писал о том, что он теперь настоящий мужчина, получивший боевое крещение. Рассказываю, что через свою Шуру получил две его фотокарточки.

«Выздоровливай скорее, пиши».

А брат Шура писал моей семе в Ижевск из Орска: поздравляет их с Новым Годом, благодарит за их открытку, спрашивает адрес отца и мой.

«...Новый Год встретил хорошо, даже начал танцевать. В госпитале сестры – молодые девчата. На новогоднем вечере был 30 декабря, очень и очень весело, выпили и закусили как следует. Достал новую форму лейтенанта. Я хорошо танцую западноевропейские танцы: танго, фокстрот, вальс. Разошлись в пять часов утра. 31 декабря приглашают на 11 часов утра девчата, они вроде шефов над госпиталем. Принесли мне совершенно новый суконный, точно по мне сшитый, костюмчик, хорошую рубашку, и я с другом пошел туда. До самого вечера встречали Новый Год. Их родители – давнишние украинцы, хорошие старикашки, так попели похохлятски. С 31 декабря по 1 января для нас в палате шефы организовали встречу Нового Года. Выпивали, закусывали,



танцевали под радиолу. Я был совершенно гражданским человеком в костюмчике. С первого по второе января все медсестры организовали у себя в общежитии вечер. По разрешению начальства пригласили меня и еще несколько раненых больных, так что и здесь закрепили Новый счастливый 1943 год! Как видите, я провел встречу очень хорошо, очевидно, вы встретили не так, ибо положение у вас очень натянутое. Ну, ничего, надеюсь, 1944 год встретим вместе со всем Гавриловским и Морозовским племенем. Сейчас вы видите, с каким успехом наши идут вперед. Живу хорошо, поправляюсь, скоро выпишусь. Рука работает – я ее спас, благодаря танцам. Я увлекаюсь танцами и имею в этом большие успехи, благодаря движениям. Я, волей-неволей, с большой болью разработал свою руку. Сейчас на плече рана зажила совсем, а на лопатке еще нет. Вперед рука поднимается трудновато. Я вам сообщал, что ранило меня 20 ноября 1942 года – скоро два месяца. Был ранен в начале великого дела – наступления на Сталинградском направлении. Меня прострелило насквозь: в плечо и на выход в правую лопатку. Сейчас стараюсь отдохнуть, залечить раны, ибо нужно продолжать начатое дело. Сегодня больные ставят «Женитьбу» – надо повеселиться, впереди ждут снова землянки, снега, холод, а может и голод. Очень рад был вашему приглашению увидеться, если удастся, то срочно сообщу. Получил письмо с колхоза, оказывается, Анискины там еще работают. Если вам придет письмо с колхоза Чкаловской области – сохраните его и пе-

решлите мне, когда дам свой адрес. Предварительно прочитайте его. Приветы отцу, Саше, вашей мамаше с Верой, Верочке и Борику. Саша – так зовут меня в госпитале».

Сохранилась фотокарточка с подписью на обороте: «Сестра и девушка – Лёличка. Госпиталь г. Орск». Карточка была передана с другими документами после гибели Шуры.

Начало нового года – это бухгалтерская «страда»: составление и сдача годового отчета за прошлый год. Правда, появился я недавно, и объем работы был небольшой, но сдача баланса была связана с поездкой в Москву, а это представляло немалую трудность.

Еще в декабре 1942 года приказом № 631 Народного комиссара путей сообщения от 17 декабря 1942 года было установлено, что, в целях своевременного представления Правительству СССР сводных по НКПС балансов за 1942 год, НКПС приказывает начальникам Центральных управлений НКПС представить свои балансы и отчеты за 1942 год в сроки до 15 февраля. В приложении устанавливалось, что главные бухгалтера отчитывающихся организаций представляют балансы и отчеты своим вышестоящим организациям лично. Приказ был подписан заместителем начальника Народного комиссариата путей сообщений Арутюновым.

Мое обстоятельство по поводу сдачи баланса и отчета за 1942 год:

«Следуя призыву завода № 172, включаюсь в соревнова-

ние в честь 25-й годовщины Красной армии и беру на себя следующие обязательства:

1. Годовой отчет и баланс за 1942 год предоставить 18 января вместо 25-го по плану хорошего качества и со всеми требуемыми приложениями.

2. Добиться ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности.

Главный бухгалтер Картранстопа Мороз АА. 14.01.1943».

16.01.1943

Жена Шура пишет мне, что из-за отсутствия электроэнергии их отпустили с работы домой: «Попилили с Верой дров, привела в порядок и еще раз прочла твои письма. Морозы до минус 40, а в комнате плюс 15, экономлю дрова – зима впереди. Деньги, что выслал Шурик для батьки – 450 рублей, я не посылала, а во время болезни часть расходовала, и сегодня послала 250 рублей на имя хозяйки для Гаврилова. Раньше не высылала, потому что не была уверена в адресе, думала, что переехал куда. Шурик будет сердиться, но что поделаешь? Сейчас пишу открытки батьке и Шурику. Толик прислал письма на сохранение, его адрес: г. Челябинск, в/я 96-200, Тимошенко А.Х.».

18.01.1943

«Акмолинск КРГ нач. Картранстопа Тимохину. Телеграфте дату выезда в Москву главного бухгалтера для сдачи

годового отчета по приказу НКПС 631. ЩТЧ Краснобаев».

Итак, получив такую телеграмму, стало ясно, что моя поездка в Москву неизбежна. Нужно было добиваться пропуск на въезд в Москву.

19.01.1943

В своей открытке жена Шура обижается, что пишу только открытки и мало писем. Получила от меня деньги – и опять укор, что не слушаюсь и посылаю ей каждую получку. Описывает свои хозяйственные дела за день: «Много дел, но хочется спать. Живем пока хорошо, в квартире тепло».

20.01.1943

Снова поступает телеграмма из НКПС № 19524:

«Акмолинск КРГ Картранстоп Тимохину. Получение пропуска главбуху Мороз для командирования его НКПС с отчетом оформите на месте через Управление дороги на основании приказа зам наркомпути товарища Арутюнова № 631/цз от 17.12.1942. Указанным приказом ознакомить. ЦТЧ Чикунов».

22.01.1943

Дорожный отдел милиции Карагандинской железной дороги выдал мне пропуск № 403 сроком до 25 февраля 1943 года:

«Разрешается гражданину Мороз Александру Алексан-

дровичу, 1901 года рождения, работающему при Управлении Карагандинской железной дороги в качестве главного бухгалтера, пребывание в г. Москве сроком до 25 февраля 1943 года. Цель поездки – в служебную командировку согласно телеграфного вызова НКПС № 15256. №№ паспорта и командировочное удостоверение: серия П-НУ 670706, выдан вторым отделением милиции НКВД г. Гомеля БССР 23 мая 1941 г. Заместитель начальника ОЖДМНКВД Карагандинской железной дороги старший лейтенант милиции Роммер».

24.01.1943

Мне выдали разовый билет № 628385 сроком до 28 февраля 1943 г. от станции Акмолинск до Москвы через Свердловск и Казань.

26.01.1943

Выдали командировочное удостоверение в том, что я командируюсь в Ижевск сроком на 20 дней по 25 февраля на основании приказа № 6 от 26 января 1943 г. Подписал начальник топливной инспекции Тимохин.

А приказ № 6 был следующего содержания:

«Распоряжение № 6 по Картранстопу НКПС от 26.01.1943. Для взаиморасчетов и передачи дел согласно приказу № 333/цз командировать в г. Ижевск главного бухгалтера Картранстопа Мороз А.А. сроком на 20 дней».

Также мне выдали еще один разовый билет № 628520 сроком по 28 февраля от станции Акмолинск до станции Ижевск через Свердловск, снабдив меня письмом такого содержания:

«Заместителю ТН Ижевск Казанской железной дороги или ТНТС Ижевск. Семья эвакуированного с Белорусской железной дороги тов. Мороз А.А. проживает в городе Ижевске по ул. Азина, 52 и крайне нуждается в топливе. Мороз работает в топливной инспекции НКПС Карагандинского угольного бассейна главным бухгалтером. Прошу вашего распоряжения о выдаче его семье одной тонны угля или дров. Начальник топливной инспекции Картранстоп А.Тимохин».

А Шура моя, не зная, что я накануне отъезда, строчила мне о том, как они отметили 25-го января пятилетие Борика – даже выпили по чарке белого вина. Обижается, что пишу открытки, а не письма. Работает по ночам, боится проспать. Недавно была Вера, принесла хлеба, молока, круп и коржиков. Очень холодно на дворе. Дает советы, как вкусно варить кашу. Просит привезти пшена, если буду ехать, мечтает о пшенной каше. Шура находит, что в Акмолинске все дешевле. Советует не высылать одну получку, а поддержать себя. Жалуется, что нет времени всем отвечать: мне, батьке, Шурику, Ивану. С хлебом скупно: «Я за Борика отдаю 300 граммов, а ему остается дома 100 граммов. У всех аппетиты

хорошие. Душа о тебе болит, как ты живешь, и помочь тебе ничем не могу. Давно не виделись, хочется поговорить, я все жду такого счастливого дня. От Шурика ничего нет, от бабки – редко. Пиши чаще, нам будет веселей. Твоя Шура».

28.01.1943

И вот я с отчетностью и двумя билетами выехал из Акмолинска в Москву. Наученный горьким опытом, на этот раз я не афишировал о своем заезде в Ижевск, как при переезде из Абдулино в Акмолинск, чтобы не волновать Шуру. Нужно сказать, что мой начальник А.А. Тимохин оказался человеком отзывчивым и обещания свои выполнял.

01.02.1943

Жена Шура пишет, что получила мою открытку от 13 января. Повторяет о встрече Нового Года, о выздоровлении.

«...Получила вести от Шурика – он выздоравливает. Бабушка пишет, что живет неважно, на работу ходить далеко. Дала ему твой адрес. Если будешь заезжать, то привези пшена, а деньги не посылай».

04.02.1942

Пишет мне жена Шура, еще не зная, что где-то поблизости находится ее муж:

«Мой дорогой Саша!

27 января вместе с женщиной из Никольского шла в кол-

хоз к своим, а после Никольского уже сама, лесом, было жутко идти. Пришла – было уже темно. Долго говорили, я кое-что постирала. На следующей день Вере пришла телеграмма из Ижевска: «Приезжай срочно». На другой день мы вместе пошли в Ижевск и пришли домой в три часа дня. Вера спрашивает Васю: «Зачем вызывал?», а он отвечает: «Так себе». А перед этим Вера была дома, а он ушел в деревню. Потом, на следующий день, они встретились на дороге: он не стал с ней говорить, только рукой махнул и пошел. Вера на подводе везла красноармейца, вот он приревновал и вызвал ее телеграммой, чтобы поругать. Вот какой дурак! За Верой на-завтра приехали, а мне в деревне дали круп, муки, молока и хлеба».

А я в этот день сделал остановку на билете в Агрызе. У дежурного узнал, что поезд на Ижевск будет через два дня. На ожидание поезда времени у меня не было, нужно было решать: или отказаться от заезда в Ижевск, или идти пешком. По расписанию поездов значилось 45 километров. Желание встретиться взяло вверх, и я пошел пешком. Не доходя станции Юськи, перешел по мосту речку – приток реки Иж, и подошел к Юськам. В Юськах я узнал, что поезда не предвидится, и бодро зашагал дальше. Селения попадались очень редко, миновал еще какую-то станцию. Время клонилось к вечеру. Благодаря быстрой ходьбе я не мерз, но усталость чувствовалась. Стало темнеть, и, проходя леса, возни-



кали мысли о волках и прочих неприятных вещах. Ускорил шаг, но и темнота сгущалась. Наконец, вдали заблестели огни большого города Ижевска. Не доходя километров десять до Ижевска, навстречу мне мчалась дрезина. Метель усиливалась. Ехавшие на дрезине остановились, расспросили, не видел ли я труп человека, сброшенного с поезда. Я не видел. Вероятно, моя железнодорожная форма не вызвала у них подозрения к моей личности, и они даже не проверили у меня документы.

Уже часов в 10–11 ночи я, наконец, очутился среди своих. Потом радостная встреча, слезы радости, взаимные расспросы, мечты о лучшем будущем. Снова лежим вместе, тесно прижавшись, как в те хорошие и не так уж и далекие времена, и я ощупываю Шурины ребрышки, которые раньше так не ощущались.

Еще перед выездом из Акмолинска я купил один килограмм сала за 600 рублей. Оно предназначалось в виде подарка и сюрприза моей семье, и о покупке его я не писал. И вот, с трудом усевшись в товарном вагоне на нижней полке, я держал меж ног мешок, в котором было и сало. И какое же разочарование и злость охватили меня, когда при пересадке в Петропавловске я увидел дыру в мешке, а сала не было. От дырки тянулись какие-то лоскуты. Негодяй оперировал под нижней полкой. А я даже кусочка не попробовал от этого сала, отдав за него свою месячную зарплату. Рассказал своим об этой беде.

07.02.1943

После двухдневного свидания Шура проводила меня на Москву. На следующий день, 8 февраля, у нее была комиссия обследования, которая нашла, что дети Мороз нуждаются в обуви.

08.02.1943

Я пишу Шуре со станции Агрыз:

«Сейчас 12 дня, поезд будет только 9 февраля, вот не везет. В столовке пообедал, иду искать место на вокзале, если удастся найти. Мороз порядочный. Обидно, так близко от вас и не вижу вас. Уже скоро сутки, как зря пропадает время. Пожелай мне, чтобы все обошлось благополучно. Постараюсь заехать на обратном пути, но вот беда, время уходит зря на ожидание поезда. Так радостно, что повидал вас. Спасибо за валенки и за все».

10.02.1943

На перегоне Казань-Канаш пишу жене, что 9 февраля выехал из Агрыза.

«... Сначала пристроился на буфере, потом перекочевал в вагон. Сейчас лежу на самой верхней полке. Ночью спал. Думаю, что 12 февраля доеду до Москвы. Хоть бы не попало за опоздание. Все съел, остался только хлеб, масло разлилось в кармане – пробочка была плохая. С Агрыза послал три от-

крытки».

Все на том же перегоне пишу Шуру пятую открытку с дороги. Написал, а опустить нельзя – боюсь потерять место. А место хорошее на третьей полке, хотя жарко и душно.

«Не знаю, когда доеду, поезд идет медленно, едешь, как на возу. На станциях стоит долго. Что-то я сомневаюсь, что обратно удастся заехать, дорога много времени отнимает, а срок командировки и билета близится. Разве только на один день, да пешком из Агрыза в Ижевск. Спасибо за валенки. Питаюсь хлебом, что ты дала, остальное после».

А в этот день, когда я «со скрипом» приближался к Москве, мой брат Шура писал моей семье из г. Уфа:

«Живу пока в карантине, завтра будет мандатная комиссия, и тогда сообщу свой точный адрес. Сфотографировался и подписал для вас. Сообщите адрес Саши и отца. До скорого радостного свидания. Привет очень горячий вашей матери и сестре Вере. Очень хочу с вами встретиться. Вера и Борик уже, наверно, большие».

11.02.1943

Я все ближе к Москве. На перегоне Арзамас-Муром я пишу жене в Ижевск, что приеду, верно, 12 февраля.

«...Опоздал namного, не знаю, что будет. Сижу на третьей полке: жарко, душно, я в нижней рубашке потный. В Арзамасе получил один килограмм хлеба – на день обеспечен едой.

Супу нигде не достать, и я заржавевший котелок спрятал в мешок. До Москвы еще километров 300. Завтра все выяснится, хоть бы было все хорошо. Я так рад, что повидался с вами, аж не верится. Шлю с дороги шестую открытку. Спасибо, Шура, за заботу, за валенки. Славная ты у меня женка. Целую всех вас».

12.02.1943

В 10 часов я в Москве! В открытке я отчитался за этот первый московский день:

«Приехал 12 февраля в 10 часов, живу на станции Бомиево в 40 минутах езды от Москвы. В общежитии: кровать, постель, радио, свет. Сегодня хорошенько отдохну. Ругают за опоздание. Встретил некоторых знакомых. Обедаю в столовке раз в день, обеды лучше, чем в Акмолинске. Пришлось сменить карточку на московскую на 500 граммов хлеба в день. Когда выеду – не знаю. После отъезда от вас пишу тебе ежедневно».

13.02.1943

Пишу уже в общежитии на станции Бомиево:

«Сегодня после работы прокатился на метро в центр. Завтра выходной, покатаюсь по Москве, днем видней будет. За опоздание ругали. О заезде к вам не заикался пока. Сейчас около 12-ти ночи, прослушаю «в последний час» и спать. Пишу тебе почти ежедневно».

14.02.1943

В выходной я пишу жене в Ижевск, что я здорово находился и наездился по Москве, устал чертовки.

«...Только что передали по радио о взятии Ростова. Ежедневно новость одна лучше другой. Скоро, Шура, отобьют и Гомель, и тогда изменится наша жизнь. Хоть бы скорей! Когда выеду, пока не знаю, но выехать трудно. Завтра, наверно, выяснится день выезда. Буду ехать хоть на буферах, но поеду. Валенки починены, так что можно спать. Ложусь спать, очень устал».

Первый же вечер в Москве напомнил мне Гомельские и Воронежские ночи, когда при полном затемнении идешь и натыкаешься на встречных, на столбы. Около некоторых зданий мешки с песком, окна плотно занавешены.

В здании НКПС, что недалеко от Казанского вокзала, в бухгалтерии ЦТЧ я представился, получил взбучку от главного бухгалтера за опоздание, за срыв срока сдачи. Пожилая симпатичная женщина приняла участие в обеспечении меня продуктами, общежитием и прочим. Мне дали направление на станцию Бомиево, где в общежитии мне предоставили место. Когда дошла очередь, я сдал свою отчетность, качество которой было признано неплохим, и начал выполнять поручения моего начальника Тимохина Алексея Алексеевича. Он дал мне записку-памятку с вопросами, которые нуж-

но было разрешить в Москве.

По первому вопросу: утвердить посланную нами смету на 1943 год и привезти ее с собой. Проверить и настоять на отпуске средств для приобретения инвентаря для комнаты. Ответ был короткий – сметы НКПС еще не утверждены.

Вопрос второй: о бумаге и бланках, взять с собой указанные для получения бумаги в Акмолинске. Мне дали адрес ЦОГ т. Дроздова: Басманный тупик, д. № 6а, телефон 2-39-70. Куда я и звонил, и ходил, и ничего не добился.

Вопрос третий: добиться указания НКПС «Сибтранстопу» данные нам тридцать тысяч рублей оставить за нами. Выясняя этот вопрос, я попал в комнату № 526 на пятом этаже, где встретил знакомого управленца Белорусской железной дороги Свистанюка Константина Степановича. Он был референтом у ЦТЧ тов. Краснобаева Н.И. Мы вошли в комнату 524, где в конце прямоугольной комнаты сидел за столом бывший начальник Белорусской железной дороги, а теперь ЦТЧ НКПС Краснобаев Нил Иванович. Он куда-то спешил. Кивнув в ответ на мое приветствие, он поговорил со Свистанюком и быстро вышел. Свистанюк ответил мне, что ничего не разрешено и деньги надо отдать.

Вопрос четвертый: получить билет для Тимохина формы № 2А. Через заведующего личным столом тов. Блинову мне ответил тов. Вишняков, что для этого нужно требование № 7 какой-то особой формы.

Задание Тимохина позвонить по телефону 2-47-30 тов.

М.И.Кудрявцеву и узнать, где находится Пещеров, я выполнил, но мне ответили, что такого нет. Не было также в продаже одеколона и дуста, которые просил купить Алексей Алексеевич.

Узнал адрес Кровина М.И.: Басманский переулок, д. № 6а, телефон 2-38-23. Звонил, но его не было.

Все же в НКПС пошли навстречу моему желанию заехать к семье в Ижевск, и срок билета продлили до 5 марта.

17.02.1943

Покончив с делами, я из Москвы пишу жене Шуре в Ижевск:

«...Теперь вопрос с обратной поездкой усложняется тем, что мне дают возможность ехать через Киров, то есть не по моему пути. Если ничего не удастся изменить, то, что ж, придется ехать, не заезжая к вам. Все же буду стараться повидаться с вами. Сегодня шел дождь, валенки сдал в камеру хранения мокрые и хожу в ботинках. Да, еще беда в том, что срок билета кончается 28 февраля».

Открытку я послал утром, а днем мне продлили срок билета.

Днем я добился такого распоряжения:

«Товарищ Шатковский, главному бухгалтеру Карагандинской инспекции тов. Мороз дано задание на обратном пути заехать в Управление Казанской железной дороги по вопросу ликвидации задолженности за поставляемое инспекцией

топливо. Поэтому прошу обеспечить его местом на 18 февраля сего года на поезд № 88». Подписал зам. ЦТЧ Лобанов.

Резолюция Шатковского: «Тов. Лаврову. Обеспечьте выезд в общем вагоне».

Конечно, в Управлении Казанской железной дороги я не был, все это было выдуманно для того, чтобы выехать из Москвы. Отдать им справедливость, в аппарате ЦТЧ (Центральная топливная часть) отнеслись ко мне сочувственно-душевно. По-человечески помогали, чем могли.

18.02.1943

Я выехал из Москвы, пробыв в ней шесть дней.

22.02.1943

Прибыл в Агрыз, а немного позже – в Ижевск. И вот, почти после полумесячного перерыва, мы снова вместе. Опять расспросы, взаимные советы, планы на будущее.

На этот раз я пробыв у семьи пять дней. И в колхозе был, как свидетельствует Шурина открытка за 9 марта, но я этого не помню.

27.02.1943

Я уехал из Ижевска в Акмолинск и прибыл туда 5 марта.

06.03.1943

Когда я был уже «дома», Шура писала свое первое, после



моего отъезда, письмо:

«Вот уже больше недели, как ты уехал: первые дни скука была, все чего-то не хватало».

Описав свои хозяйственные дела, она далее пишет, что насчет дров видела Кузнецова, который, посмотрев бумагу от Тимохина, ответил, что может отпустить дрова, но только с разрешения ГН-5 в Агрызе. Обещал все уладить и сказал зайти к нему за результатом.

«...Вера потеряла рабочую карточку, я ее очень ругала – по ней мы могли получить 1 килограмм пряников. У нас холодно, идет снег. «Последние известия» передают хорошие новости. От Шурика из Уфы есть письмо с тремя фотографиями. Пишет, что чувствует себя не совсем хорошо. Его адрес: г. Уфа, в/ч 6552».

07.03.1943

В своем письме к Шуре я рапортую, что прибыл в срок билета 5 марта. Прошел санобработку.

«...Кровать моя была свободна, и перед сном я подумал, как хорошо, что я с вами повидался».

Далее описываю свое путешествие по дороге из Ижевска в Акмолинск:

«...После вашего ухода наш поезд перевели на другой путь и только через два часа отправили в Агрыз, куда прибыли вечером. Только через сутки пришел поезд на Свердловск. Я пристроился в тамбуре, замерз, потом попал в ва-

гон, а под конец – на третью полку. В Свердловске получил 500 граммов хлеба, пообедал. Хлебную карточку на март тоже получил здесь и через сутки двинул на Курган. Тут мне повезло: до Кургана спал, как убитый, в мягком вагоне. В Кургане сидел на вокзале двое суток. Ходил в город, на мост через реку Тобол. Обедал в столовке паровозников и в буфете. В Петропавловске все мои запасы закончились. Последние двое суток немного поголодал. И уже перед Акмолинском купил кусок хлеба за 15 рублей, пол-литра молока за 15 рублей, обед 10 рублей. После чего повеселел, израсходовав сразу полсотни. На следующий день выяснил, что начальник уехал в Караганду, помощник заболел. Сотрудница наша, по фамилии Полтава, уехала в Ростов. Получил пачку писем, которые перечитал, хоть они и устарели. От Верочки штук пять, есть и от Ивана. Получил обратно письма, посланные Шурику. У нас оттепель, ношу ботинки. Цены: картофель 20 рублей килограмм, молоко 30 рублей литр, сало 500 рублей килограмм, масло 350–400 рублей килограмм, мясо 110 рублей килограмм, рыба 15 рублей килограмм. Купил по твоему совету полпуда пшена за 250 рублей. За квартиру заплатил, тебе посылаю 200 рублей, не вздумай слать обратно. Об обмундировании ничего не слышно. Работы много. По сводкам, наши взяли Севск – это недалеко от Щорса. Скоро и Щорс будет наш! Когда узнаешь, напиши нашим и Лукашевичам, от вас ближе. Жду писем. Пиши обо всем, только правду, не приукрашивай. Как подумаю, как ты, бедненькая,

бьешься, так мне делается нехорошо. Как поживают мои обжорки: Борик и Вера? Они по аппетиту удались в папку. Что Уварова, нажимает с квартирой? И что у тебя есть на примете квартира? Сейчас лето, может и вправду лучше перейти. Какой-нибудь топчан и столик можно достать. Уйди ты от них и тебе будет спокойнее».

09.03.1943

Шура пишет мне из Ижевска:

«Каждый день вижу тебя во сне, а хочу, чтоб это был не сон. Скоро ли мы заживем вместе? С работы придешь – не с кем поделиться, все норвят тебе сделать неприятное. Дома отдыхаю плохо, ты знаешь, почему: хозяйка, Вася... Не сердись, что мало пишу – устаю, да и нет времени. А ты пиши чаще, люблю получать твои письма. Рада, что свиделись, только я плохо тебя угощала: рада бы, да нечем. Я ради этого уговорила тебя съездить в деревню. Если б было у меня, чем тебя лучше угостить, то не пустила бы тебя в деревню, и ты бы побыл больше со мной, мой дорогой Саша».

10.03.1943

Из Акмолинска я пишу жене открытку, в которой повторил писаное в предыдущем письме.

«...Начальника еще нет, заместитель болен. Сдал отчет, задержанный из-за поездки. Из пшена варил кашу, но хрустит – нехорошо промыл. Старайся, Шура, посадить картош-

ку. А ты не просила перевести тебя на более легкую работу? Попробуй, может, уважат. Поклон нашим. Когда будешь описывать поездку в деревню, то пиши, как добиралась, поездом или пешком?».

11.03.1943

Жена Шура пишет о получении моих открыток из Кургана и Свердловска.

«...Вчера приехала Вера менять паспорт. Привезла пять фунтов муки, молока, кусочек мяса, коржиков. Я продала твою белую рубашку за 250 рублей и купила ведро картошки за 225 рублей. Бабушка тоже должна приехать менять паспорт, дети ждут ее приезда. Вера ходит в школу, Борик – в садик. Живем пока хорошо. Вера привезла из деревни лапти, так что я обута. Обязательно хорошо просуши валенки».

12.03.1943

Я пишу жене Шуре письмо о том, что от нее пока нет вестей.

«...Вернулся начальник, замечаний по поводу явки пятого марта он не сделал. По мнению начальника мне можно забирать вас сюда. Но, как мы уже договорились, ехать вам сюда довольно рискованно. Если же тебе там очень туго, то давайте, езжайте сюда. Пиши свое мнение. Юристы говорят, что твою просьбу о переводе на легкую работу или об увольнении должны удовлетворить, а также, что женщины, имею-

щие детей до восьми лет, за которыми некому смотреть, не подлежат мобилизации. Так что можешь подать в суд, и суд постановит уволить тебя с работы. Или от утомительной дороги, или простудился, но что-то нездоровится. Болит голова, ноги, насморк, кашель, плохо спал. Но, надеюсь, что пока это письмо дойдет до тебя, я буду здоров».

Далее пишу о проведенных делах.

«...Получил второе письмо от Ивана – он был в Сталинграде, а где теперь – не знаю. Письма к Шурику вернулись – не нахождение адресата. Батяка прислал жалобное письмо, что часто болеет, недостатки, упал духом старик. Не знаю, чем его утешить. Получил много писем от знакомых, но пока не отвечал. Ношу ботинки. Рубашка черная порвалась, насчет обмундирования ничего не слышно. На одном валенке задник отстает, но я их уже спрятал до следующей зимы».

Справка, которую я выслал жене Шуре, подписанная начальником топливной инспекции Тимохиным:

«Справка № 33 от 12.03.1943. Настоящая справка дана жене Главного бухгалтера топливной инспекции НКПС «Картранстопа» Мороз Александре Харитоновне в том, что она по распоряжению Горсовета была эвакуирована из города Гомеля БССР с двумя детьми, дочерью Верой и сыном Борисом, 8 июля 1941 года в город Ижевск, где проживает в настоящее время».

13.03.1943

Брату Шуре Управление филиала курсов «Выстрел» в г. Уфе выдало справку № 19 для отца:

«Справка дана лейтенанту Гаврилову Александру Гавриловичу в том, что он действительно является слушателем курсов «Выстрел». Настоящая справка выдана отцу Гаврилову Владимиру Андреевичу на предмет предоставления в орган Советской Власти. Действительна до 1 июня 1943. Начальник строевой части Чумаков».

17.03.1943

Я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Вот уже 17 марта, а от тебя нет писем. Послал справку 13 марта, примерно с этого числа заболел. Болит голова, тело словно опухло, дали бюллетень. Врач определил воспаление почек. Сегодня пойду к врачу, возможно, положат в больницу. Нужно диетпитание, которого у меня нет. О дальнейшем буду писать. Привет маме и Вере. Это моя поездка, верно, вылазит боком».

18.03.1943

Я пишу жене Шуре уже из больницы:

«Сегодня первый день в больнице. Перед этим, утром, был на почте – писем нет. Конечно, ты пишешь, а почта медленно доставляет. Кому-либо дам доверенность на получении писем. Принял ванну. Меня осмотрел врач. Диетные

обеда совсем без соли, хлеба 400 граммов в день. О точном распорядке дня напишу позже. Будешь у мамы, расспроси у нее, что она знает про мою болезнь. Ноги, живот у меня растолстели невероятно, под глазами мешки. Головная боль, кашель уже проходит, и сегодня не болит ничего. Думаю, скоро выздоровею».

Конечно, в своем письме к жене Шуре я умолчал о предполагаемых причинах моего заболевания, потому что мои предположения могли быть цензурой забракованы, как не совсем патриотичные. Вычеркивали же в письмах рыночные цены. По-моему, все произошло от длительного полуголодного питания. Супы в столовой без картошки и масла с плавающими кружками незрелых помидоров или обезжиренные мучные супы, которые мы ласково называли «баландой» – они имели своеобразное свойство: сколько их не съешь, все равно хочется есть. И вот, накануне заболевания, я в буфете на станции «Акмолинск» съел «баланды» сверх нормы: живот вздулся, и в организме стало твориться что-то ненормальное. И, когда на следующий день я пришел на работу, наша сотрудница Немировская, глянув на меня, ахнула: «Что с вами?». Глянул в зеркало – не узнаю себя: лицо, как у толстяка, руки, ноги, как у борца, под глазами мешки. Немировская направила меня к врачу. На следующий день я уже был на больничной койке. Естественно, что я стал допытываться у больничных сестер истинную причину моего заболевания. Они пожимали плечами: «Неправильный обмен

веществ», и еще что-то.

20.03.1943

Из больницы пишу жене Шуре в Ижевск:

«Третий день я в больнице с почками. Врач приказал дней пять совсем не ходить. Я весь отек: ноги, живот, руки. Вид неважный, побаливает голова. Рацион такой: утром суп, в обед суп и лапша, вечером чай с конфетой или стакан молока, хлеба 400 граммов, все несоленое. Писем нет, никто ко мне не пришел, чужой для всех. Если придет товарищ с общежития, то попрошу его сходить на почту. Целую всех. Привет колхозникам».

21.03.1943

Пишу жене Шуре открытку:

«Голова почти не болит, но отеки есть. Лежу. Писем никому, кроме тебя, не пишу. Неудобно писать лежа, да и открыток мало взял. Вчера у нас один умер, пролежав полгода в больнице. Я, наверное, до конца марта не выйду. Болей особых нет, но дышать трудно, и мешают отеки. Хоть бы поскорее получить от тебя письмо. Вот беда – никто не идет навесить, кому бы я мог дать доверенность на письма. Получила ли 200 рублей? И какие мои письма?».

22.03.1943

Жена Шура, еще не зная о моем заболевании, пишет мне



свою обычную открытку-отчет о своих делах дома, что много работы и на заводе, и дома. Сообщает, что получила мою открытку из Кургана и от моего брата Шуры из Уфы.

«...Тает снег. Иду спать, целую тебя крепко».

23.03.1943

Я пишу Шуре в Ижевск открытку:

«Вот уже шестой день лежу в больнице с воспалением почек. Пока особых достижений нет. Голова не болит, но слабость от лежания и бездействия развилась, так что неохота ни читать, ни писать. К тому же открыток мало, я их пишу только тебе. К моим соседям по палате приходят близкие, навещают, что-то приносят, вообще чувствуется какая-то моральная поддержка. Я же лежу, как сукин сын, «позабыт-позаброшен», и даже писем от тебя нет. Еще не получил ни одного. Ну да ладно! Все пройдет, скоро поправлюсь, наверное. Пиши чаще. Привет колхозникам».

24.03.1943

Все же, наконец, навестили и меня. Ко мне зашла наша сотрудница Немировская и принесла записку от моего начальника Тимохина А.А.:

«Александр Александрович!

Шлем тебе привет и желаем скорее поправиться. Главное, не падай духом и не унывай – это тоже отражается на здоровье. Дела у нас идут по-старому, нового ничего нет. Раиса

Ивановна составляет списки на зарплату, одним словом, выполняет частично работу бухгалтера. Тебя в больнице должны кормить усиленно, договорился с начальником Дорсанотдела тов. Давыдовым, он обещал помочь».

25.03.1943

В открытке № 9 я писал жене Шуре в Ижевск:

«Пока в больнице. Оказывается, заболеть легче, чем поправиться. Отеки уменьшились. Буду писать тебе через день – мало открыток. От тебя писем нет: или не пишешь, или медленно их доставляют. Вчера у меня была сотрудница с нашей инспекции, навестила. Мне на душе стало легче, что все таки не совсем заброшен. С нетерпением жду писем от тебя. Сегодня ровно месяц, как я выехал от вас. Целую всех. Привет колхозникам».

26.03.1943

Ко мне опять пришла сотрудница с топливной инспекции, принесла книжку и записку от зам. начальника Лаврищева Ивана Филипповича:

«Здравствуй, Александр Александрович!

Вчера мы договорились с Давыдовым, чтобы улучшить тебе питание. Сегодня он зашел и сообщил, что указание в больницу сделал, будут давать тебе дополнительно молоко и еще что там нужно с точки зрения медицины. В общем, не унывай и поправляйся. Сегодня Алексей Алексеевич поедет

в Караганду, повезет туда список на уплату. Посылаю тебе немного конфет и махорки – чем богаты, тем и рады. Давыдов обещал нам по выходе твоём из больницы прикрепить тебя на месяц или два на диетическое питание по специальной карточке без отрезания талонов. Если это будет сделано, то, пожалуй, будет неплохо. Ну пока, будь здоров. Поправляйся. С приветом, Лаврищев».

25.03.1943

Жена Шура, еще не зная о моей болезни, пишет мне письмо:

«Получила, наконец, письмо, что ты в Акмолинске. Я видела, как поезд подали обратно, но боялась опоздать на работу и не подошла больше. Скучно стало. Мало ты побыл у нас. Жаль, что у тебя было мало продуктов на дорогу, я все болела душой, как доедешь. От Шурика получила письмо, он ждет писем от тебя. У нас днем тает, ночью мороз. На работу хожу в лаптях. Видишь, деньги твои рабочие получили, а ты беспокоился».

Далее Шура дает советы, что купить, чем питаться, что варить.

«...Конечно, деньги я обратно тебе не пошлю, мне они сейчас нужны. Пиши, сколько получил за командировку? Насчет писем – я немного ленюсь, но и нет времени. Насчет дров есть приказ: выдать два кубометра по 14 рублей за кубометр. Когда получу, напишу. В общем, с дровами будем, а

с квартирой дела плохи. У мамы не была, она должна приехать менять паспорт. Борик и Вера здоровы, кушают здорово. Горе мне с ними. Борик плачет, что Вере дала больше, а та – наоборот, почему Борику больше. Цены у нас поднялись: мука 2000 рублей пуд, картошка 500 рублей пуд. Работая хорошо. У нас новый мастер, при котором уже было семь несчастных случаев – оторвало пальцы. Писать есть о чем, да нет настроения».

27.03.1943

Я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Все еще в больнице. Вчера наша сотрудница принесла мне книжку и записку от Лаврищева. Писем от тебя нет. Уже больше месяца, как я был в Ижевске, и ни одного письма. Неужели не пишешь? Вчера послал письмо в колхоз. Сотрудница говорит, что послала вам от меня 200 рублей – зарплата за первую половину марта, и в начале марта я посылаю 200 рублей. Пиши о получении. Дела улучшаются, и скоро из больницы выпишут. Так хочется получить от вас хоть открытку, а то мне кажется что-то неладное».

29.03.1943

В открытке ко мне жена Шура пишет о получении моих писем и 200 рублей, которые уже израсходовала.

«...Деньги за дрова, 29 рублей, уже уплатила, и дрова могу получить в любое время. Пишешь, что тебе нездоровится,

смотри не заболей, болеть плохо. Рада, что купил пшена и варишь. Я работаю в ночную смену, немного посплю, потом истоплю баню, помоемся, постираю кое-что и на работу. Тяжелая смена, очень устаю и хочется спать. Насчет приезда к тебе я ничего не могу ответить, а также и насчет перехода на другую работу – это не так легко. В выходной пойду к маме, там посоветуемся».

30.03.1943

Жена Шура пишет мне:

«После ночной работы очень устала. Немного о питании: конец месяца – талонов нет. Сегодня дали ордер на валенки, хотя зима кончилась, но надо выкупить. На собрании зачитали и как лучшим работникам выделили кому что, а мне – валенки. Верочке дали в школе чулки, обещают дать обувь. Сегодня чувствую себя плохо, болит голова, спина, хоть бы не заболеть – сегодня на ночь на работу. Еще три таких смены ночные. Перейти на легкую работу? Но на заводе нет такой, все работают по 12 часов. Вера ушла за салом по карточке-жировке. Схожу за Бориком и посплю перед работой. До свидания, мой дорогой, целуем тебя крепко».

В этот же день, все еще из больницы, я пишу Шуре письмо в Ижевск:

«Пишу тебе через день. От тебя ни одного письма, не знаю, чем объяснить это. Сегодня при обходе врач сказал,

что мои анализы хорошие, и скоро выйду из больницы. Советовал быть осторожнее с едой, есть молочное, овощи, воздерживаться от мяса, соленого и острого. Отеков нет, и я опять стал «худой». Чуть побаливает голова, а так чувствую себя нормально. Хоть бы скорее получить от вас письмо. Беспокоюсь, не болен ли кто у вас?».

31.03.1943

Я пишу жене из больницы:

«Наконец, получил от тебя письмо за 6 марта и открытку за 9 марта. Оказывается, ты в самом деле долго не писала. Ладно, прощаю. Днем ко мне заходил мой начальник и сотрудница, и принесли мне твои письма. Перечитав их несколько раз, я испытал ощущение, будто ты меня навестила. Правда, мои посетители объявили мне, что с 1 апреля мне дали карточку на 500 граммов хлеба в день и в столовку на меньшее количество жиров и круп, чем раньше. Вроде бы на поправку нужно больше, а вышло наоборот. Как-нибудь проживу, ни черта не сделаешь, коли не дают больше. Врач не советует есть острого, соленого, мяса. Нельзя пить водку. Думаю, когда вернусь из больницы, мне дадут диетическое питание, и буду приваривать пшено с молоком. Хорошо, что тогда пшена купил, будто предвидел плохое. Дней через пять выпишут. Рад, что у тебя с дровами удача, что купила пуд картошки. Видно, и лето, и зиму будем жить в разлуке. Сегодня пишу Шурику. Теперь, надеюсь, письма от тебя пойдут

чаще. Как плохо болеть. Целую всех».

Вероятно, в результате договоренности Тимохина А.А. и начальника Дорсанотдела Давыдовым об усиленном кормлении меня в больнице, было то, что мне иногда выдавали лишний стакан молока или ложку повидла. Это не ускользало от, в общем-то, не совсем сытой братии больных, и они замечали и лишний стакан, и прочие отклонения от нормы. Особенно рьяными поборниками борьбы за справедливость были режиссер Ворошиловоградского театра Поселянин Андрей Григорьевич и инженер дистрофик из Ленинграда, фамилии не помню. Они часто «бузили», вступая в спор с больничной администрацией.

Когда уже после болезни я был на спектакле, поставленном Поселянином А.Г., с его участием в главной роли, то мы встретились как хорошие старые знакомые. Я хвалил его игру. Впрочем, играл он недурно.

01.04.1943

Из больницы я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Твои письма, полученные вчера, перечитываю. У меня впечатление, будто ты провела меня в больнице. Я знаю, что твои письма с сожалениями и советами придут, когда я уже буду здоров, выписка из больницы не за горами. Думаю, что 10 апреля буду работать, а может и раньше. Сижу и думаю, когда наступит время, и мы будем жить вместе. Пусть

в паршивой халупке, но вместе. Чтоб ежедневно видеться, чтоб не грызла тоска, да не мучали думки: где они там, что с ними, как живут, не больны ли? Проживешь еще вот так в разлуке, и дети отвыкнут от тебя. Уже пошло на пятый десяток, дело к старости, а мы и не нажились еще с тобой, Шура. Ты хоть и моложе, а меня уже болезни чаще посещают, и нет такой бодрости, какая недавно была. Живешь и чувствуешь себя каким-то беспризорным и никому не нужным. Особенно это чувствуется здесь, в больнице. Ты меня прости, Шура, что заныл. Хочется перед кем-то излить горе, а кроме тебя кто ж мне больше посочувствует. Конечно, тебя такое письмо не порадует, но я, когда выздоровею, буду писать бодрее. К тому же, с 1 апреля мне дали карточку на 500 граммов хлеба в день, что тоже портит настроение. Это как сюрприз после болезни – на, мол, сукин сын, поправляйся. Побаливает голова, не читаю, а лежу, думаю или сплю. Да и книг нет, не приносят. Одному больному изредка приносят старые газеты. Радио, кроме известий, ничего не передает. Скорее бы выйти отсюда. Хотя и там не мед, но не будешь же сидеть в четырех стенах. Пиши, Шура, не ездила ли в колхоз и как добиралась туда и обратно. Меня это интересует. Не ходи одна, старайся с людьми. Получила ли справку? Получила ли два раза по 200 рублей? Перед болезнью я пожертвовал в фонд обороны облигации военного займа и дал немного на подарки Красной армии к 1 мая».



В этот же день жена Шура писала мне открытку:

«Спасибо за 200 рублей. Ходила в город и нигде не нашла женских валенок, выделенных мне по ордеру. Есть только детские. И вот мы пошли с одной женщиной в Колтому (прим. – народное название магазина в Ижевске), километров семь, и выкупили валенки женские 25 размера за 61 рубль. Стояла в очереди – получала продукты. Спать хочется. На работу идти ночью и до завтра до часу дня».

04.04.1943

Из больницы я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Сегодня теплый день. В комнате душно, хотя утром ноги мерзли. Побаливает голова. Слева по кровати мой сосед тоже почечник. Лежит больше месяца. Он еврей, эвакуирован из Мелитополя. Сейчас около него сидит жена с мальчиком, как наш Борис. Напротив меня лежит начальник с Управления – у него воспаление легких. Около него жена, принесла очередную порцию из дома. Они живут вдвоем, у них есть корова, и, видно, живется ему неплохо. При таких условиях болеть можно. Справа от меня – старик лет 63-х, болен сердцем и чем-то еще. Этот такой же беспризорный, как я. Никто к нему не приходит, как и ко мне, и мы поглядываем на своих счастливых соседей. Пишем от тебя пока нет. Может и есть на почте, но мне моя доверенная не приносит. Конечно, ей мало интереса таскаться на почту из-за писем какому-то Морозу. Читать нечего. Когда не болит голова, решаю задачи

– у меня есть учебник алгебры. Сплю много и ночью, и днем. Когда спишь, меньше хочется есть. Аппетит хороший, и я ем бы больше, чем мне дают. Состояние хорошее, но похудел и оброс здорово. А что у вас? Весна, наверное, в разгаре? Как с дровами? Была ли в колхозе? Все меня очень интересует. По-прежнему ли Борик просит хлеба по утрам, а у тебя его не хватает? Я в этом году тоже собираюсь садить картошку, если дадут землю и семена. Целую вас, мои дорогие. Привет колхозникам».

05.04.1943

И вот, в открытке Шура пишет мне, что узнала о моей болезни:

«Воспаление почек – это такая нехорошая болезнь! Это, верно, поездка повлияла. Когда получила открытку, то горько плакала. Мы с тобой так хорошо жили, а теперь ты больной. Я далеко от тебя и не знаю, чем помочь. Если б я знала, то писала бы каждый день. Саша, тебе, самое главное, нужно тепло, и также питание. Ты нам выслал деньги, а купил бы себе масла. У нас все здоровы, я работаю хорошо. Завтра в школе буду просить обувь для Веры, ей не в чем ходить. Борик ходит в садик в тапочках и галошах. Поправляйся скорей. Целуем. Пиши чаще».

В этот же день я писал жене Шуру:

«Был обход: врач разрешил подсаливать суп, скоро выпи-

шут. На дворе тепло. После получения от тебя двух писем 30 марта, больше не получал. И ты, и почта, и сотрудница – все как сговорились, чтобы я не получал писем в то время, когда особенно в них нуждаюсь. Что может быть приятней писем больному? Я знаю, что, когда выйду из больницы, письма от тебя посыплутся. Сегодня умерла больная лет 70-ти от водянки. После обеда пришел парикмахер, и я побрился и подстригся под машинку. Давно я так стригся, даже не припомню, когда это было».

Продолжаю на следующий день:

«Жизнь в больнице однообразна, не придумаешь, что и писать. Как будто все описал в предыдущих письмах. Опять ко мне никто не пришел, а уже вечерет. Интересный случай произошел сегодня: пришла на смену медсестра, оглядела комнату и говорит: «Все старые больные, а один новый. А где же Мороз?». Я сижу и думаю, что с ней: пьяная или ослепла? Оказывается, после стрижки, бритья, спада отеков я так изменился, что сестра приняла меня за другого, нового больного. Все очень смеялись. Говорят, был полный мужчина с волосами и бородой, а теперь какой-то худенький молодой человек. Вот так бывает. Сегодня на вопрос: «Когда меня выпишут?», врач ответил: «Не спешите». Так и не добился ничего. Немного болит левый бок, слабость от лежания. Хожу мало. Как видишь, Шура, из-за экономии бумаги, я не посылаю письмо и сегодня. Завтра допишу тем, что случится 7-го, и пошлю. Хотя, конечно, ничего особого не произой-

дет, будет такой же день, как и все».

Седьмого апреля я продолжаю:

«На дворе тепло, солнышко, а мне холодно – ноги мерзнут. Температура 35,4 градусов, пульс 46 в минуту. Ты, наверно, смеешься, читая эти подробности. Но, во-первых, что у кого болит, тот о том и говорит, а во-вторых, что я нового могу написать, сидя в четырех стенах? Подожду, может после обхода врача будет что-то новое. Может письма от тебя принесут... Вот и полдень. Врач ничего нового не сказал, и писем нет. Это письмо ты, наверно, получишь к 1 мая. Так что поздравляю вас всех с 1 Мая и желаю счастья и здоровья. Мне все кажется, что у вас что-то неладно, и потому нет писем. Или просто некогда? Вот и обед, суп уже подсаливаю, но мало его дают. Хлеб 400 граммов часто оставляю на ужин, а обедаю без хлеба. Вечером же пить чай без хлеба неинтересно. Привет нашим колхозникам».

После того, как я отправил Шуре письмо, товарищ по комнате в общежитии принес мне письма, газеты и записку от товарища Бойко, тоже живущего в общежитии:

«Товарищ Мороз! Передаю четыре номера «Правды» и два номера «Гудок». Газеты взяты мною из отдела, поэтому прошу по прочтении, дней через пять, вернуть. Думаю, что к этому времени вы вернетесь уже домой, тогда и возвратите газеты. Извините, что я вас не посетил раньше, все житейская толкучка заела. Желаю выздоравливать».

08.04.1943

Я пишу жене в Ижевск:

«Вчера товарищ из общежития принес мне твою открытку и от Верочки заказное письмо от 26 марта. Теперь мне ясно, что я зря ругал почту, просто ты не пишешь, в этом вся беда. Понимаю, тебе очень некогда, и не придираюсь. Поменяла ли бабушка паспорт, и, если да, как она добралась? Пошла ли она костюмчик Борику из одеяла? Открытку твою прочитал залпом, но в ней ничего особого нет. Теперь у меня нет бумаги, и я тебе, Верочка, буду писать отдельные письма, когда вернусь на работу. Меня удивило, что письмо, посланное 26-го, я получил 7-го апреля, то есть через 11 дней. Молодец, Верочка, отметки за третью четверть у тебя не такие, как я думал. Только нужно подтянуться по арифметике. Это самый важный предмет, а он у тебя, по сравнению с остальными, отстает. Учись, дочка! Только не дерись с Бориком, помогай маме. И Борику скажи, чтобы не баловался. Рад, что ты получила чулки, а сейчас, наверно, и обещанные ботинки, и платье. А почему у вас нет света? Там нужно на потолке подшевелить, только осторожно, а то еще убьет. Да, за медные части не беритесь руками».

В этот же день брат Шура писал мне в Акмолинск из Уфы:  
«Здравствуй, дорогой брат Сашенька!

Наконец, я получил твой приблизительный адрес за все

это долгое время. И это благодаря письму, полученному от моей дорогой племянницы Верочки, которая прислала мне письмо и марок, не знаю, зачем. Дорогой брат Саша! Как я был удивлен этому письму. Читая его, прямо не верится, что это пишет ученица 3-го класса. Оно очень грамотное, содержательное, красиво и правильно написанное. Я радовался, читая его. Произвел большое удивление даже в своих товарищах-командирах, хвалясь этим письмом. Я ей ответил сразу письмом и открыткой с цветком. Сообщила мне адрес отца. Оказывается, он совершенно недалеко от меня. Правда, до этого я получил пересланное мне из госпиталя письмо от него. Но оно было старое, еще за январь, и в адресе я сомневался, но все же написал ответ и теперь ожидаю письмо. Он писал, что болен. Я хочу добиваться отпуска к нему, если успею и получу вовремя от него ответ. У нас многие ребята так получают отпуска. Очень и очень хочется увидеться со стариком, сильно соскучился. Обо мне ты, наверно, знаешь? Был в госпитале до 26 января в г. Орск. После получения излечения был направлен отделом кадров на курсы высшего стрелково-тактического комсостава и теперь учусь, вот уже шестую неделю. Скоро заканчиваем. Жизнь, правда, трудноватая, особенно насчет питания, но ничего. Это положение временное. Скоро станем сами хозяевами и можно будет поправить свое положение. Дорогой Саша, я хочу выслать тебе фото, но не знаю, получишь ли ты письмо, поэтому я вышлю их твоей жене Шуре, а она тебе перешлет, ибо, в противном

случае, они ко мне обратно могут не прийти. Пиши, Саша, сразу ответ. Сильно соскучился по тебе и твоим письмам. Как и где живешь? Как работа и, главное, здоровье? Не думают ли призвать в армию? Если что не знаешь обо мне, то пиши вопросы, с большим удовольствием отвечу. Это письмо пишу ради налаживания связи. Получил погоны и перешил гимнастерку по новой форме. Думаю сфотографироваться. Карточку, конечно, вышлю. Погода в Уфе плоховатая. Стояли сильные холода, хотя и начинает таять. На этом до свидания. С приветом твой меньший брат Саша. Целую тебя очень крепко. Уфа, «Выстрел».

Это письмо я получил в Акмолинске 19 апреля. О пребывании брата Шуры в Уфе весной, в марте 1943 года, напоминают сохранившиеся фотокарточки. Их прислала медсестра после гибели Шуры. На фотоснимке девушка, на обороте надпись: «На долгую и добрую память Саше Гаврилову от Веры. Пусть останется воспоминание о случайном и хорошем знакомстве юности. Вера. Уфа. 14.03.1943».

И вторая, с надписью более лирического свойства: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах приюта не нашли, случайных встреч и взоров не ценили, и разошлись, как в море корабли. Саше от Веры. Уфа, 22.03.1943».

09.04.1943

Открытка жене Шуры в Ижевск:

«Вчера был обход, и меня выписали из больницы. Сегодня

я уже в общежитии, бюллетень до 12 апреля. Купил за 30 рублей литр молока, вечером сварю суп. Слабость большая. Буду поправляться. Карточку на 500 граммов хлеба в день и на уменьшенную норму жиров и круп я уже имею. Получилось, когда надо больше, дали меньше. Сейчас пойду хлопотать насчет диетического питания, справки от врача есть. Поздравляю вас с 1 Мая и желаю всего наилучшего».

10.04.1943

Письмо к жене Шуре:

«Второй день как вышел из больницы. Чувствую себя неплохо. Варю еду, подкрепляюсь, чтобы к выходу на работу быть здоровым. На дворе грязь, никуда почти не хожу. Вчера заходил в свою контору: работы накопилось порядочно. Зашел в столовку, там щи, которые мне есть не советовали. Вечером на комиссии мне дали карточку на диетпитание, и сегодня я первый раз пообедал. Меню по этой диете: суп, каша или мясо, чай и пирог. Стоит 3 рубля 50 копеек за обед. Карточка до конца апреля. Кроме того, есть и обычная карточка на апрель, так что месяц проживу неплохо. Вчера варил суп из круп, данных Верой. Получил по карточке два килограмма соленой рыбы, буду вымачивать и есть. От тебя последняя открытка от 22 марта, больше нет».

11 апреля продолжаю письмо Шуре, начатое 10-го:

«Хотел пойти в баню, но она закрыта. На базаре купил пол-литра молока, буду варить суп. На базаре меня как «без



документного» милиционеры доставили в милицию. Там разобрались и отпустили. Моросит дождь, грязно. Завтра на работу первый день после болезни. Хорошо, что ботинки не текут. Настроение неважное. Нужно бы починить пиджак, штаны и ботинок, но как-то лень. Был на почте, от тебя ничего нет. Целую всех».

11.04.1943

Жена Шура пишет мне в Акмолинск:

«Три дня нет от тебя писем, думаю, как ты там, бедняга, больной и один, некому тебя проведать. Поправляйся скорее. Мы все здоровы. Борик ходит в садик, Вера – в школу, я иду на работу к часу ночи. Тяжело ночью работать. В деревню после твоего отъезда я не ходила, соскучилась. Думаю, в большой выходной сходить, но это еще через две недели. У нас тепло, грязь. Дров не получила – дорога плохая. Поправляйся. Целуем все. Шура».

15.04.1943

Жена Шура пишет мне письмо, которое начинается с вопросов о моей болезни, о лечении.

«...Получила письмо от батьки: он тоже в больнице, забрали прямо с работы. Пишет, что живется плохо. Даже предлагает переехать к нему, мол, вместе будет лучше. Обижается, что не пишешь ему, и что Шурик тоже не пишет. Вчера заплатила 100 рублей за семена, но будут ли они? Тя-

жело на душе, не хочется ни о чем думать, ничего делать, а уехать отсюда сама не знаю куда. Здесь невыносимо жить одной. Квартира губит. Найти другую, да еще с детьми – трудно, все берут одиночек. Хозяйка что только не придумывает, чтобы меня больше допечь, всякое свинство делает. Вскоре после твоего отъезда Васин брат Иван пропал без вести. Хозяйка обнаружила пропажу осеннего Васиного пальто, галош, берета и подала заявление в милицию, указав, как на воров, на меня и Ивана. Однажды, когда я пришла с базара, она мне подает повестку – явиться в милицию 12 марта к восьми часам вечера. Наскоро сварив детям суп, сама не поевши, я побежала в милицию, где сидела до 10 вечера. Меня допросили, зачитали обвинение в воровстве, но я, конечно, знать ничего не знаю. Долго допытывались, куда я девала вещи, предложили их вернуть, грозя передать дело в суд. Но я одно твердила, что ничего не брала, в суд можете дело передавать – суд разберется, что я ничего не брала и ничего не знаю. И что же оказывается с галошами – Вера Уварова, та, что живет на горе, унесла их себе, а хозяйка забыла и тоже указала в заявлении, как украденные. Вот какие нахалы. Это Ивана дела. Он еще что устроил: у живущего у них на квартире студента взял совсем новые валенки без спроса – это когда он сбежал, и его больше месяца не было, а потом явился пьяный. Ему стали говорить про пальто. Он говорит, что не брал, а взял только чтобы сходить за починкой ботинок, и что он студента просил, и тот ему разрешил. На самом де-

ле он его не просил, а студент не разрешал. Да, у себя на заводе Иван у военного забрал все карточки, у многих набрал деньги для покупки вина и со всем этим скрылся. А когда вернулся, чуть ли не голым, то не было ни денег, ни валенок, ни карточек – ничего. Его стали спрашивать про пальто и все остальное – он как закричит, что ничего не брал! А валенки обещал вернуть, да так и не вернул. Его забирали в милицию, потом выпустили, и было одно время, когда он жил дома. Но вот снова его не видать. Ну и черт с ним, туда ему и дорога. Только вот что – пьянице поверили, что он не брал, а меня обвиняют, что взяла, и не верят, что не брала. Не знаю, чем кончится. Уварова сказала, что дело передала в суд. Я, конечно, не боюсь, раз не брала, но как-то нехорошо ходить по судам. Вот такие дела. Я все не хотела тебе писать, расстраивать, но не выдержало сердце, и решила написать. Хозяйка все придирается, живу и мучаюсь. Но довольно об этом. Как ты там лежишь один? Пиши мне все в мелочах. Хоть бы скорее настало время жить вместе».

В этот же день я пишу жене Шуре, отвечаю на ее письма с первого по шестое.

«...Про обмундирование ничего не слышно. Ботинки буду чинить сам, штаны целы, но блестят, как у слесаря. Пиджак движется к ветхости. Рубашка серая, уже не подлежит ремонту. Нитки есть. Фуражка новая, шинель ветхая, но на днях я ее скину. Такие дела с одеждой. Как посмотрю на

свою остриженную голову, смех берет. Суточных получил 600 рублей, зарплату за январь и февраль 900 рублей, всего 1500 рублей. Из них тебе послал 800 рублей, а 700 сам не знаю, куда девались. Да, вспомнил – купил пшено на 250 рублей, а 450 расходовал на прожитие за два месяца и на дорогу. За первую половину марта получил 280 рублей, из них послал тебе 18 марта 200 руб. За вторую половину марта и за первую апреля я еще не получал по бюллетеню, получу – вышлю. Вот мой денежный отчет. Варю кашу, иногда с молоком. Вчера читал в «Правде» за 2 апреля о зверствах немцев в Корюковке: сожгли село, осталось 30 домов. Не знаю, та ли это Корюковка, что около Щорса. Вот ты обижаешься, что я не остался на твой выходной. Но если бы остался, то опоздал бы, а так приехал к концу срока билета. Ехать с просроченным билетом очень плохо. Мне и так дура-кассирша в Петропавловске не хотела компостировать. Конечно, я бы не прочь побыть еще денек. Из-за именованя меня не главбухом, а просто бухгалтером, я теперь хлеба получаю меньше – 500 граммов, и всего другого тоже меньше. Насчет своего положения я теперь и сам не знаю, так что от мысли тащить вас сюда нужно отказаться. Зимовать тебе придется там. Так что картошку сади, дрова заготовляй, квартиру и работу старайся поменять. Я поправлюсь и тоже буду думать о выезде отсюда, если сами куда не пошлют. О том, как работаю и чем питаюсь, я уже писал. Ходил на речку, смотрел ледоход. Река Ишим здесь, как Сновь в Щорсе. Пишите».

Мне выдали удостоверение на основании указа от 15.04.1943:

«Удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации № 2/118 (действует при предъявлении военного билета). Выдано военнообязанному Морозу Александру Александровичу, работающему в 1-й дистанции сигнализации и связи Белорусской железной дороги в должности главного бухгалтера в том, что ему на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. предоставлена отсрочка от призыва по мобилизации на весь период войны. Учетные признаки: год рождения – 1901, группа учета – НКО, состав – рядовой ВУС № 1».

Срок действия удостоверения об отсрочке продлен до 31 декабря 1945 года. Основание: Директива Главупроформа Красной армии № 3/8706 от 14.04.1943. Проставлена печать, подписано помощником начальника 1-й части и военным комиссаром.

16.04.1943

В открытке пишу жене, что получил ее письмо от 30 марта.

«...Вчера послал тебе заказное. Очень встревожен, что ты нездорова, смотри, не заболей, буду надеяться, что все окончится благополучно. Рад, что дали валенки, что ты в числе лучших работников, да с твоим характером иначе и быть не

может. Я после болезни уже окреп, работу подогнал. Снега нет, дождик, река двинулась – весна. Вчера получил открытку от Верочки, ответчу ей сегодня. Жду новостей от вас. Привет колхозникам».

И в этот же день я пишу дочке Верочке:

«Хорошо, что выделили ботинки. Старайся получить. И платье обещают, когда дадут – напиши».

Далее пишу о ледоходе на Ишиме, о весне, о погоде. Сравниваю Ишим со Сковью.

«...Не дерись с Бориком. Когда каникулы, какие фильмы видела, приезжала ли бабушка, как обедаешь, не голодаешь? Старайся писать мне не в те дни, когда пишет мама. Постараюсь отвечать на все. Целую всех».

17.04.1943

Я пишу Шуре в Ижевск:

«Получил твою восьмую открытку, отвечаю. Рад, что получила валенки, а почему номер 25, а не 37? Или у валенок другая нумерация? Пишешь, что нечего варить. Но ты и Борис обедаете на заводе и в садике, а Верочка, бедняжка, без обеда, на сухом. Получил за дни болезни 480 рублей, тебе послал 250 рублей. Думаю, купить муки и постного масла, только трудно доставать – не продают. Варю пшено, половину уже съел. У нас тепло, шинель уже не ношу. Ты, Шура, наверно, читала указ о Военном положении на железных до-

рогах?»).

Примерно в это же время мой брат Шурик писал семье в Ижевск из Уфы:

«Здравствуйте, дорогая Шура и племяннички Верочка и Борик! Получил вашу открытку, за которую сердечно благодарю. Получил два письма от отца, в которых он указывает на сильную болезнь. Я прилагаю все усилия, чтобы получить отпуск и съездить к нему. Не знаю, что с этого получится. Вчера дал телеграмму, в которой просил сделать телеграмму с подписью врача о моем выезде. Я рад и доволен вашему свиданию с Сашей. Но еще узнал, что Саша болеет. Сейчас никак не могу успокоиться и живу надеждой, как бы встретиться с отцом. Здоровье мое ничего. Пока. До свидания. Привет мамаше и сестре Вере. Целую вас крепко. Только что получил отпуск на 6 суток, так что поеду к отцу. Сообщаю, что уже скоро заканчиваю курсы, а потом куда пошлют – не знаю».

18.04.1943

Дочке Вере в школе дали такую справку:

«Дана ученице НСШ № 31 3-го класса Мороз Вере в том, что она действительно нуждается в обуви. Справка дана для предъявления в Горсовет».

Подписали директор З.Коробова и классовод А.Федосова.

19.04.1943

Пишет мой брат Шура из Бугульмы в Ижевск:

«Здравствуйте, дорогие Шура и племяннички Верочка и Борик!

Голова наполняется мечтами о встрече с отцом, заставила меня вспомнить о всем прошлом с самого Сновска. И вот я доехал. Нашел тот дом, где проживает отец. Зайдя в домик, я встретился с отцом. Сильно и очень сильно меня удил его вид. Жизнь сильно измотала беднягу, и теперь он совсем белый, сильно похудел и приобрел старческий вид. Тяжелое впечатление произвела на меня эта долгожданная встреча, которую добивался и ждал на протяжении этих почти двух лет. Кратко ознакомился с обстановкой и жизнью. Но, увидев эту обстановку, в которой находился отец, и его вид, и состояние – мне стало ясно без слов, как бедствует бедняга отец. Раздетый и разутый не имеет, как видно, и куска хлеба. Меня это встрясло и обидело, что отец шести сыновей находится в таком положении. Проводил его на работу, посмотрел на его вид – прямо страшно. Походка шаткая, еле передвигаясь идет отец на работу. Работает в полутора километрах от дома на водокачке. Завтра пойду посмотрю, что за производство. Еще мне обидно то, что в настоящий момент я ничем не могу ему помочь. Я сейчас учусь, получаю немного денег, но с такими ценами, как у нас, этих денег на 3–4 дня. В Уфе, надо сказать, особенная дороговизна, в два



раза больше, чем в Бугульме. Но я скор закончу учебу, отправят или сразу на фронт, или с некоторой задержкой. Тогда, конечно, можно будет помочь гораздо лучше. Представляю, дорогая Шура, как пробиваетесь в жизни вы с детьми. Но что меня еще очень мучает – это плохое состояние здоровья отца. Посмотрел я на его вид – не могу понять, как он будет существовать дальше. Подсчитал он мне свои расходы, так не хватает даже одной картошки на каждый день пропитания от получки до получки. Никак не может настроить жизнь на хотя бы приблизительно похожую на человеческую. Жаль и очень жаль мне беднягу отца, который так сильно изменился: побелел, постарел и похудел. Пришлось поговорить с отцом немного, но пробуду здесь еще до 23-го. Разберу все темы: про маму, Сашу, Ваню и остальных. Читал ваше письмо и Верочкину открытку. Я не могу представить, как изменился Саша сейчас. Да, изменились мы все очень и очень здорово. Я, сидя за столом, ручкой с пером пишу всем родным письма из того дома, где произошла наша встреча с отцом. Этот домик в каком-то затрапезном, грязном, большом селе, но не городе, свел наши судьбы для встречи. Ожидайте еще письмо из этого домика. Это первое письмо, в котором я расстроено, волнуясь, спешу описать то, что увидел в первый момент нашей встречи. Очень хотел бы хоть на денек повстречаться с вами. Вы живете или только существуете? Привет всем вашим родным. До свидания, дорогие Шурочка, Верочка, Борик. Целую вас крепко. Пишу сильно

расстроенный, поэтому очень неаккуратно, за что простите. Целую вас, ваш Шура».

20.04.1943

Пишу открытку жене в Ижевск:

«Получил твою открытку, пишешь, что собираешься в колхоз, что трудно, устаешь на работе. Оно понятно, на одном хлебе жить трудно. Ты, Шура, загоняй барахло, покупай еду. Вчера купил себе пол-литра постного масла за 100 рублей. Сегодня встретил Сновского товарища Гладкова. Он рассказал, что Иван Минчик убит, Коленченко А. получил медаль, Носовицкий тоже. Бортников где-то около фронта в паровозной колонне. Утыро женился на заведующей столовой Федорович, у которой ты работала. Сам Гладков живет в Котласе, здесь он в командировке. Значит, голова твоя уже не болит? Ты жаловалась перед этим. Привет колхозникам».

В то же время жена Шура пишет мне в Акмолинск:

«Почему долго нет писем? Забыл нас или что у тебя не ладно? В эти дни я чуть не заболела от переживаний за тебя, как ты там в больнице. Весь день болит голова, чувствую себя плохо. Кроме основной работы ежедневно еще грузим шихту в вагоны сверхурочно. Сегодня тоже грузили – пришла домой в 12 дня, немного поспала, потом варила суп. Легла еще. Вера будет дежурить, чтоб я не проспала. Батька пишет, что из больницы уже вышел. Обижается: никто не пи-

шет. Никак не достану обувь для Веры».

22.04.1943

В открытке я пишу жене:

«Вчера получил твое письмо за 5 апреля, ты пишешь, что узнала о моей болезни. Теперь я уже работаю и почти здоров. Пишешь, нужно питание. Я эту песню слышу и от докторов, и от знакомых знатоков. Получил карточку на диетпитание. Еда – ничего, но мало. Раза 2–3 в неделю варю супы, но крупы на исходе, а купить трудно. Из больницы я писал тебе часто. Не знаю, как письма опускали в ящик, и все ли ты получила. А если получила, то там описана вся моя история болезни. У нас тепло. От тебя жду письма, а приходят только открытки, да и то редко. Задаю вопросы: ходила ли в колхоз, получила ли обувь Верочке? Вчера получил письмо от Шурки и ответил ему. Будьте здоровы, целую всех».

23.04.1943

Пишет брат Шура мне в Акмолинск из Бугульмы, где встретился с отцом:

«Здравствуй, дорогой, любимый брат Саша! Пишу из Бугульмы из дома, где живет отец. Дорогой Саша! Вот попрощался я с отцом и сейчас жду опоздавшего поезда и решил продолжить тебе письмо. За эти 5–6 суток встречи с отцом, которая произошла довольно случайно в каком-то городишке, похожем на порядочное село, Бугульме, за это короткое

время мне удалось познакомиться с жизнью отца, которая на меня произвела очень тяжелое впечатление. Всего несколько месяцев жил он довольно крепко, и если бы жил, сам распоряжаясь своим имуществом и деньгами, то всего этого хватило бы очень надолго – как питания, так и одежды. Однако его сильно объегирили, обманули «принцессы», приехавшие с ним. Теперь он остался, как «на бобах». Из всех проведенных дней у отца двое суток я сильно приболел. Двадцати лет еще нет, но уже не сильно крепче отца мое здоровье. Хотели положить в госпиталь, но я отказался. Сейчас, как полупьяный, ожидаю поезда. Но главное, что я ни в чем не мог помочь отцу в настоящее время. Сейчас я учусь и кроме того, что имею на себе, у меня ничего нет. Приеду в Уфу и сразу сдам госэкзамен, а там куда направят, вернее, в распоряжение какого-либо фронта. Возможно, конечно, пошлют на формирование, это было бы очень хорошо. Мог бы сам немного окрепнуть и поддержать отца. А сейчас пока, до скорого свидания. Целую крепко, твой брат Саша – меньший».

25.04.1943

Я писал жене Шуре, что получил ее письма № 11, 13, 14 и на них отвечаю:

«Спасибо за участие ко мне, но плакала ты зря. Зачем расстраивать себя? Я с 12 апреля работаю и здоров, хоть не совсем, но сравнительно хорошо себя чувствую. Насчет своих продовольственных дел я писал, не буду повторяться. Ты в

открытках настойчиво пишешь, чтобы я забрал вас к себе. А я не чувствую себя постоянным здешним жителем. Вчера пришло распоряжение откомандировать в город Шахты двоих наших работников. Ты, верно, читала указ о переводе железной дороги на военное положение? Я очень боюсь, что вы приедете сюда, а меня пошлют куда-нибудь. Старайся, Шура, еще на эту зиму устраиваться в Ижевске. Сади картошку. По всему видно, что я тут ненадолго, куда-нибудь перебросят. Насчет увольнения обратись к прокурору. В крайнем случае, чтобы перебросили на другую работу. Целую вас всех».

В этот же день отвечаю дочке Верочке на ее открытку:

«Твое пожелание выполнил: уже здоров, из больницы вышел и работаю. Сегодня выходной, на улице грязь, дождь. Починил ботинки и еще кое-что. Ну, как дела с ботинками, с платьем? Молчишь, значит еще не дали. Как живешь, Верочка? Чем обедаешь и каждый ли день? Мне интересно знать. Когда заканчиваете учиться и как твои успехи? Была ли у вас бабушка? Говоришь, Борик хлеба просит? Бедные вы мои детки, плохо вам приходится. Ну, ничего. Скоро кончится война, тогда заживем все вместе и наедемся вдоволь хлеба. Я получаю 500 граммов в день и мне этого мало. Получил письмо от дяди Шуры. Он очень хвалит тебя за твои письма. Ну, пока. Твой папа».

26.04.1943

По поводу выдачи мне хлебной карточки на 500 граммов как бухгалтеру, а не как главбуху, мой начальник и я сам обращались в ЦТЧ НКПС с просьбой урегулировать вопрос о наименовании моей должности. Главный бухгалтер ЦТЧ Никитин, продолжая именовать меня главным бухгалтером, ответил мне так:

«Главному бухгалтеру Картранстопа г. Акмолинск, Управление Карагандинской железной дороги. Центральное Управление Паровозного хозяйства НКПС направляет вам для сведения копию разъяснения Организационно-штатного Управления НКПС от 01.04.1943 № 17048/26: «Московское городское Карточное бюро, ул. Кирова, д. 25, Хозяйственное управление НКПС. В связи с имеющими место недоразумениями с выдачей и обликом продовольственных и промтоварных карточек главными бухгалтерами организаций, предприятий и учреждений НКПС, организационно-штатное Управление разъясняет: главные бухгалтера центральных управлений, объединений и отделов НКПС, а также Управлений дорог, служб и всех без исключения периферийных организаций НКПС, являются руководителями бухгалтерии на правах начальников отделов. По постановлению СНК СССР № 72 от 29.09.1932 органы бухгалтерского учета являются самостоятельной частью организаций, предприятий и возглавляющие эти части главные бухгалтера в административном отношении подчиняются непосредственно только руководителю данного предприятия или учрежде-

ния, и пользуются правами инженерно-технических работников. На этом основании главные бухгалтера по железнодорожному транспорту приравниваются по заработной плате и по снабжению к начальникам отделов организаций, предприятий и учреждений».

Проставлена печать, подписал начальник Организационно-штатного Управления Левашов.

Но вся беда была в наименовании моей должности, и этого не хотел понять главбух ЦТ Никитин.

28.04.1943

Из Акмолинска я пишу открытку жене Шуре:

«Был на почте, писем нет. Идет дождь. Был у врача – он дал направление на комиссию по поводу диетпитания на май. Хоть бы дали, а то вчера съел рассольник и сегодня мешки под глазами, и голова болит. Паршивая болезнь – почки. С нашей службой что-то должно измениться, тогда напишу. Хожу в туфлях и галошах, ботинки берегу. Позавчера была такая буря, что в Управлении снесло крышу со стропилами, но никого не убило. Я таких ветров еще не видел. Целую вас всех. Привет колхозникам».

В открытке я пишу о буре, сорвавшей крышу. Да, зрелище, которое мы наблюдали утром, напоминало последствия вражеского авианалета или артобстрела, и не верилось, что это работа ветра. Точно легкий ковер крыша была сорвана, перенесена им и валялась за дорогой в нескольких метрах от

здания.

29.04.1943

Кончался апрель, и пора было думать о посеве. Заместитель начальника Лаврищев Иван Филиппович был одинок, тоже жил в общежитии и был склонен заняться огородничеством, как и я. Естественно, я держался в этом деле связи с ним, как с лицом авторитетными и знакомым с правилами огородничества.

Записка Лаврищева:

«Товарищ Лопарев. Убедительно прошу указать товарищу Морозу, где можно посадить картофель. Я сам лично не могу прийти – болен сердцем, врач запретил».

01.05.1943

Мой брат Шура в Уфе пишет письмо моей дочке:

«Здравствуй, дорогая племянница Верочка! Прежде всего, хоть и поздно, поздравляю тебя с 1 Мая, желаю наилучших успехов в учебе и жизни. Сегодня 1 мая, и я пишу тебе, находясь в санчасти. После сильной боли стало лучше. Третий день держится нормальная температура, и чувствую себя хорошо. Болезнь признали малярией, сильно она меня потрепала. Так что 1 мая проходит обычным днем, как и праздники 8 марта и 23 февраля. Совершенно ничем не отметил. Как встретили вы 1 Мая? Давали вам что в день праздника? Ну, ничего, дорогая Верочка, все еще впереди. Кончится



война – это будет самый большой праздник. Если останемся живы, то соберемся вместе за одним столом. Учиться я закончил. Сейчас сдают госэкзамены, но я вчера не сдавал, ибо еще нахожусь в изоляторе. Как будет дальше – не знаю. Придется сдавать после выздоровления. Куда пошлют после окончания, пока неизвестно. Потом сообщу отдельно. А пока до скорого счастливого свидания. Помогай маме и смотри за своим братиком Бориком. Как пишет Саша про свое здоровье? Я получил от него только одно письмо. Привет маме, Борiku, бабушке и Вере. Целую вас всех крепко. Твой дядя Шура. Не забывай, пиши».

Я в этот день пишу жене Шура:

«С праздником, мои дорогие! Шура, почему не пишешь? Твою открытку получил 25 апреля, и после нее ничего нет. И сегодня был на почте – тоже ничего. Сегодня тепло, даже жарко. Карточку на май на хлеб дали по 500 граммов в день. На диетпитание на май тоже дали карточку. Премировали из Москвы за хорошую работу по отчетности деньгами – 500 рублей. Послезавтра пошлю тебе 300 рублей, а двести оставлю, может что куплю. Вот беда, ничего нельзя купить из круп и муки. Знаю, что тяжело вам, бедным, и недоедаете вы, а помочь вам, кроме этих грошей, что высылаю, не могу ничем. Хотел пройти по городу, да ноги побаливают, поверчусь около общежития. Целую всех. Пиши».

02.05.1943

Жена Шура пишет мне длинное письмо:

«...Идет дождь. Вера в школе. С Бориком напилили дров. Прилегла, болит голова. Сварю детям суп, кое-что подлатаю. Плохо у тебя с обмундированием, нужно было тебе взять у меня пиджак (я его не продала) и шинель тоже. Приедешь – заберешь их, да и сандалии тоже. Наверное, ты смешной стриженный. Отрасти и приезжай с волосами. Деньги, два раза по 200 рублей, я получила. Деньги за бюллетень мне не шли, тебе нужно поддержать себя. Дрова, когда подсохнет, перевезу – возчик из деревни, где Вера живет, обещал. Но не знаю, куда везти. Хозяйка сказала, что после 15 мая выбросит все мое на улицу. Сама не знаю, что делать, квартиры трудно найти и дорогие – 200 рублей, мне такая квартира не под силу. Последнее время мне хозяйка жить не дает, за все придирается. Как-то пришла я с работы, дети голодные плачут. Сварила, накормила. Вера с Бориком затеяли ссору из-за ручки, обоим приспичило писать. Я ручку от Веры забрала, она стала ругаться со мной. Я замахнулась и чуть только ее задела, она стала плакать. Тут выбегают хозяйки: молодая и старая, и давай меня всяко ругать за то, что я до смерти избиваю детей. Вызвали десятидворницу, та спросила у детей, была ли я их сейчас, дети ответили, что нет. Хозяйка говорит: «Пойду жаловаться на тебя в Райсовет и в милицию». Я хозяйке сказала: «Вы хотите меня выселить и потому придираетесь». Но мало того, что выселяют с квартиры, так Вася

еще не хочет, чтобы я ходила в деревню: «Нечего тебе там делать, ты нашу жизнь разбиваешь». Я ему ответила: «Я вашу жизнь не разбиваю, живите себе на здоровье». А в деревню ходила и ходить буду. Вот такие у меня дела».

Далее пишет, что перспектива еще зиму жить одной ее не радует. А перейти даже из цеха в цех трудно, хотя еще не просила.

«...Бабушка не приезжала к нам, Вера ей отсрочила паспорт. Вообще, дети насчет еды молодцы, любят покушать. Пиши, не забывай нас, от твоих писем как-то веселее на душе. Завтра напишу еще».

03.05.1943

Жена Шура в открытке описывает, как прошел день:

«Дали стахановский талон как одной из лучших работниц. На выходной ходила в деревню, приветы тебе от них. Шурик пишет, что 18 апреля поехал к отцу в Бугульму. Батяка в больнице, у него туберкулез».

04.05.1943

Я пишу жене Шуре письмо:

«Получил три твоих письма, они не обрадовали меня. Значит, хозяйка подает в суд? Но раз ты не виновата, то не бойся. Скажи на суде, что она все выдумывает, чтобы выжить тебя с квартиры. От предложения отчима ехать к нему – мало радости. У меня голова пошла кругом. Забирать вас

к себе, но куда и надолго ли? Жду из Москвы утверждения меня главным бухгалтером, и тогда буду получать 800 граммов хлеба, а не 500, как теперь. И вообще, должно выясниться положение с нашей инспекцией. Тебе, Шура, я советую оставаться в тех краях, перебраться куда-нибудь в колхоз. А на следующий год, может, поедем в родные края. Обратись к прокурору насчет освобождения по Указу от работы на заводе. Я тебе уже писал об этом, но не знаю, получила ли ты то письмо. Насчет квартиры обратись в Горсовет, расскажи про нападки хозяйки, попроси помощи. Конечно, там жить дальше будет очень трудно. Ты пишешь: «уехать бы хоть куда, лишь бы уехать». А думаешь, тут хорошо? Везде, брат, одинаково. Ты не получаешь моих писем? А может хозяйка их перехватывает? Буду посылать заказными».

Пишу о своем здоровье, о питании, о том, что побаливают ноги и поясница.

«...Настроение и от болезни, и от нехороших известий от тебя неважное. От Шуры из Уфы получил письмо, от отчима нет. У нас уже распределяют огороды. Держись, Шура, держи детей. Насчет меня меньше всего беспокойся, я уже почти здоров».

В этот же день жена Шура в открытке пишет о получении моего письма № 20 от 16 апреля.

«...Получила зарплату за первую половину апреля 230 рублей. Внесла за семена картошки 96 рублей, буду садить,

если дадут. На рынке картошка 900 рублей за пуд. Работаю хорошо, особенно в дневную смену. Закончу писать – лягу спать. Борик уже спит, Вера пишет тебе открытку. Сейчас десять вечера. Пока все здоровы. Борик ходит в детсад, Вера в школу, а я на работу. Вера и Борик очень гоняются за едой, и все спорят, кому дали больше, а кому меньше. Целуем все. Шура».

06.05.1943

Жена Шура пишет мне в Акмолинск:

«Рад, что ты поправился. Сегодня получила четыре твоих письма и открытку от Шурика. Видишь, сколько сразу. Пишу тебе открытки, конвертов нет. Напрасно выслал деньги, я же просила не слать, а поддержать себя. И на следующую получку послушай моего совета и не посылай нам денег. Мы не голодные. Верочке с 1 мая дали пропуск в столовую, где она может кушать два раза в день и даже с хлебом, а вечером я что-либо варю. Ты пишешь, что ты беспризорный, всеми заброшен. Это неправда – я о тебе думаю день и ночь и не дождусь того счастливого дня, когда мы снова будем жить вместе. Я на твои письма не обижаюсь, в каком бы духе они не были писаны. Мне все, пожалуйста, пиши, как есть на самом деле. Я все буду знать, и это лучше для нас обоих. Хорошо, что ты встретил знакомых, а я тут никого не встречаю. Голова уже не болит, работаю с 8 утра до 5-ти вечера, а потом сверхурочно до семи. Ботинки Вере пока не дали, как

и платье. Обещали через три дня, а когда Вера пошла – ей не дали, а я работала в этот день. Получишь деньги – купи пшеница или муки. Я-то могу найти выход: либо продам что, либо в деревню схожу, а тебе кто поможет? Смотри, не посылай деньги, а то верну. Шурику дали шесть дней для поездки к отцу».

В этот же день мой брат Шурик пишет мне в Акмолинск: «Здравствуй, дорогой Саша!

Прими мой горячий привет и пожелание наилучшего здоровья. Дорогой Саша, получил твое письмо, за которое очень благодарен. Был у отца шесть дней, два-три дня переболел, ибо сильно был расстроен положением отца, и, приехав в Уфу, меня положили в санчасть: проболел до 2 мая, а 1 мая просидел на койке – трепала малярия. Сейчас здоровье поправилось, чувствую себя хорошо, но слаб. Принимаю железные пилюли и хину, от чего пожелтел. Сдаю испытания, осталось еще два и все. Скоро вовсе закончим, куда пошлют, еще не знаем, потом сообщу. Саша, я направил рапорт по своей части о создании каких-либо мер для улучшения материального положения отца, чтобы они действовали на местные власти, не знаю, что получится. Статью в «Правде» про Корюковку я тоже читал – ужас! Располагаются наши курсы в центре города. Ходим иногда в кино, театр, но редко – не пускают. В Ижевск попасть я не мог никак, ибо маршрут нашего действия не стоял на том пути. Очень хотел бы пови-

дать твою семью: Шуру, Верочку, Борика. На улице чувствуется весна, распустились почки и зеленеют деревья. Очень хорошо. Только не совмещается весна с войной. Интересно, как ты провел 1 Мая? Давали что-нибудь у вас на праздник? Я же сказал о своем праздновании. Так провел и 23 февраля, и 8 Марта. Одним словом, проведем праздник по окончании войны. Это будет действительный праздник. Пока, до свидания, до скорейшей счастливой встречи. Целую крепко. Шура. Уфа».

Я пишу жене Шуре:

«Получил три твоих открытки и две от Верочки, идут пачками. Вам из больницы писал через день – или их не опустили, или хозяйка перехватывает. Сколько ни прошу тебя писать дату и номера моих писем, полученных тобой, ни черта не выходит. Я твои, до 18-го включительно, получил все. Почки распускаются, лук свежий продают».

Спрашиваю о суде, затеянном хозяйкой: «Вот сволочь какая! Что с квартирой, с огородом? Потерпи, моя дорогая, больше терпели – осталось меньше. Ты, наверно, читала, что наши налетают на Гомель, Оршу, Минск. Скоро этих паразитов вышибут, и мы заживем вместе. Ты все пишешь, что забыл вас – вот чудачка, нет и дня, чтобы я о вас не думал. Ты, да дети – единственное, что у меня осталось в жизни. Больше ничего не осталось. Были книги, которые я с таким трудом годами покупал и собирал, и в которых любил копать-

ся – все проклятая немчура отняла. Конечно, все пропало. А я, балбес, еще жалел Борику дать энциклопедию вырезать картинки. Я уже писал, что в Корюковке немцы сожгли все, осталось 30 домов. Как там в Сновске моя мать и Анька! Я их тоже вспоминаю. Верочке отвечу завтра. Она тоже не все мои получила. Это, наверно, работа ваших хозяев: вынимают из ящика и не отдают. Привет колхозникам. Бываешь у них?».

08.05.1943

Жена Шура пишет мне 26-е письмо в свой выходной:

«Борика перевели в среднюю группу, где продуктов дают больше, но все равно, придя домой, скорей требует еду, да ругается, что мало даю, и чтоб я больше не съела. Вера, в свою очередь, кричит, что ему даю больше, чем ей. В общем, поесть любят и капризные стали. Была на открытом парт-собрании, где выступал начальник цеха. Много интересного услышала, почаще бы такое. Деньги, 250 рублей, я получила. Здесь снова старая песня – зачем слал? Сейчас пойду на дележку земли под посев. За Бориса заплатила 110 рублей за два месяца. Спрашивала кое у кого насчет квартиры: одна хочет получить за год вперед. За починку Вериных ботинок отдала 25 рублей. Привет тебе от колхозников. Они купили себе козочку и поросенка, хлеба у них хватает».

09.05.1943



Жена пишет, что была на поле и получила участок как будто прошлогодний.

«...Семян пока нет, но обещают. Многие были с мужьями – обидно, куда не идешь, все одна. Получила твое 24-е письмо, спасибо, что часто пишешь, я только ими и живу. Я уже решила, что до конца войны никуда не поеду. Пришла с огорода, покушали, я легла спать часа на два, Вера обещала разбудить. Проснулась от гудка. Смотрю, мой дежурный уснул, хорошо, что сама проснулась. Бегу на работу. Крепко целуем тебя».

10.05.1943

Жена Шура пишет:

«Шлю тебе горячий привет! Получила из Бугульмы от Шурика письмо о встрече с отцом. Отец белый, худой, полураздетый, и он ему ничем не может помочь. Шурик хочет увидаться еще с нами. Я вот отцу 200 рублей так и не выслала, надо будет сделать это. Я очень рада, что Шурик увиделся с отцом, сколько времени они не видели друг друга. Правда, встреча эта в бедной обстановке была, но что поделаешь, нужно пережить трудности. Интересуюсь, какую тебе дали карточку на май. У нас тепло, но вот беда – нет платья, джемпер порвался. На ноги наматываю тряпки и надеваю галоши. Ногам жарко. Вера дала бы что-то, да боится Васи, не хочет скандала. О переводе на другую работу я не просилась, кто просился – тем отказано. Работаю на старом месте. Бы-

ло собрание: одна работница прогуляла 4 смены и ее крыли. Мастер обещал отдать под суд. Не знаю, что ей будет. В пятницу, 14 мая, если что не помешает, то поеду с Бориком к своим колхозникам. Сегодня пришла с работы и хотела идти на участок, но устала и заснула, пойду завтра копать. Пиши, как твой начальник к тебе относится, обо всем пиши, все интересно. Сегодня на работу на ночь, хоть бы не проспять. Саша, у нас 17-летней очень хорошенькой девушке оборвало палец на левой руке. Это накануне 1 мая. Наш цех № 27 занял первое место по авариям, много несчастных случаев у нас. Работают с нами красноармейцы, раненые на войне. И вот, одному из них в первый день работы оторвало 4 пальца на левой руке. На фронте он был ранен в ногу, и она зажила. А вот тут – пальцы. Он, бедняга, зажал здоровой рукой большую и бежит в «скорую помощь». Так жаль его. Вчера читали приказ, кто сбежал с работы и был дезертиром, то им пять лет тюрьмы. Многих я знаю. Молодые девушки и почему-то не работали, не помогали стране в критический момент, когда она переживает такие трудности. И верно сделали, что засудили таких паразитов. Должна же быть дисциплина на производстве. Так им и нужно».

Письмо это, как и все на Акмолинск, было адресовано на главпочтамт до востребования.

Получив разъяснение от главбуха ЦТЧ НКПС товарища Никитина, я послал в Москву письмо:

«Главному бухгалтеру ЦТЧ товарищу Никитину.

Получил ваше разъяснение № 233621/215 от 26.04.1943 о приравнении главных бухгалтеров по нормам снабжения к начальникам отделов. К сожалению, я не главный бухгалтер, а просто бухгалтер, за мной этих прав в Акмолинске не признают, и я получаю хлеб и продовольственные карточки, как служащий. Документом, на основании которого карточное бюро выдает карточки, служит штатное расписание. Кроме того, ставлю вас в известность, что в факсимиле, представленном нами в Госбанк, мы указали должность главного бухгалтера, руководствуясь телеграммой ЦГП товарища Волкова № 4827 от 06.11.1942 о назначении меня главным бухгалтером. И, при обнаружении расхождений между факсимиле и штатным расписанием, Госбанк может прекратить операции по нашему расчетному счету. Так как штатное расписание и смета на 1943 год нам еще не высланы, то я прошу вашего ходатайства о внесении в расписание должности главного бухгалтера вместо рядового бухгалтера с оставлением прежнего оклада. В случае согласия и при дальнейшей задержке высылки штатного расписания на 1943 год просьба дать телеграмму».

11.05.1943

Я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Последнее письмо от тебя получил 4 мая, и вот прошла неделя, а от тебя ни слуху, ни духу. Пишу тебе новости за по-

следние дни. Сейчас вечер, около восьми часов, будет дождик, никуда не пойду. Послушаю известия, допишу письмо и спать. Встаю в пять утра, поэтому рано ложусь. К тому же не всегда удается поужинать и норовишь раньше заснуть. Получил письмо от Шурика из Бугульмы, он пишет перед отъездом от батьки. Батька живет неважно, даже плохо. Здоровье мое в порядке, поясница и ноги побаливают. Ишиас дает себя чувствовать. Май я проживу хорошо с диетпитанием, а что будет в июне, не знаю. По карточке служащего талонов на ежедневный обед не хватает, да при 500 граммов хлеба трудновато. Послал сообщение в Москву об увеличении мне пайка. Напоминаю о посланных 300 рублях из премии за хороший отчет. Кончается пшено, и теперь его купить трудно. Как подумаю о ваших продуктовых делах, так сразу падает настроение. Как ни крути, еда – вопрос важный. Жду от тебя хороших новостей и насчет работы, и квартиры, огорода, дров, что не голодаете. Но это мечты, а действительность не так отрадна, как хочется. А тут еще эта выдумка твоей хозяйки с судом. В общем, Шура, до поездки к вам я получал от вас письма более отрадные, чем теперь. С огородами у нас горячка: все что-нибудь садят. Я тоже собираюсь. Есть земля, но нет семян, лопаты. Землю дали – целину, копать трудно. Дал 8 рублей на лопату без черенка, а черенок достать – целое событие, лесов тут нет. Целую всех».

15.05.1943

Я в письме в Ижевск к жене Шуре пишу, что получил от нее открытку и рад, что им кое-что дали к празднику 1 Мая. Далее я описываю, как провел праздник.

«...Почти здоров, но ноги и поясница побаливают. Занят огородничеством. Такая развернулась кампания, что почти нет человека, не сеющего что-либо. Моему зам. начальни-ка Лаврищеву и мне дали на двоих 200 квадратных метров целины недалеко от речки, и мы уже три дня копаем и никак не закончим. Во-первых, он старик, ему 60 лет и болен сердцем, а я, хоть и помоложе, но тоже мучаюсь с ногами и поясницей. В воскресенье думаем посадить бураки, морковь, гарбуза семечки, Горох, чечевицу, огурцы, укроп. В общем, много чего. Семена уже имеем, часть достали на рынке, часть дали. Имеем лопаты, заплатили по 18 рублей. Вот как поливать будем? Нет ни ведра, ни лейки. Не знаю, долго ли я здесь буду, но рискнуть можно. Может что и придется получить с огорода, и это будет большая поддержка, потому что по столовке с 500 граммов хлеба долго не протянешь и совсем обессилишь. Ответа из Москвы на мои вопросы пока нет. Как у тебя с огородом? Вот было бы счастье, если б через Горсовет тебе дали квартиру. Послал 150 рублей за первую половину мая, себе оставил 100 рублей. Не знаю, как буду жить в июне без диеткарточки. Но все это ерунда. О вас голова болит. Мои гроши мало вам помогают, а больше у меня нет. Получила ли ты 300 рублей, посланных из премии? Подержитесь еще немного, и заживем, как прежде. А

жили, кажется, неплохо: не дрались, не ругались. Проклятущий Гитлер разбил нашу счастливую жизнь, чтоб он подох скорее. Целую вас всех. Привет колхозникам».

18.05.1943

Я пишу жене Шуре:

«Получил твои праздничные письма. Рад, что ты 1 Мая гуляла. Вчера мы со стариком Лаврищевым посадили морковь, бураки, горох, чечевицу, огурцы. Что я огородник, я писал тебе. Сегодня хотел идти поливать, но поднялся холодный и такой сильный ветер, что с ног валит. Вообще ветра тут сильные. Раз был ветер – в тот день сорвало крышу с управления – я вышел из Управления и идти не могу. Потом постоял немного и потихоньку кое-как добрался до общежития. И я не один так, а все: идут и встанут, потому что нет сил двигаться против ветра. Я сделал вывод, что из квартиры тебе надо уходить, так жить дальше невозможно. А может хозяйка хочет, чтоб ты больше платила? Обратись с заявлением в Горсовет. Я жду ответа из Москвы, и посмотрю, оставаться ли здесь или просить перевода, например, в Агрыз. Тебе же, Шура, нужно приготавливаться к зиме и жить в Ижевске. Устраивайся как тебе лучше. Во многих письмах ты пишешь, что пойдешь к колхозникам, и все тебе не удастся. Когда будешь у них, спроси, получали ли они мои письма. Возможно, они моих писем из больницы не получили и поэтому не отвечают. Даже дочка и та ленится писать. При-

вет колхозникам. Целую всех вас».

19.05.1943

Брат Шура писал моей дочке:

«Здравствуй, дорогая Верочка! Прими мой горячий командирский привет и пожелания тебе самого хорошего в твоей еще молоденькой жизни. Недавно получил от тебя письмо, за которое очень и очень благодарен. Когда получаю от тебя письмо я со всей охотой и большой радостью читаю его несколько раз и доволен. Я помню совершенно маленькую Верочку, к которой я в Щорсе ходил на Черниговскую улицу. Теперь ты, очевидно, стала большой, и пишешь мне красивые и грамотные письма. Большое спасибо, дорогая племянница, за твои письма, и в дальнейшем надеюсь закрепить нашу переписку. Живу я еще в Уфе. Закончил курс науки уже давно. Теперь ждем со дня на день приказа. Однако, когда получим – неизвестно, и пока продолжаем помаленьку заниматься. Здоровье мое значительно укрепилось после малярии. Меня интересует и как поживает, и какое здоровье твоей матери, которой приходится очень тяжело. Как чувствует себя Борик? Я его помню совершенно маленьким, который в Сновске еще только начинал ходить. Тяжело вспоминаю положение отца, которому в данный момент ничем не могу помочь. Но ничего, возможно, после выезда из Уфы, с курсов, я скорее смогу получить аттестат. Чем смогу, конечно, буду помогать. А пока до свидания, Верочка.

Горячий привет твоей матери и Боречке. От Саши недавно получил письмо. До скоро радостного свидания. Твой дядя Шура».

Жена Шура в этот день пишет мне пространное письмо:

«Мои новости: мне дали участок на посев 16 мая, получила два пуда картошки по 3 рубля килограмм, заплатила 96 рублей. Участок вскопала, 18 мая посадила картошки больше половины. Хотела вчера посадить остальную, но было холодно и не было лопаты, все заняты. Но вот, Саша, с участком дела получились неважные. Когда делили, я тоже там была, попросила свой старый участок, и мне его дали. Поставили мою бирку. Я немного покопала и ушла домой. Через два дня пошла и стала копать с той стороны, где начала, а потом обнаружила, что другой конец моего участка вскопан. Но я продолжала копать, вскопала большой кусок и ушла, мне надо было на работу. Придя на работу, заявила человеку, распределявшему участки, про такое дело. Он сказал, иди завтра на огород и все вскопай. Назавтра вскопала, заявила в местком. В месткоме сказали, как только получишь картошку, старайся скорей посадить. 17 мая получила картошку, но был дождь, и я пошла 18-го. Пришла, а там, на участке, моя табличка сломана, а поставлена «91-й отдел, Палкина». Я пришла с картошкой и стала садить, а новую табличку взяла с собой и снесла в местком. Местком заверил, что участок мой. Позвонили и выяснили, что есть такая, но



она не с нашего цеха и сейчас на больничном, и мне велели досадить свой участок. Вера в школе, Борика я 14 мая увезла в деревню. После работы в четыре часа сели в теплушку и часов в семь поехали. Приехали, еще видно было. В деревню нас шло человек пять. Был паренек, которому Борик понравился, он ему рвал цветы, на руках его нес. Мы скоро дошли. Бабушка нас ждала, накормила горохом и молоком. Борик сразу уснул, а мы говорили. Утром, покушав, занялись огородом, грядками, посадкой, а потом обед. Попилили дров. На утро, очень рано, я пошла на станцию. Мне дали муки десять фунтов, два литра молока, булку хлеба, больше у них ничего нет. Но вот беда. Мама мне сказала привезти Борика, а Вера, видимо, не знала и говорит: «Зачем привезла, у нас сейчас с хлебом трудно», и хотела, чтобы я его забрала обратно. Но мне нужно было к часу на работу, и с Бориком я бы опоздала. И вот, мы с мамой договорились, что через неделю я приеду за ним. Когда пришла на станцию, поезд ушел, а когда следующий – неизвестно. И я пошла пешком, дома была в 10 вечера, покушали, я с час поспала и ушла работать. Болели ноги, чуть доработала смену. Дали мне ордер на юбку трикотажную вязаную, надо получить. На работе получаю стахановский талон. Борика нет и хлеба хватает. На дворе тепло, все зелено. Подала заявление на казенную квартиру, вроде обещают, но, когда и что будет – неизвестно. Целуем».

22.05.1943

Мой начальник Тимохин подписывает письмо, которое делопроизводитель Тихоновецкая отсылает в копии моей жене Шуре:

«г. Ижевск Удмуртской АССР, директору завода № 71, копия гр. Мороз Александре Харитоновне.

Прошу вашего распоряжения об увольнении с вверенного вам завода работницы цеха № 27 Мороз Александры Харитоновны ввиду ее переезда к мужу в Акмолинск. Семья товарища Мороз состоит из жены и двух малолетних детей 5 и 11 лет, была эвакуирована в 1941 году из г. Гомель БССР, материально очень нуждается во всем, и совместная жизнь облегчит их положение. О результатах прошу сообщить по адресу: г. Акмолинск КССР Управление Карагандинской железной дороги, начальнику инспекции НКПС «Картранстоп».

23.05.1943

Шура пишет мне из Ижевска:

«Вчера был у меня выходной, а я даже не написала тебе. Долго спала, потом получила хлеб, сварила суп, с Верой убрали комнату и ушли на базар. Купили мыла, щетку из рогожки за 15 рублей, пол-литра молока за 15 рублей, чесночка на 5 рублей. Придя домой, в три часа покушали. Вера, взяв кусок хлеба, пошла в столовку, а я уснула. В половине пятого пошли на среднюю улицу, где сдается квартира, но оказалось, что она не сдается. Пошли домой. По дороге нас застала гроза с ливнем, промокли. Дома переоделись в су-

хое, снова наварили супа, поели в полдесятого, и я уснула, оставив дежурить Веру. Дежурный уснул, и я его разбудила и пошла на работу к часу ночи. Придя с работы, решила тебе написать. Конец месяца, а мы программу не выполнили и придется работать по 12 часов. Пишу, а спать так хочется. Дopiшу и отнесу на почту. Вера с утра стоит в очереди за конфетами, пойду, посмотрю. В столовой съела два супа (по 40 граммов круп) и Вере несу хлеб, пусть идет обедать. Вечером варю суп. Живем без Борика хорошо, спокойно. Вере не с кем ругаться. Как договорились с мамой, я должна была поехать за Бориком, но меня не уволили, а выходной был маленький. Думаю, съездить в другой выходной, может, уволят. Ежедневно за хорошую работу получаю стахановский талон. Здоровье пока хорошее. Картошку, два пуда, посадила».

Далее Шура снова описывает ситуацию с участком, но более подробно и в несколько измененном виде:

«...С участком нехорошо получилось. Когда делили, я, вроде, указала на свой старый участок, и мне его дали. Поставили бирку, я немного вскопала и ушла домой. Спустя два дня пошла копать и увидела, что другой конец участка уже вскопан шагов на 25. Стою и думаю, что делать. Тут подошел бригадир, спросила у него, как быть. Он ответил: «Тебе дали, копай и сади». И я стала продолжать вскапывать. Назавтра пошла с Верой, докопала. 17 мая получила картошку, 18-го посадила, а 20-го закончила. Картошка хорошая, скороспелка. Но когда я пришла садить, то на месте моей сломанной

бирки стояла другая: «91 отдел, Палкина». Я взяла эту бирку и отнесла в местком, где мне сказали садить картошку. В пятницу, в шесть вечера, меня вызывают в местком. Там: наш завком, та Палкина, что мой участок копала, и еще начальник 91-го отдела. Они пришли с жалобой на меня, что я самовольно на их участке посадила картошку. А Палкина заявляет, что участок был вскопан ею чуть ли не весь, и что немножко оставалось докопать. Потом говорит, что это ее старый участок, она его осенью копала, хорошо обработала – лучше всех, что она придерживается Постановления Правительства и будет садить на старом участке. Ей завком предложил дать другой участок, а я ей помогу вскопать, но она не согласна и требует старый участок. Я, говорит, пересажу картошку. Ей этого не разрешили. Долго спорили. Наш местком говорит: «Я ей разрешил садить картошку, она мне заявляла, что покопан участок, и что это ее старый». Но эта Палкина свое: только дайте ей этот участок! Тогда завком переходит на ее сторону и говорит: «Отдать ей участок, а вам пусть дадут другой и просите себе картошку!». Конечно, я так не согласилась, ведь я столько потратила труда и времени, и все зря отдать! Поспорили еще немного, ни к чему не пришли. И вот, завком говорит Палкиной подавать на меня в суд вместе с месткомом и бригадиром. А мне говорит: «Конечно, вы здесь ни при чем, ответит за это местком». Но и я могу пострадать. Когда мы шли обратно с председателем месткома, то он говорит: «Не бойтесь, ничего не будет, в суд

они подавать не будут, а если подадут, то они не выиграют этим ничего».

Конец письма не сохранился.

В этот же день, в свой выходной, я пишу жене Шуре, что день жаркий, что на базаре выменял у казашки десяток яиц на чай. Но яйца мне, кажется, противопоказаны. Но если слушать во всем медицинские советы, то и штанов не хватит на еду, рекомендуемую ими. А за мои штаны с латками выручишь немного. На почте получил твое и Верочкино письма. Вчера послал письмо директору завода и тебе об увольнении тебя с завода. Какой будет толк, не знаю. Недавно получил письмо от Веры из колхоза. Пишет насчет Мужвая (прим. – деревня в Удмуртии). Вы, наверное, говорили на эту тему. Пиши, Шура, получила ли ты это письмо и какой результат? Я Вере тоже послал письмо и написал об этом. Ты пишешь, что детки кричат, мало даешь им есть – вот это меня и беспокоит, что впроголодь живут. О своем питании уже писал: 500 граммов хлеба и диетпитание. Сейчас прерву письмо и пойду на огород. Как я уже писал, нам (мне и старику зам. начальника) дали на двоих 400 квадратных метра земли около реки. Уже насадили огурцы, морковь, горох, чечевицу и картошку. Картошки нам дали на двоих 60 кг. Часть посадили здесь, а остальную где-то на земле в 7 км от города. На огородничество я уже израсходовал 100 рублей. На знаю, воспользуюсь ли урожаем, но рискну еще раз. У меня в 1941 го-

ду картошка в Гомеле пропала, в Воронеже в 1942-м тоже, а теперь как будет – не знаю. Начальника моего скоро забирают в Москву, а оттуда куда направят – неизвестно. Во всяком случае, урожаем воспользуется мой старик – он неплохой человек... Вот пришел с огорода. Поливал грядки, устал. Горох, чечевица, огурцы уже повывезали. В этом году как никогда все взялись за землю. Даже большинство холостяков. Ты, Шура, жалуешься, что на огород все вышли с мужьями, а ты одна. Та же картина и у меня, тоже один. Даже мой старик уехал в Караганду по службе. Но ничего, моя дорогая, скоро и мы будем вместе ковыряться, и дети будут вертеться около нас. Итак, получила ты 250 рублей, я после того еще послал 100, 300 и 150 рублей, получила ли? У нас картошка по 30–40 рублей килограмм, молоко 40 рублей литр, масло 500 рублей килограмм, яйца 70 рублей за десяток. Волосы уже отрастил, но еще стоят торчком. На лето придется еще остричь – так лучше, да и нет расчески. Иногда мне припоминаются картинки из нашей жизни. Интересно, поешь ли ты иногда? В Гомеле это было часто, и дети подтягивали. Все кажется, что похудела ты очень. И недавно, вроде, виделась, а кажется, что давным-давно. Жду от тебя хороших новостей. Хоть бы тебе удавалось все, как ты желаешь. Главное, чтоб ушла от Уваровых, от их нападков, обвинений, от запретов навещать своих родных и прочего, чем они тебя донимают. А сколько потребовала за квартиру та хозяйка, что хотела аванс за год вперед? Пиши, все интересно».

26.05.1943

Пишу в Ижевск жене Шуре:

«Здравствуй, Шура!

Получил твое 28-е письмо. Спрашиваю, как ты реагируешь насчет Мужвая, о чем писала Вера (сестра). Как вопрос с квартирой? Рад, что с кормежкой, по твоим описаниям, не так уж плохо. А может приукрашиваешь, чтоб меня успокоить?».

Далее отвечаю на ее вопросы о питании, здоровье, то есть о том, о чем писал ранее.

«...Купил себе полпуда пшеницы за 400 рублей, деньги кое-как наскреб: часть с премии, часть с зарплаты. Осталось только на обеды, но выкручусь. Вчера сварил пшеницу, вроде неплохо, но ее нужно долго пережевывать, варить тоже нужно долго. На огороде через день поливаю, ведро у нас есть. Есть еще картошка на посев 40 кг на двоих, но дальней земли, за 8 километров, еще не дали. Там целина. Подумай, сегодня 25 мая, а земли еще нет. Не знаю, как справлюсь, далеко ходить, а ноги болят. И копать целину нужно побольше сил, чем у меня их есть. С Москвы ответа насчет пайка пока нет. Смотри, Шура, будь осторожна на работе, твои описания несчастных случаев настраивают меня на мрачные мысли. Радостно читать, что ты на хорошем счету и постоянно в стахановках. Да ты и дома по домашней работе всегда была стахановкой. Ты у меня, Шура, замечательная жена, только,

к сожалению, нам приходится жить в разлуке. До войны три года жили порознь, теперь опять. Когда же заживем вместе? Думаю, что скоро. Целую всех».

28.05.1943

Жене Шуре из цеха № 27 дали справку:

«Справка дана работнице цеха № 27 Мороз А.Х. в том, что она действительно работает в цехе № 27. Справка для предъявления в Райсовет для получения ордера для прописки на квартиру».

29.05.1943

Я пишу жене Шуре в Ижевск:

«Вчера получил от тебя открытку. Наверное, огород уже посадила. Жду от тебя результатов по письму к директору завода, копию которого ты должна была получить. Вчера врач осмотрел меня, сказал, что по анализу видно, что почки мои все еще не в порядке. Нужно пить лекарства, не есть мяса, а больше молочно-растительное. Пойду на комиссию, может, дадут на июнь диетпитание. Карточки на июнь получил: 500 граммов хлеба и уменьшенная норма остальных продуктов. Из купленной пшеницы варю супы. Будем переходить в другое общежитие, где тоже будет плита. Всякий раз я благодарю тебя за котелок, без него никак не обойтись. Спасибо за письма. Но, когда приду на почту и письма от тебя нет, кажется, что их давно уже не было. У нас тепло, даже жарко.



Целую всех».

В этот же день жена Шура пишет заявление помощнику директора завода:

«Помощнику директора по АХГ товарищу Грозных от работницы цеха № 27 Мороз А.Х. Заявление.

Находясь в тяжелых материальных условиях после эвакуации из Гомеля и имея на содержании двух малолетних детей, квартирная хозяйка отказывает мне в квартире, требуя ее немедленного освобождения. Прошу вашего разрешения о предоставлении мне казенной квартиры, так как я не имею возможности взять другую частную квартиру ввиду ее дороговизны, и мне теперь с детьми жить становится совершенно негде. Прошу в моей просьбе не отказать».

30.05.1943

Жена Шура пишет мне в Акмолинск, начиная с сообщения о том, что живет уже на новой квартире с 27 мая:

«27 мая у нас был большой спор: хозяйка хотела ударить меня молотком, и если бы не Лида, то мне бы попало. Вера моя страшно кричала, хорошо, что Борика нет дома. И вот я пошла искать и нашла в начале ул. Азина в доме № 4 квартиру за 30 рублей в месяц и с моими дровами. Комната маленькая и такая низкая, что, стоя, чуть не достаешь до потолка. Комната 5 метров, да маленькая кухня, даже без окна, а в комнате есть два окошка. Вот сколько жильцов в квартире:

слабая хозяйка-старуха 68 лет, да четыре девушки, да старик на кухне, двое спало в коридоре. Ночью проснулась – такой воздух тяжелый, трудно дышать, думаю, устроиться спать в сенях, но это все ерунда. Я вот чего боюсь – чтобы меня не обчистили. Тут всякий народ живет: кто днем работает, кто ночью. Вообще дом большой, двухэтажный, жильцов много, народ всякий. Думаю, кое-что надо увести к маме. Вот пришла дочь Вера, совсем меня не слушается, замучалась я с ней, не знаю, что и делать. Что ни скажу сделать, кричит – не хочу. Сказала ей отнести открытку на почту, а она говори, что бросила в ящик. Я пристыдила ее за непослушание, она в плач. Сказала ей принести воду (вода близко) и помыть ноги, так она не хочет и это сделать. Последнее время замучалась с нею, начинает обманом заниматься, что-либо возьмет и не говорит, а к ней хорошо пристанешь, и тогда сознается, что брала. Получу конфеты или сахар, то, где не спрячу, найдет и поест. Спрошу: «Ты, Вера, брала?», а она ругается, плачет, говорит, что нет. Но я все-таки дознаюсь, и тогда говорит, что брала. Другой раз Борик подскажет, что брала Вера. Раз получили селедки, и я сказала: «Давайте кушать понемногу, и их хватит надолго», и спрятала. Второго мая, когда встали, я пошла за хлебом и когда принесла, то оказалось, что за это время Вера съела две селедки без хлеба, а когда Борик постращал, что скажет маме, то она ему ответила: «Ну и говори, больно я боюсь твою маму». Я тебе, Саша, не хотела писать, жалко тебя, беднягу, расстраивать, но мне сегодня так

обидно стало, что она не слушается матери. Я ей принесла с завода котлетку (сама не кушала) и попросила ее сходить на почту, а она не послушалась и бросила письмо в ящик, хотя времени у нее было много. Я работаю по 12 часов, очень устаю, а она еще давай душу мотать, ни слова ей нельзя сказать. Ты напиши ей письмо, может, она тебя слушает. Не сердчай, дорогой Саша, за такое письмо, в котором я описываю похождения твоей дочери. Твоя Шура».

31.05.1943

Из Акмолинска пишу жене Шуре в Ижевск:

«Вчера весь выходной провозились с переселением в новое общежитие, находящееся в самом центре города. Живу вместе с помощником начальника, с которым у нас общий огород. Всего нас в комнате трое. Комната небольшая, одно окно. Сегодня иду на комиссию насчет диетпитания на июнь. Опять прослушал наставление, что нужно есть, а чего нельзя. В общем, надо есть то, что мне недоступно. Из Москвы ответа нет. С нетерпением жду результата по письму от 22 мая, посланного на завод. У нас жарко, но от купания воздерживаюсь. Целую всех вас».

В конце мая мой брат Шурик из Уфы посылает открытку, полученную в Ижевске 3-го июня:

«Здравствуй, дорогая Верочка! Пишу из Уфы. Вышли в поле, и я решил послать тебе открытку. Живу по-старому.

Уже 15 дней как закончил учебу и ожидаю приказа на отправку. Закончил я на отлично. Вчера, как отличник учебы, ходил фотографироваться на доску почета. Здоровье хорошее. Малярия больше пока не треплет. Пока, до скорого свидания. Привет маме, Борику, Вере. Целую».

Где-то в это же время мой брат Шурик снова пишет мне письмо, которое я получил 6-го июня:

«Здравствуй, дорогой брат Сашенька!

Сообщаю, что жив, здоров, чего и тебе желаю. Твое письмо получил, очень и очень за него благодарен. Вчера получил письмо из Ижевска от Шуры, три дня тому назад – от Верочки. Одним словом, пока не забывают русского офицера. Пишут они, конечно, о тяжелом. Да, сейчас приходится страдать из-за, как его называет Черчилль, проклятого насильника-ефрейтора Гитлера. Но ничего, скоро, я думаю, что-то должно случиться. Это время очень близко. Читаешь газеты, узнаешь кое-что, так и ожидаешь с каждым днем чего-то нового, сильно движимого. Сегодня уже двадцать дней как я закончил учение, и сейчас, правда, занимаемся, но... обращается все это в отдых, ибо скоро то время, когда не придется любоваться весной, летом. Когда идем – неизвестно, но чувствуем, что это время скоро. Живу в Уфе около сада Якутова, поэтому каждый день ходим «заниматься» в этот сад. Кроме того, облазили все в окрестности Уфы: все лощины и возвышенности, мы – царица полей – пехота. Сейчас очень

жарко. Нам, конечно, особо потеть не приходится, работаем, в большинстве, умственно, ибо готовимся стать большими командирами. Хочу сообщить, что сдал все экзамены на отлично. Являюсь отличником боевой и политической подготовки, вчера водили фотографировать на доску почета. Получил письма от отца: болеет по-прежнему. Пока, не забывай меня. Целую очень крепко. Твой брат Шура-меньший».

02.06.1943

Пишу жене Шуре:

«Вчера получил карточку на диетпитание на июнь. Это неплохо, но почки мои продолжают болеть. Да иначе и карточки бы не дали. По рецепту врача в аптеке лекарства нет. Бабы советуют пить настой шиповника. Попробую. С огородами покончили, сегодня посадили последнюю картошку, даже немного осталось, но нет земли. Дают за 8-10 километров, и ходить туда из-за ведра картошки нет смысла. Как у вас дела? Так я описания твоей поездки в колхоз в апреле и не получил. Целую всех».

03.06.1943

Шурик пишет мне в Акмолинск из Уфы:

«Здравствуй, дорогой братец Саша!

Получил твое письмо, за которое очень благодарен, сразу отвечаю. Нахожусь еще в солнечной Башкирии. Слышно, что пробудем еще 15 дней. Сегодня исключительный день:

такой холод, что не верится, что два дня назад была невыносимая жара. Это, очевидно, своеобразные особенности Башкирии. Купаться не приходилось, да и остерегаюсь, ибо меня мучает малярия. Что еще мучает меня, так это коленные суставы. Врачи признают ревматизм. Когда читаю твои письма, очень становится жалко тебя, Саша. Представляю, что делается с тобой в одиночестве, в отрыве от семьи, и плюс огромная болезнь. Встретимся с тобой – узнаем мы друг друга или нет? Получил письмо от отца. Пишет, как и прежде, плохо. Помогать я смогу только когда встану на должность и буду работать в части. Сейчас я получаю 600 рублей, должен получать больше, но документ в госпитале мне перепутали. На руки дают 425 рублей, а эти деньги – копейки, ибо килограмм хлеба стоит больше сотни. Но ничего, Саша! Лишь бы успех дальнейших военных действий был благополучен. На этом писать заканчиваю. Надо идти в распоряжение. Писал в избе в селе Новиковка за Уфой. Целую очень и очень крепко. Жаль, что никого знакомых не встречу в Уфе. Пока, до скорого свидания. Твой брат Шура».

04.06.1943

Жена Шура пишет мне довольно объемистое письмо, вот выдержки из него:

«Получила твое 30-е и 31-е письма. Денег, 300 рублей, я так и не получила, подай об их розыске. Я уже писала, что перебралась от Уваровых на квартиру по улице Азина, дом 4

– очень тесную, неудобную, со множеством жильцов и больной, полуголодной хозяйкой. Собираюсь завтра ехать за Бориком в деревню поездом. Без него нам с Верой хлеба хватало, и было хорошо, но я по нему соскучилась. Вере в школе дали пропуск в столовую на июнь, на обед дают: суп, каша с рыбой или омлет и 100 граммов хлеба. Записала Веру в лагерь. Подала заявление на квартиру, и начальник наложил резолюцию, что просит дать мне квартиру как эвакуированной хорошей работнице, жене военнослужащего. Вчера только дали зарплату за первую половину мая – 280 рублей».

Шура патриотически призывает меня подписаться на заем на оклад – равняться на нее, нужно помочь стране разбить Гитлера, нарушившего нашу жизнь.

«...Нужно получить дрова со станции, да от хозяйки перевести, но все время плохая погода и дожди. Думаю, пойти побороть картошку и сходить в милицию, приписаться. Получила письмо от Толика из армии – пишет, что жив и здоров, рад, узнав, что мы тоже живы. Его адрес: полевая почта 24891. Обижается, что ему никто не пишет. Дочка Вера ленится тебе писать. От Шурика нет писем уже долго. Вчера написала батьке в Бугульму. При переезде у меня пропала шаль. Новая хозяйка норовит, чтобы за ней ухаживали и подкармливали. Говорил квартирант Уваровой, что ей Райсовет хочет дать еще одного квартиранта. Хорошо бы, чтобы ей дали, да еще с детьми. Купила мыло за 40 рублей, а оно поддельное».

Свое письмо Шура заканчивает словами: «Проси отпуск по болезни, так охота увидеться».

05.06.1943

Я пишу жене Шуре из Акмолинска в Ижевск:

«Вчера получил от тебя письмо, в котором описана твоя поездка в колхоз. Письмо это шло больше месяца. Уже семь дней нет от тебя писем, кроме запоздалого. Последнее время пишу тебе через день открытки, чем нарушил свое обещание посылать только заказные письма. Я убедился, что мои открытки до тебя доходят, и я не прав был, ругая почту и подозревая хозяйку. К тому же, открытку быстро написал, бросил в ящик и никаких хождений на почту. На почте меня так узнали, что, только глянув, не спрашивая фамилии, ищут письмо. А однажды, когда я сдавал служебные письма куда-то, девушка написала в квитанции «Ижевск», потом спохватилась и потребовала обратно квитанцию. Я, говорит, глянула на вас и написала «Ижевск», а на письмо не посмотрела».

Далее повторяю написанное ранее об огороде: «Взошли огурцы, горох, чечевица. Бурачки не взошли, и мы эту грядку засадили картошкой. Морковь взошла слабо, еще есть 50 кустов помидоров и 40 кустов табака. Еще думаем посадить капусту. Речка близко, все поливаем. Ты, наверно, смеешься – что мы будем делать осенью с урожаем? И мы тоже задумываемся над этим – нас могут куда-нибудь перебросить, и



обидно будет все бросать. Но надеемся, что летом поедим досыта. Врачи в один голос советуют мне молочно-растительную пищу, вот я и стараюсь ее заготовить. Диетобеды стоят пять рублей. Диетпитание на июнь врачебная комиссия мне дала, потому что почки мои все еще не в порядке. Болит в боку, поясница, ноги, под глазами мешки, после обеда болит голова. Все же лучше не иметь диеткарточки и быть здоровым. Жду твоих писем, которые часто приходят пачками. Пиши, что у вас? У нас тепло, но частые сильные ветра. Еще не купался из-за болезни. Вчера подписался на военный заем на 600 рублей. Теперь буду высылать тебе еще меньше. За вторую половину мая вышлю, сколько смогу. Пиши, какие деньги получила и когда? Варю супы из пшеницы. Жевать ее приходится долго. Привет колхозникам. Целую всех».

09.06.1943

Я пишу 39-е письмо в Ижевск жене Шуре:

«Ты пишешь, что мое 27-е письмо перехватила хозяйка, но оно же заказное, а за пропажу заказного почта отвечает. Давай условимся, и я буду посылать тебе письма до востребования. От Шурика из Уфы получил письмо, скоро он должен оттуда выехать. Батяка мне не отвечает. У нас в последние дни холодный ветер. На огороде подготовили лунки для капусты, но нет рассады. Когда копал, спина разболелась так, что пришлось лечь на землю. В новом общежитии нет света и радио, но помещение лучше. А у вас хозяйка не отобрала

лампочки? Шура, если у тебя есть облигации третьей пятилетки, то сообщи мне их номера. Вчера послал тебе 80 рублей – это мелочь, но больше не выходит. Подписался на заем, квартира, обеды, огородные дела – на все деньги. Обрадовало меня, что вы не голодаете и здоровы – это главное. Я тоже особого голода не испытываю, но съесть хлеба больше 500 граммов не прочь. У нас в общежитии есть такие, кто не умеет сам готовить, и им это делает в порядке дружбы женщина. А потом дело из области «кухонной» дружбы переходит на любовные дела. Один такой из нашей комнаты (у него осталась жена с сыном у Гитлера) сначала все ужинал с одной, а теперь живут вместе в старом общежитии. И еще другой такой же случай был. Я варю сам, женскими услугами не пользуюсь и мое желание – чтобы скорее я мог попробовать обеды, сваренные тобой. Ты у меня повар неплохой, было бы из чего. Напиши, Шура, бываешь ли ты иногда веселой, поешь ли, как прежде? С Верочкой вы оглашали квартиру в Гомеле. Ходишь ли в кино хоть изредка? Кажется, не виделся с вами много лет, хотя сравнительно недавно я был у вас. Ну, пока, мои дорогие. Пиши, твои письма поддерживают меня в жизни. Целую всех».

В этот день четвертое отделение милиции г. Ижевска УАССР выдало справку моей жене Шуре следующего содержания:

«Дана тов. Мороз Александре Харитоновне в том, что она

действительно выключена из домовой книги дома № 52 по ул. Азина. Справка дана для предъявления в 4-е отделение милиции для включения в домовую книгу в доме № 4 по ул. Азина».

10.06.1943

Что-то не спешил с ответом главный бухгалтер ЦТ, и я решил напомнить:

«Главному бухгалтеру ЦТ НКПС Никитину. Прошу ответить на мое письмо от 10.05.1943 по вопросу о переименовании меня главным бухгалтером Картранстопа, т. к. я получаю продкарточки и хлебные карточки как рядовой бухгалтер по нормам снабжения служащих».

13.06.1943

Из Уфы в Акмолинск пишет мой брат Шурик:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Привет из Уфы. Жив, здоров, чего и тебе желаю. Пока нахожусь в Уфе. Второй месяц как сдал экзамен, жду назначения. Сейчас отстраиваем лагерь в затоне за Уфой, может знаешь. Приходится много ходить и трудиться, что сильно утомляет, хоть и стыдно, Саша, двадцатилетнему парню, но факт. Сегодня был кросс на 5 км. Прошлые кроссы 3 км и 1 км меня освобождали. Сейчас даже нам, малярикам, приказ начальника курсов хоть пешком, но пройти это расстояние. Пришлось бежать, но и сейчас еще чувствую себя дур-

новато. Вчера смотрел Дурова и его зверей – очень интересно и «дает жизни». Сейчас иду в кино на «Салават», заглянул на почту написать тебе, потому что у меня выходной и дан отпуск в город. Молодежи много, но нет тех чувств, которые были прежде. До скорого свидания. Твой брат Шура».

14.06.1943

Жена Шура пишет мне из Ижевска:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю тебе горячий привет. После переезда на новую квартиру я стала получать мало писем. Вот уже шесть дней нет, а без твоих писем я совсем не могу жить – скучно, думаю, что нас забыл, оставил. Дочь Веру с 11 июня до 1 июля на двадцать дней отправила в лагерь. Борика мама увезла до первого июля, и я теперь одна. И еще – мне дают расчет по семейным обстоятельствам по той бумаге, которую прислал твой начальник. Когда я десятого пришла на работу, меня вызвал начальник цеха и дал бумагу от управления завода. Начальник цеха Андруков подписал увольнение и сказал отработать еще смену, а потом пойти оформлять расчет. И вот сегодня 14-е, а я еще ничего не решила. Выходной перенесли с тем, чтобы потом всеми тремя сменами поехать на Воложку. Но, кажется, не поеду, а поеду к маме в деревню за советом, как мне быть. Я вот рассчитываюсь, да и приеду к тебе, ты все мои планы нарушил и создал лишние хлопоты. Но ничего, как-нибудь дело устрою и проживу. Охота пожить вместе, но это

– мечты, и жить эту зиму нам придется врозь. Настанет же счастливое время, когда заживем вместе, как раньше? Жду от тебя 300 рублей, а их нет, подай о розыске. Может, устроишь проезд к нам летом? Пойдем на малину. На базаре уже есть грибы. В воскресенье поеду в деревню. Напекла блинов – приходи кушать. Без твоих писем крепко скучаю. Целую, Шура».

15.06.1943

В открытке я пишу жене Шуре:

«Хорошо, что перешла на новую квартиру, но плохо, что тесно. Пишу тебе через день, наверное, письма перехватывает Увариха. Насчет нашей Верочки я очень расстроился, получив твое письмо. Мало неприятностей от чужих, так еще дочка дурака валяет. Я ей напишу на эту тему. Как живу? Так себе. Ноги, поясница побаливают, как и раньше, а иногда и злее. Иван пишет, что Колпаков, Танькин муж, ездит машинистом, а Танька осталась в Сновске. От Шурика сегодня пришло письмо. Пишет, что болеет. Пиши о получении моих писем и денег, чтобы я знал».

16.06.1943

Жена Шура шлет мне открытку в Акмолинск:

«Сегодня получила сразу три твоих открытки. Быстро их прочла и подумала, что хорошо бы было, если бы это были письма. Саша, ты стал реже писать и не на все вопросы отве-

чаешь. Хорошо, что дали тебе диетпитание, что почки болят – нехорошо. Я вот думаю: как ты там? Денег мне не высылай, покупай себе молоко, береги здоровье. Вот, Саша, 300 рублей я так и не получила, не везет. Дрова никак не привезу – нет времени. Я пока работаю, хотя уже можно взять расчет. Сейчас иду в магазин за мылом, обратной пойду – зайду за дровами, никак не перенесу их от Уваровой. Они немало утащили моих дров. Сюда сколько принесла, так они уже заканчиваются. Квартирантов много, и не знаю, кто из них расходует. Завтра схожу на картошку. Крепко целую, Шура».

17.06.1943

В открытке № 42 я пишу жене Шуре, что получил от нее письма № 39 и № 41.

«...Все жду результата по письму начальника к директору. Шура, напиши хоть раз толково: какие деньги и когда получила от меня. Насчет 300 рублей я подал заявление, а перед этим послал 100 рублей, ты о них не пишешь. Я их отправил 29 апреля, а 200 рублей – 2-го мая, после того послал 15 мая 150 рублей и 80 рублей – 7-го июня. Проверь и напиши. У нас было холодно, теперь потеплело. Пишет ли вам Ванька Гаврилов? Что слышно о Василе? Есть ли свет на новой квартире? Слушаешь ли радио? У нас в общежитии до сих пор нет света и радио, и когда проведут – неизвестно. Жду дальнейших новостей. Целую всех».

В этот же день жена Шура пишет мне открытку:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Работала сегодня с 8 утра до 5-ти вечера, а с часу ночи обратно на работу. Пришла с работы и сбегала в столовую за обедом. Обед такой: суп с лапшой и капуста жареная с мясом, 100 граммов хлеба и две конфеты. Это я по Вериному пропуску пообедала. Как видишь, я питаюсь неплохо. Напишу эту открытку и сбегаю в магазин за маслом. Приду – лягу спать, а то не поспавши тяжело работать. Пять дней как живу одна, Вера в лагере, а Борика бабушка увезла. Хорошо одной, никто у тебя ничего не просит, но как-то скучновато – я одна еще не жила. Саша, я все думаю, почему я тебе не дала белую рубаху и сандалии, в чем ты, бедняга, ходишь? Теперь лето, пишешь, что у вас жарко. За это меня стоит поругать. Пиши. Крепко тебя целую, твоя Шура».

18.06.1943

Пишу жене Шуре в Ижевск письмо:

«Как видишь, пишу тебе часто. Беда, что ты не получаешь многих моих писем. Я все твои письма получаю, даже долго отсутствующие: 29-ое пришло вчера. Спасибо, Шура, за внимание, ты меня просто избаловала письмами. Каждый день выхожу с почты с твоим письмом или открыткой. Вчера послал тебе 140 рублей за первую половину июня. Прости, что мало – больше не могу, я подписался на заем на 600 рублей. Твои советы не посылаю тебе получку хороши, но

мне хочется хоть немного, но помогать вам. Хотя на лишний литр постного масла в месяц. Ну, кое-когда придется, верно, не послать. Я думаю купить себе муки полпуда, а то уж очень мало хлеба – 500 граммов в день. Буду варить затирки».

Далее пишу о своей болезни, о питании, что молоко не по карману. В одном месте цензура что-то вычеркнула.

«...Огород поливаем, все растет. Старик мой кряхтит от старости (у него большое сердце), и я, хоть и моложе, но тоже крякаю. Нужно довести дело до конца, тогда осенью будет легче со жратвой. Капусты у нас 30 кочанов, табака 40 кустов, огурцов две грядки, горох и чечевица – грядка, морковки тоже грядка, картошки посадили килограмм 30 на двух сотках. Вода недалеко, ведро есть. Дождей мало, сильные холодные ветра. Придешь на огород – тихо, а потом, вдруг, буря и пыль, да такая, что не видно города. А через полчаса снова тихо. И так почти ежедневно. Из-за болезни я еще не купался. Раз помыл белье, штаны и пиджак, а высушить не удалось, так и пошел в мокром. О новом костюме ничего не слышно. Повидаться я не прочь, но это пока только мечты. Теперь ездить – одно мучение, а я не совсем здоров. Как вспомню последнюю поездку – я от нее и теперь не очухался. Только воспоминание о встрече с вами осталось самое хорошее. Все жду результат по письму, по совету Веры насчет Мужвая. Толику напишу завтра. От Шурика есть письмо. Ну, пока, дорогая моя женка».



26.06.1943

Я пишу Шуре в Ижевск открытку:

«Сейчас утро, по всем признакам будет жаркий день. С 1 июля диеты уже не будет, буду сидеть на 500 граммах хлеба и тарелке кислых щей, и капусты на второе. Последний анализ показал, что почки мои нормально работают. Возможно, что боль в пояснице и ногах не от почек, а мое старое наследство. Хожу лечиться, врач запрещает купаться. Как у вас дела? Я все не дождусь от вас новостей, которые бы радовали. Вчера был на комиссии, признан годным к строевой, только сказали подлечиться немного. Как насчет Мужвая? Какие мои письма и деньги получила? Привет колхозникам. Целую всех вас».

27.06.1943

Я писал жене Шуре:

«Здравствуйте, дорогие мои Шура и детки!

Ну вот, дождался от тебя сведений об увольнении. Я Вере в колхоз послал заказное на эту тему. Мне Вера писала, что устроит тебя в Мужвае. Мы об этом договорились, когда я был у них в гостях. Буду ждать дальнейших новостей. Раз сдвинулась с насиженного места, то продолжай до победного конца. Ты пишешь: проживешь и не наживешься. Ничего, Шурочка, наживемся еще, только бы кончилась война. Теперь, Шура, не только мы с тобой живем в разлуке – миллионы людей мечтают жить вместе. Ты только хорошо работай,

да держи наших деток. Сегодня получил от батьки письмо. Пишет, что болеет, что скоро дадут инвалидность, что живет неважно. Ты пишешь, Шура, что я своим письмом к тебе на завод нарушил все твои планы, но когда я был у тебя и Веры в колхозе, то мы об этом договорились. Итак, Вера в лагере, Борик у бабушки, и сама ты сыта. Все это радует. Что у меня с питанием? До первого июля буду на диетпитании, а потом перейду на общую столовку и 500 граммов хлеба. Ответа из Москвы нет. Варю супы в общежитии, пшеницы на июль хватит, а там будет своя картошка. Гуси съели часть капусты. Я один проживу, а вот ты с детьми как? С почками у меня по анализу неплохо, поэтому диеты не дали. Поясница и ноги болят, иногда сильно. Лечусь, пью порошки. Потаскаю воды на огород и еле добираюсь домой. Дождей нет, и не поливать нельзя. Старик мой тоже нездоров, воду таскать не может. Насчет приезда к тебе на малину – пока ничего похожего нет. Теперь это гораздо труднее. Да и если так будут болеть ноги, как сейчас, то о поездке страшно подумать, потому что в поезде надо быть много на ногах. Привет колхозникам. Как они живут? С нетерпением жду дальнейших новостей. Целую всех».

28.06.1943

Брат Шурик пишет мне в Акмолинск из Уфы:

«Здравствуй, дорогой брат Саша! Получив твое письмо, сразу даю ответ. Жив, здоров, еще пока нахожусь в Уфе. Все

ожидаем дня отправления. Получил письмо от отца. Пишет по-прежнему о тяжелой жизни. Еще плюс к этому хотят расчитать с квартиры за неимением дров. Я подавал два рапорта в отношении положения отца, но все молчок, не обращают внимания. Саша, ты пишешь по отношению моей руки и почерка – это верно. Моя рука заметно стала дрожать, особенно когда чуть разнервничаюсь, и быстро устает и начинает болеть. За время болезни я почти так же научился писать левой. Почему-то уже давно не получаю писем из Ижевска. От Вани совсем не получил ни одного письма, а я ему писал. Ну, пока, до скорой встречи. Желаю тебе здоровья и всего наилучшего в твоей жизни. Целую тебя, твой брат Саша-меньший».

Его обратный адрес: г. Уфа, в/ч 6552, Гаврилову А.

29.06.1943

Я пишу открытку жене Шуре:

«Вчера получил твое 48-е письмо и до него все, сегодня посылаю тебе свое 48-е. Как видишь, пишем мы друг другу одинаково, а ты обижаешься, что редко пишу. Беда в том, что не все мои письма ты получаешь, особенно посланные на адрес дома Уваровых, а я туда посылал и заказные. Я жив, здоров. Пишу, что здоров, а ноги болят немилосердно. Это моя старая болезнь, к которой и ты уже привыкла. У нас тепло, вчера собирался дождик, но его не было. Очень часто дуют ветра с песком. Сразу налетает вихрь, поднимается пыль

и песок такой, что на десять метров ничего не видно вокруг. И эти ветра мешают росту растений. Когда придет к вам эта открытка, то у вас уже будет много новостей. Может быть, вас по этому адресу уже не будет. Жду от вас хороших известий. Целую всех».

01.07.1943

Я вновь пишу жене Шура:

«Здравствуй, Шура! Ты пишешь, что скучно без детей, но теперь, когда ты читаешь это мое письмо, они уже все налицо, и ты не прочь, чтобы они не дурили тебе голову. Приятно читать, что ты не голодаешь».

Далее я описываю, как варил суп после работы из одного стакана муки и ложки постного масла, как в столовке с кислыми щами и соленой рыбой съел свои 500 граммов хлеба. Ем два раза в день: в 12 часов дня и в 9 вечера. Иногда ужинаю в пять. Под вечер ходил со стариком поливать и окучивать картошку. Пришли с огорода, и старик ушел на работу, а я в 12 часов лег спать. Комната у нас, хоть и без света, но много лучше прежней. Постельное меняют, вшей нет. От сильных и частых ветров приходится вытирать слой пыли на окнах. У нас жарко, в своем пиджаке потею. Надеваю его прямо на нижнюю порыжевшую рубаху. Стираю сам: когда на речке, когда в бане. Ношу ботинки «гоп-ца-ца», чиню их. Жаль, что не взял сандалии. На рынке барахло дорогое, насчет выдачи формы ничего не слышно. Завтра пойду на

физиолечение на ноги. Жду новостей о Мужвае. Хоть бы все устроилось, и вы не голодали. При переезде не теряй барахла. Как выглядит Вера после лагеря? Ни разу мне не написала, лентяйка. Не интересен ей папка. Это ей уже 11 лет исполнилось. Получила ли 300 рублей? У нас мука стоит 750 рублей за пуд, масло 450 рублей за килограмм. Пшеницы на июль хватит. Целую вас всех».

04.07.1943

Пишу Шуре 51-е письмо, которое она получила 15 июля: «Верно сказано в пословице: «не имела баба хлопот, так купила поросся». Так и у нас с городом – ежедневно под вечер ходим поливать. Старик захворал, приходится самому ходить. Возвращаюсь с огорода, согнувшись в дугу, как когда-то в Сновске. Ковалевский ходил. Вчера, в десять часов вечера, проходил мимо городского сада. Музыка, людей много, не верится, что война. Молодежь как молодежь, что бы ни было, а им свое в голове. Доплелся до общежития, поел супа из пшеницы и лег спать. Хотел написать тебе, но нет света. Продолжаю утром в выходной. Денег у меня самая малость, но схожу на базар узнать цены. Вчера за рассадку капусты отдал 20 рублей, да сторожу за охрану 25 рублей, так что и на обеды не остается. Завтра думаю послать вам рублей девяносто. О 300 руб. пока нет ответа на мое заявление. В столовке на суп вырезают талон на 100 граммов хлеба, и на хлеб остается 400 граммов, поэтому я с первого июля суп

не беру, а только второе, но оно такое мизерное, что только считается, что пообедал. Да и мясных талонов на это второе до конца июля не хватит. Буду нажимать на свою пшеницу. Пойду поливать огород и стирать белье. Трудно в жару быть около речки и не купаться, но я пока держусь – врач запретил. Хожу на процедуры. Завтра буду хлопотать о визе. Целью всех».

05.07.1943

Пишу жене Шуре на новый адрес в Ижевске – улица Азина, дом 4:

«Получил от тебя три письма. Насчет визы еще нет начальника. Завтра должен быть. Буду стараться выслать тебе, что сумею. Напиши, получила ли ты 100 рублей, посланные 29 июня, может их тоже надо искать, ты о них не пишешь. Продолжаю на следующей день. Весь день прошел в хлопотах о визе на въезд сюда. Взяли у меня заявление и обещали дня через четыре дать результат. У нас ветер, пыль, на огород не пойду, вчера поливали».

06.07.1943

Я подал заявление председателю Облисполкома:

«Прошу дать согласие на въезд в город Акмолинск жены главного бухгалтера Мороз Александра Александровича, работающего в топливной инспекции НКП в г. Акмолинске. Жена Мороза, Александра Харитоновна, рождения 1905 го-

да, будет принята на работу в топливную инспекцию. В настоящее время она живет с двумя детьми в Ижевске, куда была эвакуирована из Гомеля в 1941 году».

Подписал мое заявление начальник топливной инспекции  
А.Тимохин.

08.07.1943

В открытке к жене Шуре снова повторяюсь о визе, вспоминаю о времени, когда собирали малину, но год назад было проще добиться отлучки, чем сейчас. Пишу о частых песчаных бурях, о сухой погоде, что давно не было дождя.

«...Получил сегодня пачку твоих писем. Я уже заметил, что два дня хожу на почту впустую, а на третий день получаю пачку. Спасибо, что за последнее время ты засыпаешь меня письмами. Приятно часто получать их. Вчера получил пару носков – это единственная мануфактура, полученная за полгода по карточке. Сейчас семь часов вечера. В духовке мой стандартный суп, и, когда допреет, закончу письмо и поужинаю. Днем пообедал в столовке, и на этом мое дневное питание закончится. Денег в эту получку, хоть и отложил тебе 90 рублей, не послал – себе ничего не остается. Поневоле пришлось выполнить твой приказ и не высылать деньги. Даже по ночам беспокоят ноги, и от этого настроение неважное. Почти никому, кроме тебя, не пишу. Целую всех».

Акмолинский Облисполком потребовал такую справку,

которую мое начальство выдало:

«Справка выдана главному бухгалтеру топливной инспекции НКПС тов. Морозу Александру Александровичу в том, что его семье будет предоставлена жилплощадь в г. Акмолинске из жилфонда НКПС. Дана для предоставления Акмолинскому Облисполкому».

Справку подписал заместитель начальника топливной инспекции Лаврищев.

09.07.1943

Я писал жене Шуре в Ижевск:

«Два дня без твоих писем, а потом отдадут пачку сразу. Утро, холодно, отчего ноги болят еще больше. Были вчера на огороде. Есть маленькие огурчики, цветут помидоры, начинается цвести картошка. На горохе появились стручки. Когда мы с тобой, Шура, будем сеять, полоть, поливать, а? Когда-то ты жила в Сновске, а я в Гомеле, были в разлуке два года. Теперь тоже два года. Только теперь не прикатишь в выходной пригородным, не то расстояние. Вчера не доварил пшеницу, сегодня доварю. Ее также долго нужно варить, как и жевать. Привет нашим. Целую всех».

И в этот же день снова пишу Шуре вдогонку к посланной днем открытке:

«Сегодня после отсылки открытки получил визу и послал тебе ценным письмом. Так что действуй, Шура, покажи, ко-



му надо, визу, и пусть он больше не выдумывает. Может, захочет посмотреть билет да плацкарту, так скажи ему, что дурака он валяет. Еще может на вокзал будет провожать. Вы наверняка все собрались? Или Борик у бабушки? А как далеко лагерь, где была Верочка? Не пишет мне, лентяйка. Целую, привет всем».

Копия визы на въезд Шуры в Акмолинск:

«Исполнительный комитет Акмолинского областного совета депутатов трудящихся, 09.07.1943, г. Акмолинск. Отдел хозустройства эвакуации при Облисполкоме депутатов трудящихся не возражает против въезда Мороз Александры Харитоновны с детьми в г. Акмолинск по месту жительства мужа».

Проставил печать и подписал заместитель председателя Облисполкома, начальник эвакуотдела Франт.

10.07.1943

Я вновь пишу жене Шуре в Ижевск:

«Вчера ценным письмом на 200 рублей послал тебе разрешение на въезд. От тебя три дня нет писем. Твое последнее 59-е получил. Ох уж эти ветра с пылью! До чего надоели. Говорят, на хлеб будет урожай, а у вас? Очень болят ноги. Тебе, Шура, наверное, надоело мое нытье, но есть пословица: «У кого что болит, тот о том и говорит». Лечусь, может, пройдет».

Продолжаю на следующий день:

«...Получил твое 60-е – пишешь, тебе нездоровится. Это нехорошо. Самое поганое дело – заболеть. Успокаиваю себя мыслью, что все прошло, и ты здорова. Сегодня выходной, день жаркий. Ходили поливать огород. В столовке съел тарелку супа, вечером пшеница. От Шуры из Уфы получил открытку».

12.07.1943

Посылаю жене в Ижевск открытку:

«Смотри – не заболевай! Тебе болеть не так просто, как мне – у тебя дети. Жду не дождусь результатов. Ценное с визой ты должна получить числа 20-го».

Далее я пишу, что штаны порвались, ботинки рвутся, белье принимает темный цвет. Повторяю об огороде, жаре, ветрах.

«Быстро идет время, вот уже полгода 43-го, а давно ли он начался? Верно пишешь, что проживешь и не наживешься. С нетерпением жду новостей. Целую вас всех».

13.07.1943

Сохранилась квитанция на перевод из Ижевска в Бугульму Гаврилову 13 июля 200 рублей. Вероятно, Шура переслала часть денег из тех четырехсот, которые ей посылал для отца Шурик.

14.07.1943

Пишу жене Шуре:

«Получил пачку твоих писем. Отвечаю на них заказным. Сижу в банке, жду денег по чеку. Пишу и жду, когда дойдет очередь. Жарко и безветренно. Сегодня пойду поливать огород, предварительно поставив котелок с пшеницей на плиту, и, если его не отодвинут, то суп будет готов. Часто отодвигают, и тогда приходится доваривать. Теперь пшеница у меня – основная еда, а по столовке ноги протянешь. Всякий раз, копаясь в огороде, я вспоминаю тебя и думаю, как бы хорошо нам копаться вместе. Ты у меня большой спец по огородам. Мой старик хоть и говорит, что много понимает, но вижу, что против тебя он пешка. Он все что-то переделывает: то сделает лунки, то завтра их переделает. Уже висят помидорчики, горох и чечевица со стручками. Огурцы цветут, но завязей мало. Морковка, капуста растут, картошка цветет. А ты на своем, наверно, подкапываешь картошку? Хоть бы скорее нам копаться вместе. Рад, что вы не голодаете. Я жду, когда же меня мой огород подкормит. Соскучился без растительной еды. Привет нашим. Целую».

16.07.1943

Я пишу в Ижевск жене Шуре:

«Получил твое 60-е письмо. По радио сообщили: наши под Орлом. Это уже недалеко от наших мест. Сегодня получил ответ из Москвы. К сожалению, неутешительный. Хлеба

остаётся 500 граммов. Что ж, как-нибудь проживу. Трудно, но что делать. Скоро новый урожай, и дела и ваши, и наши, должны улучшиться. Думаю собраться с деньгами, да купить полпуда пшеницы, ведь, в основном, я теперь ею питаюсь. А в столовке водянистые супы – от них ноги протянешь. Запас пшеницы у меня подходит к концу. Может, тебе, Шура, и скучно читать такие нудные вещи, но о чем больше писать. О том, что лечу больные ноги, так это еще нуднее и неинтереснее. Целую всех вас».

18.07.1943

Пишу жене открытку:

«Сегодня выходной, все уехали на воскресник. Меня освободили по болезни ног. День жаркий, сижу в общежитии, чиню штаны и еще кое-что. Игрет радио. Проверил, нет ли в койке клопов – нет. Живу чисто. В комнате нас три человека. Вчера достал карасей 4 кг, мой старый весь вечер их жарил, и мы сегодня с рыбой живем, и хлеба он мне дал. Рыба (по спискам) стоит 16 рублей. Сегодня на огород не ходил, болит живот и голова, понос и прочие фокусы. На дворе ветер, пыль, на зубах трещит песок, глаза хоть не открывай. Характерная Акмолинская погода. Уже ты, вроде, должна получить ценное с визой. Жду результатов по твоему делу. На своем огороде не подкапываешь картошку? Поклон всем нашим. Целую всех».

21.07.1943

Я посылаю брату Шурику в Уфу в военную часть 6552 открытку, которая возвращается с надписью «выбыл»:

«Здоров, Шурик! Думаю, простишь мою халатность, что задержал ответ на твою открытку. Болезнь портит настроение и временами делаешься ко всему безучастным. Мне тоже батька жалуется на плохую жизнь, а помочь ему ничем не могу – сам еле свожу концы с концами. Хлеба получаю 500 граммов, что мало, обеды никудышные. Жду поддержку от огорода, но пока еще съел только один огурец. Ты пишешь, что не отвечаем тебе. Моя Шура переменила квартиру, а скоро должна опять переехать в другое место. Пока ее адрес: г. Ижевск, ул. Азина, д. 4. От Ивана письмо имею, но где он находится – не пишет. Не знаю, застанет ли тебя эта открытка в Уфе – развернулись бои под Орлом, и вас, возможно, перебросят из Уфы. А Орел от Щорса не так уж далеко. Так что, Шурик, мы скоро узнаем о судьбе матери и Аньки. Анька-то, возможно, жива, а вот насчет матери – не знаю. Ну, пока, Шурик. Пиши. Целую тебя, твой брат».

А жене Шуре в этот день я послал открытку:

«С утра идет дождь. Это первый хороший дождь за все лето. Мы два дня не были на огороде. Если дождя не будет, то пойдем окучивать картошку. Ты, Шура, наверное, подкапываешь и варишь картошку? Много ее у тебя? Пишу тебе почти ежедневно и уже не о чем писать. Дни проходят однооб-

разно: один похож на другой. В твоих открытках я тоже читаю повторение одного и того же: пришла с работы, ушла на работу, варила то и это. И только иногда описываешь поездку к своим. Ко мне на почте так привыкли, что лишь подойду к стойке, заявляют: «Вам, Мороз, есть (нет) сегодня». Почему-то мне кажется, что твои открытки они читают. Удивляюсь, почему мои открытки не доходят до тебя. Я твои все получаю. Привет нашим. Целую всех».

22.07.1943

Открытку к жене Шуре я начинаю так:

«Здравствуй, Шура и детки. Шура, давай поговорим. Сейчас восемь часов вечера, только что сварил котелок гороха со своего огорода, со стручками. Сейчас со старым поедим. Это первый наш урожай. Правда, до этого съели три огурца. Всякий раз на огороде я думаю, как было бы замечательно, если б это происходило при твоём участии. А так, чего-то не хватает. Ну ничего, скоро вместе разведем такой огород, что чертям будет тошно. Ну, как твои дела по переезду? Помогите, ценное ты уже получить должна. Как Борис? Наверное, по росту уже догнал Веру? Ходили ли по малину, подкапываете ли бульбу? Целую всех».

23.07.1943

Открытка жене Шуре:

«Третий день нет от тебя писем. Получу сразу пачку. Ле-

чусь. Огород поливаем через день – это мой старик все мудрит. То кричит – много наливай, то уже не надо. Как я убедился, он в этом деле ни черта не понимает, а хочет показать, что понимает много. Часто думаю: хорошо бы, если огород рос под твоим наблюдением, и еще лучше – под руководством твоей матери. Я помню, что мы помидоры поливали ежедневно, а он где-то вычитал, что нужно два раза в неделю. Картошка цветет. Есть разговор о поездке в командировку в Караганду дна на три. Тогда напишу. Я тебе, Шура, вот уже две полочки не высылаю. Ты, наверно, будешь обижаться. И пока не купил на них ни черта, но хочу купить полпуда пшеницы. Привет всем. Целую всех».

24.07.1943

Пишу жене Шуре в Ижевск:

«Получил сразу четыре твоих письма: сначала о том, что ты заболела, а в позднейших, что уже выздоровела. Я было испугался, думал, что ты вступила в соревнование со мной по части болезни. Да, бабушка с Верой, наверно, ругаются, что ты им прислала такое пополнение и забирать не собираешься. Хоть бы скорее ты устроилась на новом и лучшем месте. Не знаю, может эта открытка и не застанет тебя на старой квартире. Предстоит поезда в Караганду. Не знаю, что брать с собой, там с питанием неважно. Целую всех».

В этот день начальник инспекции Тимохин выдал мне

удостоверение личности № 211 сроком до 31 декабря 1943 года как главному бухгалтеру ввиду предстоящей поездки в Караганду.

25.07.1943

В открытке к жене я пишу:

«Сегодня получил письмо от Веры из колхоза. Ее письмо расстроило меня немало. Завтра отвечу на все письма. Оказывается, дети у нас нехорошие. Ты на Веру жалуешься, а Вера-большая жалуется и на Верочку, и на Борика. Что ж делать, пора уже нам с тобой привыкнуть за два года к неприятностям, которые со всех сторон сыплются на наши головы. Хорошо, Шура, что ты послала отчиму 200 рублей. Конечно, его предложение ехать вам жить к нему – запредельное. Старик ищет себе пристанище и думает, что он сможет как-то вас устроить. Завтра отвечу вашей Вере и тебе заказным. Сегодня получил от Шурика открытку из Чкалова, отдельный полк резерва комсостава, 5-я рота. Ну, пока, целую».

Получив не совсем приятные письма от жены Шуры и от Веры, я, посоветовавшись с начальником Тимохиным, на его имя написал заявление (после корректировки текста Тимохиным):

«Со времени эвакуации из Гомеля прошло почти два года. За это время странствований одежда моя пришла в ветхость, перспектив на получение новой у меня нет, а приоб-



рести на рынке не имею никакой возможности. В результате я хожу в совершенно износившейся одежде. Согласно телеграмме ЦТП тов. Волкова № 4827 от 6 ноября 1942 года я назначался в Картранстоп на должность главного бухгалтера, а по прибытии на место оказалось, что я назначен бухгалтером с нормой снабжения, как служащий (в этом месте Тимохин не согласился с такой фразой: «проработав четверть века на транспорте, потерял право на 800 граммов хлеба», эту фразу я вычеркнул). У меня есть семья из трех человек. Семья проживает в городе Ижевске в тяжелых материальных условиях (а фразу: «живет в тесном углу и перебивается с хлеба на квас» Тимохин в черновике вычеркнул). Моя помощь семье, которая выражается в посылке максимум 200 рублей в месяц, мало реальна. От плохих условий жизни за последние годы здоровье мое сильно пошатнулось, и состояние его усложнилось последней болезнью – воспалением почек. По советам врачей я должен питаться молочно-растительной пищей. Фактически же мое питание ограничивается тарелкой супа и 400 граммами хлеба в день. Покупать продукты по рыночным ценам у меня нет возможности. Продавать на рынке я тоже ничего не имею, ибо при эвакуации из Гомеля я вез с собой мешок с документами и почти никаких собственных вещей не имел. Прошу об оказании мне возможной материальной помощи».

Следующее заявление было послано в Москву:

«Начальнику топливно-теплотехнического управления

НКПС тов. Краснобаеву. Ввиду крайне тяжелого материального положения бухгалтера Мороз А.А. и ухудшившегося состояния здоровья, прошу вашего разрешения о выдаче ему денежного пособия в размере тысячи рублей за счет экономии по фонду зарплаты. Товарищ Мороз эвакуирован из Гомеля. Его семья проживает в городе Ижевск Удмуртской АССР. Заявление тов. Мороз прилагаю». Подписал начальник Картранстопа Тимохин.

29.07.1943

Я пишу открытку жене:

«Вчера получил твое письмо. Сегодня еду в командировку в Караганду дней на пять. Не буду от тебя иметь писем. На самом интересном месте я лишен этой возможности. Писешь, что получила мое ценное письмо и пойдешь к Червякову. А что дальше – это я узнаю по приезду. В дорогу взял пять огурцов, горох и карточки на 500 граммов хлеба. Огурцы еще только начинают расти, маленьких помидоров много. Буду писать с дороги. Сегодня жарко. Пиджак мой не высыхает от пота, а другого ничего нет. Вчера получил мыло по карточке, вернусь – постираю кое-что. Ну, пока, мои дорогие».

30.07.1943

Я послал жене Шуре открытку из Караганды:

«Здравствуй, Шура! Вот я в Караганде, приехал сюда на

несколько дней. Пишу сейчас в клубе, где мы до утра спали. Сколько тут шахт – все уголь, уголь вокруг. Завтра съезжу в новый город Караганду. Когда-то в этих краях жил Иван Гаврилов. Побаливают ноги, но ничего, терпеть можно. Ну, пока. Целую всех вас».

Не помню, чтобы я получил в виде помощи тысячу рублей, о выдаче которых ходатайствовал Тимохин. У меня не сохранилось никаких следов, напоминающих о получении такой, довольно крупной для меня, суммы. Вероятнее всего, что я этой «помощи» не получал. Дело в том, что в эти дни началось освобождение Орловщины от фашистов, орловец Тимохин А.А. был реэвакуирован, и некому было добиваться результатов по этому ходатайству.

К сожалению, мои письма к Шуре за весь август 1943 года не сохранились, а жаль! Конечно же я в них подробно описывал свои впечатления об этой молодой угольной столице – Караганде. Запомнилось, что, побродив по территории поселка Старой Караганды, где люди ютились в землянках, и где только здание клуба у железнодорожного вокзала было единственным приличным строением, мы на следующий день проехали километров десять, и перед нашими глазами открылась незабываемая панорама Новой Караганды. Среди голой степи как оазис в пустыне стоял город с асфальтированными мостовыми, с многоэтажными домами и прочи-

ми атрибутами современности. В центре красовалось здание дворца горняков, напротив били фонтаны. Территория города была небольшая, но строительство было в разгаре. Вдали виднелись угольные разработки.

Так как письма за август 1943 года ни мои, ни жены Шуры не сохранились, то сам процесс увольнения Шуры с завода я описать не могу, и только из ее трудовой книжки видно, что Мороз Александра Харитоновна, 1905 года рождения, среднего образования, принята на завод № 71 НКВ на должность старшей рабочей с 9 февраля 1942 года, а с 3 августа 1943 года ей дан расчет ввиду семейных обстоятельств. Девятого августа ей, рабочей № 891 цеха № 27, выдали на 100 рублей облигаций ввиду увольнения с завода.

04.08.1943 брат Шурик пишет мне в Акмолинск открытку:

«Здравствуй, дорогой Саша! Не знаю, чем объяснить твоё молчание: или сильно болен, или ещё какая есть причина. Я тебе, как и отцу, и Шуре в Ижевск сообщил адрес, но к большому сожалению, не имею ни одного письма. Меня очень беспокоит это молчание. Адрес у меня изменился: Полевая почта 83285 «Е», лейтенанту Гаврилову А.В. (прим. – слово Чкалов зачеркнуто цензурой). Так что пиши по этому адресу. Как твоё здоровье, жизнь, работа? Я жив, но по-прежнему болею фурункулами. Врачи заключают, что это отзывается Сталинград. Да, Саша, много отняло у меня это время.

Общая простуда, ревматизм и прочая хвороба. Но пока все же чувствую себя лучше, чем в Уфе. Дорогой Саша, жду от тебя весточки. До скорой радостной встречи. Целую крепко, твой Саша-второй».

07.08.1943

А ведь 300 рублей, посланных мною Шуре, так и не находились. Как говорится: где тонко, там и рвется. И седьмого августа я снова обращаюсь к почте об их розыске:

«Почтовое отделение Акмолинской почтовой конторы при Управлении Карагандинской железной дороги от гр. Мороз Александра Александровича. Заявление. 3 мая 1943 года по квитанции номер шесть мной были сданы деньги в размере трехсот рублей для пересылки по адресу: г. Ижевск Удмуртской АССР, ул. Азина, дом 52, Мороз Александре Харитоновне. До 27 июля эти деньги адресат не получил. 28 июня 1943 года я подал заявление о розыске, но результатов нет. Прошу ускорить розыск и вернуть деньги мне или переслать их по новому адресу: г. Ижевск, Удмуртская АССР, ул. Азина, дом. 4».

18.08.1943

Брат Шурик пишет из Чкаловской области из 5 роты отдельного полка резерва комсостава:

«Здравствуй, дорогой брат Саша!

Нахожусь я в Чкалове, как видишь по адресу – в резерве.

Сколько пробуду – неизвестно, но сейчас приходится много работать. Живу здесь хорошо, конечно, хорошо в данное время. Почему-то часто чувствую правую лопатку, где вышла пуля – ноет. Почему я так долго не писал? Потому что не было постоянного адреса, а сейчас адрес на обороте открытки. Пиши. Целую очень крепко, твой меньший брат Саша-второй. Саша, 18 августа мое двадцатилетие».

Уже три месяца прошло, как реэвакуировалась наша сотрудница Полтава Людмила Андриановна, я с ней даже обменялся письмами. На фронтах дела изменились к лучшему. Радио сообщало об освобождении Харькова, о боях на подступах к Орлу. Уже вместо начальника Картранстопа Тимохина А.А. документы подписывал и.о. Лаврищев И.Ф., а Тимохин, как бывший начальник локомотивного депо г. Орел, был вызван в Москву. Поэтому неудивительно, что я написал и послал в Москву такое послание, адресовав его по адресу: г. Москва, НКПС центральный отдел бухгалтерии, главному бухгалтеру Белорусской железной дороги Кровину Михаилу Ивановичу:

«Здравствуйте, Михаил Иванович!

Помните, вы говорили, чтобы я изредка напоминал вам о своем существовании. Теперь, когда Красная армия двинулась к Белоруссии, очень уместно напомнить о себе. Я работаю в Акмолинске в топливной инспекции, подчиненной непосредственно НКПС. Контора наша находится в зда-

нии Управления Карагандинской железной дороги. Семья моя по-прежнему живет отдельно от меня в городе Ижевске. Прошу вас, Михаил Иванович, отозвать меня на свою дорогу, когда придет время. С уважением, А.Мороз».

В открытке указан адрес на Акмолинск.

01.09.1943

Я пишу жене Шуре в Ижевск из Акмолинска:

«Получил твои письма до номера 94. От Веры из колхоза тоже. Ты слышала, Шура, наши заняли Глухов и вступили в Северную Украину, т. е. на наши родные места. Нужно полагать, что скоро наши края очистят от гадов. Уже есть предположение отозвать нас на свою дорогу, насчет меня тоже была телеграмма. Так что скоро, быть может, поеду. Конечно, к тебе заезжать не придется – не по пути. Я хочу твоего ответа вот по какому делу: у нас с тобой нет ни черта и придется начинать жить сначала. Есть постановление правительства давать эвакуированным ссуду на строительство в сумме 10 000 рублей с рассрочкой на семь лет, так что, может, и дом себе какой-либо построим. Но вопрос: где лучше обосноваться – в Щорсе или в Гомеле? Посоветуйся с мамой и Верой на эту тему и напиши мне. Конечно, меня могут назначить туда, куда это будет нужно, и тогда придется ограничиться казенной квартирой, но знать твое мнение нужно на случай, если место работы мне дадут по моему желанию. Как живешь? Как огород? Мне мой огород за затраченные труды много помо-

гает. Весь август ел огурцы до отвала, а теперь принялся за помидоры. Картошка еще мелкая. Чувствую, что от растительной пищи почки мои поправились совсем. На огород ходим через день, обратно идем, нагруженные огурцами, морковкой, помидорами, тыквой. Даже дыни есть, но маленькие. На днях придется понемногу копать картошку. Вот бы я угостил тебя и детей огурцами. Огурцы неплохого сорта и большие. Вот хлеба мало. Если бы хлеба вдоволь, да масло бы подешевле, то можно бы сказать, что я вполне сыт. Понемногу я уже готовлюсь к отъезду, мне кажется, это время не за горами. Теперь радио приносит вести одна другой лучше, а приказы тов. Сталина о занятии городов уже объявляют по два раза в день. Жду весточки и надеюсь, что еще получу ответ. Пиши по-старому, в крайнем случае почта вернет их тебе обратно. Привет нашим колхозникам. Целую вас всех».

05.09.1942

Брат Шура писал отцу в Бугульму на улицу 14-ти Павших:  
«Здравствуйте, дорогой отец!

Пишу еще одно письмо, но не знаю, почему не получаю писем от вас. Это меня сильно беспокоит, где вы сейчас и что с вами? Как ваше здоровье? Я нахожусь пока на старом месте, но скоро уже тронемся в путь. Хотел бы, конечно, на Украину. Сегодня радио принесло радостную весть: наши заняли первый город Черниговской области. Это город Короп, что находится в 80–85 км от нашего родного Щорса. Скоро,



очевидно, и наш Щорс станет Советским! Хоть бы скорее! Как наши бедные мама, Аня и пацанята? Дорогой отец! Как я соскучился по вас, но еще далеко до встречи. Может быть, встретимся на своей Родине, хорошо, конечно, было бы. А пока до скорого. Целую очень крепко. Ваш сын Шура. Обратный адрес: Полевая почта 83285 «Е», Гаврилову А.В.».

Также в этот день брат Шура пишет мне в Акмолинск:  
«Добрый день, дорогой Саша!

Получил твою открытку, спешу дать ответ. Нахожусь пока еще на старом месте, скоро двинемся. Хотелось бы, конечно, на Черниговско-Щорское направление. Сегодня радио принесло радостную весть о взятии города Коропа Черниговской области. Так приятно и торжественно становится на душе, когда через два года заговорили снова про Украину, Сновск, про Черниговщину. От отца почему-то не получаю ничего, хотя написал уже несколько писем по двум адресам: старому и новому. Шура из Ижевска тоже молчок, как они, бедные, борются с нуждой? Скоро можно будет двинуться на Родину. Сам чувствую себя хорошо, недавно выздоровел. Вот, дорогой Саша, прошло золотое лето, и я не видел его. Но ничего, будем живы – следующее проведем как положено. А пока до скорого. Целую, твой Саша».

И в этот же день брат пишет открытку в Ижевск моей семье:

«Здравствуйте, дорогие Шура и племяннички Верочка и Борик!

Написав письмо Саше, решил написать еще одно вам. Я жив, здоров, чего и вам желаю. Сегодня радио принесло радостную весть о взятии города Коропа в Черниговской области, что в 85 км от Щорса. Скоро, очевидно, Щорс станет Советским. Живы ли наши оставшиеся мама, Аня и пацаны? От отца не получаю писем, что очень беспокоит меня. Где он, что с ним? Почему вы не пишете мне? Неужели гневаетесь за что-либо? Дорогие родные, я скоро покидаю свое старое место и поеду в путь далекий, хотелось бы на свою Родину в Щорс, Гомель и другие. Пока, до скорого. Целую крепко, ваш Шурик».

13.09.1943

Брат Шурик пишет мне в Акмолинск:

«Здравствуй, дорогой Саша! Получил твою открытку от 1 сентября, за которую очень и очень благодарен. Недавно я послал тебе открытку, но, как только получил от тебя сообщение, даю ответ. Я еще на старом месте, живу по-прежнему, мучают чирии – заболевание фурункулезом, думаю делать переливание крови. Что меня волнует – нет ничего от отца. Причину не знаю. Ты пишешь, что ешь плоды из своей плантации. Приветствую тебя, Саша, с достигнутым. Война сделала тебя еще и агрономом, здорово! Дорогой Саша, как приятно и торжественной в душе, когда слышишь и чи-

таешь о наших победах РККА, недавно в газете сообщили, еще перед взятием Бахмача, о занятии нашими войсками станций: Дочь, Чесноковка, Борзна, а потом Бахмач, Конопотоп. Ведь это наша Родина, дорогой Саша! Скоро, я надеюсь, мы услышим о родном Щорсе. Какова судьба нашей мамы-старушки, Ани с пацанами, выдержали ли они эти удары? Сейчас одно желание у всех – скорее бы разгромить проклятого Гитлера. А пока до скоро. Твой брат Саша-меньший. Целую крепко».

19.09.1943

Я писал брату Шурику эту открытку, но она вернулась ко мне обратно 12 октября с надписью: «Выехал из части»:

«Здравствуй, дорогой Шурик! Получил твою открытку, в которой ты писал, что куда-то выедешь. Надеюсь, что эта моя открытка еще застанет тебя там. Ты мне, Шурик, пиши пока на Акмолинск, хотя я чувствую, что уеду, должны отозвать на свою дорогу. Сегодня по радио сообщили: наши взяли Сосницу. Завтра, верно, будет Щорс. Я уже начинаю складывать свои немногочисленные вещи. Думаю, что скоро увидимся с тобой в своих родных краях. Я уже заготовил открытки в Щорс с запросами насчет матери и Аньки. Как только появится сообщение о Щорсе, я сейчас же их пошлю. А появиться должно завтра. Ну, пока, Шурик. Целую тебя, твой брат. От батьки ничего нет».

В этот же день пишу открытку дочери в Ижевск:

«Здравствуй, Верочка!

Получил твое первое письмо, долго же ты мне не писала. Наверное, некогда было? Ты уже учишься? Учись, учись, да и Борика учи. Мама мне пишет, что ты ее не слушаешь и ленишься. Это не совсем приятно читать. Надеюсь, что ты исправишься, и в будущем я от мамы таких жалоб не услышу. Пиши мне, как выглядит наша мама? Большой ли вырос Борик? Как твоя учеба? Пиши пока на Акмолинск. Я, наверно, скоро уеду отсюда, но письмо от тебя еще успею получить. Поклон от меня мамке и Борикю. Не деритесь с Бориком, и не раздражай маму. Целую тебя, твой папа».

21.09.1943

Передо мной оперативная сводка Советского Информбюро за 21 сентября, выпущенная «Угольной магистралью Карагандинской железной дороги»:

«На Гомельском направлении заняли 270 населенных пунктов, среди которых город Щорс, Сновск, Тереховка, Седнев, Макишин, Кучиновка, станция Низовка. Войска Центрального фронта после трехдневных ожесточенных боев 21-го сентября овладели областным центром Украины, городом Чернигов».

22.09.1943

А брат Шурик спешил поделиться со мной этой радостью.

Открытка в Акмолинск прибыла 4 октября:

«Здравствуй, дорогой брат Саша!

Прежде всего хочу поделиться с тобой большой радостной вестью – взятии городов Щорс и Чернигов. Итак, дорогой Саша, услышали мы снова о родном Щорсе. Осталось только одно – узнать о положении наших родных: мамыши и Ани с пацанами. Я хочу написать сейчас в Щорс на имя наших и вообще знакомых. Я думаю, что ты тоже займешься этим делом. Дорогой Саша, ты по-старому адресу мне не пиши – получил направление на фронт. Уезжаем немедленно. Итак, следующие открытки ожидайте с дороги. Жаль, что я в Чкалове не получил ни одного письма от отца и сейчас не знаю ни слова, где он и что с ним? Может быть, как раз попаду на родные места, еще не знаю. С дороги напишу. А пока до скорого. Целую крепко-крепко. Не забывай меня, дорогой брат. Твой меньший брат Саша-второй».

Обратного адреса он не указал.

24.09.1943

Брат Шурик опустил в Уральске открытку, которую я получил 12 октября:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Итак, достиг Уральск. Еду, пока не знаю куда, потом сообщу. Знаю только, что на фронт, может быть и на нашу Родину! Пока, до скорого. Целую крепко, твой брат Шура-второй».

26.09.1943

Из сводки Советского Информбюро за 26 сентября:

«На Гомельском направлении наши войска овладели городами: Сураж. Злынка, Новозыбков, Репки, а также 300 других населенных пунктов».

28.09.1943

И вот, наконец, долгожданный приказ начальника Карагандинской железной дороги № 2233 от 28 сентября 1943 года:

«Во исполнение телефонного указания Замнарком пути тов. Нагаева № 2880 от 26.09.1943 освободить от работы на Карагандинской железной дороге и откомандировать в распоряжение начальника оперативной группы Белорусской железной дороги на станцию Калуга:

- 1) Мороз А.А. – бухгалтер топливной инспекции НКПС.
- 2) Воронова С.Т. – ст. инженер тех. бюро ВЧ-4.
- 3) Аронову С.И. – инспектор по подготовке кадров ВЧ-2.
- 4) Бовдзей Л.М. – т. ч. Джебказган».

Подписал приказ заместитель начальника Карагандинской железной дороги по кадрам Попов К.

Началась подготовка к сдаче дел.

01.10.1943

Библиотека выдала справку, что за тов. Мороз А.А. книг,

взятых из железнодорожной библиотеки при Управлении Карагандинской железной дороги, не значится.

04.10.1943

Мне пишет жена Шура из Ижевска:

«Вчера получила твои письма, спасибо, что не забываешь. Купила сегодня 200 граммов мяса за 50 рублей, сварила суп, который съели с Верой. Купила Вере галоши и носки теплые, за все заплатила 515 рублей. Галоши старые, но осенью месяца два пронесит. У нее ботинки совсем дырявые, пальцы повылазили. Были ботинки за 900 рублей, я давала 800, но потом решила не брать, потому что на них нужны еще галоши. Саша, я тебе послала 300 рублей, купи себе масла. Погода пока хорошая. Борик у бабушки, на днях поеду – заберу домой. За новостями по радио слежу, газеты читаю, в Сновск писала. Вере на этот месяц дали талоны в столовую. Крепко тебя целую, Шура».

07.10.1943

Жена Шура пишет мне в Акмолинск:

«Шлю тебе горячий привет. Вчера получила от тебя два письма, спасибо. Рада, что ты сыт, но плохо, что кушаешь без масла картошку. Как-нибудь покупай коровье масло. Мы тоже сыты. Борик еще в деревне – никак не соберусь забрать его. Ехать надо, а то заругают. Я уже писала, что Вера родила себе сына, можешь ее поздравить (прим. – сын Леонид

родился 19 сентября 1943 года.). Карточку на октябрь получила на 400 граммов хлеба. Ты все же проси разрешения заехать к нам, охота увидеться. Я уже сухарей приготовила тебе... Ты подумай, как мы давно не виделись. Приедешь, купим тебе ботинки, они у нас не так дороги, будешь обут и поедешь дальше. Пиши, уехал ли с семьей твой начальник?».

Далее Шура повторяет о покупке галош, о пропуске в столовую Вере, что у Борики обувь пока есть.

«...Погода теплая, без дождей. Купила пять стаканов соли по 15 рублей за стакан. Крепко целуем, твои дети и жена Шура».

09.10.1943

Жена Шура начинает свое письмо с горячего приветствия и пожелания самой хорошей жизни.

«...Ты пишешь, что заехать не сможешь, и это меня сильно опечалило. Прошло много времени, как мы виделись, и мне страшно охота повидаться с тобой. Ты все же старайся заехать к нам. Будешь ехать, то привези одеяло, я pošью из него себе зимний костюм при условии, если оно тебе не нужно. Мама из одеяла пошила Вере костюм, кофточку и юбку, а Борику – штаны и рубаху. В общем, дети одеты. Если приедешь, купим тебе ботинки и валенки починим. Сегодня снилось, будто я с твоей мамой и Верой в лесу, и вот Вера потерялась, я стала крепко кричать, и так, кричавши, проснулась. Я думаю, твоя мать жива. Она в последние дни часто



мне снится такой старенькой, сторбленной, но быстро бегающей. Ты скоро, Саша, увидишь всех родных и знакомых, узнаешь, как они там жили и что пережили. Поцелуй всех за меня, скажи, что я крепко скучаю, и чтобы они писали мне письма. Думаю, что ты скоро поедешь на Родину, вот какой ты у меня счастливый. Вчера делала голубцы с капустой, Веру очень понравились. На базаре у колхозников купила пять килограммов лука по 15 рублей за килограмм, а так лук на базаре по 45 рублей – разница большая. Вот беда – никак не выеду за Бориком, обещала приехать третьего, а сегодня уже девятое. Вера, наверно, меня ругает, но нет времени, подчас даже написать тебе письмо не могу. Ты, Саша, не серчай, что пишу тебе не ежедневно. Да еще беда – не могу достать открыток. С открыткой меньше возни, и ее можно быстрее написать, чем письмо. Так, Саша, наверно и пропали те триста рублей, что ты мне выслал. Ты все же требуй, чтобы разыскали – должны найти. Вот гудит 6.30, буду Веру будить в школу, а сама пойду на базар, может куплю капусты. Целуем тебя все крепко. Саша, не забывай нас. Шура».

11.10.1943

Жена Шура пишет мне в Акмолинск:

«Горячий привет! Получила твою открытку от 28 сентября. Получила от Шурика открытку с дороги – едет на фронт. Пишет, что давно не получал от нас писем в ответ на его, которые он писал из Чкалова. Но мы его писем из Чкалова не

получали, не знаю, почему. Привет тебе от него, куда едет – пока неизвестно, обещает писать. Получила письмо от отца из Бугульмы, на днях его выписали из больницы, а чем болел – не пишет. Его вызывают в Калугу, а куда потом пошлют – неизвестно. Привет тебе от отца. Очень обижается он на Ивана. Просил у него помощи, т. к. у него нет обуви и одежды, пишет, что едет голый и босой, и что ему известно откуда-то, что Иван хорошо живет, имеет деньги, но он даже на письма отца не отвечает. Просит, чтобы я все тебе описала, как к нему относится Иван. Саша, пиши мне, где сейчас находится Иван. Живем хорошо. Борик все еще в деревне, никак не поеду за ним. Сегодня купила ордер на шапку-ушанку за 60 рублей. Думаю, получить завтра, если найду в магазине. Шапка для Борика будет, а то у него нет. Вчера кое-что продала из мелочи, что мне не нужно, и купила воз дров – 2 кубометра за тысячу рублей. Тех же дров, что на станции, никак не могу вывезти. Завтра пойду на станцию узнать, есть ли дрова. Один человек обещает вывезти, и тогда у меня будет много дров... только квартира тесная. Погода теплая, по утрам и ночью холодно. Вере в школе дали талон на починку обуви: пойду, понесу ее валенки. Сейчас она ходит в галошах и шерстяных носках. Сама я хожу в сапогах. Вот, Саша, жаль, что ты совсем разулся, и ботинки твои порвались. Если сможешь к нам заехать, то я куплю тебе ботинки, и ты будешь обут. Пиши, получил ли от меня 300 рублей? Купи себе на них масла коровьего и ешь картошку с маслом. Очень

рада, что ты сыт. Крепко целую. Твоя Шура».

После этих четырех октябрьских писем от Шуры ко мне, к сожалению, дальнейшие за октябрь, ноябрь и почти весь декабрь 1943 года не сохранились. Уцелела лишь открытка за 26 декабря. А жаль, ее письма помогли бы мне многое осветить из того периода жизни, когда Шура уже не работала на заводе.

В этот же день, 11 октября, я пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, Шура и дети!

Вчера получил от тебя 300 рублей. Спасибо, что не забываешь меня. Хотя мне и стыдно вместо того, чтобы помогать вам, еще и получать от вас помощь. Я пока все еще не сдал дела. Все на найдут вместо меня человека. И когда его дадут – сам не знаю. Я начинаю нервничать. Наши уже уехали отдельным вагоном. Но я теперь все равно думаю устроиться так, чтобы побывать у вас, так как мне вагон не интересен. Сегодня получил от Ивана Гаврилова открытку. Сейчас вечер, жду известий по радио. Разговорились с моим соседом по комнате. Оказалось, что он служил вместе с вашим Василем в Свободном, показал мне фотокарточку, где за столом с выпиской спят Василь и Иван Павловский с женой и дочкой. Так, совершенно случайно, мы разговорились о Василе. Я ему показал карточку семьи Васи, т. е. Верины и твои снимки, и ту, что нас Вася снимал. Бывают же разные слу-

чайности! Недавно узнал, что жена Бортникова умерла, мать тоже, а он сам в Костроме, учится на командира. Дети их живут где-то сами. Шурик наш из Чкалова уехал на фронт. Вчера, позавчера я послал тебе, Шура, книги в двух пачках. Алгебру и Горького не давай рвать, а остальные используй, как хочешь. Борику одну дай – пусть рисует. Я тебе писал уже, чтобы ты прекратила мне писать письма, а вот, видишь, до сих пор сижу в Акмолинске. Буду писать о дальнейшем, как до сих пор. Целую вас всех».

13.10.1943

Я пишу жене Шуре:

«Как видишь, я все еще на месте. И хоть я и просил тебя не писать сюда больше писем, то, кажется, придется пожалеть и сидеть без твоих писем. За твои 300 рублей пока ничего не купил, жду приличного базара, да куплю, может быть, сала. Хорошо, что я раньше купил себе муки, а то теперь ее нет. Сегодня холодно, за уши берет морозец, но днем потеплело. Еще счастье, что нет дождей, а то в моих ботинках было бы мне кисло. Рад, что ты живешь неплохо, пишешь, что поправилась по сравнению с прежним временем. Удивляет меня, почему ты получаешь не все мои письма, а пишу я тебе часто. Ну, пока! Целую вас всех. Привет колхозникам».

14.10.1943

В открытке я пишу:

«Здравствуй, Шура и детки! Я все еще в Акмолинске. Пока все то же – нет никого на мое место. Утром глянул в окно – все бело: выпал снег. Правда, он начинает таять – будет грязь, но начало зимы уже есть. По радио сообщили, что наши форсировали реку Сож и уже ведут бои за Гомель. Новобелицу взяли вчера. От нашей квартиры, наверно, ничего не останется, как раз с той стороны наши наступают. Ты, Шура, запроси по адресу: г. Бугульма, начальнику паровозного отделения, отдел кадров. Пусть сообщат, где находится машинист водокачки Гаврилов В.А. Мне он не отвечает, Шурику тоже. Это молчание его очень подозрительно, не случилось ли чего с ним. Из Щорса я пока ничего не получил – да еще и рано. Может, у тебя уже есть известия? Ну, пока. До скорого свидания. Я не теряю надежды, что заеду к вам, буду стараться. Целую всех. Привет нашим».

15.10.1943

Я посылаю открытку жене:

«Получил два твоих письма, спасибо. Я все еще тут. Сегодня как будто наклеивается заместитель. Не знаю, придет ли он завтра на работу принимать дела. В общем, похоже, я скоро двинусь в путь-дорожку. Сейчас 10 часов вечера, сижу на кровати, слушаю радио. Скоро оно скажет: «Внимание, товарищи», а потом речь Сталина. Сегодня, наверно, будет приказ о взятии Мелитополя. Да и около Гомеля бои идут очень близко. Очень рад читать, что вы живете неплохо и да-

же умудрились купить пальто и Вере обувь. Ну, пока. Целую всех оптом и в розницу».

17.10.1943

Письмо от меня к Шуре в Ижевск:

«Как видишь, я все еще на месте. Сегодня выходной, утро, идет дождик. Пойду на базар, хотя там, наверное, ни черта нет. Думаю, купить масла за твои 300 рублей. Завтра обещали прислать человека на мое место, не знаю, будет ли? Как бы то ни было, я скоро должен выехать, заехать к вам буду стараться при всех условиях – теперь все равно ехать пассажиром, потому что вагоны наши давно уехали. Как-нибудь доберусь, так что ждите. Ну, пока. Целую всех».

И в этот же день я продолжаю:

«Шура, получил твое письмо, спасибо. Сейчас вечер, сижу в комнате, за дверью радио. Часов до трех ночи буду сидеть и ждать сводку – идут бои за Гомель! Сегодня купил, Шура, за твои деньги полкило сала за 250 рублей и вкусно поел с картошкой. Сало тоненькое, но ничего. Получил сегодня открытку от Ивана и ответил ему. Пишет, что он далеко от Щорса и в ближайшее время туда не поедет. Ты пишешь, что картошки на зиму заработала пять пудов – это маловато. Но, это только начало, наверно. Шурик наш уехал на фронт, и нового адреса я от него не имею. Ну, пока. Целую всех».

18.10.1943

Наконец, появился приказ по Картранстопу:

«Распоряжение № 33 по Картранстопу НКПС от 18.10.1943. На основании приказа Зам. Наркомпути тов. Начаева за № 2680 от 26.09.1943 бухгалтера Картранстопа тов. Мороза Александра Александровича откомандировать на Белорусскую железную дорогу в распоряжение оперативной группы дороги г. Калугу».

Подписал распоряжение и.о. начальника Картранстопа Лаврищев.

В этот же день я, наконец, приступил к сдаче дел своему приемнику.

19.10.1943

А на следующий день я сдал штампы:

«Расписка. Штампы «Сибтранстопа», полученные тов. Мороз А.А. от Левандовского Н.И. согласно акту от 13 марта 1943 года в количестве восьми штук, от тов. Мороза получил Лаврищев».

И в этот же день И.Ф. Лаврищев подписал мне справку о полученной мной зарплате в топливной инспекции за время с декабря 1942 года по октябрь 1943 года включительно по 600 рублей в месяц.

Пишу Шуре в Ижевск:

«Сегодня сдал дела. Еще несколько дней, пока получу

пропуск и документы, и я выезжаю в путь-дорогу. Постараюсь заехать к вам. Завтра начну хлопотать. Сейчас около 12 ночи, сижу один, все разошлись. Упаковываю свои вещи так, чтобы занимали меньше места. Получу деньги и думаю купить килограмм сала, а его у меня сопрут в дороге, как в тот раз, и все будет в порядке. Писем от тебя нет, возможно, что ты уже перестала писать сюда, потому и нет. Но завтра я еще надеюсь получить. Завтра весь день придется бегать по разным местам. Целую, привет нашим».

20.10.1943

Пишу жене Шура, возможно, последнее письмо из Акмолинска:

«Здравствуйте, дорогие Шура и детки! Ну, вот, наконец, я сдал все дела и уже получил пропуск из милиции. Наверное, дня через три выеду. Вещей у меня будет два места, но довольно тяжелые. Не знаю, как я с ними доберусь. Вчера на вокзале смотрел, как едут люди, и очень мне не понравилось, а ведь на днях придется и мне стать пассажиром. Ну, пока. Целую вас всех. Привет нашим, скоро увидимся. Какие-то вы там теперь? Дети, небось, выросли, а ты, Шура, постарела, как и я. У нас пока не холодно, и я буду ехать в ботинках. Писем из Щорса не получил до сих пор».

Брат Шурик пишет моей семье в Ижевск из Прилук:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Верочка и Борик! Примите



мой горячий, боевой, офицерский привет и пожелание дальнейшей встречи с отцом, мужем и дальнейшей счастливой и радостной жизни. Я проехал свои, почти родные, места – Бахмач, но в Сновск не мог попасть, потому что нет еще моста, а главное – не по дороге. Сейчас нахожусь в Прилуках. Много проехал по освобожденным городам. Украинские города некоторые побиты, некоторые почти целые, особенно те, откуда немец бежал без оглядки. Бывал на базарах. Цены в три-четыре раза дешевле, чем где я был до этого. Продукты также есть. Итак, дорогие, достиг своей Черниговской области, но следую дальше – освобождать нашу Родину. Привет Саше, он, очевидно, переехал из Акмолинска. Уже много жителей едут на свои места. Когда будет адрес, то сообщу. В Сновск посылал много открыток и передавал офицерам, едущим туда. Пока, до скорого. Целую вас очень крепко, Шура. P.S. Пребывая в Бахмаче, искал своих земляков, но не встретил ни одного. Говорят, что Сновск не сильно поврежден, только разбита станция. Следую дальше».

21.10.1943

Я получил пропуск № 985 от дорожного отделения милиции Карагандинской железной дороги:

«Разрешается Мороз Александру Александровичу проезд от станции Акмолинск до станции Калуга без заезда в Москву. Цель поездки: к постоянному месту работы, паспорт П-НУ 670706».

Подписал пропуск заместитель начальника НКВД.

22.10.1943

Я получил разовый билет 135849 сроком до 30 октября 1943 года от станции Акмолинск до станции Калуга Москва-Киевской железной дороги, командировочное удостоверение № 19. Через какие пункты – ничего не указано.

В этот же день в открытке из села Яблоневка Черниговской области мой брат Шура писал моей семье:

«Здравствуйте, дорогие Шура, племяннички Вера и Борик! Передаю свой горячий офицерский привет и пожелание всего наилучшего в вашей жизни. Я жив, здоров, продолжаю свой путь. Сейчас нахожусь в гостях у своего товарища. Гостим вторые сутки. Принял очень хорошо всех нас, друзей. Он попал на свою Родину в свое родное село. Я же проехал около своих, но попасть в Щорс не смог. Достиг я станции Бахмач, откуда самое близкое расстояние – 90 километров. Но ничего, побудем, он теперь освобожден. Жизнь в селах Черниговской области теперь хорошая. Урожай хороший и почти остался у нас, не успели фрицы уничтожить его. А пока до скорого. Целую всех вас. Ваш родич и дядя Шура. P.S. Горячий привет передайте Саше и сообщите обо мне. Он сейчас, наверное, переехал».

24.10.1943

Пришел день, когда я расстался с далеким от родных мест Акмолинском.

Во время моего переезда из Акмолинска к родным местам, мой брат Шурик писал открытку моей семье в Ижевск:

«Здравствуйте, дорогие Шура и племяннички Верочка и Борик!

Разрешите передать свой боевой, горячий, фронтовой привет и пожелать вам всего наилучшего в дальнейшей жизни. Я жив, здоров. Снова на фронте, освобождаем нашу Украину (тут одна строка вычеркнута цензурой). Даю свой адрес: Полевая почта 24919 «Г». Если знаете адрес Саши или отца моего, то обязательно сообщите. Я писал вам, что за последние два месяца в Чкалове я не получил ни одного письма от отца. Привет Саше и всем. Целую вас очень и очень крепко. Ваш родич и дядя Саша-второй».

В Ижевске эту открытку получили 23 ноября 1943 года, т. е. за два дня до гибели Шурика. Это последняя сохранившаяся у меня открытка от брата Шуры.

В памяти моей не сохранились детали моего путешествия от Ижевска до станции Куровской. Но помню, что в Куровской моя попытка попасть на московский поезд не увенчалась успехом – туда требовался пропуск, а в моем было дипломатично прописано «без заезда в Москву». Пришлось дальше до Калуги ехать, огибая Москву с юга. К счастью, сохранились три открытки с описанием некоторых пунктов

этого довольно путанного и замысловатого маршрута.

10.11.1943

Я писал жене Шура со станции Кудровская:

«Здравствуйте, Шура и дети!

Наконец-то я добрался до той станции, что я и наметил себе. До Москвы отсюда 80 км. Приехал утром, помылся, поел, хочу спать. До поезда еще много времени. Из Агрыза я выехал шестого ноября с большим трудом. Поезд из теплушек – когда забирался и был уже почти в вагоне, у меня за спиной мой задний мешок схватили, опрокинули, и я оказался под вагоном. С трудом упробился в военный вагон. Ехали все время в тесноте, грязи и темноте. Грубка не горит, замерз. А потом, подъезжая под Москву, шел дождь, и я промок – крыша протекала. Штаны, что на мне, уже грязные. В общем, намучался здорово. До Калуги уже недалеко, но пересадок много. Целую всех. Буду писать по возможности».

11.11.1943

Вторую открытку я писал жене из Воскресенска:

«Больше суток сижу в Воскресенске около Москвы. И до Калуги осталось недалеко, а вот никак не доеду. Еще штуки три пересадки. Сегодня ночь проспал на вокзале и прозевал поезд. И не только я, а все пассажиры, потому что никто не объявил, что есть поезд. Ноги болят все так же. Скорее бы доехать, уже надоело слоняться по вокзалам. Я вчера послал

тебе открытку со станции Куровская. Ну, пока. Целую. Привет всем».

13.11.1943

Я пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Уже 13 ноября, а я все еду. В Воскресенске просидел двое суток. Впереди еще две пересадки. Числа 15-го, думаю, доберусь до Калуги. Пока не голодаю, хожу по карточке обедать в столовки. Обеды неплохие. Кашира недалеко от Москвы. Молоко на базаре 50 рублей. Теперь уже жди письма с места. Тут не холодно, но морозы есть, снега почти нет. Когда-то я, Шура, получу от тебя письма? Целую всех».

Мое четвертое письмо, к сожалению, не сохранилось, а в нем должно было быть описание маршрута от Каширы до Калуги. Обращаясь к памяти, я вспомнил, что проезжал станции: Ожерелье, Узловую, Тулу, Алексин и добрался, наконец, до Калуги.

В Туле, где была последняя пересадка, я по своей туристической любознательности походил по городу, побывал около стен и массивных зданий тульского оружейного завода. Особого впечатления этот город, славящийся, кроме оружия, изготовлением самоваров, на меня не произвел. Правда, удивила широких размеров радиофикация города: почти на каждом углу улиц слышались звуки из репродукторов.

15.11.1943

В Калуге я был недолго. 15 ноября нам выдали разовый билет № 623391. Билет выдал начальник билетной группы станции Калуга Денисову П.М. и Морозу А.А., работникам Белорусской железной дороги, до станции Унеча сроком до 10 декабря 1943 года.

И мы покатали в Унечу.

21.11.1943

Я писал жене Шуре уже из Унечи:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Доехал до Унечи 18 ноября. Попал в вагон со своими – работниками дистанции. Там были Анапрейчик с женой, Рачков и другие. Купил муки два фунта за 30 рублей и варю затирку, да гороху по 10 рублей стакан. Получил жиры по карточке за месяц, так что живу ничего. В теплушке тепло, дров много. Ночевал у батьки в вагоне, у него варим затирку из твоей муки. Он уехал в Сновск 18 ноября. Многие едут семьями, особенно те, кто жил вместе. Насчет матери и Аньки пока ничего не знаю. Не писал после Тулы – некогда было. Не знаю, когда получу от тебя весточку. Унеча вся разрушена. Привет всем. Ну, пока. Целую».

23.11.1943

Я писал жене Шуре из Унечи:

«Здравствуйте, Шура и детки!

Живу в теплушке. Ждем дальнейших указаний. Может быть, поедем через Сновск. У нас в вагоне: Анапрейчик с женой, Рачков без семьи, Захарова с сыном. Как я уже писал, я одну ночь ночевал в теплушке у батьки. Он уже поехал в Сновск. Дома кооперации в Сновске целые. Видел со Сновска Ходосевича, но он ничего мне про мать рассказать не мог. Насчет еды неплохо, не голодаю. Варю суп, в теплушке печь горит круглые сутки. Как-то вы там живете? Уже хочется иметь от тебя, Шура, весточку. Ты подробно пиши письмом, а в открытке коротенько и ничего особенно не описывай, а то открытку все будут читать, пока она попадет ко мне. Целую всех. Привет колхозникам».

25.11.1943

В эти дни, когда я был еще в Унечи и мечтал о скорой встрече с моей матерью и сестрой Аней с робкой надеждой увидеть их живыми и здоровыми, а также со всеми родичами, как оставшимися в оккупации, так и вернувшимися из эвакуации; когда я думал о судьбе братьев Николая, Леонида и Шурика, из которых я только с Шуриком имел связь, а о двух воинах не знал ничего, в эти дни медсестра писала из села Царевка Житомирской области скорбное письмо:

«Здравствуйте, родители Гаврилова!

Разрешите сообщить вам очень печальную весть. Да, очень жаль, очень обидно, что наши лучшие сыны Родины

уходят из строя. Ваш сын Саша погиб в бою за освобождение села Царевка Житомирской области. Но пускай помнят проклятые псы, что за Сашу мы им отомстим. Фашисты знают, что они проиграли войну, и теперь бросаются во все стороны, как бешеные собаки. Сашу похоронили в этой деревне. Сообщение пришлют немного позже. Но пока что все о вашем сыне. Прошу, пишите, когда получите это письмо. С приветом сестра Шура».

Было извещение от командира 454 Гвардейского мотострелкового батальона Навойцева:

«Ваш брат лейтенант гвардии Гаврилов А.В. в боях за Социалистическую Родину, за освобождение украинского народа от немецких оккупантов героически погиб 21 ноября 1943 года в селе Царевка Житомирской области и похоронен там же».

А гораздо позже Щорский военкомат известил родителей Шуры, что их сын Гаврилов А.В. в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 21 ноября 1943 года и похоронен с отдаванием воинских почестей в селе Царевка Житомирской области.

Бедный Шурик! Погибнуть в двадцать лет на пороге жизни... Погибнуть, пройдя мимо матери в 90 км от родного дома, так и не увидев ее. Вечная тебе память, наш славный Шурик. Будь проклята война!



28.11.943

Со станции Унеча я пишу жене Шуре:

«Здравствуй, Шура и детки!

Пока стоим в Унечи. Гомель наши уже взяли. Не знаю, попадем ли мы в Сновск, но вот-вот должны выехать. Как я уже писал, батьку я видел в Унечи – он уже в Сновске. Насчет матери и Аньки ничего пока не знаю. С едой у меня неплохо, покупаю горох по десять рублей стакан и варю суп. Здесь все дешевле, чем у вас. Соскучился без твоих, Шура, писем и не знаю, когда получу их. Адрес у меня очень непостоянный. Я живу в теплушке, которая не стоит на месте. Точный адрес дам из Гомеля. Ну, пока, желаю вам всего хорошего. Пишу редко, потому что такая обстановка, что до почты далеко, некуда бросить письмо».

После открытки 28 ноября я до 7-го декабря не писал жене, что видно из нумерации писем.

Поэтому, пошевелив мозгами, я припомнил некоторые эпизоды во время переезда из Унечи в Щорс. В хуторе Михайловском – разрушенный сахарный завод. В Конотопе встретил инженера ШЧ-1 Пискуна Ф.Ю. Это, вроде как, его Родина. Город побольше Щорса, разрушенный не много. Вагоны наши стояли около железнодорожного завода. Постреливали. Запомнился эпизод: метров в 300–400 от нас группа человек пять окружила еще одного, который кричал – его избивали. Мимо прошел, важно шагая, мужчина, от которо-

го мы узнали, что это происходит расправа с предателем, его кололи ножом. Картинка, от которой поднимается давление. От нашего эшелона никто не решился подойти к месту, где неизвестные вершили самосуд.

Миновали Бахмач, потом знакомые места: станции Чесноковку, Бондаревку, переехали мост через реку Десну у Макошино, о котором упоминал Шурик, что он цел. Миновали станцию Низовка. На этой станции с рядом стоящей платформы кто-то из наших (уж не Рачков ли?) принес торбочку с солью. Насилу урегулировали этот конфликт с охранником соли.

07.12.1943

И вот, глубокой ночью, с замиранием сердца я стучу в двери родного дома. Открыла мать... Дальнейшее описано в моей открытке № 8, которую я писал жене Шура в Ижевск со станции Сновская:

«Здравствуйте, дорогие Шура и детки!

Вот я и в Сновске! В два часа ночи постучал в квартиру, открыла мать. Анька имеет двух детей теперь, а третий, Юрик, погиб от разрыва мин. Был у Лукашевич и Вальки: живы, здоровы. Сновск разрушен, но, по сравнению с другими местами, не слишком сильно. Казенный лес почти весь немчура уничтожила. Вагон наш пока в Сновске, ночевать буду у наших. Когда двинемся в Гомель – не знаю, уж очень он, говорят, разрушен. Василия Коленченко немцы убили, Хомяка тоже, почтальона Усика с семьей и других. Пиши

на всякий случай по адресу на обороте, т. е. в Гомель. Твои письма получили и наши, и Лукашевичи и тебе ответили. В Сновске все дешево, но денег у меня нет. Погода мокрая, ботинки мои разваливаются, а в валенках ходить нельзя. Вчера встретил Ваньку Пузач, он говорит, что Олька жива, надо будет ее повидать. Ну, пока. Целую вас всех».

Итак, судя по открытке, я появился в Сновске числа пятого или шестого декабря.

08.12.1943

Я послал девятую открытку к жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Я еще в Щорсе, живу у своих. На днях едем в Гомель. Был у Лукашевичей, обходил весь Сновск. Немцы сожгли почти весь казенный лес. Поеду в Гомель – конечно, ни черта там не осталось, так что все придется наживать сначала. Бабушка наша бегают, как и прежде. Картошка у них есть своя. Анька работает учительницей. С нетерпением жду твоих писем. Пиши по адресу на обороте (Гомель, главпочтамт, до восстановления). Привет нашим колхозникам. Узнал адрес Лёни: полевая почта 29422-10, Гаврилову Л.В. Адрес Шуры: полевая почта 24919 Гаврилову А.В. Сейчас пойду ходить по Сновску, повидаю Ольку. Пиши, как живешь, как с картошкой дела, с работой. Целую всех».

10.12.1943

Я писал в колхоз «Луч» Вере Тимошенко (прим. – сестре Шуры):

«Здравствуйте, дорогие мама и Вера с детками!

Уже три дня живу в Сновске. Сегодня едем в Гомель. Мои родные живы и здоровы, только у сестры Аньки мальчика разорвала мина. Лукашевичи и Валька с мужем тоже живы. Ксениного мужа взяли в Красную армию. Сновск значительно поврежден, в городе много домов сожжено, в том числе церковь. Евреев много немец пострелял. Расстреляли немцы Василя Коленченко, Хомякова, Кожелая и других. Сергей Зайка, Беренсон, Иовшицы – немецкие прихвостни, и они бежали с немцами. Черниговская улица вся цела. Казенный лес почти весь вырубил и выжгла немчура. В общем, Сновск пострадал, хотя и не так, как другие города, где я побывал и проезжал. Гомель, говорят, почти весь сожжен. Вот поеду – увижу. Здесь все дешевле, чем у вас, но постепенно цены растут, потому что люди приезжают. На радостях, при встрече, пил самогон. Не знаю, где придется в Гомеле жить, так как по слухам квартира наша разбита. Пишите в Гомель – адрес на обороте. Сегодня наши получили от Шуры письмо. Целую всех».

13.12.1943

Пишу письмо жене Шуры из Гомеля:

«Здравствуйте, мои дорогие! Вот, прибыл я в Гомель. Как

все разрушено – трудно описать. Хотел добраться до нашей квартиры, но не удалось. От мин дом почти разрушен, и наша квартира завалена камнями, посмотреть, что делается в середине, никак нельзя. Конечно, там ничего нет. Был у Перхуновых: они говорят, что немцы давно все вывезли, что было в этом доме. Шура, вышли мне те две книги, которые я тебе оставил. Пиши на главпочту до востребования. Где буду жить – пока не знаю, а сегодня живу в вагоне в Новобелице. В Сновске читал твое письмо, что ты писала нашим. Целую вас. Пиши мне обо всем».

Итак, примерно 12 декабря 1943 года я уже был в Новобелице. Управление Белорусской железной дороги помещалось в школе. Встретился с моим начальником Жариным Д.Е., с руководителями бухгалтерии и многими, многими другими. Управленцы прочили мне новое место работы, но я не хотел туда идти. Слишком большое начальство приходилось там обслуживать, а оно, как известно, довольно капризное, и работать с ним нелегко. Поэтому я стремился остаться главбухом первой дистанции связи, где и начальство, и народ проще. Жарин тоже не хотел другого бухгалтера и, пользуясь своим влиянием у управленцев, отстоял меня, и я остался на своей старой должности.

Из Новобелицы в Гомель я шел с инженером Пискуном Ф.Е. Подошли к разрушенному железнодорожному мосту: фермы моста в беспорядке торчали над водой и вдоль трассы

моста. Была проложена дорога на понтонах, по которой мы перешли реку Сож. Вышли на Пролетарскую улицу: на стенах обрывки немецких объявлений и афиш. На Советской улице одни разрушенные коробки, балки и все металлическое вынута. Обошли здание лесного инструмента, на стенах его надписи «заминировано». Таких надписей мы встречали много. В нашем доме я пытался подняться на второй этаж, но не смог – все завалено. Лишь спустя некоторое время мне удалось попасть в нашу квартиру. Комната пуста, на стене трещина, грубка наполовину разрушена, около нее валяется портрет Гитлера размером с почтовую открытку. Дом соседей Перхуновых был цел. Зашел к ним, кое о чем расспросил. Оттуда мы пошли к дому, где жил Пискун, но там не было ни окон, ни рам. На стенах рисунки голых женщин. Жарин занял кирпичный дом на улице Демьяна Бедного под контору, т. к. старое здание было разрушено. Некоторое время я жил в конторе, пока главный бухгалтер нашей службы Скоробогатов Василий Иванович не сагитировал меня обосноваться в доме, где он жил до эвакуации. В доме на углу Сортировочной улицы и второй Красной, недалеко от нашей старой квартиры. Так, через два года и четыре месяца я снова оказался в Гомеле.

16.12.1943

В открытке жене Шуре я писал:  
«Здравствуй, Шура и детки!»

Я уже поместился в конторе. Квартир пока нет и не знаю, когда получу. С квартирами дела плохи, все разрушено. Карточек на хлеб пока нет, варю супы. Денег еще не получил, да они здесь пока мало нужны, потому что базаров нет. Почта еще не принимает к отправке деньги. Насчет затребования вас сюда пока разговора быть не может. Подождем, когда отодвинется фронт, а он от нас не так далеко. Начал работать – работы много. Напишу подробнее письмо, когда найду конверт. С нетерпением жду твоих писем, я уже давно не читал их и очень соскучился. Как дети? Как с карточками на хлеб? Как с работой? Держись, Шура, много терпели – осталось меньше. К весне возможно положение изменится. Был около Ивановой квартиры – остались лишь трубы. Все сгорело вообще, все дома там сгорели. Многих немец угнал, например, Дьяковского, Ксензова. Дом Ксензова тоже разрушен. Те, кто оставался тут, почти все потеряли и пережили много ужасов. Пока. Целую. Буду ждать писем от тебя. Присылай мне книги. Хорошо, что взял одеяло».

19.12.1943

Я пишу жене Шуре письмо из Гомеля:

«...Сегодня выходной, напишу поподробнее, а то все не было времени. Правда, открытки я тебе посылал. Когда я первый день был в Гомеле, да посмотрел, что тут наделано, то у меня голова разболелась. Город сожжен и разрушен, только и остались деревянные дома в залинейном районе.

Квартир нет, ночую в конторе на столе. Контора на новом месте. Хорошо, что взял одеяло, а то бы пропал. Подождите до весны, может быть положение изменится, и вы приедете сюда. Даже если не будет квартиры, то летом все же легче будет. Как подумаю о том, чтобы перетащить вас сюда, так голова кругом идет. Дорога тяжелая, а до Гомеля не только пассажирские не ходят, но и путей нет. Вместо путей – чистое поле, все немец разрушил. В крайнем случае вам придется жить в Сновске у наших, у них дом цел, и в Сновске прожить легче. Пиши, Шура, если мне будут давать визу на вас, то брать ли ее с условием езды пассажиров? Но предупреждаю, что ехать и долго, и трудно, а багаж часто пропадает. Питаюсь запасами, купленными в Сновске, а здесь пока хлеба нет, столовой нет. В бане еще не был. Мать постирала мне одежду, когда был у них. В общем, жизнь тяжелая. Квартира наша будет разбираться, она для ремонта не годится. Базары маленькие и дорогие. Денег еще не получил. Для поездки в Сновск нужно много времени, и меня не отпустят. Как подумаю про вас, про вашу тесную квартиру, так тяжело становится на душе. Но здесь еще хуже. Умер Рачков от разрыва сердца, ехал с нами в одном вагоне. Его семья где-то около Чкалова. Семья Демиденко тоже где-то там, и он сам с семьей. Рудов умер при немцах. Немцы в Гомеле, как и везде, много расстреляли евреев, да и русских погибло немало. Пока, мои дорогие. Пиши подробно, как живете».



26.12.1943

Посылаю открытку жене Шура:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Вера и Борик!

Сегодня выходной, но мы работаем. Как живу? Недавно послал тебе заказное, где подробно все описал. Вчера открылась первая столовка. Обеды ничего, но маловато. Живу на Сортировочной, недалеко от нашей старой квартиры. Я, было, занял одну комнату, но ко мне вселили еще двух человек. Кровать у меня железная. Достал себе тумбочку, имею топор, сковороду. Как видишь, уже кое-какое хозяйство есть. С хлебом дело пока не налажено, получаем нерегулярно. Денег до сих пор не дали. Базары работают, но все довольно дорогое: картошка 100 рублей ведро. В Сновске все значительно дешевле, но чтобы съездить туда, нужен отпуск на много дней. Поезда не только пассажирские, но и вообще никакие в Гомель не ходят. Заходил к Коленченко: на квартире их нет и при немцах они на Черниговской не жили. Как вы живете? Работаешь ли? Как с карточками на хлеб? От тебя писем до сих пор не получал. А то, которое ты писала в Сновск, я читал, когда был у наших. Пиши, жду. Целую. Привет нашим».

В этот же день жена Шура писала свое первое письмо мне в Унечу, а получил я его в Гомеле через месяц 25 января 1944 года:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Я уже все передумала про тебя, дорогой – ты мне обещал

часто писать, а что есть на самом деле? И вот теперь тоже нет писем от тебя. Ты, мой дорогой, попал на Родину, видел своих, а нас, бедняжек, забыл совсем, не охота нам пару слов написать. От мамы и Ани есть письма, все живы-здоровы, кроме Юрика. От Лукашевич тоже есть письмо. У нас случилось большое горе: моя мама 17 декабря ночью умерла. Я была у них. Я пришла к ним 15-го вечером: мама была совсем здорова, а 17-го умерла. Утром встала, покушала, днем Вера пришла с работы, пообедали вместе, она не жаловалась ни на что. Задумала истопить баню, пошла туда и сразу почувствовала, что ей плохо. Вернулась обратно, но домой она уже не дошла – упала на улице, и ее мы привезли на санках. Это было в три часа дня, а вечером умерла и ничего не сказала. Ее разбил паралич. Я очень плохо себя чувствую, все время плачу. Саша, пиши чаще. Твоя Шура».

Да, скорбное это было известие. Заканчивался 1943 год. Безвременно ушли из жизни два близких человека: Шурик, защищая Родину, сложил голову на Житомирщине, и Шурина мать – вдали от родных мест в Удмуртии.

27.12.1943

Дочке Вере Ижевская неполная средняя школа № 31 выдала такую справку:

«Справка № 14 дана Мороз Вере в том, что она действительно училась в г. Ижевске в НСШ № 31 в четвертом клас-

се с 1 сентября 1943 года по 20 декабря 1943 года. Имеет успеваемость хорошую по всем предметам и отличную дисциплину. Справка дана для предъявления в другую школу».

Подписал справку директор и учительница Федотова С.

По-видимому, это требовалось в связи с переездом в Средний Постол.

29.12.1943

Я пишу жене Шуре из Гомеля:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Вчера вечером шел из Новобелицы из Управления в семь вечера: было темно, на улице ни души. Как-то не верится, что идешь по Гомелю, когда-то шумному и многолюдному. Сейчас сижу в фин. отделе, жду начала совещания. Проходил мимо Рогачевского базара – уже торгуют, но что-почем не спрашивал. Спешил, чтобы не опоздать, а пришел рано. Я тебе, Шура, писал про Гомель, но мало, много уничтожено и всего не опишешь. Легче описать, что осталось. Дом Коммуны на Комсомольской улице стоит, вроде цел. От клуба и вокзала остались только стены. Пединститут около нашей старой квартиры цел. Десятая школа около базара Рогачевского тоже цела. А остальные каменные дома – их либо нет, либо остались только стены. Конечно, когда люди возьмутся, как следует, за восстановление, то скоро опять Гомель воскреснет. Залинейный район сохранился довольно хорошо, Полесская, Кирова и Рогачевская тоже. Теперь тут почти все

учреждения города, а центр пока мертвый. Сегодня утром я впервые услышал паровозные гудки где-то около аэродрома. Теперь мост будет около Коленок, а тут все мосты разрушены. Как я уже писал, живу я на Сортировочной улице около Ново-Черниговской, недалеко от Станюнаса. В моей комнате живут еще три человека, а отдельной комнаты не дают, раз нет семьи. Насчет затребования вас сюда еще рано говорить, еще близок фронт, как видно из сводок Информбюро. Писем от тебя, Шура, нет, хотя я почти ежедневно захожу на почту. Поздравляю вас, мои дорогие, с Новым Годом и желаю, чтобы этот новый 44-й год был для нас счастливым, и мы опять собрались вместе. Ну, пока. Целую вас всех. Ботинки мои порвались. Ношу пока валенки, но здесь часто сырая погода, а недавно шел дождь. В общем, пока зима сиротская. Пиши, Шура, а то тяжело уже без твоих писем два месяца».

Столовую, которую открыли еще 25 декабря 1943 года на территории шарикоподшипникового завода около Полесского переезда, была местом неожиданных встреч, где часто раздавались громкие приветствия давно не видевшихся друзей и знакомых. Однажды, я услышал громкое «Олесь» – это кричал мой бывший начальник по линейной конторе Иван Филиппович Лукашук. Меня он называл просто «Олесь», как было принято у них на Полесье. Как он изменился! Вот что делает старость. Только живые глаза его чем-то напоминали бывшего неунывающего Ивана Филипповича, тезку

другого Ивана Филипповича, с которым я расстался в Акмолинске. Поговорили, рассказали вкратце каждый о своем.

## 1944 год

01.01.1944

В доме, где я поселился, до эвакуации жил главбух Скоробогатов Василий Иванович. Он занял квартиру в этом доме, и по его совету, при его содействии я тоже занял квартиру в этом двухэтажном доме и получил ордер на нее с 1 января 1944 года:

«Ордер № 17 выдан Морозу А.А. на право занятия квартиры в доме № 14 по улице Второй Красной из двух комнат площадью 22,6 кв. метров, место работы ШЧ-1, должность главбух, получаемая зарплата 800 рублей. Количество членов семьи – четыре человека».

Ордер скреплен печатью, подписал НЖЧ-3 Кирьянов.

В первый день января я пишу открытку жене Шуре:  
«Здравствуйте, мои дорогие!

С Новым Годом! Желая, чтобы в этом году мы опять зажили вместе. Сегодня, по случаю Нового Года, я свободен, но весь день прошел в хлопотах по своему квартирному хозяйству. Вчера привез шпал, которые немцы на Сортировке перерубили пополам, и сегодня их рубил. Починил тумбочку, заклеил газетами стены, сварил котелок супа. Только что

пришел с почты, к сожалению, писем ни от тебя, ни от кого нет. От тебя, Шура, вот уже два месяца как ничего нет. Со-скупился без писем, да и узнать хочется, как вы там живете. У нас ночью была стрельба по случаю встречи Нового Года, а бабы думали, что налет, попугались, оделись. Как ты зна-ешь, Шура, фронт еще недалеко от нас, Жлюбин еще у нем-ца. Но у нас все спокойно. Денег я еще не получал. Погода стоит хорошая, небольшие морозы, снега мало. Пиши, жду. Целую всех».

02.01.1944

О брате моем Лёне Гаврилове после эвакуации из Гомеля ни я, ни моя семья ничего не знали, а он был жив и здоров, и второго января писал моей семье в Ижевск на ул. Азина, д. 4:  
«Здравствуйте, дорогие Шурочка, Верочка и Борик!

Я жив и здоров, чего и вам желаю. На днях получил от вас письмо-открытку, за которую премного благодарен, но ответить сразу не было времени, все занят по горло. Сейчас нахожусь на передовой, что будет завтра – не знаю. Но, надеюсь, что 1944 год будет завершающим в этой войне. Быть может, я и не вернусь, но знаю, что вы уже страдать не будете. Вчера встретил Новый Год. Фрицу тоже досталось «ново-годних подарочков». Конечно жаль, что война, а то бы дома все собрались, встретили бы Новый Год куда веселее. Будем надеяться, что май все же будем встречать вместе. Переда-вай привет Саше и мамаше с Верой. С приветом Лёня».

03.01.1944

Письмо от жены Шуры из деревни Постол:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Поздравляю тебя с Новым Годом, новым счастьем и новыми победами! Желаю хорошей жизни на Родине. Дорогой мой Саша, какое постигло меня большое горе, у меня умерла мать 17 декабря в 11 вечера. Я была у них в деревне. Она умерла у меня на руках, мне сделалось плохо, я упала без сознания, кое-как привели меня в чувство. Мне пришлось шить маме платье, мыть и одевать ее. Я столько плакала, что теперь уже нет слез. Мама часто снится мне во сне. Ты только подумай: умерла, ни слова не сказала – вот что обидно. А такая хорошая у меня была мать. Ты, дорогой, доехал до Сновска, увидел свою мать, а я, бедняга, потеряла свою дорогую мать навсегда. Не знаю, как я переживу свое горе, и к тому же на чужбине, кому расскажу, кому пожалуюсь. Ты, дорогой, уехал от нас далеко. Тебе хорошо, ты на своей стороне, увидел своих родных и знакомых. Саша, пиши, как насчет визы и поездки нас к тебе, мне еще охота пожить на Родине с тобой, увидеть всех родных и знакомых. Я после смерти матери чувствую себя очень плохо, здоровье мое пошатнулось, часто болит голова, большая слабость, ноги очень болят. В общем, дела очень плохие. Живу сейчас в деревне у Веры и за хозяйку, и за няньку. Дел много, работаю целый день по хозяйству. Лёня очень беспокойный ребенок: ночью спит, а

днем – ни с рук, приходится носить его на руках, очень утомительно. Я же давно не водилась с маленькими ребятами, а тут на мою долю выпало четверо ребят и все очень капризные. Прямо целое горе с ними. Вера работает с утра до вечера. Еще раз прошу, мой дорогой, если ты любишь нас, то забери на Родину. Так охота пожить вместе, ведь годы уходят. Может быть, живя вместе, я скорее забуду свое горе. Ты только подумай: нет у меня больше матери. Правда же, она была хорошая? Она очень любила тебя и всем говорила, что ты у нее любимый зять. Итак, дорогой мой, видел ты мою маму в последний раз. Когда они зарезали свинью, я в тот же день к ним приехала, они уже нажарили мяса, мама все тебя вспоминала: «Жаль, нет Саши, я бы его угостила мясом», и что ты с больными ногами и не обут, все жалела. А сама так скоро ушла от нас. Сегодня у нас тоже горе – заболел Эдик. Врач определила – свинка. Это мне тоже нехорошо, ты, говорит, не досмотрела его, простудила. В общем, как-то не везет в жизни. Саша, пиши нам чаще письма. Я от тебя получила четыре открытки с дороги, писем пока нет, очень скучно. Без твоих писем при таком горе тяжело. И вообще ни от кого нет писем. Целуем все тебя крепко. Твоя Шура».

04.01.1944

Выписка из приказа Начальника Белорусской железной дороги № 3 от 4 января 1944 года:

«Назначить тов. Мороз Александра Александровича глав-



ным бухгалтером первой Гомельской дистанции Сигнализации и Связи».

Подписал начальник Белорусской железной дороги, Генеральный директор третьего ранга Краснобаев.

Итак, после всех мытарств я снова главбух ШЧ-1 Гомель.

06.01.1944

Еще не зная о постигшем Шуру горе – смерти матери, я пишу ей очередное письмо о своих буднях:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Вера и Борик!

До сих пор нет от тебя и ни от кого нет писем, а в Гомеле я живу уже месяц. Даже со Сновска не пишут. Живу, работы много. С хлебом не совсем ладно. Карточку выдали на 700 граммов, а получить трудно. Очень редко варю себе, потому что продукты на исходе. Хожу обедать в столовку. Понемногу жизнь в Гомеле начинает налаживаться. Живу на Сортировочной улице, нужно прописаться в милиции, все никак не соберусь. Сплю в штанах, холодно. Как-то вы там? Мне кажется, что вам жить стало хуже. Сновск хоть и близко, а съездить нельзя, долго нужно ехать, пассажирские еще не ходят. Целую. Привет всем».

08.01.1944

Вроде бы и пишем часто, а писем нет у адресата. Вот опять Шура в своем письме жалуется на отсутствие писем от меня. Пишет из Среднего Постола:

«Живу в деревне десять дней, возможно, что уже и есть мне письма. Когда поеду в город – не знаю. Некогда даже письмо написать. Вера работает, а я дома с детьми и по хозяйству. Вообще работы много, днем занята, а вечером темно. Некогда писать тебе, да и не о чем – каждый день одно и то же. Новостей нет. Охота большая попасть на Родину. Целуем все».

09.01.1944

Я пишу жене Шуре открытку:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Писем от тебя нет. Какие мои получила? Вчера удалось залезть в свою бывшую квартиру. Осталась только проводка, а больше ничего нет. Комната Шляйцевых провалилась, наша чуть стоит. От дома осталась лишь та половина, где жила Иванова и другие. И еще, в комнате своей нашел немецкую книжку и газету с портретом Гитлера. Сараев наших нет. Сегодня выходной, но я работаю – много работы. С нетерпением жду от тебя весточки. Денег еще не получал, кроме аванса. Пиши, жду. Целую всех».

11.01.1944

Я вновь пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Пошел третий месяц, как мы виделись, Шура. И до сих пор нет ни одного письма от тебя. Я уже беспокоюсь, не слу-

чилось ли чего с вами. Послал в Сновск открытку – тоже молчат. Досадно без писем. Я жив, здоров, чего и вам желаю. С едой так себе, но чтобы очень голодал, то нет. Хлеба получаю 700 граммов в день. Работы много, сижу по ночам. Очень беспокоюсь, как вы там? Деньги, когда получу, то вышлю вам. Целую всех».

14.01.1944

Пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие Шура, Вера и Борик!

Сижу в конторе, десять часов вечера, буду тут ночевать. Третий месяц нет от тебя писем. Досадно – трудно описать. Я уже все передумал, почему нет писем. Ну, пусть медленно идут, но не столько же, чтоб так долго не было. Ты, Шура, напиши одно в контору: Гомель, ул. Демьяна Бедного, д. 13, контора первой Дистанции связи. Может быть, стол до востребования плохо работает, а на контору я получу? Как живете, что нового? Какие мои письма получила? Живу я так себе. Как ты знаешь из сводок Информбюро, фронт от нас недалеко, и мы это слышим и чувствуем. Но скоро наши возьмут Жлобин, тогда будет лучше, и письма пойдут исправно. Насчет переезда вас сюда пока говорить рано, но к весне надо вас как-то перетащить. Вот беда, что трудно сейчас ехать пассажиром. Ты, Шура, если тебе трудно живется, продавай то, что есть, тогда ехать будет легче. Хоть бы одно письмо от вас получить, тогда сразу бы на душе стало легче!

Как дети, все балуются? С дровами как? С карточками? У нас пока на иждивенцев хлеба не дают. Кусают вши, но скоро будет готова баня, тогда, может, станет легче. Конечно, в Акмолинске мне жилось лучше, а сейчас пока здесь неважно. Но ничего, перетерпим и это. Скоро будет легче. Свет плохой – коптилка. Пока, пиши, Шура».

17.01.1944

Жена Шура пишет мне письмо из Среднего Постола:  
«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе привет. Я уже писала, что живем в деревне у Веры. Как-то не везет: был болен Эдик, после него Борик и Верочка, потом я сама, после меня обратно Борис и Лёня маленький. Сегодня заболела сама Вера и очень сильно. У Бориса высокая температура. Жить бы можно: сыты, тепло, но вот беда – нет здоровья. Писем от тебя не получаю. Тебе тоже редко пишу. Пиши, как жизнь, как работа на Родине. Думаешь ли забрать нас к весне к себе? Пиши про все. Целую, твоя Шура».

19.01.1944

Еще не зная, что мои в деревне, я пишу письмо к жене в Ижевск на улицу Азина, дом 4:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Вера и Борик!

До сих пор нет от тебя письма. За все время, что я в Гомеле, получил одну открытку от своего старого начальника из

Акмолинска. Сейчас сижу в конторе, одиннадцатый час вечера, буду ночевать тут, потому что после девяти вечера ходить нельзя. Сегодня приписали в милиции в домовую книгу, так что я теперь полноправный гомельский житель. Все мечтаю, когда, наконец, перетащу вас сюда. Теперь еще рано об этом говорить, фронт близко, и холодно вам ехать, а к весне придется хлопотать. Гомель заметно ожил: бегают школьники, бывают базары. Все кругом работают по восстановлению города. Морозов больших нет. Со Сновском связи не имею, они тоже не отвечают на мои открытки. Как вы там живете? Очень жду от вас весточку. Целую всех».

25.01.1944

Я пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, дорогие Шура, Вера и детки! Долго не было от тебя писем, и вот сегодня получил три письма: от тебя, от Веры и от Верочки. И как я разочаровался в них! Лучше бы таких писем и не получать совсем! Известие о смерти мамы совсем меня огорошило. Всего ожидал, но только не этой печальной вести. Еще так недавно я ее видел вполне здоровой, жизнерадостной, и казалось, что ей еще жить да жить. Не хочется верить, что я ее больше никогда не увижу, и никогда больше моя заботливая теща не будет суетливо бегать по комнате, покрикивать на дочек и старательно угощать своего зятя. Никогда больше эта мудрая и хозяйственная женщина не подскажет, как лучше жить на свете.

Не разошьем больше пол-литра, и не станцует и не споет она украинскую песню. Теща – это название как-то не подходило к ней, и по отношению ко мне она была скорее матерью. И вот теперь моя вторая мать ушла, так и не повидав своей Родины. А как она об этом мечтала. Ведь мы точно договорились, что я вышлю визу, и она приедет опять в Гомель. И теперь, когда это скоро должно было осуществиться, ее не стало. Да, тяжелая утрата! Я весь день хожу как очумелый, ничего не клеится по работе. Смотрю на ее карточку и не верится, что она умерла. Ну что ж, верно так уж бедной суждено. Я знаю, как вам обоим тяжело переживать это горе, но крепитесь, мои дорогие. Ты, Шура, особенно крепись, потому что тебе предстоит нелегкая дорога, и больным ездить ой как трудно! Пока еще близок фронт и виз не дают, но все может очень скоро измениться в лучшую сторону, и тогда нужно будет выезжать в путь вполне здоровой. Я живу так себе. Жизнь еще не вполне вошла в колею, и много есть недостатков. Ты спрашиваешь, что осталось у нас на старой квартире? Я уже писал: ничего не осталось, только проводка. Квартира Шляйцевых провалилась, середины дома вообще нет. А с нашей стороны дом тоже разберут. Я живу на Сортировочной улице, там, где жил Скоробогатов, наш главбух. Имею кровать, тумбочку, стул ломаный, топор и больше пока ничего. Вчера послал тебе 500 рублей. Ты, Шура, не получай большей денег, что от Василя маме шли алименты, а напишите и ему, и в Управление дороги, чтобы денег не высы-

лали, а то, если будешь получать дальше, то подведешь почтовых работников, которые тебе доверили получать деньги. Погода гнилая, мокро, дожди идут. Ботинки расползлись совсем, а в валенках ходить невозможно. Теперь, когда наша переписка наладилась, я прошу тебя, Шура, пиши хоть открытки. Я тоже постараюсь чаще писать. Пиши твои планы насчет переезда. Думаю, что весной визы начнут давать. А самое главное – и ты, Шура, и Вера-большая, примиритесь с мыслью об утере мамы, потому что заниматься самоистязанием нет никакого смысла, и кроме вреда себе вы ничего не достигнете, против факта не пойдешь – мертвые не оживают. Жаль, хорошая женщина была Федотовна, но теперь, к сожалению, осталось только чтить ее память. Ну, пока, дорогие, пишите. Ваш А.М.».

26.01.1944

Жена Шура пишет мне из Среднего Постола в Гомель:  
«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе привет. Ровно месяц, как я не получаю от тебя писем, а без них скучно. Я живу в деревне, а твои письма идут на Ижевск. Ты, наверное, уже получал наше письмо, где мы сообщали о постигшем нас горе – смерти матери. Вчера было сорок дней, как она умерла. Мы ее поминали, сделали обед, звали людей, кто был на похоронах. Живем хорошо, сыты, но очень скучно. Охота скорей попасть на Родину, пожить с тобой вместе. Здоровье мое неважное, чувствую себя

плохо, дня четыре совсем болела. В общем, сыта, а здоровья нет. Думаю на днях поехать в Ижевск за письмами. До свидания, дорогой, крепко целую. Твоя Шура».

28.01.1944

Я пишу письмо жене Шура в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, я уже раньше просил тебя выслать мне книжки. Наверное, ты не получила того письма. Вышли, пожалуйста, очень нужны эти книги. Я знаю, что после смерти мамы вы все находитесь в удрученном состоянии, но нужно взять себя в руки и не поддаваться унынию. Все равно ничего не изменить, матери не воскресишь, а здоровье испортишь. Как живете? Какие планы насчет переезда в Гомель? Пиши, жду. Ордер на квартиру у меня уже есть, и будут брать плату. Будет комната, а может и две. Квартира неплохая, но без тех удобств, что были у нас раньше. Я от тебя получил пока только одно письмо в Гомель. От Веры имею письмо и от Верочки две открытки. Пишите. Целую все. Не горюйте».

29.01.1944

Жена Шура пишет мне открытку:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю тебе свой привет! Дорогой, я попала в Ижевск, получила от тебя пачку писем, но все неутешительные. Живу я в деревне, как уже писала. Живу хорошо, все сыты. Очень



спешу, на базаре ожидает лошадь. Хотела тебе выслать денег, но, к большому огорчению, деньги не принимают. Книжки тебе вышлю. Шура».

30.01.1944

Я пишу жене в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, я послал тебе 500 рублей, напиши о получении. Получил еще две открытки от тебя. Связь налаживается. Вчера получил ордер на две комнаты, не знаю, удастся ли сохранить их за собой до вашего приезда. Визы на переезд пока не дают. Когда наши попрут немца за Жлобин, тогда, возможно, станут давать визы. Вчера получил теплую фуфайку и штаны, так что одет неплохо, а вот с ботинками ерунда – совсем рваные. Но ничего, скоро, может, тоже дадут. Сегодня купил себе буханку хлеба за 50 рублей, небольшую. Со Сновска пока известий не имею – не пишут. Пиши, как живешь? Как дети? С едой как? Пиши свое мнение насчет переезда. Решишься ли ехать сама, когда пришлю визу? Меня за вами могут не пустить. Как Эдик? Прошла свинка? Ну, пока».

31.01.1944

Жена Шура пишет мне письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Съездила в Ижевск, получила от тебя пачку писем. Как я уже писала, мы живем в деревне у Веры. Когда ездила в

Ижевск, то получила письмо и похоронку. Пишут, что Шурик убит около Житомира в селе Цариновка. Подумай, какое горе! Как жаль бедняжку. Он так хотел увидиться с родными. Плакали мы все по нему. Каждый день новости нехорошие. До свидания. Шура».

02.02.1944

Я пишу жене в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

После ваших писем о маме я больше от вас ничего не получал. Знаю, что вам не до писем, но падать духом совсем не следует. Возьмите себя в руки – у вас по паре детей, и хоть бы для них вы поберегли себя. Ты, Шура, как видно, мало моих писем получила. Виз не дают. Пиши, много ли у тебя вещей, и выйдет ли вес на 50 кг багажа? Сейчас десять часов вечера, пишу дома при коптилке. Живу в квартире на 2-ой Красной, в окнах стекол мало, больше фанеры. Обещают ремонт. Осталась со мной одна телефонистка, все уже переселились, кто куда. Вчера сушил валенки и один сжег, остался в рваных ботинках. Идут дожди, снега нет. Обещают дать ботики. Ложусь спать. Целую всех».

06.02.1944

Я пишу жене Шуре в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Я все волновался, что нет от вас писем, а теперь волну-

юсь, получая их. То смерть любимой бабушки, то болезнь всех вас. И все не слава Богу. Как Борик? Как Вера? Борик, видно, свинкой болел, это детская болезнь, а Вера чем? Она взрослая и свинкой, как будто, болеть не должна. Желая вам всем выздороветь. Шура, пиши, послала ли мои служебные книги? Получила ли 500 рублей и те 300 рублей из Акмолинска? Какие мои письма получила? Цены у нас такие же, как у вас. Целую всех».

07.02.1944

Жена Шура пишет мне из Старого Постола:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе привет. Я тебя совсем забыла, то есть перестала часто писать, но, думаю, ты не обидишься, ведь у меня такое большое горе. Одно горе не забыла, на тебе другое: мне прислали письмо, что Шурик Гаврилов убит в Житомирской области, село Цариновка, и там же похоронен. Выслали письмом его фото и наше одно, на которой я с тобой, видимо, ты ему посылаю. Очень жаль беднягу, хороший был парень, все плакали. Все письма я получила 28 января, когда ездила в Ижевск после месячного отсутствия там. Ты тоже, Саша, стал мне реже писать, чем раньше. Я получила твои с 6-го по 17-ое – это за целый месяц, седьмого я от тебя не получила. От Лёни было письмо, он жив и здоров, наше письмо он получил и рад ему. Получила от Лёли Станюнас письмо, спрашивает, когда поедем домой? От ваших почему-то пи-

сем нет, хотя я им писала. В одном из писем ты пишешь про нашу тесную квартирку. Лучше бы я жила в тесной, а не в большой, как теперь, квартире, а чтоб жива была моя мама. Живем пока хорошо: сыты, дети здоровы, хотя после смерти мамы все переболели. Но я вот заболела, у меня ангина – в горле нарыв, болею десять дней, ничего не ем – невозможно глотать, пью горячее молоко. На восьмой день прорвал вечером нарыв, но мне было так плохо, я не разговаривала, думала, задушит. А на следующий день заболело горло с другой стороны, теперь мучает. Очень похудела. Хоть бы поправиться скорее. Вера с Верочкой ушли по делу. Дети спят, а мне не спится и решила написать тебе. Плохо писать, свет плохой. Ну, о себе я написала, а как ты живешь, как здоровье, как ноги? Пиши обязательно о здоровье, питании, получаешь ли хлеб? Пиши, цел ли дом Станюнасихи, живы ли ее родичи? Пиши, где взял кровать и сковороду? Видел ли Олю Пузач? Если видел, то о чем вы говорили? Где сейчас работает твой батька? Ты писал, что выехал домой, а где он сейчас – ни слова. Пиши, как выглядит мама, наверное, постарела? Как Аня? Как их здоровье? Денег не высылай, пока я не напишу. Я сыта, ты береги себя, что-нибудь покупай. Ты спрашиваешь насчет переезда, но я не поняла, как будут везти эвакуированных, напиши более ясно. Да, я тебе от души завидую, что ты на Родине. Не знаю, как будем к тебе добираться, ведь багаж и дети. А барахла соберется порядком. Если б везли эшелоном, а так не знаю, что делать. Эшелоном

хоть бы и два месяца ехали, но знали, что доедем до места без пересадок. Пиши свое мнение. А на Родину очень хочется – надоело жить врозь. В деревне скучно, радио нет, нигде не бываю, даже не знаю, что делается на фронте. Тяжело так жить, но что поделаешь, раз так пришлось. На январь на всех троих получила карточки в Ижевске, а на февраль – здесь. Дают мукой по 200 граммов на человека в день. В общем, хлеб есть, картошка, капуста, мясо и молоко тоже. Наверное, у тебя с питанием плохо? Кто из нашего дома вернулся? Кого еще встречал в Гомеле? Жив ли Авраменко с женой? Что тебе сказали в Калуге? Где ваше Управление? Пиши вашим, чтоб отвечали мне. Переписываешься ли с Иваном? А, может, Коля пишет тебе? Пиши чаще, в твоих письмах мне отрада и покой. Письмо написала, а моих еще нет. Крепко целую. Твоя Шура».

11.02.1944

Я пишу жене Шуре в Средний Постол:

«Здравствуй, Шура и детки!

Получил твое четвертое письмо. Не радуется, что ты пишешь. То мама умерла, то у Борика температура 40. Жду следующего письма и все гадаю, как он там? В квартире делают ремонт. За две комнаты в 22 кв. метра плачу 35 рублей в месяц. Живу пока с одной телефонисткой Высоцкой, может, ты ее знаешь, такая невысокая. Насчет переезда вас пока неизвестно, виз не дают. Фронт близко, слышны арт-

обстрелы. Жду твое мнение о переезде. Меня за вами, как видно, не отпускают. А твои вещи уложатся в 50 кг багажа? В Сновске не был, и от них почему-то ничего нет. Поезда до Сновска ходят, но из-за работы не могу съездить. Целую всех».

13.02.1944

Я пишу жене в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Получил сегодня от вас три письма, спасибо, что не забываете. Очень волновался за Борика, но оказалось, что и он, и вы – все уже здоровы. Но зато какую печальную новость ты мне сообщила. Не успел оправиться и примириться со смертью мамы, как ты сообщаем о гибели моего брата Шурика. Бедный Шурик! А как он хотел увидеть свою мать, а она его. Пишу, а у самого слезы. И почему сразу так много напастей на нашу голову? Мне из Сновска не отвечают. Может, узнав о смерти Шуры, убиваются, а, может, еще какая беда? Напиши подробно, кто и как сообщил тебе о гибели Шурика? Пишет ли вам Толик? Передо мной фотокарточки Шурика, его письма. Часть писем, кажется, я оставил у тебя, храни их как единственную о нем память. Я тебе послал 500 рублей, получила ли? И, пожалуйста, не шли мне денег, а то будем только гонять их туда-сюда и тратиться на почтовые расходы. Я-то один проживу, у меня про вас голова болит: как вы там? Так что прошу – не шли. Я по 50 рублей пуд картошки

достану и не пропаду. Мне обещали привезти из Репок. Виз не дают, фронт близко, и вам еще рановато ехать сюда. Тут еще слышна стрельба, и не дело мешать фронту перевозками семей. Потерпите еще. Уже недолго осталось распроклятым фрицам до гибели. Скоро их наша Красная армия сметет с лица земли. Сволочи, убили нашего Шурика! Сегодня выходной. Сижу весь день дома, только сходил на базар и купил стакан махорки и книжку Чехова, а то без книг скучно. Сделали ремонт и побелку. Осталась на квартире телефонистка Высоцкая, и живем пока вместе. Она варит супы и вообще хозяйничает. Трудновато с дровами. Погода мокрая. Ботинки развалились совсем, валенок один сгорел. На днях обещают дать ботинки. Получил новую фуфайку, штаны и шапку. Имею тюфяк. Вши никак не пропадают, как я с ними не борюсь. Был в бане несколько раз, но пройдет день-два, и их опять полно. К тому же, мешает эта моя квартирантка, при ней бить не будешь, а она дома почти всегда. Недавно получил письмо от нашего Ивана, он едет за Киев, адрес не дает. В Гомеле его квартира сгорела. Пиши чаще, как живете? Как малые? Верочка все спрашивает, когда заберу вас? Сегодня я ей пишу тоже. Хорошо, что вы все снова здоровы. Пока. Целую всех вас».

13.02.1944

Жена Шура писала мне письмо:  
«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Вчера получила твоё 21-е письмо, написанное на деревню. И так, ты наши письма получил, узнал о нашем большом горе. И как я теперь сама доберусь до Родины, дорога такая длинная, просто не знаю, что делать. А на Родину охота, чтобы пожить спокойно. Я же теперь не живу, все в зависимости от кого-то, сама себе не хозяйка. Охота пожить, как раньше жили, и жизнь у нас была хорошая: здоровы, сыты, в комнате тепло, обуты-одеты, что еще нужно? Саша, пиши, как здоровье, как твои ноги? Почему-то об этом ни звука, а ты уехал от нас совсем больным. Пиши все подробно. Сейчас, когда пишу тебе, все спят. Как у вас с хлебом, где обедаешь, какие цены? Сколько получаешь зарплату? Зачем так много послал мне денег, а сам с чем остался? Ты больше мне деньги не шли, я напишу, когда высылать. Поддерживай свое здоровье. Из Акмолинска 300 рублей я не получила, наверное, пропали. А 500 рублей получила. Хочу съездить в Ижевск, есть дела и мыло нужно купить. Вот беда – морозы большие. После болезни уже оправилась, только слабость и большой аппетит. Я уже тебе писала, что Шурик ваш убит 21 ноября. Подумай только – погиб, бедняга. Мама узнает – будет очень плакать. Свет плохой, пойду спать. Привет от Веры. Все целуем крепко».

15.02.1944

Из Среднего Постола пишет мне жена:  
«Здравствуй, дорогой Саша!



Получила твои письма, спасибо. Пиши чаще, я в твоих письмах нахожу покой, а то после смерти мамы на душе так тяжело. Только тогда я маму забываю, когда усну, а так все время думаю, как это все случилось неожиданно. Мама была такая здоровая, казалось, ей можно было жить да жить еще. Мы много плакали по ней и сейчас еще плачем. Всего обиднее, что, умирая, она не сказала ни одного слова, не дала никакого совета. Ты верно пишешь, Саша, что мертвые не воскресают, и я маму утратила навсегда. Жаль маму, пусть бы еще пожила. Итак, наша переписка с тобой наладилась. А где тебе дают квартиру? Есть ли сарай? Постарайся достать дров, вообще обзаведись всем нужным, у нас же ничего не осталось. Будет ли огород около квартиры? Неплохо, если ты посадишь огород, как делал это в Акмолинске. Какие у тебя планы в этом году? Может, ты приедешь за нами? Я думаю, что мне самой не доехать, много барахла наберется, а если все оставить, то сами будем ходить голые. Не знаю, что и делать: на Родину охота и страшно, боюсь ехать. Посоветуй, как быть, может, тебе дадут отпуск, и ты нас привезешь? Ты мужчина и с тобой было бы лучше ехать. Вера тебе писала, но не знаю о чем. Лукашевична узнала про смерть моей мамы и очень жалеет. Вот проснулся Лёня. Пишу, а он на руках. Когда я была в Ижевске 28 января, то просила, чтобы выслали тебе книги, обещали это сделать. Может, в конце месяца я поеду в Ижевск, и если не выслали, то отправлю тебе книги сама. Письмо начала днем, а заканчиваю вечером.

Вера на собрании, я всех уложила спать и пишу. Напрасно послал нам деньги, лучше бы купил себе обувь. Береги свое здоровье для нас. Мы живем хорошо, сыты. Из Челябинска пишет Толик, что плохо живет. А те деньги, что ты выслал, я думаю послать Толику. Из Щорса писем нет. Стоят морозы. Вера ходит в школу, Борик играет во дворе. Я нигде не бываю, все время дома. Пиши почаще, я постараюсь отвечать на твои письма. Крепко целуем тебя все».

18.02.1944

Я пишу жене Шуре в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

После получения твоей седьмой открытки вот уже дней пять ничего от вас нет. У нас похолодало, ветер, в комнате холодно, дров мало. В дополнение к фуфайке и штанам получил вчера ботинки. Так что одет тепло. Достал два пуда картошки по 50 рублей за пуд, так что сыт. По-прежнему из Сновска не имею вестей, хотя писал им. Почему не пишут – не пойму. Не шли мне деньги, пожалуйста, лучше побереги их для своего переезда, будут нужны. Да и вообще для обзаведения хозяйством нам будут нужны деньги. Рад, что вы уже выздоровели. Пиши, жду. Целую вас всех».

19.02.1944

Шура пишет мне свое 15-ое письмо из Среднего Постола, колхоз «Луч»:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Уже несколько дней нет от тебя писем, скучно. Вера ушла на собрание уже давно. Лёня часто просыпается, так что спать нельзя. Вчера Вера и Борик ходили в кино, пришли поздно, я не спала – ждала их, поэтому сегодня хочу спать. Живем хорошо: сыты, тепло, но на Родину хочется. Как-то тяжело жить тут, мама не выходит из головы, никак не примирюсь с мыслью, что ее больше нет. Все жду, будто она должна вернуться. Каждый день вижу маму во сне. Как твоё здоровье? Пиши мне чаще, пиши о всех новостях. Кто тебе пишет? Целую, Шура».

21.02.1944

Я пишу жене письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Давно не получал от вас писем: или редко пишете, или опять какое несчастье. Вчера получил письмо из Сновска. Они послали первого февраля, а я получил 20-го февраля. Пишут, что все переболели гриппом. Хочу к ним проскочить, да все не получается – работы много. Как я писал, я уже одет полностью. Вот только вшей никак не выведу, кусаются проклятые. Как вы живете? Визы пока не дают, фронт близко. Следите за сводками, когда наши возьмут Жлобин, тогда, возможно, дадут визу. Записался на землю под картошку. У нас морозы, а недавно были оттепели. Жду с нетерпением ответа. Целую всех».

22.02.1944

Я снова напоминаю почте о розыске 300 рублей, посланных Шуре в Ижевск из Акмолинска.

23.02.1944

Я пишу жене в Средний Постол:

«Сижу в комнате один. Моя квартирантка на дежурстве, она сварила мне суп и ушла. Я только что привез две шпалы на отопление. Очень трудно вытягивать их из мерзлой земли, но отапливаться надо, ничего не поделаешь. Сегодня день Красной армии, у нас был салют из 220 орудий. И впервые прогудел гудок на завод. Писем от вас нет, не знаю, почему. Как живете, здоровы ли? В Сновск нашим я написал о смерти мамы и Шурика. Вроде и близко до Сновска, а все не удается съездить из-за перегруженности работой. Желая вам здоровья. Пиши. Целую всех».

24.02.1944

Жена Шура пишет мне из Среднего Постола:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Получила сегодня твою 25-ую открытку. Спасибо, что часто пишешь. Я твои письма все получаю. Борик наш уже выздоровел и Вера тоже. Сейчас все здоровы. Книги я тебе выслала. Насчет переезда: я бы хотела, чтобы ты за нами приехал, потому что у меня много вещей и одной будет тяжело

таскаться, и в поезде не сядешь, а там, смотри, еще обворуют. Прошу тебя, Саша, проси отпуск и приезжай, пожалуйста, за нами, вместе может и доедем. Живем пока хорошо: сыты, одеты, тепло. Новостей особых нет. Газеты читаю редко. Пиши, как твои ноги? Крепко целую, твоя жена Шура».

В этот день мне выдали постоянное удостоверение личности НКПС как главному бухгалтеру первой дистанции сигнализации и связи станции Гомель. Подписал его Жарин Д.Е.

26.02.1944

Я пишу жене Шуре в Средний Постол:

«Здравствуйте, Шура, Вера и детки!

До сих пор нет писем от вас. Почему молчишь? Я только что закончил большую работу. Получила моя квартирантка дров полкубометра, и пришлось мне их возить на саночках со склада. Сделал четыре рейса и привез. Дрова длинные и тяжелые. Возчик просил 350 рублей за перевозку, так что я был за коня и заработал эти деньги. Да еще втащил их на второй этаж. Устал здорово. Сейчас допишу и спать лягу. Работаю без выходных. Сегодня, по сводке, наши взяли Рогачев. Шли книги. Целую всех».

В этот же день жена Шура пишет мне из Среднего Постола:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе горячий привет. Вчера получила твое письмо. Вечером долго не могла уснуть и вот почему: как-то мне не понравилось, что с тобой живет какая-то телефонистка. Что она из себя представляет и откуда она, главное, супы варит и хозяйничает. Ты, я знаю, и сам хорошо можешь варить суп. А может еще и вместе обедаете? Пиши все подробно, и почему ей не дают квартиру, как всем вашим служащим. Плохо спала и сны нехорошие видела. Чувствую себя сегодня плохо, как-то душа болит и сердце ноет. Но довольно, оставим эту тему. Живу пока хорошо. Все здоровы, сыты, обуты. Вера ходит в школу, Борик играет дома. Часто Борик помогает кое-что делать, что сможет: возится с маленьким Лёней, качает, на руках держит. С Верой дело хуже. Она, конечно, тоже кое-что сделает, но не рад будешь от ее работы. Любит огрызаться как со мной, так и с Верой. В общем, Вера у нас нехорошая и грубая, она каждого обговорит и с каждым спорит. Хотя живу сейчас хорошо, но мне обидно на свою судьбу, что я осталась без матери, некому больше рассказать про свою жизнь, про свое горе. Ты тоже уехал от нас далеко, когда мы теперь сможем увидеться? Ты пишешь: приехать к тебе, а я просто боюсь пускаться в такой далекий путь одна. Ведь дети, багаж большой, некому смотреть за вещами, а на детей доверяться плохо, и вот поездка эта не выходит у меня из головы. Часть барахла у меня в Ижевске, а часть со мной, и как все собрать и к тебе доехать? Так еще хочется вместе пожить, как жили раньше. Не знаю, дождусь ли я того

счастливого дня, когда свидимся, и я сама наварю тебе супа, а не какая-то телефонистка. Мой суп, Саша, будет намного вкуснее. Думаю, что уже не за горами это время, тем более что у тебя и квартира готовая: приезжай и живи на здоровье. Пиши, сделали ли ремонт, есть ли грубка или русская печь? Какой дом и где, сколько этажей? Ты писал, что на втором этаже, и улицу указал, но я не знаю, где это, уже все забыла, потому что много пережила за это время. Пиши подробно о квартире: какие вещи имеешь, где стираешь белье? Ты пишешь о вшах – это очень плохо. Ты постарайся выгнать свою квартирантку, а потом примись за вшей. Каждый день будешь их гонять, белье нужно постирать, одеяло и тюфяк выбросить на мороз, пусть померзнут. Но постарайся вывести. Ты ни в одном письме не пишешь, болят ли ноги? Получил ли ты ботинки? Я тебе уже писала про Шурика. Ой, как жаль беднягу. Молодой парень, здоровый, добрый, пусть жил бы, так нет, убили, проклятая немчура. Скоро ли их всех, паразитов, перебьют! Просто не верится, что он мне больше не напишет, и его мечта собраться всем вместе за чаркой белого вина, рассказать о пережитом, так и не сбудется. Он и к нам хотел заехать, и мимо своего дома, в 90 километрах, проезжал, и так ему и не удалось ни то, ни другое. Раз и навсегда ушел он от нас... Сейчас вечер. Лампа без стекла, плохо светит. Вера на собрании в колхозе, дети спят. Я думаю, что ты сейчас делаешь? Наверное, спишь. Только что поила Лёню молоком, и он снова спит. Я тоже хочу спать, но нет Веры.

Погода холодная, мороз, снег, но в доме тепло, и сейчас топится печь. Где у вас сейчас контора? Кто начальник? Кого из жильцов нашего дома видел? Как питаешься, как у вас с картошкой? Пишет ли тебе Иван, Лёня, а может и Николай? Где работает батька? Напиши, не приехала ли Захарова Лёля и Данилович с женой? Живы ли родные Лёли Станюнас? Ты пишешь, что нет конвертов и нельзя послать письмо, но конверт можно сделать из газеты. Целую крепко, Шура».

01.03.1944

Я пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Получил твое седьмое письмо и убедился, что ты стала реже мне писать. Пишешь, что скучно, но кто скучает, у того много свободного времени, а раз так, то можно найти время и написать мне. Ну да ладно, может быть, просто не хочется писать. Мне тоже, когда иду по улице, то так много в голове планов, о чем написать, а как приду домой, то или темно, или просто неохота писать. В письме ты задаешь много вопросов, на которые я уже не раз отвечал. Но ты моих писем, видно, не получила. Ну что ж, могу повториться. Из Щорса на меня нападают, почему не приеду к ним? Но из-за работы не могу, почти все выходные работаю. А чтобы туда съездить, нужно не менее двух дней, рабочий поезд идет не спеша, но в марте побываю. О встрече: обрадовались очень, мать пустила слезу, распили пол-литра самогону, закусили супом и еще чем-



то. Мать почти не изменилась и бегаёт, как прежде. Анька немного похудела. Мать очень хочет увидеть всех вас. Видел Олю Пузач, она работает в конторе молочарки (прим. – имеется в виду ферма), немного похудела. Обещал зайти к ней на квартиру, но не зашел, потому что вагон наш отправили в тот же день. Авраменко не встретил. Раз постучал, но к калитке никто не вышел...».

Далее я повторяю о выданных мне ботинках и одежде. Погода сиротская. Ноги тогда болят, когда поработаю физически. Пишу о привезенных дровах, о плате за квартиру, о купленной картошке по 50 рублей за пуд.

«...Квартирантка варит суп и вместе едим. Масло пока тянется то, что ты мне дала. Ты, Шура, читаешь и думаешь, вот сукин сын, нашел телефонистку и живет себе, а про семью забыл. Нет, Шура, я все время только и жду того счастливого времени, когда мы опять заживем вместе. Визы пока не дают, и насчет способа переезда вас сюда я ничего не узнаю. Но, кажется, придется ехать пассажирами, а вещей на 50 кг посылать багажом по билету. Хотя я просил, но ты ничего не пишешь о своем решении переезжать и как? Ну а телефонистка, с которой я живу, ни в какой степени не может быть соперницей тебе. Она лилипутка и на два года старше меня. Одним словом – старая дева, совсем неинтересная. Так что в этом отношении не думай ничего плохого. Но как человек она неплохая женщина, и мне гораздо удобнее, что она живет со мной в моей квартире. В комнатах всегда чи-

сто, истоплено и супы она мне варит на ужин. Наша старая квартира будет разбираться, тот дом не пригоден для жилья. Моя квартира на Сортировочной улице, где жил Скоробогатов. Ивана квартира тоже сгорела, как и все, что там было. Постепенно жизнь в Гомеле налаживается. Все учреждения теперь на Полесской и Рогачевской улицах. В центре никто не живет, только Госбанк остался, остальное все разрушено. На Сортировке до вокзала путей нет, на месте путей – дорога для лошадей. Недавно на заводе установили гудок. Дом Коммуны на Комсомольской цел, все остальное разрушено. Зима не холодная, но дрова нужны, а их достать трудно. Кое-как устраиваюсь. В столовой обеда неважные, с одного обеда не проживешь. Из хозяйства у меня есть: кровать железная, тумбочка, стул ломаный, сковорода, топор, миска. Котелок уже потек, а телефонистка варит в своем. Хлеба получаю 700 граммов, но с первого марта, кажется, дадут всем по 500 граммов и мне тоже. Как дети? Как Вера учится? Балуются ли хлопцы? Какое у вас хозяйство? Как проходит твой рабочий день? С Верой не ругаетесь? Как она с Василем живет? Пиши обо всем. Удивляюсь, почему ты моих писем не получаешь. Пишешь – получила 17-ое, а я пишу 35-ое. Не знаю, как посажу картошку, заявление на землю подал, наверное, придется садить без вас. При доме ни сарая, ни погреба нет. Может, летом сделают. Вчера выпил 250 граммов водки – дали по талону за 37 рублей. Это первый раз за все время. Пишешь, что похудела. Поправляйся, не убивайся напрасно,

все равно этим не воскресишь наших безвременно ушедших из жизни дорогих людей. И Вере большой тоже так посоветуй. Сколько вы не горюйте, от этого пострадаете вы сами – подорвете свои силы, а ведь дети растут у обоих. Помните, что у вас дети. Шура, прошу тебя, пиши чаще, а то без твоих писем невесело. Вот беда – никак не выведу вшей. Сколько их не бью, все водятся. И в баню хожу – не помогает. Говорят, что от досады они ведутся, наверное, правда. Пока. Целую всех вас. Пишите».

02.03.1944

Вновь пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня у нас тает, бегут ручейки, в общем – весна. Ходил в баню. Пришлось шлепать по воде, но ноги сухие, потому что ботинки новые. Вчера ходил на Советскую площадь смотреть на публичную казнь: повесили двух немцев и двух русских – изменников Родины. От вас давно нет писем, не знаю, почему. Забыли меня, как видно. Даже Верочка-дочка и та не хочет писать. Я жив, здоров. Ноги побаливают немного. С первого марта дали всем по 500 граммов хлеба. Никак не съезжу в Сновск проведать своих. Много работы, нет времени. Недавно получил письмо от Лукашевичей, они уже знают о смерти мамы. Почему, Шура, не высылаешь мне книги? Они мне очень нужны теперь. Целую вас всех, пишите».

Виселицы были сооружены на Базарной площади. Имя одного русского было, кажется, Василий Адамович, но утверждать не буду. Они висели весь день. В дальнейшем были слухи о предстоящих казнях, называлось время, но я больше не видел повешенных. В клубе шли процессы над изменниками.

04.03.1944

Жена Шура пишет из Среднего Постола:

«Здравствуй, мой дорогой Саша! За эти дни получила твои письма все с 25-го по 31-е, семь штук. Спасибо, что не забываешь нас. Отвечаю на все. Живем хорошо, все здоровы. Твои деньги, пятьсот рублей, я получила, и на завтра же мы с Верой послали их Толику. Хорошо, что одет, обут, это для меня приятная весть. И что картошки достал – хорошо. Теперь есть с чем варить суп. Сегодня у Веры выходной, вчера вечером пришел ее Вася. Никогда он не пилил дров, когда приходил раньше, а сегодня согласился. И вот они вдвоем пилят дрова. Дети тоже во дворе: Вера наша катет на саночках Борю и Эдика. Лёня спит, а я пишу это письмо. Мне очень надоело пилить дрова, у меня болит сердце, голова кружится, но что поделаешь – приходится. Дрова толстые. Вот я немного отдохну, пусть они напилят дров. Пиши про работу, про погоду. У нас вчера шел дождь. Хорошо бы скорее попасть к тебе, но сама и с большим багажом боюсь

ехать. У меня с собой мест пять будет нелегких. Да и мне, как проживающей в сельской местности, карточек не дадут, и придется брать с собой хлеб и продукты. Проси, Саша, отпуск, и мы с тобой доедем. Такие у меня планы, толькождемся тепла. А тепло не за горами. Посадишь картошку, я тут Вере помогу посадить огород и тогда поеду. Она иначе и не согласится, скажет: зиму кормила, а как на весну, то вы уедете. Оно и правда, ей обидно. И ты, посадив картошку, приедешь за нами, я все подготовлю и поедем. Это было бы очень хорошо. Пишу с Лёней на руках, он мешает, норовит схватить бумагу. Часто, ложась спать, я говорю детям: хорошо бы проснуться в Гомеле. По ночам снится мама, будто мы все вместе живем. А на самом деле маму нам больше не увидеть. Я как подумаю про это, то плачу, так обидно, что так рано умерла моя мама, ей можно было еще долго жить – она была здоровая. Пиши, кого знакомых встречал, видел ли Олю Пузач, дай ей мой адрес, передай привет. Расскажи ей о моем большом горе. Вашим я много писала, а они мне не отвечают. Рассердились что ли? Толик в Чкалове, пишет, что живет плохо. Мы живем хорошо, с молоком каждый день, есть хлеб, картошка. Как у вас с хлебом? Почему молоко? Пока, Лёник плачет. Целуем тебя все».

13.03.1944

К этому времени первая дистанция связи имела протяженность почти до Бахмач, и решением управления Бело-

русской железной дороги была выделена Сновская 12-ая дистанция связи. Для передачи документации 13 марта меня командировали в Сновск. Начальником ШЧ-12 Сновск был Охрищевич. Главбух Шинкаренко погиб, и вместо него назначили Ткаченко, который любил выпить, и позднее, в Минске, будучи пьяным, потерял свой портфель с балансом.

14.03.1944

Передав дела, я 14 марта вернулся в Гомель. Таким образом я повидался со своими родным.

И в этот день жена Шура пишет мне 21-ое письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша! Шлю привет. Наконец вчера получила твои письма № 32 и № 33. Десять дней не было от тебя писем. Я думала, что у тебя что-то неладно, а оказывается все по-старому: живешь со своей квартиранткой, которая варит тебе супы. А в Акмолинске ты сам себе неплохо варил. Скажи, долго ли будет у тебя жить эта квартирантка? Мне это не больно нравится, было бы конечно лучше, если бы ты жил один. Но довольно об этом. Живем мы очень хорошо. Все здоровы, сыты, одеты. Вчера зарезали свинку больше двух пудов, едим жирное мясо. Вера увезла Эдика в Ижевск на время, так у нас семья стала меньше, но работа есть, даже не хватает времени написать тебе письмо. Нужно пошить, стирать, сварить обед, уборка, а самое главное – уход за ребенком. Сегодня, Саша, вспоминали тебя за обедом. Делали кровянки, и вот бы тебя угостить ими. С едой

у нас пока очень хорошо. Я теперь жду, когда визы начнут давать, и что ты приедешь за мной. Мне самой с детьми и багажом не доехать. Пишешь, что дают участок под посадки. Это очень хорошо! Посади картошку, и мы приедем кушать. Посадишь и приедешь за нами, будет тепло, и мы все вместе поедem на Родину. Пишу с Лёней на руках. Вера тоже будет писать тебе письмо. Борик гуляет во дворе, всю зиму без варежек и холод ему нипочем. Рада, что ты одет, обут, я все беспокоилась. Денег мне больше не высылай, а купи картошки и посади, чтобы нам было что есть, когда приедем. У нас были дожди, а сейчас снег и мороз с ветром. Получил ли книги? Напиши, есть ли корова у Лукашевичей. За сводками слежу, но не всегда газету достать можно. Вот уже дней пять не читала газет. Думаю, на днях съездить в Ижевск. Будешь писать своим, то передай привет, и пусть мне отвечают. Пиши подробно про свою жизнь. Пока, Лёня мешает. Целую, Шура».

16.03.1944

Я пишу жене Шуре свое 37-е письмо:

«Получил твое 15-е письмо и до него все, кроме 5-го и 6-го. Прости, что давно не писал. То некогда было, то света не было. Вчера был в Сновске, навестил своих. Был у Лукашевичей и у Вальки. Все живы, здоровы. Правда, мать моя неважно себя чувствует, еще больше сторбилась и все стонет и плачет по Шурику. Когда я приехал домой в Гомель,

то на своей квартире застал новых жильцов: три женщины с ребенком. Пока я ездил, ко мне вселили этих людей. Приехали они из Уфы, и по их рассказам я еще больше убедился, как теперь трудно ехать пассажирским поездом. Говорят, что очень трудно сесть в поезд и нужны большие деньги, чтобы ехать, а не сидеть где-нибудь на вокзале. Но, как ни трудно, я все же думаю начать хлопотать насчет визы для вас. А ты, Шура, когда будешь в Ижевске, то узнай там в эвакуопункте, не собираются ли там отправлять организованным порядком семей эвакуированных. Здесь хотя вам и будет хуже, чем там, но надо же нам когда-либо опять жить вместе. Насчет того, чтобы приехать за вами – пока не знаю. Много работы, и сейчас разговора нет насчет того, чтобы меня отпустить. Живу пока ничего. От своих привез круп, масла постного пол-литра, и моя малая варит супы. Василь нас навещает изредка, но не так часто, как раньше (это условное о налетах немцев). Вчера получил письмо от Ивана Гаврилова. Привет вам от него. Он теперь в Киеве, а его жена в Челябинске. Дом их в Гомеле сторел дотла. Вот потеплеет, и вы, набравшись храбрости, доберетесь до меня. Но, конечно, узнай в Ижевске, не посылают ли оттуда эвакуированных организованный путем. И вообще, разнюхай, нет ли там семей железнодорожников с этих дорог, чтобы можно было собраться несколькими семьями и просить вагон. От Веры я получил письмо, отвечу ей завтра. От Верочки тоже – и ей отвечу. Да, забыл сказать, что мне Валька Заико дала пшена стаканов десять. До Снов-



ска теперь ходят рабочие поезда через день, но мне ездить не приходится. Сообщи мне адрес Веры Ротозей, попробую ей написать. И обязательно вышли книги, те, что я просил. Вообще, все книги можешь прислать почтой, чтобы меньше было багажа. Первое время часть вещей придется оставить у Веры, а потом, когда все наладится, то как-нибудь заберем. Но сейчас ехать пассажирским нужно с наименьшим количеством вещей. У нас то дождь, то мокрый снег. Я обут хорошо и мне не страшно. Да и одет неплохо, а вот когда потеплеет, то летнего у меня ничего нет. Картошки посажу, сколько смогу. Ноги побаливают, особенно в мокрые дни. Как я писал, у меня уже есть две железные кровати, так что спать можно будет всем не на полу. Вот стола нет – одна большая тумбочка заменяет его. Да ведра нет, тоже плохо. Пиши, Шура, свои соображения насчет переезда. Следи за сводками Информбюро. Пиши чаще, я тоже постараюсь. Думаю, что в этом году мы уже будем жить вместе. Когда будешь в Ижевске, то зайди на ул. Горького № 125, где мы с тобой были, и у Ярхо спроси, не знает ли он гомельчан, живущих в Ижевске. Она еврейка, и в этом отношении может тебе помочь. Пока. Целую всех вас. Иду в столовку и сдам это письмо на почту. Еще раз прошу – пиши чаще».

17.03.1944

Жена Шура пишет мне свое 22-е письмо из Среднего Поста:

«Здравствуй, дорогой Саша.

Сегодня получила твое 34-е письмо, спасибо, что не забываешь. Напрасно обижаешься, что не пишу, но я отвечаю на все твои письма...».

Далее пишет о деньгах, о здоровье, о том, как проводят время дети, что Эдик в Ижевске, и что она все время сидит дома, а Вера на работе...

18.03.1944

Я отвечаю Шуре:

«Здравствуйте, Шура и детки!

Получил сегодня твое 19-е письмо. Спасибо. Как я уже писал, позавчера ко мне в квартиру вселили еще семью из трех баб и ребенка. Ты говоришь, почему я не выпер своей телефонистки? Положение такое, что трудно удержать за собой комнаты, когда нет семьи. Они же видят, что в двух комнатах живут фактически двое, а это в условиях Гомеля роскошь. Тут все время уплотняют. Ну и насчет телефонистки твои опасения, Шура, напрасны. Во-первых, не такой я человек, чтобы тебе изменять, а во-вторых, я тебе уже писал, какая она из себя, и конечно трудно ей с тобой соперничать. Ну, а что она варит мне, так это неплохо. По крайней мере я не голодаю, а если бы самому пришлось варить, то это бы не всегда удавалось. Я ежедневно прихожу с работы в восемь или девять вечера, и еда у меня уже готова. А если бы самому варить, то я бы не всегда смог. Целую вас всех. Пиши чаще».

21.03.1944

Жена Шура пишет мне 23-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша.

Шлю тебе горячий привет. Ты обижаешься, что я тебя забыла и не хочу писать – это неверно, как видишь, пишу 23-е. Просто ты моих писем не получаешь. Я тебе посылаю простые письма и открытки, а чтобы послать заказное, так никогда нет на месте человека, принимающего заказные, так что не сердчай на меня. Я только и думаю про тебя и как бы скорее попасть в Гомель. Я бы сама варила тебе супы, а то мне не нравится, что тебе варит какая-то телефонистка. На душе стало больно, когда я прочитала твое письмо, хотя ты и убеждаешь, что не забыл нас, но мне как-то нехорошо. Думаю, почему я сейчас не с тобой, и если бы была, то было бы у тебя белье чистое и постель тоже, и не было бы вшей. А то пока мы к тебе приедем, то тебя, бедняжку, вша заест. потерпи, мой дорогой, может скоро будем жить вместе, тогда все наладится, и не будет этой гадости. Когда поедешь к вашим, то пусть они тебе все стирают. Есть ли у тебя мыло, и почему оно на рынке? Мы ходим чистые и вшей нет. Эдик в Ижевске, Вера учится хорошо, Борик много играет во дворе. Все сыты и здоровы. Вася к Вере часто ходит и есть за чем. Она ему и мяса дает, и муки, и молока. Со мной пробовал ругаться, но я не стала с ним говорить. Почему не пишешь, где сейчас отец? Ты пишешь, что выпил вина. Я бы тоже не

прочь выпить, но негде его взять. Когда ты приедешь и забереешь нас, тогда выпьем. Целуем все тебя».

22.03.1944

Я пишу жене Шуре свое 39-е письмо:

«Здравствуй, Шура!

Как я уже писал, получилась ерунда с квартирой. Вселили мне семью из трех женщин и ребенка. И ни черта не сделаешь, потому что вас нет. Я все врал, что вы едете, а теперь уже мне не верят. Насчет визы пока никуда не ходил, не знаю, что и делать. Если бы дали, то вагон не дадут, и надо будет ехать пассажирским. У нас тепло. Получил вчера картошки три пуда по 70 рублей за пуд, а на базаре она по 180 рублей за пуд. Денег я не шлю, раз вы мне так категорично запретили. Живу пока неплохо. Обут, одет. Целую вас всех. Пиши чаще».

26.03.1944

Пишу жене Шуре в Средний Постол письмо № 40:

«Здравствуйте, Шура и детки!

Что-то давно от вас нет писем. Как получил № 18 восемнадцатого марта, так больше ничего нет. Сегодня выходной, сижу в конторе, работаю. Сейчас пойду обедать. На улице мороз, ветер. Я уже писал, что мне вселили в квартиру семью. Насчет визы и билета пока никуда не обращался. Об отпуске при текущей большой работе нечего и думать. От-

правила ли книги и когда? Работашь в колхозе или дома? Как ваше здоровье? Я жив, здоров. Насчет питания неплохо, но денег нет. Нужно платить за ботинки, костюм ватный, да я подписался на 200 рублей на постройку танковой колонны. Но ты пишешь, чтоб тебе не высылал денег, так что я придерживаюсь этого и ничего не шлю. Ну, пока. Целую».

29.03.1944

В своем письме № 24 жена Шура пишет:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Долго нет от тебя писем. Я 20 марта получила твое 35-ое и восемь дней ничего больше не получаю, очень скучно. Ждала сегодня, а Вера пришла с работы с пустыми руками. Поужинали, она ушла на собрание, а я пишу тебе. Я уже ответила на все твои письма и думала сегодня, получив от тебя письмо, ответить и на него. А письма нет. Мне просто нечего писать, потому что нигде не бываю, все дома: варю, стираю, кормлю всех, шью, нянчю Лёню. Вот так все дни и проходят, а все ближе к смерти. Вера бегает в школу, Борик помогает мне, гуляет много во дворе, катается на санках. Все письма от тебя я получаю. Целуем тебя, твоя Шура».

В этой открытке Шура жалуется на то, что не скоро получает мои письма. Но это, наверное, цензура тормозит, чтобы не проскочило что-либо недозволенное.

31.03.1944

Жена Шура в своем 25-м письме шлет мне горячий привет:

«Вчера получила твои письма № 37 и № 38. Спасибо, а то я без них скучала, десять дней не было от тебя писем, а как получила, то на душе легче стало. Ты пишешь, что мое 19-ое получил, значит, ты мои получаешь, только не на все вопросы отвечаешь. Живем хорошо: здоровы, сыты. Борик сегодня чуть не весь день гулял во дворе, пилил дрова. Потом Вера вышла, и они пилили вдвоем с Борей и очень много напилили, а я вышла и порубила. Веры (сестры) сегодня дома нет – уехала в Нылгу сдавать годовой отчет. Думала, написать тебе днем, но была занята, возилась с Лёней, а сейчас вечером пишу. Вера и Боря уже спят. Лёня часто просыпается, мешает писать, нужно качать его. Сама очень хочу спать, я же ложусь поздно, а встаю рано и, можно сказать, не высыпаюсь. Но письмо тебе дописать хочу. Насчет поездки к тебе – я не решаюсь ехать одна, боюсь, что по дороге где-нибудь обчистят, и тогда мы останемся голыми. Вера уже большая, а такая разиня – у нее можно все унести. Пишешь, чтобы часть вещей я оставила у Веры, но это нехорошо. Вера здесь временно, она, возможно, летом уедет, а просить Увариху, чтобы у нее побыло наше барахло, нечего и думать, а больше не у кого оставить – кругом все чужие. Если оставить швейную машинку, то ее больше не увидишь – Вася не отдаст, а машинка нужна, я сама теперь кое-что шью. Вере два платья пошила и не плохо, а хорошо. Вере (сестре) машинка без де-

ла, она не может шить. Как подумаю про поездку – страшно, и, кажется, не решусь сама ехать. Совсем засыпаю, крепко хочу спать. На днях, думаю, сходить в Ижевск, не знаю, как удастся. Я уже два месяца не была в Ижевске, некому с Лёней сидеть, а в Ижевск нужно обязательно. Почему не пишешь, как тебе гостилось у своих, что там нового? Есть ли у тебя соль и мыло? Отоваривают ли карточки? Стирала ли тебе дома белье? Значит, ты, Саша, попал в бабье царство: была одна, а теперь еще три. Весело тебе будет. Пиши, откуда они, кто такие? Пиши подробно, как живут ваши, как Лукашевичи, Валя, Ксения. Пиши про все и чаще. Без твоих писем скучно. Крепко целуем, жена и дети».

В этот же день я пишу жене свое 41-е письмо:

«Здравствуй, Шура и все!

Получил твои письма № 20 и № 21. Отвечаю на все вопросы. Реже пишу, потому что много работы. Пишешь, что лучше бы я сам варил супы, а не телефонистка. Но тогда я бы сидел голодный, потому что ухожу на работу в шесть-семь часов утра и прихожу в девять-десять вечера. Конечно, придя вечером, я бы не возился с варкой, а ложился бы спать, не евши. А так я прихожу, и ужин готов. Ну, если тебя смущает, что я с ней живу, то, как я тебе уже писал, в квартиру вселили трех женщин с ребенком, и нас уже не двое, а шесть человек в квартире. Ну и потом, эта телефонистка мало того, что старше меня годами, да еще и карлица, и несколько неин-

тересна как женщина. Да, я по своему характеру как всегда верен только тебе одной. Ты меня достаточно изучила и знаешь мои взгляды на семейную жизнь. Так что, Шура, оставь всякие нехорошие думки и верь, что все это чисто материальное дело. Как я верю тебе, так и ты должна верить мне. Я с нетерпением жду счастливого времени, когда мы опять заживем вместе. Все же узнай в Ижевске, нет ли там семей из наших краев, чтобы хлопотать вагон. Пусть даже не в сам Гомель, может, до Бахмача кто есть или до Унечи. Все будет ближе добираться до Гомеля. А ехать пассажирским сейчас – гиблое дело. Пишешь, Шура, что болит сердце, кружится голова. Вот это мне не нравится. Ты сама любишь повторять пословицу, что муж любит жену здоровой, так что смотри, поправляйся, чтобы, когда будем жить вместе, ты опять была бы такой же, как я видел тебя в последний раз. Очень рад, что живете неплохо, не голодаете, не мерзнете. Я тоже не могу пожаловаться, что мне плохо жить. Не голодаю».

Из-за большого количества работы я не смог дописать письмо, поэтому закончил его только третьего апреля:

«...Как видишь, Шура, только сегодня продолжаю писать письмо, а начал 31 марта. Так много было работы – как отложил, так и не мог докончить. Вчера и сегодня такая метель, какой и зимой не было. Все занесло снегом. В комнате у меня тоже снег. Отвечаю на все вопросы. Ноги болят, хотя и не так, когда я был у вас, особенно сегодня. Всю ночь была сильная метель, окна заделаны плохо, так что на утро



в комнату насыпало снега. Ночь спал плохо, мерз, и сегодня ноги болят особенно. От вшей избавился, когда побывал у наших в Сновске. Дали мне смену белья, да утюгом разгладили швы во всех моих одежках, и стало легче. Есть, правда, еще немного, но уже нормальное количество – терпеть можно. Землю дадут где-то километров в шести от нас. Когда ездил в Сновск, то ходил к Лукашевичам и Василию Заико. У Аврааменко калитка всегда на запоре, и я его не видел. Олю Пузач в этот раз не встречал. Наши не писали тебе, потому что все болели. Они обижаются, что ты им не написала подробно про смерть Шуры. Ты мне вышли заказным бумаги, какие тебе прислали, чтобы мать могла хлопотать пособие в военкомате за погибшего сына. Ты мне пишешь, что выслала книги, но я их до сих пор не получил. Где они ходят? Итак, барахла у тебя порядочно. Конечно, хорошо бы вас перевезти, но как? Вот вопрос, который меня мучает все время. Многие из эвакуированных уже повозвращались, но, конечно, те, кто с семьей жил. На этом заканчиваю, мерзнут руки и ноги. Поем сейчас и спать. Накроюсь всем своим барахлом, авось согреюсь! Хоть бы утихла эта метель. Такой не было за всю зиму ни разу, а теперь, в апреле, откуда что взялось? Минкевич и ее батьку послали в тыл на Северо-Печорскую железную дорогу, так что у меня сразу стало на двух работников меньше, и потому приходится самому отдуваться. Пока. Целую всех вас».

05.04.1944

Жена Шура пишет мне свое 26-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Снова долго от тебя нет писем. Не дождавшись, решила сегодня тебе написать. Все живы, здоровы. Вера большая ходит на работу, малая – в школу, а мы с Бориком дома заправляем хозяйством и нянчим Лёню. Сегодня я пекла хлеб, а Борик гулял с Лёней. Пообедали, Вера ушла на работу, Верочка собирается учить уроки, а Борик – идти гулять. На дворе хорошо, солнышко, бегут ручейки, а ночью морозы. Новостей никаких. Все время дома, никуда не хожу, газеты давно не читала – Вера не приносит, не знаю, какие известия. В выходной был у нас Верин Вася, немного спорили. Вера и Вася говорят, что Эдик совсем больной: глисты, горло не в порядке и легкие больные. Есть направление в тубдиспансер, но он его туда еще не водил, а говорит, что легкие больные потому, что он у меня голодный сидел. И снова выходит, что мы виноваты. Вера говорит, что заберет Эдика к себе, а он не соглашается. Вера ему передает молоко – в понедельник он увез пять литров, да сметану, творог, муки двух сортов, картошки, капусты, чеснок. Резали раньше поросенка, так ему Вера дала половину. И вот, приехал, и что было у нас – несколько кусочков сала, все забрал. Это, говорит, буду Эдику с медом давать. А сало не годится – оно соленое. Он его, конечно, сам поест. Назавтра ехали в Ижевск вдовем, и Вера снова передала три литра молока и пол-литра постного

масла. Я как посмотрела, то он такой жирный, все бы заграбил от Веры, пусть она голодает, лишь бы он был сыт. Саша, ты про Васю ничего не пиши – про то, что я тебе написала, а то Вера мои письма читает и все будет знать. Нехорошо получится. В общем, молчи. Какие у тебя новости, как с огородом, может, уже купил картошку на посев? Будешь садить, то сади под плуг. Кто-нибудь поможет тебе, а ты ему. Думаю, восьмого идти пешком в Ижевск, надо обязательно в город, но не знаю, как выберусь. Как ты с квартирантами миришься, как здоровье? Я в последнее время чувствую себя лучше. Пиши все подробно про свою жизнь. Пока, заканчиваю писать. Нужно кое-что починить, зашить. А там скоро Лёня проснется, нужно с ним возиться. И так идет день за днем. Крепко целую, твоя Шура».

06.04.1944

Шура пишет свое 27-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша. Вчера получила твое 39-е письмо, из чего видно, что нечасто ты нам пишешь. Пиши чаще и больше про свою жизнь. Насчет переезда я еще ничего не решила, еще холодно. Вот потеплеет, тогда можно будет решиться на переезд. А ты проси отпуск и приезжай за нами, и поедем как пассажиры, будем стоять в очередях и караулить вещи, а то на детей надежда плохая. Спишемся, я соберу вещи и поедем, я сама боюсь в такой далекий путь. Еще раз прошу, Саша, приезжай за нами. Из твоих пи-

сем видно, что ты скучаешь по нас и хочешь скорее увидеть у себя. Так вот, когда потеплеет, приезжай скорее за нами. Посади побольше картошки, а то приедь сейчас к тебе, а у тебя есть нечего. Дети тут привыкли много кушать и заметно поправились, да и сама я себя чувствую лучше и поправлюсь, проживши здесь весну. Вере помогу посадить огород, ей хочется посадить побольше. Ей дадут еще земли и на нас столько, сколько она сейчас имеет. И нехорошо будет, если мы уедем сейчас. Зиму нас кормила, а как работать, то мы сели и поехали. Вот я поеду в Ижевск 8-го числа и все раз узнаю, как там отправляют эвакуированных, и тебе напишу подробно про все, какое там положение. Пишу у Веры в конторе. Принесли Лёню ставить прививку от оспы, он спит, и я решила тебе писать. Саша, пиши, далеко ли от вас фронт. Кого ты в Сновске видел из знакомых? Ну, пока. Целуем все тебя крепко».

08.04.1944

Жена Шура пишет свое 28-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю свой горячий привет. Очень рада, что ты живешь хорошо, одет, обут и сыт, а это главное в жизни. Я работаю дома, работаю за няньку и домашнюю работницу. Куда уж мне ходить в колхоз на работу, если и дома ее полно: сварить, убрать, подшить и прочее. В общем, целый день занята и все никак всей работы не переделаю. Но вот беда – руки

болят, пальцы, кожа трескается и чешется. Кажется, до крови бы расчесала, особенно когда руки мокрые. Была у врача в деревне, сказала – экзема. Лекарства нет. Дала направление в Ижевск к врачу по кожным заболеваниям, посоветовала меньше мочить руки, но без воды в хозяйстве не обойдешься. Завтра думаю поехать в Ижевск, найду к врачу, да узнаю насчет отправки эвакуированных. Нужно кое-что купить на рынке, пошлю это письмо из Ижевска. А потом еще в Ижевске напишу обо всем, что узнала. Пишу, а хочется спать. Всегда поздно ложимся, встаем рано, так что не высыпаюсь. Но это все чепуха. Вера ушла в контору на собрание, а я решила написать тебе. Три дня тебе писала: 5-го, 6-го и 7-го апреля. Сегодня получила твою 40-ю открытку и теперь отвечаю на нее. Насчет вселения к тебе в квартиру семьи – я этого и ожидала, потому что нас нет, а квартира «гуляет». Пускай себе живут, но что за люди? Работают ли они? Вот только плохо, что, когда мы приедем, у нас не будет квартиры, и их трудно будет выселить. Вот, чего я боюсь. А жить вместе нехорошо. Пиши все о них подробно, что они из себя представляют. И живет ли еще твоя малая, варит ли тебе супы? Ты почему-то пишешь все открытки, а в них нечего читать, а хочется почитать большое письмо. Ты пишешь, что не просил еще визы, я тоже еще не узнавала, как увозят эвакуированных на свои места. Вещей у меня много и все нужно. У меня и ведро есть хорошее, а ты пишешь, что не имеешь. Вещи у меня и в деревне, и в Ижевске, в общем, все

разбросано. Хорошо, что не высылаешь мне деньги, я живу на всем готовом и так. Вот, покачала Леню, и сон прошел. Вера, твоя дочка, тоже писала тебе, но захотела спать. И оба – Вера и Борик, уже спят. Одна я сижу, пишу. Саша, ты обещал писать часто, а из твоих последних номеров видно, что пишешь редко, с промежутком в пять дней № 39 и № 40, а я не прочь получать ежедневно. Очень скучаю по тебе, кажется, годы прошли, как виделась последний раз. Как хорошо мы жили до войны и как хочется этого теперь. Хорошо бы съездить к моим родным и распить пол-литра. Ведь я теперь сирота».

И снова Шура пишет о рано ушедшей матери, которой жить бы да жить, а она ушла, не сказав ни слова.

«...Никак не могу примириться, зачем так рано умерла моя мама. Отец тоже у меня умер без времени в тяжелые 20-е годы. И мама умерла в нелегкое время в возрасте 56-ти лет, а отцу было 54 года. Теперь ты у меня один остался, и то приходится жить в разлуке. А годы уходят, еще хочется пожить и увидеть хорошую жизнь. Борик по тебе скучает. Иногда шлепну его за дело, так он говорит: «Приедем в Гомель, расскажу папе, как ты меня обижаешь. Я папу люблю, и он меня тоже, вот он тебя набьет за это». Очень был доволен присланной ему твоей открыткой. Спрашивает, почему еще не шлешь и не пишешь отдельно. Ну, до свидания, мой дорогой. Целуем тебя все крепко: Боря, Вера, Лёня и большая Вера, жена твоя Шура. Пиши чаще нам письма».

10.04.1944

Жена Шура пишет мне из Ижевска:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю привет из Ижевска, куда, наконец, добралась. Хотела купить Вере большой галоши, но дамских не было, только мужские. Вчера вышла из дома в обед на второй разъезд, и только утром кое-как доехали до Ижевска. Всю ночь не спала, очень хочу спать, но некогда, много дел. Буду сегодня ночевать в Ижевске и высплюсь. Сейчас 10 часов утра, поем и снова пойду в поход. Нужно побывать на старой квартире. Сегодня послала тебе две твоих книги. Мою просьбу прислать их тебе не выполнили, и они ждали моего приезда. Я еще раньше, когда уезжала в деревню, оставила вещи и попросила одну нашу работницу переслать тебе книги. А у этой работницы случилось горе, ей было не до книг, а я была уверена, что они пересланы. О переезде узнала, что ехать можно тем, у кого нет детей, потому что близко фронт, и тебе на нас визу не дадут. Придется здесь еще пожить. Пока еще кормят и не гонят. Вечер, 11 часов, хочу спать. Завтра закончу писать, пишу на почте. Послала тебе два пакета писем – сохрани их как ценность. Саша, еще я послала тебе 300 рублей к 1 Мая в качестве гостинца, только ты про деньги в письме не пиши, чтобы Вера не знала. У меня еще есть 800 рублей, и Вера тоже про них не знает. Когда получишь деньги, то в письме «Здравствуй» подчеркни двумя линия-

ми. Деньги используй на себя как хочешь, но только меня не подводи и в письме про них не пиши. Вера все письма читает. Пока. До свидания. Крепко целую, Шура. Иду в поликлинику к врачу с руками».

11.04.1944

А в этот день, когда жена Шура писала в Ижевске свое «заговорщицкое» письмо насчет посланных ею мне денег, я писал ей свое 42-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня получил твою 22-ю открытку, а ранее 23-ю. Вообще, получил все с 1 по 23, кроме 5,6 и 16. Погода у нас теплая, весенняя, снег тает. Сегодня утром у нас был Василий (это условно о фашистских налетах). Вообще-то, Василий бывает у нас довольно редко, но сегодня заглянул. Как мои ноги? Все было хорошо, а теперь, когда стало сыро – хуже. Но, конечно, не так, как при последнем нашем свидании. Батяка работает в Сновске на электростанции, часто болеет. Я у них был в марте. Бываю там не часто. Когда приехал был, да после того через три месяца один раз. Думаю, приехать к 1 Мая. Плохое расписание поездов – за день не смогаешься, а отпрашиваться неохота, да и работы много. Когда был у них в марте, то хоть на день почувствовал домашний уют и семейную обстановку. У них тепло, светло (электричество). Мать была особенно рада моему приезду. Просмотрела, да прогладила утюгом всю мою одежду, дали чистое бе-



лье, и я сразу почувствовал облегчение. Вшей стало меньше, и теперь их у меня столько, сколько положено. Но вот беда – по телу пошли какие-то нарывы. Может от того, что я надел батькино белье, а у него есть эта болезнь. Хоть ты пишешь, что послала книги, а их нет. Может, не послала? Приятно читать, что вы хорошо живете. Я тоже живу неплохо, только подходит тепло, а у меня все ватное. Как летом буду ходить – не знаю. Но, может, к тому времени что-нибудь дадут. Гомель постепенно оживает. Уже по утрам слышны гудки, и до разрушенного вокзала проложен один путь. На Советской, в центре, никто не живет, развалины стоят. Тебе, Шура, как приедешь, придется поступать на работу, поскольку дети у нас старше четырех лет. Работаю я много: ухожу в шесть утра, прихожу в десять-двенадцать часов ночи. Дома только сплю, а днем и не вижу, что там делается. У нас на базаре картошка 190 рублей за пуд, а в Сновске 40 рублей пуд. Мука у нас 700 рублей пуд, молоко 40 рублей литр. Я на базаре ничего не покупаю, только изредка прикупаю хлеба. По карточке хлеб получаю 650 граммов, и это мне мало. Ты мне, Шура, писала не посылать тебе денег, и я не посылаю. Может, обижаешься на это? Насчет посева картошки пока неясно, но землю дадут где-то далеко. Придется садить по частям после работы под лопатку и, наверное, без навоза. Через несколько дней Пасха. Моя малая квартирантка все готовится, она, оказывается, очень религиозная. Я иногда подтруниваю над ней – она злится. Ходит в церковь. Ты

уже тоже, может, ходишь молиться? Малая наготовила яичек к Пасхе, значит, и мне перепадет. Она все хотела достать белой муки, да дорого очень. Наверное, обойдется без нее. Ты пишешь, что Борик много гуляет во дворе и пилит дрова – молодец! Недавно из Сновска писали, что ты им не отвечаешь на письма. Получили они письмо из части о смерти Шурика. Да, нет наших дорогих близких: нашей бабушки и Шуры, так и не дождалась она лучших дней. Пиши, были ли на могилке у бабушки и сколько это километров от вас? Я тебе, Шура, реже пишу, чем из Акмолинска, но мне это простительно – много работы. Так что не обижайся. Целую вас всех».

12.04.1944

Жена Шура пишет мне:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Поздравляю тебя с 1 Мая! Жаль, что не пришлось праздновать вместе, но не падай духом, скоро мы будем вместе и тогда устроим праздник. Пишу письмо в Ижевске. Ходила сегодня к врачу по поводу моих рук. Врач признала заболевание – экзема. Сказала не стирать, полов не мыть, поменьше иметь дело с водой. Выписала мазь, микстуру пить. Это, говорит, у вас на нервной почве, нужно лечить нервы. Но теперь мне только бы руки вылечить. Сегодня я должна была домой уехать, а из-за лекарства не уехала, Вера будет ругать меня. Ну да как-нибудь дело устроим, и все будет хорошо.

Вот беда – спать хочу, время 12 часов ночи, а завтра еще надо кое-куда сходить. Домой ехать – погода ужасная, очень грязно. До свидания. Крепко целую, твоя Шура».

16.04.1944

Жена Шура пишет свое 33-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Получила твое 41-е письмо, где ты пишешь насчет супов, телефонистки и верности. Да, может я была неправа, что укоряла тебя телефонисткой, но как-то сердце болит, и невольно пишешь глупости. Конечно, я тебе верю, но вместе с тем думаю, что лучше б я сама тебе варила супы. Конечно хорошо, что ты не голодаешь, это мне приятно слышать. Отвечаю на твои вопросы. Насчет того, как к тебе пробраться – дело довольно сложное. Нужна виза, потом пропуск, имея визу. Вагоны дают только военным чинам на несколько семей. Сейчас больше едут на Украину: Киев, Харьков. В наши края труднее попасть, туда едут только те, у кого нет детей. Из Ижевска в Гомель уехал большой начальник, он сам оттуда, ему дали пропуск, а его жене и ребенку не дали, и семья осталась в Ижевске. Я ездила в Ижевск, но в эвакуационный пункт не ходила, слышала слухи. В наши края едут те, кто вербуются на работу, и только несемейные, одинокие. Я говорила с одним начальником на почте, он сам из Гомеля. Я его спросила, как можно попасть в Гомель, он ответил: «Еще близок фронт, и никто вас туда не пустит с детьми и пропуск

не дадут. Ждите, пока отдалится фронт. Я думаю, ехать в этом году». Он одиночка, у него семья погибла. Насчет моих болезней головы и сердца – сейчас я совсем здорова и чувствую себя хорошо. А с ногами ты ходи на лечение, я хочу, чтобы к моему приезду ты был совсем здоров. Здоровье – главное для человека. Пишешь, что была метель. У нас по ночам морозы, но днем тает, снега еще много. Плохо, Саша, что на тебя напали вши, жаль, но как помочь тебе, не знаю. Представляю, какое у тебя настроение, когда эти паразиты не дают покоя ни днем, ни ночью. Из Щорса Аня пишет, обижаются, что не пишу им подробностей про смерть Шурика. Но я им писала, видимо, они не все мои письма получили. Обижаются, зачем я взяла похоронную, а я похоронную получила в письме, и вот ее, Саша, я как-нибудь перешлю, а также вышлю письмо, которое сестра пишет из госпиталя. А больше нет никаких бумаг. И еще, Аня сердится за то, что я тебя, Саша, забыла, что не еду к тебе, что тебя вши заели. Пишет, что, будучи у них, ты был очень скучный, и когда она белье постирала, да прогладила, то ты даже повеселел. Ты, Шура, – пишет Аня, – как-нибудь пробирайся к Саше, и ему будет лучше с тобой. Хорошо советовать – пробирайся, а как пробираться – это другой вопрос. Они думают, что им тебя жалко, а мне нет. Напрасно они такого мнения. Мне тебя более жаль, чем они думают. Я все время про тебя вспоминаю. И вот пишут, что я забыла о тебе. Я даже плакала, когда читала их письмо. Будешь дома – передавай им привет. Навер-

ное, будешь у них на 1-е Мая, будете выпивать. Как я вам завидую! И хотя меня не будет с вами вместе, но в душе я с вами. Пишу, а Лёня на руках плачет, мешает писать. Сейчас буду топить грубу, варить обед, покушаем, Лёню уложу спать и напишу вашим письмо в Сновск и Лёне в армию. Ну, пока. Целую, Шура».

19.04.1944

Жена Шура пишет мне 35-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Вчера послала вашим в Сновск письмо и Лёне вашему в армию. Писала ему, что его брат Шура убит, чтобы он отомстил паразитам за брата. Борику купила маленькие лапти, и он все время гуляет во дворе и пилит мне дрова. Борик наш поправился и вырос, стал большой. Ты, когда приедешь, то не узнаешь его. Все спрашивает, скоро ли папа мне напишет отдельное письмо. Живем хорошо. Пиши, как дела с огородом и почему его дают далеко? Разве ближе нет земли? Целую крепко, Шура. Пиши чаще. Письмам будем очень рады».

А я в этот же день пишу открытку сыну Боре:

«Здравствуй, сынок Боря!

Пишу тебе отдельно, как ты просишь. Получил твое письмо, которое за тебя писала мама. Учись, чтобы ты сам мог писать письма. Не знаю, приеду ли я за вами, но в конце мая буду хлопотать насчет отпуска. Молодец, Боря, что помога-

ешь маме пилить дрова. У нас уже снега нет. Когда получишь это письмо, то, наверно, и у вас его не будет. Поцелуй за меня всех и скажи Верочке, чтобы писала мне, а то она, наверно, ленится. Ну, пока. Твой папа».

21.04.1944

Я пишу жене Шуре 43-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Вера получил твои письма №№ 24, 26, 27. Спасибо. Прости, что долго не писал – некогда. Я теперь хожу на работу в шесть утра, прихожу в 11–12 ночи. Устал здорово. Сегодня пришел в девять вечера и пишу письмо при коптилке. Вчера и позавчера был Василь (это условно про налеты). Ты спрашиваешь, далеко ли фронт от нас? Нет, недалеко. Жлобин еще у немца. Насчет земли – у нас уже начинают раскачиваться. Картошки два пуда я уже имею. Не знаю, как удастся посадить. Ты говоришь под плуг, а у меня даже лопаты нет. Насчет приезда к вам не знаю, как это получится. Узнавай, Шура, нет ли в Ижевске кого из белорусов-железнодорожников. Тогда можно было бы просить наряд на вагон. А пассажирским ехать очень трудно. Книжки я не получил до сих пор. Со своими квартирантами живу мирно. Да и меня почти никогда нет, только ночую, так что некогда ругаться. Малая варит супы. Вот, дрова кончаются, и где достать – не знаем. У нас уже нет снега, но прохладно. Лед на реке давно прошел. Я уже писал, что с наступлением тепла у меня

будет неважно с одеждой: придется все ватное скидывать, а вместо него надевать те латаные черные штаны, на которых «латка на латке, а в латке дырка». Но ничего, может где и достану новый костюм. От наших из Сновска получил письмо и все никак не отвечу. На этом заканчиваю. Коптилка уже чуть светит, и хочется спать. Целую вас всех».

В это же день жена Шура строчила мне свое 36-е письмо: «Здравствуй, дорогой мой Саша!

Вот уже целую неделю от тебя нет писем. Последнее № 41 я получила 15 апреля и больше нет. Скучно без писем, и я решила тебе написать. Живы, здоровы. Живем хорошо, новостей особых нет. Погода холодная, два дня дуют сильные ветры. Скоро 1 Мая, а у нас еще много снега. Май, наверное, будет холодный и грязный. Думаю, еще до первого мая съездить в Ижевск. Не знаю, как удастся, малого Лёню нельзя оставить. Какая у вас погода? Саша, ты свое слово не сдержал: обещал писать часто, а сам не пишешь. Я, когда была в Ижевске, купила себе 40 открыток, так что есть на чем писать. Борик сегодня гулял во дворе, но скоро вернулся домой, говорит, очень замерз. Пока. До свидания. Целуем тебя все крепко».

22.04.1944

Да, фронт был недалеко, и хождение по ночам без пропуска не разрешалось. Мне был выдан такой пропуск:

«Без предъявления паспорта пропуск недействителен. Паспорт П НУ № 670 706. Постоянный пропуск № 1912 для гражданских лиц. Гражданину Мороз А.А. разрешается хождение по г. Гомель в ночное время до шести часов утра. За передачу пропуска другому лицу виновные подлежат ответственности по закону военного времени».

Подписал военный комендант г. Гомель майор Михайлов.

Так что я из конторы домой в ночное время ходил беспрепятственно.

24.04.1944

Я пишу Шура свое 44-е письмо. Условие, которое мне поставила Шура насчет получения денег от нее я в этом письме выполнил и слово «здравствуй» подчеркнул двумя линиями. Деньги я, конечно, получил. Когда я начал писать это письмо в конторе, то свет погас, и вот я продолжаю дома при коптилке:

«...За последние три дня я от тебя, Шура, столько писем и посылок получил, что они меня просто ошеломили. Все твои письма до 32-го я получил. Старые письма в двух пачках получил, две книги тоже. Спасибо. В одном из писем ты поздравляешь с 1 Мая, но я его получил гораздо раньше праздника. Очень рад, что живете вы неплохо. Нехорошо, что у тебя экзема на руках, как и то, что у меня нарывы пошли по всему телу. Вот сейчас пишу, а они болят и чешутся. Как видно, простуда, а может от нервности, не знаю. Ва-



Силь у нас бывает каждый день (это о налетах) и начинает надоедать. А зимой бывал очень редко. Как я уже писал, у меня много работы, и это тоже большая помеха, чтобы писать тебе чаще. Спрашиваешь, как живут мои квартиранты, но я дома только ночую. Прихожу – они спят, ухожу – они спят. Малая варит супы. Картошка пока есть, достал по 50 рублей пуд. Не знаю, как на посев, удастся или нет достать по этой цене, а то придется на базаре брать по 150–200 рублей за пуд. Спрашиваешь, далеко ли фронт от нас – нет, не очень далеко. Из Ижевска ты писала, что есть эвакуированные из наших краев. Меня интересует, кто из железнодорожников и их фамилии. Ты узнай фамилии и напиши. Говоришь, что давно не виделись. Да, уже полгода прошло, как я заезжал к вам, и я тоже хочу увидиться. Часто под утро просыпаюсь и не сплю до утра, в голову приходят всякие воспоминания – и как мы жили на Черниговской в Сновске, и на Сортировке в Гомеле... Хорошее было время. Придется ли еще так пожить – не знаю. Ну, пока. Сейчас нужно тушить свет по некоторым причинам. Завтра dokonчу (возможно, прекратил из-за воздушной тревоги, они в последнее время участились). Продолжаю 25 апреля. Сейчас иду мимо почты. Решил отправить, как есть. Иду в Управление, нет времени писать, а если отложу, то уже написанное будет лежать в кармане. Целую вас всех».

27.04.1944

Жена Шура пишет мне 37-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Вечер, Вера ушла на собрание, я всех уложила спать. Сидела, читала Жюль Верна «Дети капитана Гранта», очень понравилось. Саша, почему не пишешь? Последнее от тебя 41-е от 31 марта, а получила я его 15 апреля. Скоро две недели как нет писем, а знаешь, как скучно без них. Жду каждый день, а их нет. Пишу плохо – перо плохое. У нас дожди, грязь. Охота спать, а Веры нет еще, придется пока не спать. До свидания. Твоя Шура».

28.04.1944

Я пишу свое 45-е письмо жене Шуре:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сейчас иду из банка. По дороге на базаре купил кусок хлеба 500 граммов за 25 рублей. Хлеба мне не хватает, и я по карточке забрал наперед, так что вчера и сегодня без хлеба. Зашел на почту, ни от кого ничего нет. Живу ничего, только мучают чирьи по всему телу, да, наверное, чесотка. Временами нет терпения, до чего зудит и чешется. У нас уже тепло. Распределяют огороды, но земли мало дадут. Пиши мне фамилии, кто из семей железнодорожников есть в Ижевске и где их мужья? Я с ними свяжусь, чтобы вместе ехать. Ну, пока. Целую всех. Пиши».

29.04.1944

Пишу жене Шуре 46-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сажу на вокзале в Новобелице, жду поезда на Сновск. Поеду на праздники 1 Мая. Билет у меня уже закомпостирован и осталось дело за поездом. Сегодня 29-е, а 1 мая в час дня мне уже надо ехать обратно, потому что отпросился на 30 апреля с тем, чтобы отработать 2-го мая. И это все из-за того, что расписание поездов плохое. Думаю в Сновске кое-что купить, завтра базар. Да сvezу белье постирать, а то уже очень грязное. Нарывы на теле не дают покоя, портят все настроение. Земли пять соток мне уже выделили. Картошки на посадку немного имею. Только беда – много работы, и не знаю, когда садить. Ну да ладно, как-нибудь устроюсь. Ну, пока. Пиши. Целую всех».

Сохранилось командировочное удостоверение № 27 от 29.04.1944:

«Выдано Мороз А.А., главбуху первой Дистанции Связи, командированному в Сновскую ШЧ-12 по спецзаданию на три дня, сроком по 3 мая 1944 г. Билет разовый № 934342 от ст. Новобелица о ст. Сновская».

И уже одно то, что удостоверение написано моей рукой и осталось у меня, свидетельствует о фиктивности этой командировки. Конечно же, это мой начальник Жарин Д.Е. пошел мне навстречу и устроил эту поездку со «спецзаданием» для моего свидания с родными в Сновске.

01.05.1944

Я пишу жене Шуре уже из Гомеля:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Поздравляю вас с 1 Мая. Полчаса назад я пришел с Новобелицы, ездил в Сновск. Как выехал в десять часов вечера 29 апреля, так в Сновск приехал 30 апреля в шесть часов утра. Долго стояли в Тереховке. 30 апреля был общий рабочий день, и никого из наших дома не было. Собрались после восьми вечера, распили пол-литра самогона и легли спать. День был холодный, дождливый. Я, приехав, сходил в баню, а потом поспал. После бани в чистом белье мне стало немного легче с моими нарывами. Анька постирала все мое белье и верхнюю одежду. Перед вечером сходил к Оле Пузач, но ни ее, ни Петра не застал. Была только ее мать. Я их не дождался и ушел. Они живут на Костельной улице, там, где они когда-то жили. В этот раз ни к кому не ходил: ни к Лукашевичам, ни к Заикам. Аня купила мне круп, да пол-литра подсолнечного масла. Первого мая я встал часов в восемь и пошел в «Казенный лес». До чего же его проклятая немчура испортила. От старой школы (которая сгорела) и до большой поляны – только пеньки. Дубняк стал такой редкий, нет просек, весь лес изрыт окопами. Говорят, тут много похоронено советских граждан, убитых немцами. В лесу никого не было, не то, что раньше на 1 Мая! Правда, день был прохладный. Из леса я пошел по Луговой на базар, а оттуда к

почте. Послушал первомайский приказ по радио. В приказе сказано, что будет салют в Москве, Ленинграде и в Гомеле, и вот сейчас, когда я пишу эти строки, я слушаю салют из орудий. Правда, бьют не очень сильно. Итак, продолжаю. От почты пошел на станцию, узнал насчет поезда. Поезд в час дня. Хотел забежать к тетке, но раздумал и пошел к своим. Там до поезда мать чинила мне белье, поговорили обо всем. Их мнение, что вам еще ехать не следует. Приехали Анисьины и тоже жалеют, что приехали. Их Лушку, Шуркиного товарища, тоже убили на войне. Моя мать обижается, что ты им не пишешь. Все журится по Шурику. Не знает, как картошку посадить. Здоровье неважное, все время с двумя малыми. Батька и Анька всегда заняты на работе. Такая же трудная задача с посадкой картошки и у меня. Землю дали – пять соток в конце Батарейной улицы. Семена тоже имею, а вот времени, чтобы под лопату посадить, нет. Завтра 2-е мая – день нерабочий, но я буду отрабатывать за 30-е. Как я тебе уже, Шура, писал, я часто теперь встречаюсь с Василем (условное). Когда ехал, то в Зябровке встретил его. Так вот, мамино и Анькино мнение, что вам пока ехать рано. Пришли мне по почте две книжки алгебры, которые я у вас оставил. Как я уже писал, все, что ты мне посылала, я получил. Нашим пришло письмо от Петра из Улан-Уде. Лёня тоже пишет довольно часто. Он имеет две награды и был три раза ранен. О Николае ни слуху, ни духу, наверное, погиб. Итак, зажигаю коптилку, завешиваю окна, уже потемнело. Так прошло

1 Мая. Невесело, в общем, даже пьян не был. Закончу письмо, почитаю немного и спать, завтра на работу. В Сновск теперь поеду нескоро. Пиши, как у вас с посевом? Когда будете садить картошку? Много кому нужно отвечать на письма, но я сегодня ограничусь только этим, а те подождут. Сегодня, пока шел с Новобелицы в Гомель, я лишний раз убедился, как много пострадал наш город. Везде идешь напрямик, кругом развалины. Особенно пусто в районе конного базара. Начинает зеленеть травка, и почки распускаются на деревьях. Может, хоть зелень скрасит эту тяжелую картину опустошения. Ложусь спать. Пиши чаще. Целую вас всех».

Первого же мая Шура писала мне свое 38-е письмо:  
«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю свой горячий привет. Нет от тебя писем. Последнее № 41 получила 15 апреля. Плохо без писем, охота получить от тебя весточку. Скучно провожу этот праздничный день, идет дождь, грязь на дворе. Хотела пойти с Борей в школу на постановку, но Вера (сестра) не пустила, ей неохота одной дома быть. Наша Вера тоже выступает, интересно было бы посмотреть. Днем приходила женщина, звала нас в гости на вечер, но как пойдешь, кто будет дома, и живет она далеко. Так я дома и осталась, а Вера ушла гулять. Сейчас вечер, дети спят, я читала книгу. Стало как-то нехорошо на душе, и я начала писать тебе. Обидно, что празднуем 1 Мая не вместе, не распиваем по чарке вина. Я уже соскучилась по тебе, ка-

жется, годы прошли, как мы виделись. И скоро ли то время, когда опять заживем вместе счастливо и весело, как до войны? Я часто мечтаю об этом. Обидно, почему я не с тобой. Я сыта, жить хорошо, дети сыты и одеты, но мне страшно хочется вернуться на Родину, увидеть всех родных и знакомых, но это только мечты. Вот и сегодня кто-то гуляет, а я одна сижу дома. Я же нигде не бываю, хочется пойти, но куда пойдешь? А дни идут, и все ближе к старости. Пиши все подробно о себе, как провел праздник, мне будет интересно. И не томи ожиданием писем от тебя. Как погода? Я в Ижевск не ездила, как собиралась до первого мая – большая грязь. Все живы, здоровы. Борик много гуляет во дворе, часто сам пилит дрова. Растет помощник. Все обижается на тебя, что не пишешь ему отдельно. Помогает мне водиться с Лёней. Ну, пока. Целуем тебя. Вера, Боря и твоя Шура».

А в конце Шура написала лирическое стихотворение под названием «Грусть»:

«Грусть, тоска безысходная,  
Сердце уныло так ноет в груди,  
Ты приедь же, приедь,  
Ненаглядный мой,  
И печали мои прогони.  
Так приедь же, приедь,  
Ненаглядный мой,  
Теплой лаской меня обогрей,  
Успокой мои раны сердечные,

Пожалей ты меня, пожалей».

05.05.1944

Жена Шура пишет мне свое 39-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Наконец, четвертого мая получила от тебя 43-е письмо. Спасибо, что вздумал написать, а то я очень за тебя беспокоилась. Ровно 20 дней не было писем, 42-го я не получила. Живем хорошо, все здоровы, скоро будем садить огород. Снега нет, тепло, только на огороде еще сыро. Саша, вчера случилось у меня небольшое горе: пилила во дворе дрова с Борисом, и меня ужалила пчела. Это было перед обедом, а к обеду я уже не видела правым глазом, а к вечеру и другой глаз стал опухать. Думала, за ночь пройдет, но нет, все лицо опухло, чуть только вижу. А мне сегодня надо испечь хлеб, а я чувствую, что с каждой минутой вижу хуже. Если бы ты меня сейчас увидел, уж больно я смешная. Целую, Шура».

07.05.1944

Я пишу жене Шуре в Ижевск 48-е письмо из Гомеля:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, получил твои 34-е и 35-е письма. Спасибо. Сегодня выходной, но сижу в конторе и работаю. У нас закончилась подписка на третий военный заем, и я получил благодарность. Идет дождь. Хотел после обеда идти копать свой участок, но дождь помешал. Кроме того, обещают вспахать,



так что подожду. Картошки на посев уже пуда три имею. Участок пять соток. А как у вас дела с посевом? Пиши про это. Фронт от нас пока недалеко, около Жлобина. Нарывы мои не проходят, и к врачу еще не ходил. Все жду, когда пройдет само по себе. Белье у меня все чистое. Пиши, Шура, жду от тебя писем. Начинаю постепенно расшиваться с работой. Ну, пока. Целую вас».

В этот же день мой брат Лёня пишет моей жене Шуре в Средний Постол с полевой почты 66460 Г:

«Здравствуй, дорогая Шура!

Премного благодарен за поздравления. День 1 Мая провел очень хорошо, правда, на открытом воздухе – выпил бокал за ваше здоровье! Дорогая Шура, сочувствую тебе в твоём горе, ведь оно и мое тоже, оно одно – наше горе, но нужно все пережить. Чему бывать, того не миновать. О Шурике мне писали из дома. Не беспокойся, за братика я им дам «жизни». Живу я сейчас очень хорошо. Главное, что тепло. Очень хочется увидеть всех своих, сесть за одним столом и поднять бокал за нашу Победу! От Саши писем не получаю. Где он и что с ним? От Вани вчера получил первое. Не обижайся, что мало написал, ибо новостей особых нет. С приветом Лёня».

Также Лёня написал письмо и моей дочке Верочке:

«Добрый день, моя дорогая племянница Верочка!

Сейчас нахожусь на фронте, бью фрицев, успехи мои хо-

рошие. Живу очень хорошо, погода тоже хорошая, в поле много цветиков и птички поют. Дорогая Верочка, я награжден медалью за взятие города Мозырь. Сейчас я уже офицер и зовут меня по-военному «капитан». Верочка, напиши своему папке мой адрес, я ему писал письмо, а ответа не получил. До свидания, Верочка. Передавай привет мамке, тете Вере и братику. Сегодня идет теплый дождик. Дядя Лёня».

11.05.1944

Жена Шура пишет мне свое 40-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю горячий привет. Получила твое письмо, спасибо. Очень долго не было, я беспокоилась о тебе. А сейчас, когда есть от тебя письмо, все хорошо. Мы живем хорошо, здоровы. У нас тепло, скоро будем садить в огороде. Завтра поеду в Ижевск, нужно кое-что купить. Когда приеду, будем садить огород. Напишу тебе пару писем из Ижевска и напишу вашим в Сновск, пошлю им ценным письмом похоронную. Саша, повезу я в Ижевск свое зимнее пальто, которое здесь купила. Тут к Вере приехала ее знакомая из Ижевска, она обещает мне отдать шить пальто в мастерскую, а так не принимают. Ни от кого нет писем, а без них скучно, и ты стал очень редко писать. Ну, пока. Целую тебя крепко, Шура».

14.05.1944

Жена Шура пишет мне 42-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Горячий привет из Ижевска. У нас в деревне гостила Верина знакомая, и вот мы с ней приехали в Ижевск. Пришли к ней домой в час ночи, поужинали и легли спать. Спали очень долго после дороги. Она жена удмуртского писателя. Живут они очень хорошо, это сразу чувствуется, когда заходишь к ним в квартиру. Она устроила мое пальто, отдала шить в мастерскую. Знаешь, то, которое я купила. Хорошо иметь знакомство! Итак, Саша, если все будет благополучно, будем живы, то я на зиму одета. Пальто будет, валенки есть. Саша, мы живем сейчас очень хорошо, у нас тепло. Приеду, будем браться за огород, уже нужно садить. Пиши, как у тебя с огородом, как здоровье? Ты мне написал нехорошую весть, что у тебя чирьи, поэтому я очень беспокоюсь за тебя, мой дорогой. Ну, пока. Целую тебя, твоя Шура».

Писателем, с женой которого познакомилась Шура, был удмуртский писатель Петров Михаил Петрович. У меня есть его книга «Старый Мултан». Позднее я тоже бывал на этой квартире.

12.05.1944

Я пишу жене Шуре свое 49-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твою 37-ю открытку и все до нее. Обижаясь, что не пишу две недели. Да, был такой грех, что я

долго не писал. Было много работы, дни шли быстро, и не замечал, что долго тебе не пишу. Прости за мою оплошность! Новости такие: 10 мая посадил под плуг пять соток, картошки вышло четыре с половиной пуда на посев, так что будем мы с картошкой осенью. А как у тебя? Получил вчера подушку и пару белья, все стоит сто рублей. У нас тепло, надо снимать зимнюю одежду, а в чем ходить – не знаю. Мой летний костюм рвется. Но ничего, что-нибудь придумаем. А может, дадут новый. Насчет визы – пока не дают по известным тебе причинам. Ну, пока. Целую всех».

14.05.1944

Жена Шура пишет мне свое 43-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю свой горячий привет и хорошие пожелания из Ижевска. Играет радио, скоро будут передавать последние известия. Пишу тебе, сидя за хорошим письменным столом. В Ижевск приехала вчера в час ночи. У нас в деревне гостила Верина хорошая знакомая, у которой я сейчас пишу письмо. Я привезла пальто, и эта новая знакомая отдала его в мастерскую. Живут они с мужем, ее матерью и дочерью 17 лет. Саша, посылаю тебе еще 300 рублей, используй их на себя. Только в письме не пиши, что я тебе послала, а слово «здравствуй» подчеркни двумя чертами и поставь где-нибудь в уголке дату. Саша, мне очень жалко тебя, так много работаешь и некому за тобой поухаживать. К тому же ты

еще и больной. Я за тебя очень волнуюсь. Саша, ты же знал, что отец болен, так зачем одевал его белье? Ты, пожалуйста, сходи к врачу, пусть осмотрит, и прими меры, но чтоб был здоров. Пиши, как встречал май? Наверное, ездил домой? Как ваши живут, что нового в Сновске, кого видел из моих знакомых? И вообще, все новости пиши и почаще, а то без писем очень скучно. Письма получаю только от тебя, больше мне никто не пишет. Нет бедняги Шурика, а он мне очень часто писал. Саша, посылаю тебе еще две книги и пачку старых писем. Храни все письма до моего приезда. Закончу письмо, пойду на почту, а оттуда на рынок, кое-что купить надо, а потом на станцию. Думаю, сегодня уехать. День какой чудный, тепло, листочки распускаются, травка зеленая. В общем, весна! А как у вас? Я все думаю, в чем ты, бедняжка, будешь ходить, у тебя нет летнего костюма. Мой совет: проси, чтобы дали. Я даже не представляю, какой ты жалкий вид имеешь в своем рваном костюме. Ты должен достать себе костюм. Саша, будешь писать домой, передавай от меня привет и попроси, чтобы мне писали. Я высылаю вашим ценным письмом извещение о смерти Шурика. Вчера написала им открытку. Я чувствую себя хорошо, дети тоже здоровы. Целую тебя очень крепко. Шура».

15.05.1944

Брат Лёня пишет мне:

«Здравствуй, дорогой брат Саша!

Впервые сегодня получил от тебя открытку – отвечаю сразу же. Конечно, еще жив и полностью здоров. Сейчас живу сравнительно спокойно, но это затишье перед бурей. Не знаю, буду я жить или нет, но без Победы домой мне нет дороги. Спасибо за поздравление с наградой, но одновременно меня можно поздравить и с повышением в чине, сейчас я уже «капитан». На днях получил письмо от Шуры и Верочки, они сообщили мне, что ты с Акмолинска выехал, а посему я перестал туда писать. В этот же день получил и от Вани, теперь имею переписку со всеми, кроме Коли и Петра. Как хочется побыть дома, встретить своих родных и рассказать о пережитом. Пробовал проситься на пару дней – не пустили, а ведь пять лет скоро, как ушел из дома. Ну да не беда, будем надеяться на скорую встречу, Саша! Ежели тебя интересуют некоторые подробности прошедшего – черкни, я опишу. Не обижайся, что мало написал, не знаю, получишь ли? Пока, с приветом твой брат Лёня».

В этот же день жена Шура пишет мне письмо:  
«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю тебе свой горячий привет. Вчера ночью приехала из Ижевска. Приехали на разъезд – уже было темно, и пошли. Шли по колено в грязи и воде. Чуть дошла, очень тяжело было идти. Пришла домой, пока поговорили, то уже и светло стало. Спала мало. Очень хочу спать и болит голова. Но некогда – много работы. Саша, я тебе писала, что купила Ве-

ре туфли за 500 рублей, да ей малы, но я их продала за 900 рублей, а Вере новые не купила, нет детской обуви. Купила тебе галоши ношенные за 500 рублей, да Вере один метр ситца на блузочку. Купила мыла, нужно стирать. Ну, пока, мой дорогой Саша. Целую тебя крепко, твоя Шура».

16.05.1944

Я подаю заявление в Горсовет г. Гомеля:

«Заявление от главного бухгалтера первой Дистанции Связи Мороз А.А.

Прошу о выдаче визы на право переезда моей семьи из г. Ижевска в г. Гомель. Семья моя состоит из жены Александры Хартоновны и двух детей: Веры 12 лет и Бориса 6 лет. Они были эвакуированы из Гомеля в 1941 году и проживают в настоящее время около города Ижевска Удмуртской АССР. Мороз А.А.».

19.05.1944

Жена Шура пишет мне 48-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Несколько дней от тебя нет писем, и стало скучно. Прошу, пиши как можно чаще. Как у тебя с огородом? Мы уже начинаем понемногу садить огород. Борик целыми днями копает, пилит дрова. Сейчас восемь часов утра, и он еще спит. Ходит он в одних трусах, уже немного загорел. Вообще, вид у него здоровый. Вера хуже выглядит. Саша, пиши Борику

отдельно, он очень ждет. Сейчас пойду садить горох. Дни у нас теплые, а ночи холодные. Ну, пока. Всего хорошего. Целуем тебя все крепко».

А я в этот день пишу Шуре 50-е письмо:

«Здравствуйте все!

Получил твое 38-е письмо за первое мая. Письмо с картинкой, которую нарисовала, наверное, Верочка. Ты обижаешься, что пишу редко. Да, верно, я стал писать реже, чем раньше. Знаешь, Шура, так много приходится писать да считать, что хочется отдохнуть от этой писанины. В конторе писать письмо не приходится, а домой придешь – темно. И так отложишь с сегодня на завтра, а там смотришь, и дней много прошло. О том, как провел 1 Мая, я тебе уже писал раньше. Был в Сновске у наших. Я фактически пробыл там 30-го апреля и полдня первого мая. Побегал по лесу, который теперь совсем ошипан. А вечером первого я был уже в Гомеле, второго мая работал. Погода была неважная. Теперь тепло. В прошлое воскресенье я даже загорал. Вишни цветут, деревья в зелени. Картошку я посадил на пяти сотках пуда четыре с половиной под плуг еще десятого мая. В следующее воскресенье посажу фасоль и тыкву. Огород в трех километрах от дома. За последнее время я получил пару белья и подушку, за все сто рублей. За посевную картошку заплатил 250 рублей и за вскопку 75 рублей. Подал заявление насчет визы. Не хотели брать, но все же взяли, не обещая, что визу дадут.



Да и мое мнение, что нужно еще подождать, пока не отгонят немца за Жлобин. Каждый день, под вечер, бывает у меня Василь (это условно о налетах). А ты знаешь, как я его недолюбиваю. Приходится терпеть, не прогонишь же его. Вчера побелили мою комнату, стало светлее. Получил письмо от Ивана Гаврилова из Киева. По-прежнему мучают меня чирьи и чесотка. Правда, к доктору я не обращался, а сами они никак не проходят. Ты, Шура, пишешь, что живешь хорошо, но скучно. Ничего, что скучно, у нас часто бывает так весело, что я все же предпочел бы это веселье скуке. Но ничего, Шура, не падай духом, скоро, может, увидимся. Ты, может, обижаешься, что не шлю тебе денег? Но я выполняю твой приказ, тем более что это очень легко выполнить. Недавно послал большой Вере письмо. Много кому надо отвечать, а я не соберусь никак. Ну, пока. Целую. Пиши, как у вас с посево́м. Целую всех».

21.05.1944

Жена Шура пишет:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю тебе горячий привет. Никак не дождусь от тебя писем. Интересно, как у тебя с огородом? Саша, нам сегодня вспахали огород, завтра будем носить навоз и садить картошку. Морковь посеяли, свеклу, редиску да горох. Посадили картошку, и я снова поеду в Ижевск. Живем хорошо, все здоровы. Саша, как твое здоровье, как ноги? Что нового у тебя?

Когда последний раз видел Василя, что привозил? Вообще ни от кого нет писем, и от тебя редко получаю. Ну, пока. Целую тебя, Шура».

22.05.1944

Я пишу жене Шура 57-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твою 39-ю открытку, где ты пишешь, что тебя укусила пчела. Думаю, что все прошло, и ты избавилась от этой болезни. Вчера посадил фасоль и тыкву, а после обеда копал около дома яму для того, чтобы прятаться. Проходил по Залинейному району, все сады белые: цветут яблони, груши, вишни. Если гроза не попортит, будет хороший урожай. Погода хорошая, все зеленеет и цветет. Как у вас дела с посевом? Пиши, когда садили, что и сколько? Послала ли мне книги по алгебре? Пиши чаще, не обращай внимания, что я пишу редко. У меня не всегда есть время. Вот и сейчас спешу очень. Целую всех».

24.05.1944

В своем 52-м письме Шура я повторяю почти все, что писал ранее 22-го мая:

«Здравствуйте все!

Шура, не обижайся, что редко пишу – некогда. Сегодня почему-то холодно. От тебя последнее получил 39-е письмо...».

Далее пишу о посаженном огороде и цветущих садах.

«...Думаю, что урожай будем собирать вместе. Послала ли книги? Узнала ли фамилии, и кто там из белорусов? Когда получишь эту открытку, то у вас уже будет кончено с посевом. Почти ни с кем не переписываюсь. Вернее, мне пишут, а я отвечаю слабо. Нужно будет как-то выправить это дело. Ну, пока. Целую вас всех».

А жена Шура пишет мне 50-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша.

Шлю свой привет. Вчера было от тебя 48-е письмо. Спасибо, что не забываешь. Мы на огороде уже кое-что из овощей посадили. Землю под картошку вспахали и заборонили. Сегодня будем садить под лопатку, нет лошадей. Посеяли ячмень и овес, всего один пуд. Два дня носили навоз носилками. Огород очень большой, так что есть, где работать, да Лёник нам мешает. Вот как у нас дела. У Верочки экзамены с 20 мая по 1 июня. Вчера получила письмо от вашего Лёни, он обижается, что ты ему не пишешь. Спрашивает, где ты и что с тобой. Его полевая почта № 66460 Г. Ты все спрашиваешь, кто из семей железнодорожников есть в Ижевске? Но я у всех своих знакомых спрашиваю, и никто не знает. И я не знаю, где мне узнать. Спешу, иду садить картошку. Целую крепко, твоя Шура».

25.05.1944

Сохранилось свидетельство № 1 от 25 мая 1944 г. Текст его напечатан на удмуртском языке:

«Выдано Мороз Вере Александровне 1932 года рождения Средне-Постольской начальной школой деревни Средний Постол Нылгинского района Удмуртской АССР, со следующими отметками:

Поведение 5 (отл)

Русский язык 4 (хорошо)

Естествознание 4 (хорошо)

Арифметика 4 (хорошо)

География 4 (хорошо)

История 4 (хорошо)

Рисование 4 (хорошо)

Пение 5 (отл)

Военное дело 4 (хорошо)».

Подписали этот исторический документ заведующая шко-  
ла Е.Будакова и директор Яковлева.

28.05.1944

Я пишу жене Шуре свое 53-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Получил из Ижевска твое письмо № 43 и открытку № 42. Получил книги и пакет с письмами. Спасибо за все. У нас похолодало – сильный холодный ветер дует весь день. Пожа-луй, испортит сады, а они так хорошо цвели. Очень хорошо, что ты заказала себе пальто. Конечно, здесь это не удастся

сделать. Вообще, здесь вам покажется хуже, чем там, где вы живете. Пишешь, что вы не голодаете и у вас тепло, а у меня зимой и померзнуть можно и не совсем сытно. Вчера начал это письмо, да не удалось дописать. Сегодня выходной, утро. Только что наколол дров, принес воды. Сейчас моя малая начнет варить суп. На улице холодно, ветер. Поел только что вчерашний суп. Допишу и пойду в город. Когда будешь жить тут, Шура, то придется, по-видимому, тебе работать, потому что только имеющие детей до четырех лет освобождаются от работы. А кто не работает, тому карточек на хлеб не дают. Вере и Борику дадут карточки на 300 граммов хлеба в день. Спрашиваешь, как я живу? Я живу однообразно, без особых новостей. Большую часть времени провожу на работе. А тут еще нарывы не дают покоя. Вот пишу, а они зудят и чешутся так, что нет настроения писать. Думаю, полечиться солнышком, позагорать, а три дня холод – без фуфайки не выйдешь. Костюм мой обветшал, и вид у меня ты угадала, неважный. Но ничего, когда будем жить вместе, то ты это дело выправишь. А сейчас мне никто голову не дурит, так я и хожу, как есть. Хотел сегодня сходить на картошку посмотреть, да не пойду – холодно и далеко. Да еще и не вылезла, наверное, я ее посадил десятого. А как у вас с посевом? Много ли чего посадили? Пиши, очень люблю получать твои письма, а сам писать полениваюсь. Ну, пока. Целую всех».

И в этот же день строчу жене второе письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие (слово «здравствуйте» подчеркнул двумя чертами, как условились, так как получил от Шуры деньги).

Шура, сегодня утром я тебе написал письмо. Позавтракал и, несмотря на холод и сильный ветер, решил походить по Гомелю, посмотреть более подробно, как он разрушен. Из дома я двинулся по Черниговской улице, постоял около старой квартиры. Снаружи наша сторона как будто цела, и когда смотришь на знакомый угол второго этажа, то вспоминается много хороших дней, которые мы провели вместе. А теперь там хлопают ставни без стекол, и в Шляйцевой квартире нет пола – провалился. Скоро этот дом, наверное, разберут. Дальше я пошел мимо института, который почти цел, мимо кладбища (забора нет) и дальше к третьей школе. Баня и все дома, что там были – все разрушено. Школа, третья и девятая – стоят только стены. Дальше по выгоревшему поселку вышел на Советскую улицу: по дороге все, что было лучшего – разрушено и сожжено. Остались только захудалые хатенки. От клуба летчиков осталась лишь груда камней. Мост на пересечении стоит, но поврежден, и по нему не ездят. Кирпичный завод уничтожен. На нашем бывшем огороде – широкий ров. Той хатки, куда мы заходили пить воду и оставляли картошку, нет. От нее остался только след – несколько кирпичей. Дальше до Титенок все халупы целы. Титенки тоже целы, и около Сельмаша и сам Сельмаш разрушен. Там, где жил Иван, от больницы до склада торчат лишь

трубы от печей. Потом подошел к нашей бывшей конторе. От нее осталась одна стена, а остальных трех нет – лежат груды кирпича. Деревца около конторы теперь уже большие деревья, и они остались. От конторы до переезда ничего нет, пустое место. Потом зашел в нашу теперешнюю контору, посидел там с полчаса и пошел в столовку. Из столовки на почту. Сдал заказное тебе и Лёне открытку опустил. Потом пошел на Рогачевский базарчик, оттуда на Конный базар, покрутился там, купил за десять рублей один блин и пошел в парк. В парке, там, где были сосны, их уже нет, остались тоненькие клены. Но все же парк весь в зелени, мостик цел, а от замка остались только стены. Каким-то чудом уцелел маяк. Я полез на верхушку, оттуда весь Гомель как на ладони! Да, вот отсюда я еще больше убедился, как сильно разрушен наш Гомель. От Кашананской до Конного базара и дальше к мосту – почти чистое поле, которое теперь вспахано. А в центре стоят стены с зияющими провалами окон. Ни дымки над ними, ничего, что бы подавало признаки жизни. Постоял я на вышке минут пять, посмотрел на изувеченный немцами наш город, а ведь я его наблюдал с этой вышки до войны, и спустился вниз. За деревьями как будто тише стало, я снял рубашку и немного позагорал. Потом походил по парку, людей немного. Около церкви – могилы фрицев, там они деревья поспиливали совсем. Потом я пошел домой. Пришел уставший, помылся, ноги вымыл и немного вздремнул. А теперь пишу. Малой моей нет, тоже где-то ходит. Наверное,

молится, она очень богомольная. Ну, на этом закончу, пока. Целую всех».

30.05.1944

Жена Шура пишет мне 51-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Получила твою 49-ю открытку. Посадил картошку – это очень хорошо. Мы тоже посадили. Только мы садили несколько дней и под лопату, и под плуг. Посеяли морковь, лук, свеклу, чеснок, редиску. Тебе не писала несколько дней, времени не было. А вчера стирала, был дождь. Сегодня очень холодно, и потому не работала на огороде, а кое-что шила. Завтра, если будет тепло, то буду копать в огороде. Вера уже закончила учебу, перешла в пятый класс. Мы здоровы, живем хорошо. На днях напишу тебе письмо, и ты нам, Саша, чаще пиши. Целую крепко, твоя Шура».

02.06.1944

Я пишу жене Шуре 55-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твои письма № 44 и № 46, и от Аньки из Сновска тоже. Аня пишет, что бегает ночевать в Щимель, почему – ты догадаешься, вообще она трусиха порядочная. Иван пишет, что был в Цариновке, но Шуриной могилки не нашел, потому что надписей нет, а их там много. Живу по-старому. В последние дни холодно, уже июнь, а я еще не по-



грелся на солнышке как следует. Изредка дежурю около дома, но по ночам сплю спокойно, хотя некоторые не спят. На счет визы пока без перемен. Подал заявление 18 мая – сказали зайти через две недели, но я еще не ходил. Пиши, какие мои письма получила? Уже, наверное, отсеялись? Послезавтра схожу на огород, проверю, как растет картошка. Шура, пиши чаще. Целую всех».

В этот же день жена Шура пишет мне 52-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю привет и добрые пожелания. Саша, ты нарушаешь свое обещание писать чаще. Последнее от тебя получила 27 мая и больше нет после этого. Не дождавшись, решила написать хоть маленькое письмо. Все живы, здоровы, живем хорошо. Уже посадили картошку, засеяли грядки. Погода была хорошая, я даже загорела, когда садила картошку. А теперь уже пять дней холодно, дня два шел дождь и был ветер. И сегодня сильный холодный ветер, как осенью, не хочется во двор выходить как холодно. Пиши, как дела, погода, что нового, получил ли книги-алгебры и пачку писем, что я послала? Саша, нашей Вере 12 июня будет 12 лет, и я пошила ей новое платье, а Борик плачет, почему не ему. Ты, говори, всешьшь своей Верочке. Пришлось пообещать сшить ему новую рубаху. Пишу, а спать хочется, ночь короткая, не высыпаюсь. Ложимся поздно, встаем рано, а днем из-за дел спать некогда. Саша, в чем ты сейчас ходишь? Ты постарай-

ся достать костюм. Саша, те 300 рублей, что ты выслал из Акмолинска, наверно, пропали, я их не получила. Саша, ты обещал за нами приехать. Ой, как охота к тебе! Прошло много времени с тех пор, как мы виделись. Пиши, когда поедешь домой в Сновск. Привет всем вашим от меня. Крепко целуем тебя все: Вера, Боря и Шура».

05.06.1944

Шура пишет мне 53-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Вчера получила твою 51-ю открытку, Саша, почему ты так мало пишешь о своей жизни, здоровье, питании? Не пишешь, скучаешь ли по нас так, как мы по тебе. Мы ждем того счастливого дня, когда снова увидимся с тобой. Саша, постарайся приехать за нами, а то самой мне не доехать, у меня много барахла и все нужное. Хорошо, если бы ты смог выписать два билета на багаж – по двум можно больше сдать в багаж, а остальное мы бы увезли с собой с твоей помощью. Из эвакуированных я никого не знаю, и если бываю в Ижевске, то на один день. Спрашиваю у своих знакомых, но никто не знал. В прошлый раз я в Ижевске отдала шить пальто зимнее, теперь нужно ехать на примерку и нет времени. Садилась огород, сейчас Вера хочет ехать в Ижевск, я уж потом. Ну, пока. Целую тебя крепко, Шура».

Брат Лёня этим же днем пишет мне в Гомель «до востре-

бования»:

«Здравствуй, Саша!

Напрасно обижаешься на меня, ибо я, получив от тебя первую открытку, сразу же ответил, да ты, возможно, еще получишь ее и убедишься. Я до сих пор жив и полностью здоров. Воюем и готовился к решающим схваткам. Да, я награжден за город Мозырь орденом отечественной войны. На этот раз о подробностях не пишу, ибо не знаю, получишь ли ты и эту открытку. Сегодня получил письмо от Вани, оказывается, он недалеко от меня. Он прислал мне фото – свое и Шурика. Наши ребята были проездом в Гомеле, но ежели бы я знал, что они будут проезжать Гомель, то непременно бы заставил найти тебя и поговорить. Лето в полном разгаре, но комары не дают покоя, их здесь миллионы. Как хочется скорее закончить да встретиться с родными. Не знаю, исполнится ли мое желание. Извини, брат, что коряво и мало пишу. Как только наладим связь, то опишу все подробности, тебя интересующие. Пока. С приветом твой брат Лёня».

06.06.1944

Жена Шура пишет мне 54-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Получила сегодня твои письма № 51 и № 52, спасибо. Ты пишешь, что подал заявление насчет визы, но ее не обещают из-за близости фронта, и что ехать к тебе с детьми рискованно. Придется обождать. Хоть бы это было недолго. Мне так

охота на Родину и жить с тобой вместе. Мне очень жаль тебя – тебе приходится очень тяжело, а вместе все же было бы лучше и легче. Что пишет тебе Иван? Лёня ваш обижается, что ты ему не пишешь. Саша! Со своей болезнью обратись к врачу, болезнь не затягивай, ее лучше и легче лечить вначале. Послушай моего совета, чтобы, когда приедешь за нами, был совсем здоров, а то ты и нас можешь заразить. Денег мне не посылай, их мне пока не нужно. Когда надо будет, то я сама напишу. Живем хорошо, все здоровы, огород посадили. Сегодня буду садить капусту. До свидания. Целую крепко, твоя Шура».

А я пишу Шура 56-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твои письма № 40 и № 46. За это время ничего особенного не произошло. Каждый день ко мне заходит Василь (это условно о налетах). Насчет визы – пока не дают. Был на огороде, картошка всходит. А как у вас с огородом? От тебя давно нет писем, но это и понятно, наверно, занята на огороде. У нас холодно и дождливо. Каждый день после работы разбираю горелые дома и выбираю годный кирпич для стройки. У нас все взяли такие обязательства. Нарывы пока не проходят. Вернее, в одном месте заживет, а в другом появляется новый. Ходил в поликлинику, но там такая очередь, что я плюнул и не стал дожидаться вызова. Может быть, и так все пройдет. Получил письмо от наших из дома.

Анька пишет, что Иван был в Цариновке, но могилы Шурика не нашел. Лёня уже капитан. Ну, пока. Целую всех».

07.06.1944

Я пишу жене Шуре свое 57-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, получил твои письма № 48 и № 49. Спрашиваешь, часто ли бывает у меня Василь? Каждый день бывает, кое-что приносит (это условно о бомбежках). Визы пока не дают. Думаю, что скоро положение изменится, и тогда вы сможете приехать сюда жить. Живу, не голодаю. Недавно заходила ко мне Елена Александровна Захарова. Журится, что нужно идти работать, а до сих пор она сидела дома. Взяла твой адрес, обещала писать. На днях буду окучивать картошку, уже взошла. Лето какое-то холодное. А у вас как с погодой? Молодец Борис, что любит работать. Я ему на днях напишу отдельно, Вере тоже. Ну, пока. Целую всех».

10.06.1944

Жена Шура пишет мне 55-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю горячий привет и желаю всего хорошего. Последнее от тебя получила 52-е. Живем хорошо, все здоровы. Каждый день вспоминаем тебя. Нам тебя очень жаль, тебе живется хуже, чем нам. Пиши, как у тебя с питанием, варит ли тебе твоя малая супы? Что-то в последних письмах не пишешь

про нее. Начала писать это письмо восьмого, но не дописала, а сегодня уже вечер десятого, наверно, не успею его дописать, все нет времени: то на огороде занята, то дома. Два дня садила капусту да калегу, сегодня посадила немного помидоров и Верочке пошила блузку, вот день и прошел. Да, еще боронили картошку сегодня. Морковь, свекла, редиска, лук, горох – все взошло. Уже нужно полоть, да и картошку скоро тоже надо. У нас огород большой, но земля твердая. Сеяли овес и ячмень, того и другого один пуд. Пусть все растет и всего будет много. А как у тебя, Саша, картошка? Вот беда – все холодно, даже ночью был мороз, так все застыло. Утром поливали холодной водой капусту и калегу, кажется, отойдет. Нет тепла и ветры дуют. Вчера получила твое 54-е письмо и одно без номера. Пишешь, что паразиты-немцы натворили, весь город разрушили. А теперь напиши, что у вас сделано в городе, что восстановлено и восстанавливается сейчас? Итак, будет ждать визу, и я получу пропуск. Думаю, что ты приедешь за нами, и мы октябрьские праздники будем праздновать вместе с тобой, и, конечно, выпьем вина. Саша, вчера я так и не окончила письмо, дописываю утром. Лёник у меня на руках, все время мешает, тащит бумагу. Сегодня воскресенье. Вася вчера у Веры приехал вечером, но он со мной не разговаривает. Собираюсь поехать в Ижевск, там сдам это письмо заказным, а нужно мне туда на примерку, да еще кое-что купить: мыло, сахар для Лёни. Пошлю Верины книги к тебе. Скоро вечер, буду топить печь и испе-

ку хлеб. Вася ушел ловить рыбу, Вера работает, а наша Вера спит. У них был утренник в школе, и она выступала как актриса: пела, танцевала, и вот устала и завалилась спать. А чтобы матери помочь – нет. Она поленивается помогать мне. Петь да танцевать – это она знает. Завтра ей исполнится 12 лет. Будем стряпать шаньги. Жаль очень, что тебя нет с нами. Ну, пока, всего хорошего. Целую крепко, твоя Шура».

09.06.1944

В своем 58-м письме я пишу жене Шуре:

«Здравствуйте, Шура и все!

Ты меня спрашиваешь, как Василь? Заходит каждый день, часто ночует. Принес картошки килограмм сорок. Сегодня плохо спал (это все про бомбежки и налеты). На картошку думаю пойти в выходной, но не знаю, удастся ли? К нашим после первого мая не заезжал. Получил от Аньки письмо, пишет, что ночует в Щимеле. Насчет визы – пока не ходил, да и нет смысла идти. Все хочю написать Верочке ответ на ее письма, да некогда. Костюм мой летний совсем порвался, а нового пока не дают. Нарывы до сих пор не заживают. У нас холодно. Пиши, Шура, чаще. Все же будет веселее, а то как-то нехорошо. Ну, пока. Целую всех. Спешу, иду в банк».

12.06.1944

Я пишу жене Шуре 59-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня Василь у меня ночевал. Все мои поуходили куда-куда (это условно о налетах). Завтра наш техник Наркевич поедет в Агрыз за аппаратурой. Я еще с ним не сговорился, но думаю попросить его увидеться с тобой. Только вряд ли он согласится съездить к вам. Он там пробудет с неделю и отправит вагон с материалами в Гомель. Хорошо было бы погрузить туда часть ваших вещей. Но он с вагоном не поедет, вагон с грузом пойдет сам. Так что, если ты из Агрыза получишь телеграмму, то не удивляйся, а постарайся доставить в Агрыз часть вещей, тогда легче будет ехать пассажирским. Наркевич будет в Агрызе, его можно спрашивать или у ШЧ, или у начальника станции как представителя Белорусской железной дороги. Если это будет тебе очень трудно, то не надо. Смотри сама. Телеграмму хотел дать, но не принимают. Да и в телеграмме все не опишешь. Ну, пока. Целую».

13.06.1944

Жена Шура пишет мне 56-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша.

Я уже в Ижевске. Выехали вчера вечером на лошади. Приехали в город в шесть часов утра. Пришлось много идти пешком, ноги болят. Запаковала Верины три книги да пакет писем, хочу тебе послать. Пойду на Сенную (прим. – базар), нужно купить сахар для Лёни, мыло, спички, а вечером думаю домой поехать на этой самой лошади. Что еще куплю – напишу открытку. Хочу спать, я всю ночь не спала, но, как-



нибудь. До свидания. Целую тебя, твоя Шура».

И в этот же день Шура написала 57-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Послала тебе три книги Верочкины и пакет старых писем. Посылаю 200 рублей, прими от меня мой скромный подарок, Саша, тебе на молоко. Саша, только в письме про деньги не пиши, чтобы Вера не знала, а слово «здравствуй» подчеркни два раза. Саша, я живу хорошо, работы, правда, много. Я уже даже приготовила тебе сухарей на дорогу – двадцать фунтов. Посылай визу и приезжай за нами. Скоро будет малина, думаю, походить за ягодами и возить потом в город продавать, куплю тогда детям обувь. Ну, пока. Спешу на примерку, а вечером домой на лошади. Целую, Шура».

14.06.1944

Я пишу жене Шуре письмо № 60:

«Здравствуйте все!

Шура! От тебя давно нет писем. Получил вчера письма от нашего Петра и Лёни. У Петра трое детей, ходят в школу. Как живу? Василь у меня ночует каждую ночь (это условно о налетах). Много работы, не высыпаюсь. Получил новый летний костюм. Вас брать пока не буду. На днях едет человек в Агрыз за оборудованием, может быть, он тебе даст телеграмму из Агрыза, так будь в курсе дела. Можно будет часть вещей отправить из Агрыза этим вагоном. Но вам пока ехать

сюда не рекомендую. Скоро должно выясниться положение, и тогда я достану визу и напишу. Как живете? Как огород? Я на свой не ходил давно, не до огорода пока. Думаю, в выходной пойти, если позволят обстоятельства. Анька писала, что ходит ночевать в Щимель. Я раньше писал, что телеграмму даст Наркевич, но поедет, кажется, Самбук. Ну, пока. Целую».

16.06.1944

Я пишу жене Шуře письмо без номера:

«Шура! Теперь, когда я пишу эти строки, у нас очень беспокойно, и забирать вас при таком положении я не хочу. Почти каждую ночь не спим, часто по ночам бомбят и убивают порядочно людей. Отправь, Шура, с Самбуком часть вещей, а потом, когда положение у нас изменится, то приедете. Визы пока не дают и не хотят слушать даже насчет этого. В Сновске Анька пишет, что тоже беспокойно. Ночую я во дворе около ямы, сплю на песке и только к утру перехожу домой на кровать часа на два. Нарывы мои не проходят. Недавно на Сортировочном тупике разбили два дома. У меня со стенки штукатурка обвалилась на кровать, но в это время я был в убежище. Ну, пока. Целую всех».

Это письмо не имеет никаких почтовых знаков, и, вероятно, его Самбук привез обратно, так как он с Шурой не встретился.

Жена Шура в это же время пишет в своем 52-м письме следующее:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю привет и желаю тебе всего хорошего. Я ездила в Ижевск. Послала тебе пачку старых писем и две Верочкины книги, да письмо заказное. Пиши о получении. Купила в Ижевске все, что мне было нужно, и ночью приехала обратно. Туда и обратно ездила на лошади. Ходила на примерку пальто, к двадцатому будет готово. Когда поеду в другой раз – заберу пальто и отдам шить летний жакетик, который я купила, когда ездила за брусникой, но он мне большой, и я хочу отдать перешить его. За пальто, за работу, нужно заплатить 180 рублей всего. Пиши, в чем ты ходишь и как у тебя насчет костюма. Ты все же проси себе костюм, а то представляю, какой ты жалкий вид имеешь в своей одежде. Думаю, что за нами ты приедешь в новом костюме. Саша, как ты живешь, как здоровье, как ноги, как нарывы? Если все по-прежнему, так сходи к врачу, пусть пропишет лечение. В огороде мы все посадили, огород большой – сорок соток. Была хорошая погода, а в последние дни холодно, идут заливные дожди, однажды был град. Картошка взошла, скоро будем полоть. Грядки уже сейчас нужно полоть, да вот холодно и очень сыро. Да еще мошка какая-то очень маленькая и так больно кусается, ее очень много, лезет в нос, в рот, в глаза – куда попало. Мне все руки и ноги искусала. Она, говорят, будет 12 дней. Вот уже семь дней, как она появилась, и несмотря на

дождь, она не пропала и кусается. Живем хорошо, все сыты и здоровы, вот только думаем о тебе, как ты там, бедняга, один живешь? Пиши, когда еще поедешь в Сновск. Постарайся увидеть Олю Пузач, передай ей от меня привет, дай ей мой адрес, расскажи, какое у меня большое горе, что умерла моя дорогая мама. Пусть она напишет мне. Побывай у Авраменко, передай от меня привет. Вашим всем от меня привет. Я им много писала, а они мне почему-то не хотят писать. Верочка им писала – все равно молчат. Саша, у меня так много работы, что некогда даже писать письма. Шью кое-что детям, вяжу чулки. А Лёник – большая помеха! Все любит на руках сидеть. Вера весь день занята на работе. Мне много помогает Борис, все сделает, что может, и я бы сказала, даже лучше дочки Веры. Сейчас допишу и буду шить Борису рубаху, а потом пойду полоть грядку с морковкой. Ну, пока. До свидания, дорогой Саша. Целую, Шура».

19.06.1944

Жена Шура пишет мне 59-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю горячий привет. За последние дни получила от тебя три открытки. Спасибо, что не забываешь. Только мало утешительного в твоих письмах. Охота услышать хорошее, а то, что ты пишешь – нехорошо. Я так занята сейчас с работой, что совсем не имею времени написать тебе письмо. В огороде много работы. Полола грядки, а вчера весь день картошку,

которую полоть тяжело – очень твердая земля. Погода сейчас хорошая, я вчера очень загорела, когда полола. Нужно все поливать. В общем, работы много, спим мало – не высыпаюсь. А скоро будет земляника, хочется по ягоды походить. Пока, заканчиваю. Очень некогда. До свидания. Целую тебя, Шура».

21.06.1944

Я пишу жене Шуре 61-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие! Получил от тебя пачку писем с 50-го по 54-е. Спасибо, Шура. Как я уже писал тебе, в Агрыз поехал наш человек за аппаратурой – товарищ Самбук. Он тебе даст телеграмму, чтобы ты подъехала в Агрыз. Если в это время будет видно по сводкам Информбюро, что наше положение меняется в лучшую сторону, то погрузи часть вещей. Если же положение будет оставаться такое же, как сейчас, то не надо, пожалуй, грузить. Самбук тебе расскажет, как мы живем. Василь у меня ночует часто (это условно о налетах). Ездил он и в Сновск, недавно был у наших (это о большом налете на Сновск с жертвами). Ты обижаешься, что редко пишу. Прости, Шура, но так складываются дела, что не до писем. Получил от Петра, от Лёни, от Ивана, но никому пока не ответил. Болею немного. Поясница болит, нарывы не проходят. Это я, наверно, в убежище простудился. Получил недавно летний костюм, так что теперь хожу прилично одетым. Итак, Шура, повторяю – ез-

жай только тогда, когда будут крупные изменения на нашем фронте, о которых ты узнаешь из сводок Информбюро, а если все будет оставаться по-прежнему, то лучше не надо, а то наберетесь горя. Попроси Веру, пусть пока не гонит вас. В Сновске после первого мая не был. Не знаю, как они там. Аня давно писала, что ночует в Щимеле. Ну, пока. Спешу. Целую всех вас».

22.06.1944

Жена Шура пишет мне 60-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Сегодня получила от тебя 59-е письмо. Итак, ты пишешь, что у тебя ночевал Василь (условно о налетах). Пора его гнать ко всем чертям, он тебе, видно, здорово надоел. Саша, ты пишешь, что ваш техник поедет в Агрыз. Хорошо бы его увидеть, поговорить с ним, а лучше всего с ним отправить кое-что из вещей. Но не знаю, как этот номер удастся. Если я не буду иметь от него ничего, то как поедешь? Да и время не позволяет – много работы в огороде. Веры дома нет, уехала в Ижевск, что она на это скажет – не знаю. Я теперь не совсем собой распоряжаюсь, а что мне скажут, то и делаю. В общем, буду видеть, как будет дело. Пиши, что он тебе сказал. Вот если бы вместо него ты смог приехать, это лучше бы было. Целую тебя крепко. Спешу. Лёня плачет».

23.06.1944

Жена Шура пишет мне 61-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Шлю свой горячий привет. Вчера ответила на твое письмо, а сегодня урвала десять минут и решила написать еще. Ты пишешь, что ваш техник поедет в Агрыз, и чтобы я ему привезла часть вещей. Это было бы хорошо, но не знаю, как получится. Если он выехал, то он уже в Агрызе, но как ехать туда, если нет ничего официального? Может, он еще и не выехал. Если б это дело было в Ижевске, то можно бы поехать и поискать его. А может он еще сообщит? Живем хорошо, все здоровы. Вера приехала вчера из Ижевска, привезла Эдика домой. До свидания. Крепко целую, Шура».

25.06.1944

Шура пишет 62-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе свой горячий привет. Сейчас утро, варю Лёне кисель. День сегодня очень жаркий. Утром полила грядки, сейчас наварю кушать и пойду полоть картошку, и заодно загорать. Очень охота спать. Вчера поздно легли, а ночью Веру звали в контору, Лёник проснулся, и мне пришлось с ним водиться. Встала вместе с солнцем. Я теперь не высыпаюсь. Саша, у нас на огороде все очень хорошее, уже ели зеленый лук и редиску. Пиши, как твой огород, какая погода, что нового? Про все пиши. От вашего техника телеграммы нет, а так куда поедешь? Может, он никуда и не поехал, и от тебя

ничего нет – выехал ли он вообще. Саша, пиши, как здорово, как ноги? Пока. До свидания. Целую, Шура».

26.06.1944

Шура пишет мне 63-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю тебе свой горячий привет. Саша, три дня нет от тебя писем, а я думала, что ты напишешь, когда выехал ваш техник, и как ты с ним договорился. От тебя нет ничего и от него тоже, ехать так в Агрыз нет никакого смысла. Вчера было воскресенье. Приходил Верин Вася, ходил удить рыбку, наловил плотвы целую миску. Я варила уху, поели очень хорошо. Сегодня он уехал домой. Со мной не разговаривает. Я целый день окучивала картошку, она у нас пока хорошая. Сейчас идет небольшой дождик, я отдыхаю, решила написать тебе открытку. Скоро вечер, но я еще пойду на огород. Пиши, как твой огород, наверное, уже окучил картофель? Я по тебе скучаю. Хочу на Родину и всех увидеть. Пока. До свидания. Целуем все тебя очень крепко. Шура».

В этот день я тоже пишу Шуре письмо под № 62:

«Здравствуйте все (условно подчеркиваю слово «здравствуйте», сообщая о получении денег).

Шура, получил твои письма № 56 и № 57, книги Верочкины и пачку писем – все получено, спасибо. Не знаю, как у тебя там обернулось с отправкой вещей, но изменения на



нашем фронте, судя по сегодняшней сводке, уже произошли в хорошую сторону. Так что вещи отправляйте, да и сами приезжайте. До сих пор не узнал про наших в Сновске, живы ли они, здоровы. Написал им письма – ответа нет. у нас уже стало спокойнее, и по ночам можно спать. Получил на днях летний костюм, одет прилично. Вчера был на воскреснике на пригородном хозяйстве, пололи просо. Был дождь, промокли, но потом обсохли. Сегодня пойду окучивать свою картошку. Растет хорошо, и фасоль вылезла. Ну, пока. Пиши, жду. Целую всех».

27.06.1944

В своем 64-м письме жена Шура пишет:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю горячий привет. Саша, сегодня получила от тебя 60-е письмо и до него все. Пишешь, что нет от меня писем. Не знаю, почему, но я писала часто, а в последнее время ежедневно. Мы живем хорошо, все сыты, одеты, здоровы. Все загорели, стали черные. Погода стоит жаркая. Очень рада, что ты получил летний костюм и будешь иметь приличный вид, когда заедешь за нами. А то все думала про тебя: в чем ты будешь ходить? Саша, видно из письма, что ваш человек еще не поехал в Агрыз. Саша, я сама не знаю, что делать насчет посылки вещей с вашим вагоном. Но посмотрю, как дела повернутся, и буду тебе писать. Сейчас пойду на огород окучивать картошку. Пока. Целую крепко. Шура».

29.06.1944

Шура пишет мне 65-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю свой горячий привет. Сегодня прочла в газете, что наши войска взяли Витебск и Жлобин. Вот это очень хорошо! Я думаю, что мы скоро сможем поехать домой, уж больно хочется на Родину. Скоро три года, как я оставила нашу Родину, и за эти годы я столько пережила, что не описать, а только рассказать можно. Даже дорогую маму и ту потеряла навсегда, а ведь она еще собиралась ехать на Родину, и так бедной и не пришлось вернуться в родные края. Мы, Саша, никак не можем забыть нашу дорогую бабушку. Я думаю, что ты тоже еще не забыл ее. Сейчас я все время работаю на огороде, окучиваю картошку. Да вот пошел дождь и загнал меня домой, я решила писать тебе. Живем хорошо, все здоровы, сыты. Скоро будет цвести картошка. Мешают писать Лёня и Эдик – плачут. Из Агрыза пока ничего нет, и я не знаю, что делать, сумею ли я поехать. Как у тебя дела, что нового, как твоя болезнь? Саша, у нас шел очень сильный дождь и еще идет большая туча. До свидания. Целуем все. Шура».

В этот же день я пишу жене Шуре свое 63-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура! Не знаю, как там у тебя обернулось дело с отправкой вещей в вагоне с Самбуком. Теперь, когда наши уже под-

ходят к Минску, можно не только вещи пересылать, но и вам ехать сюда. От тебя давно уже нет писем, наверно, с огородом возишься. Я тоже начал полоть картошку, вот уже третий день хожу по вечерам. До сих пор не добыюсь, как там наши в Сновске, живы ли, здоровы?».

Далее четыре строки замазаны цензурой.

«...На днях, думаю, к ним съездить. С нетерпением жду от тебя весточки о твоей встрече с Самбуком. Ну, пока. Целую всех».

30.06.1944

Из Агрыза в Средний Постол поступила такая телеграмма:

«Из Агрыза № 523 – 20 слов. Срочная Нылга Удмуртская Средний Постол колхоз «Луч» Тимошенко для Мороз. Привезите Агрыз вещи отправки. Мой адрес квартира 6 Самбук». Агент связи Ср. Постола Кузнецов.

02.07.1944

Я пишу жене Шуре свое 64-е письмо:

«Здравствуйте все (условно подчеркнуто о получении денег)!

Получил твое 58-е письмо. Сегодня выходной. С утра пошел полоть и окучивать картошку. Я уже с неделю хожу после работы, и сегодня, наконец, все доделал. Окончив прополку, пошел на речку, постирал белье, одеяло и только раз-

ложил сушить, как пошел дождик. Так я с мокрым и пошел домой, и сушил уже дома. Шура! За последние дни, как ты знаешь, наши здорово продвинулись на запад, и теперь уже смело можно ехать в Гомель. Завтра пойду насчет визы. Не знаю, как у тебя дело обстоит с вещами? Ездил ли ты в Агрыз? Ты обижаешься на наших, что не пишут тебе. Не обижайся, у них, кажется, повредило дом, и они, возможно, живут в другом месте. Я еще не узнал, живы ли они. Скоро, думаю, съездить туда и разузнать. Пробовал позвонить, но ничего не добился. Живу так себе. Чирьи не проходят. Получил недавно подарок – носки вязаные. Насчет отпуска, чтобы съездить за вами, дело очень трудное. На это нужно много времени, а замещать меня некому. От тебя получил все письма до 58-го и все книги, и старые письма. Все, что ты посылала из Ижевска. Ну, пока. Целую всех».

03.07.1944

Жена пишет мне свое 67-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Сегодня я послала тебе заказное письмо, в котором описала неудачную поездку в Агрыз. Сегодня вечером, думаю, уехать домой. Сейчас иду на базар, потом на почту, потом пойду в мастерскую насчет пальто и отдам пошить жакет. Дальше пойду к одной знакомой и обратно за вещами на гору, и поеду домой. На душе так нехорошо, и все из-за того, что опоздала с вещами. Ты, Саша, постарайся выписать два

разовых билет, говорят, по билету 35 килограммов. Саша, сейчас на нашем Белорусском фронте хорошо продвигаются, так что скоро можно будет ехать домой. Пока. Твоя Шура».

К сожалению, заказное Шурино письмо с подробным описанием ее неудачной поездки в Агрыз не сохранилось. И трудно сказать, кто виноват в этой неудаче: Шура ли, суматошно оттянувшая поездку в Агрыз и поздно туда прибывшая, или Петр Самбук, известный в дистанции под кличкой «Сундук», особенной отзывчивостью и чувствительностью не отличавшийся поспешил убраться из Агрыза, не дождав-шись встречи с нею.

07.07.1944

Жена Шура пишет письмо № 68:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю тебе горячий привет. Саша, последнее от тебя 61-е письмо, в котором ты пишешь о поездке к тебе. Как я могу ехать, не имея документов? Я возила вещи в Агрыз и то горя набралась, и все бесполезно. Ты только пойми мою обиду, ведь я опоздала – вагон отправили. Мне хотелось поговорить с человеком, близким с тобой, узнать все подробно о твоей жизни и вообще про все. И не узнала ничего, и с вещами натаскалась. До чего мне было обидно. Только тем себя и успокоила, что, может, скоро и мы поедем, нашими войсками взят Минск. Саша, пиши, как дела, как здоровье.

Я вчера ходила в лес за земляничкой, набрала лукошко, и сама хорошо поела. Ходила с Борисом, а Вера была дома. Сегодня Вера пойдет с Борисом, а я останусь дома. Недели через две будет уже малина, тогда и походим за ягодами. Малины будет много. Картошка цветет. У нас недели две шли дожди, теперь погода хорошая, тепло. Саша, пиши, как у тебя картошка. Ну, пока. До свидания. Целую очень крепко. Твоя Шура».

08.07.1944

Я пишу 65-е письмо Шуре:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твое 58-е письмо, спасибо. Так некогда, что не нахожу времени написать открытку. Вчера приехал мой брат Ваня. Он едет в Москву в командировку. Выпили. Он был в Сновске у наших. Все живы и здоровы, но живут днем дома, а на ночь уходят в Щимель. Сарай у них разбит, а в квартире все потрепано. Думаю, к ним съездить на днях. Жду от тебя вестей насчет вещей. Насчет визы еще не ходил, пойду завтра. Живу ничего, много работаю, домой хожу только спать. С огородом дело хорошо: прополол и окучил. Растет картошка и фасоль. Фронт с каждым днем отодвигается от нас все дальше, так что скоро будем в тылу. Ваня похудел, загорел, имеет медаль «За оборону Сталинграда». Кланяется вам. Пока. Целую».

09.07.1944

Брат Лёня пишет мне с полевой почты 66460:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Имею несколько минут свободного времени, а потому хоть на коленке, а отвечу. Жизнь моя протекает неплохо, ждем фрица, еле успеваем гнаться за ним, но все же огрызается. Как услышишь по радио, что Пинск (прим. – город в Белоруссии) свободен, то подними за меня чарку, ибо моя доля там будет. Из дома ничего в последнее время не получено, меня волнует, что с ними? Конечно, встретившись, ты не сразу признаешь меня: я возмужал, постарел, а в остальном все тот же. В отношении Шуры С. ты спрашиваешь – признаюсь, что мое решение, очевидно, окончательное, но как судьба мне улыбнется – не знаю. Видел ли ты ее? Каково впечатление о ней? Недавно получил письма от твоей Шуры и Верочки, но ответить не нашел времени, ибо иду сутками. Извини, Саша, что мало и коряво, при первой возможности опишу подробнее. С приветом твой брат Лёня».

В письме Лёни идет речь о Шуре Сидоренко, телефонистке, за которой он ухаживал до армии. Я видел ее – милостивая девушка. Помнится, что в семье у нее были большие туберкулезом. Бедный Лёня! Не улыбнулась ему судьба.

12.07.1944

Я пишу жене Шуре 66-е письмо:

«Шура, получил от тебя все письма до 64-го, кроме 60-го. Вчера ездил к нашим в Сновск. Много узнал новостей. Приехал в четыре часа утра, пришел – квартира на замке, сарая нет – снесло. Хата Савченковой изуродована, а около нее яма такой величины, что в нее можно спрятать эту хату. Погреб Иовшица разбит – там погибло 18 человек, в том числе вся семья, которая жила в моей комнате. Мама моя тоже хотела идти в тот погреб, но пошла в свой и осталась жива. Анька в это время была в Щимеле. На Коржевском переулке сгорело много домов, но дом Аврааменко цел. Я встретил самого Аврааменко. В погребе Петрикевича, что около него живет, погибла жена Василия Коленченко Ядя с тремя детьми. Погиб Тышкин сын, а дом Тышки сгорел. Жена Безродного и еще несколько человек тоже погибли. Дом Антона Заики сгорел дотла, а у Василя остался цел, только без стекол. Барташевичиху убило. Около дома, где мы жили на Черниговской, по обе стороны огромные ямы. Окна дома открыты и никого там нет. Луциковой дом развален, Шостака тоже. В общем, вот что я узнал, попав в Сновск. Теперь все тихо, Красная армия отшвырнула этих паразитов и гонит дальше. Захарова-Керова поехала в Сновск, и теперь муж ее ищет и не находит. Она живет где-то в деревне около Сновска. На днях у меня был брат Иван, ехал из Сновска, был у наших. Он направляется в командировку в Москву. Похудел, имеет медаль «За оборону Сталинграда». С Лёней переписываюсь, он теперь «капитан», имеет орден Отечественной войны. По-



лучил письмо от Петра из Сибири. Не обижайся, что наши не отвечают. Они ночуют в Щимеле и только днем приходят пользоваться кухней, остальные комнаты закрыты, их нужно ремонтировать, все обвалилось. За визой ходил, но там такая очередь, что я не дождался, пойду в другой раз. Живу по-прежнему, много работы. Много кому нужно написать, но я совсем не нахожу свободного времени и пишу только тебе. Целую всех».

12.07.1944

Жена Шура пишет мне 69-е письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Саша, вчера исполнилось ровно три года, как я оставила Родину. Но, может, уже скоро мы вернемся обратно. Наши войска очень хорошо продвинулись вперед. Вчера получила твое письмо, ты спрашиваешь, как я отправила вещи. Но меня постигла неудача, о которой я уже писала тебе. Я все еще не могу успокоиться, что я опоздала отправить вещи. А с ними будет трудно ехать. Вещей у меня много и все нужное. Саша, ты должен все же приехать за нами, нам одним не уехать. Пишу и уже темно. Живем хорошо, все сыты, здоровы. Ходим за земляникой, скоро будет малина. Завтра, может, напишу письмо, если достану бумагу. До свидания. Целую, твоя Шура».

15.07.1944

Я подал заявление о визе на въезд семьи в Гомель. В Обл-исполкоме сказали прийти через пять дней.

Пишу жене открытку № 67:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура! Приехал из Агрыза этот наш балбес. Говорит, что дал тебе телеграмму из Агрыза, но, конечно, толку из этого никакого не вышло. Я так разочаровался, когда об этом узнал. Через два дня поеду в командировку в Кричев, там пробуду дня четыре, и когда вернусь, то начну хлопотать визу (по-видимому, опустив эту открытку, я пошел в Обл-исполком). Визы уже начинают давать, но нужно стоять в очереди. Вчера приехал обратно из Москвы Иван Гаврилов. Я уже писал, что он был у меня и в Сновске. Похудел. Он красноармеец-машинист. Говорит, что получает 14 рублей в месяц. Был я недавно в Сновске. Наши все живы, здоровы. Квартиранты, которые у них жили в моей бывшей комнате, семья из четырех душ – все погибли в погребке у Милюка. Погибла Ядя – жена Василия Коленченко, с тремя детьми в погребке у Петрикевича на Коржевском переулке. Дом Анто-на Заико сгорел. Ну, пока, пиши. Целую всех».

16.07.1944

Я вновь пишу жене Шуре письмо без номера:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня выходной. Встал в шесть утра и к семи побе-

жал на Рогачевский бульвар слушать радио. Теперь по радио есть, что слушать, не правда ли? Красная армия подошла к немецкой границе. У нас теперь вполне спокойно, а раньше было совсем не так – и здесь, и в Сновске. Я уже писал тебе, что погибла Ядвига Коленченко с тремя детьми, жена Безродного и еще, только я их не знаю. Вообще, я на Черниговской мало кого знаю. Моя старушка мать тоже каким-то чудом уцелела, а если бы пошла в погреб к Милюкам, то погибла бы. Не обижайся на них, что не пишут, теперь, наверно, начнут отвечать. Я у них был недавно. Мать все молится, чтобы ей еще увидеть тебя и детей. Я как раз был, когда она получила от нашей Верочки письмо; прочитала бабушка и в слезы, и все причитает: «Хоть бы мне тебя еще увидеть». Все хвалят, что Вера красиво пишет и ошибок делает немного. Ну, я уже писал, что у меня был Иван Гаврилов – ездил в командировку в Москву. Он теперь около Тернополя. Просил, когда буду вам писать, чтоб передавал от него поклон. Вчера ходил в Горсовет насчет визы. Председатель наложил резолюцию «выдать» и сказал зайти дней через пять. Но я зайду через десять, потому что 19 июля еду в командировку в Кирчев делать финансовую ревизию. Оттуда должен вернуться числа 25-го, тогда получу визу и буду хлопотать насчет наряда и билета. Вот с отпуском, Шура, не знаю, выйдет ли что. Похоже, что не дадут. Вчера получил от тебя 65-ю открытку. Опять ты, как во всех письмах, пишешь, чтобы я приехал за вами. Но ты забываешь, что теперь война, отпуска

запрещены и не так это просто, как тебе кажется – приехать. Я все жду от тебя известий, получила ли ты телеграмму из Агрыза от того балбеса. Он говорит, что дал телеграмму 28 июня, а сам выехал 2-го июля. Я все боюсь, что ты поздно ее получила, съездила в Агрыз и все напрасно. А может, ты и не ездила, тогда хорошо. Итак, я начал письмо тем, что сегодня выходной. Я думал пойти на речку и позагорать хоть раз за все лето и заодно на солнце полечить свои нарывы, которые никак не проходят, т. е. они исчезают в одном месте и появляются в другом. Говорят, что это от неправильного обмена веществ, от однообразной пищи, в общем, черт их знает, отчего они. Пришел на огород – трава опять выросла. Немного пополюл, посаповал и пошел на речку. Постирал белье, куртку старую, разложил все сушить, покупался сам, и тогда солнце зашло за тучи, подул сильный северный ветер. Кое-как просушил белье, оделся и пошел опять на огород. Поработал там до шести вечера. Пошел домой и по дороге так лупил дождь, что я здорово промок, а если бы еще задержался на огороде, то был бы мокрый до нитки. Сразу образовались лужи. Я пошел домой босиком, шлепая по лужам. Дома разделся, помыл ноги и вот, пишу это письмо. Уже темнеет. Малая моя наварила днем супа и ушла дежурить. Придется до девяти вечера подождать ее, а то неудобно без нее начинать, а жрать хочется здорово. Правда, пока шел назад, я на конном базаре купил кусок хлеба за 10 рублей и съел, так что можно и подождать. Уже заметно уменьшился день, де-

ло опять к зиме. Да, забыл сказать, картошка растет хорошо, много уже в цвету, фасоль тоже хорошая, тыквы начинают стелиться по земле. В общем, все идет хорошо, и, надеюсь, что копать картошку будем вместе, и Борик, и Вера будут помогать. Ну, пока. Пишите. Темнеет. Целую вас всех».

В этот же день жена Шура пишет 70-ю открытку:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю тебе свой привет. Саша, я тебе пишу очень редко. Поверь, нет времени – занята огородом и детьми. И дни идут так быстро. Живем хорошо, все здоровы. На днях поеду в Ижевск, буду тебе писать оттуда. Я думаю, что ты скоро заберешь нас домой. Нам-то тут хорошо, а вот тебе плохо одному. Я все думаю про тебя, беднягу. Последние от тебя получила письма № 63 и № 64, на вопросы отвечу в письме. Пишу, а здесь совсем темно, днем не было времени. До свидания. Целую очень крепко. Шура».

18.07.1944

Жена Шура пишет мне 71-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Шлю тебе свой привет. Саша, пиши, как живешь, что у тебя нового, ходил ли насчет визы, и что тебе сказали, когда обещают дать? Как твое здоровье? Опиши подробно свою жизнь. Саша, если дадут визу, то можешь ли ты приехать за нами, мне одной не уехать – много барахла и все нужное для

хозяйства. Я когда все документы достану, то напишу тебе, и будешь проситься за нами приехать. Пиши, когда думаешь поехать домой в Сновск. Я так беспокоюсь за ваших. Передай привет им от меня и всем знакомым, кого будешь видеть. Сходи к Лукашевичам, зайди к Аврааменко, опиши всех, как живут. Мы живем хорошо, все здоровы, а из твоего письма видно, что живешь ты неважно, и мне очень тебя жаль. Хоть бы скорее нам жить вместе! Мне уже кажется, что прошли годы, как мы виделись в последний раз. Я за это время столько пережила горя, и сейчас у меня тоже забота, как к тебе добраться. Очень сильно хочется на Родину. Хорошо бы еще пожить, как жили до войны. Пиши, как у тебя картошка, у нас она цветет, мы уже раз копали и варили молодую картошку. Все в огороде у нас очень красивое, если б ты только увидел, какой ячмень чудный – колос, как у ржи, большой. Только огурцы не совсем хорошие, поздние. Да вот еще куры чужие повадились – не отбиться, все гребутся в огурцах. Саша, пиши, какие у вас поспели ягоды, будут ли яблоки? Когда приедешь к нам, то привези гостинца: яблок да груш. Я бы так и съела яблоко или грушу! Покупаешь ли молоко и почему оно у вас? Мы много пьем молока – и сладкого, и кислого, едим землянику. Вера с Бориком ходят по ягоды, я тоже раз ходила. Скоро поспеет малина, тогда уж походим за ней. Буду возить в город продавать. Может быть, куплю детям галоши, да и себе тоже надо. Тебе галоши я уже купила. Получила твои письма № 63 и № 64. Ты спрашиваешь, как я

отправила вещи? Я уже писала, что у меня вышла большая неудача, вещей я не отправила. Саша, твоя открытка № 63 вся зачеркнута, и не знаю, что ты писал. Саша, ты пишешь, что получил в подарок носки, напиши, от кого этот подарок? На днях буду в Ижевске, тогда pošлю тебе еще книги и старые письма, а ты смотри, все сохрани. Пиши, как урожай на хлеб, у нас озимые хорошие, яровые тоже растут хорошо. Саша, ты в последнее время очень часто мне снишься. Во сне я часто вижу с тобой, но это только сон. Когда же будет время, когда я на самом деле увижу тебя? Дети по тебе тоже скучают. Лёник у нас вырос большой, хорошо ползает, скоро будет ходить. До свидания, мой дорогой Саша. Очень крепко целую тебя, твоя Шура».

19.07.1944

Свое 68-е письмо я пишу жене Шуре из Унечи:  
«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура! Лежу на травке в Унечи. Еду в командировку в Кричев. Сейчас шесть часов вечера, а поезд ночью в час сорок. Сегодня, когда шел к поезду в Новобелицу, то зашел на почту за заказным, о котором ты пишешь в открытке, но его еще нет. Все-таки ты, бедняга, съездила в Агрыз и напрасно. Жаль, что так неудачно вышло. Потом, по дороге, я зашел в Облисполком и получил визу на право въезда вам в Гомель. Она у меня в кармане. Дня через четыре вернусь и тогда буду хлопотать наряд, билет и т. д. Это-то дадут, а насчет от-

пуска мне – очень сомневаюсь. В наряд, думаю, вписать козу или корову, чтоб дали вагон. В общем, о дальнейшем буду писать. Пока. Целую всех».

21.07.1944

Я пишу жене Шура в Средний Постол из Кричева:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, я уже два дня как в Кричеве. Это недалеко от Могилева и Рославля. Делаю ревизию. Дня через два думаю вернуться. Недавно пришел с реки, купался. Тут протекает река Сож, только она уже, чем в Гомеле. Кричев весь разбит. Сейчас вечер, сижу в конторе, здесь и ночую. Я тебе писал из Унечи, что уже имею визу на въезд вам в Гомель. Вернусь – буду хлопотать наряд и билет. А может, тебе уже не хочется, привыкла там и нет желания ехать на развалины? В общем, буду писать о дальнейших делах. Уже темнеет. Только что выпил чашку каких-то отходов от молока по 12 рублей за литр. А молоко тут стоит 25 рублей литр. С едой тяжело. Ну, пока. Целую».

22.07.1944

Жена Шура пишет мне 73-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Шлю тебе свой горячий привет. Саша, пишу это письмо из Ижевска на почте. Приехала за пальто, но оно не готово. Привезла шить жакет летний, и не взяли – переучет. Вот та-



кая неудача. Привезли колхозное молоко продавать и меня назначили помогать. Но у меня столько дел, я кое-что продавала, много ходила, очень устала, а женщина сама продает молоко, будет, наверно, сердчать. Вот, пишу, а самой надо скорее бежать. Сильно хочу спать, ехали ночью, и я совсем не спала. На обратном пути буду спать. Все живы, здоровы. Верочка с Бориком ходят за малиной. Копаем молодую картошку. В общем, жизнь хорошая, только тебя жаль, беднягу. Пока. Целую крепко, твоя Шура».

23.07.1944

Жена Шура пишет:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Вчера я была в Ижевске и написала тебе оттуда небольшое письмо. Ездила туда и обратно на лошади. Приехала домой, наши еще не спали. Но неудачно я съездила. Хотела свое пальто забрать и жакет летний отдать пошить, но пальто не готово – подклад потеряли, а когда я пришла, то нашли, но готово оно будет только 27-го. Жакет не взяли, потому что берут работу в нечетные дни в три часа дня, а я была в четное число. Так что нужно ехать в Ижевск на целых два дня, а сейчас самая малина. Охота походить за малиной. Вера сегодня ходила с Борей, завтра и я думаю пойти. Когда поеду в другой раз в Ижевск, то узнаю насчет отправки эвакуированных в Белоруссию. Говорят, что нужно регистрироваться в доме правительства. Я, когда вчера бы-

ла, то времени было мало, и я не ходила, а вот в другой раз, когда поеду, то непременно схожу. Сегодня получила от тебя 66-е письмо, а когда выезжала, то 65-ю открытку. Я все твои письма получаю. Да, новости ты пишешь очень печальные и нехорошие. Жаль, погибло много людей, столько терпели мук, и уже, кажется, все было хорошо, пережили самое трудно, и все равно погибли. Я даже не поняла, видел ли ты маму и вообще ваших, как гостил, где был, когда уехал обратно? Вообще письмо написано непонятно, и я думаю, что в другом письме ты все более подробно опишешь. Сколько человек погибло в погребке Иовшица? И где были сами хозяева и что с ними? Ты пишешь, что Луцика дом разбит, а сами они живы? Саша! Ты пишешь, что теперь все тихо, но почему ваши ходят в Щимель ночевать? Получают ли они мои письма, как они живут, садили ли они огород? Как у них здоровье, вообще все опиши про них подробно. Мне хочется увидеть всех ваших. И теперь, когда Красная армия отогнала далеко на запад проклятых паразитов, то, может, можно надеяться на скорое свидание. Саша, когда будешь писать домой, от меня пиши привет. Как ты живешь? Как твоя малая, варит ли она тебе супы? Пиши, чем питаешься, сколько получаешь хлеба. Саша, сходи на рынок, узнай, что почем из одежды, обуви и посуды, цены пиши. Саша, почему ты не пишешь Вере-большой, она даже серчает. Пиши, есть ли у вас электричество, есть ли электрические лампочки, а если нет, то какие нужны? Я, может, достану. Хорошо было бы,

если бы ты провел радио. Почему не пишешь, был ли ты у Лукашевичей? Как у вас урожай? Будут ли яблоки, груши? Есть ли вишня? На все вопросы ответь. Ну, пока. Всего хорошего. Целую крепко, твоя Шура».

Этим же днем я пишу Шуре из Кричева 70-е письмо:  
«Здравствуйте, мои дорогие!

Сижу пока в Кричеве. Сегодня выходной. Ходил в город за пять километров от станции. Тоже все разрушено. Побыл на базаре, купил пол-литра молока да корж из муки и картошки и позавтракал. Много черники по пять рублей за стакан, а малина по десять. Пришел из города, смотрю – в конторе дверь открыта, но никого нет. Вхожу – там все переверочено, мой портфель валяется на полу, на сундуке замок взломан и валяется тут же. Оказывается, искали деньги, а так ничего не взяли. Только у меня был кисет с махоркой, тот, что мне Верочка подарила, так его сперли. Завтра утром выезжаю домой и послезавтра буду дома. Четыре дня на голом столе валялся, так охота поспать на своей кровати, которая тоже не особо мягкая. Начинается дождь, ложусь спать».

Дописываю письмо 24 июля:

«...Всю ночь дождь, гром и молния, да и сейчас моросит. Пишу утром. Часа через три уезжаю на Унечу, а потом в Гомель. К завтрашнему дню должен добраться до Гомеля. Ну, пока. Целую».

27.07.1944

Я пишу жене Шуре в Средний Постол:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Вчера вернулся из Кричева. Получил твои письма № 66 и № 68. Да, очень нехорошо вышло с вещами. Конечно, тот балбес много подвел. Если б у него хоть капелька охоты и желания был, так он бы постарался и отсрочил свой отъезд до твоего приезда. А это можно было бы, если б он проявил известную гибкость. Письмо к тебе он привез обратно. В общем, здорово подвел, черт. Вчера я подал заявление начальнику дороги о выдаче наряда, билета и отпуска. Не знаю, что получится. Буду писать. Виза на въезд в Гомель уже у меня на руках. Спрашиваешь, как здоровье мое? Сегодня чуть хожу – так спина болит. Или это от поездки, или так от чего – не знаю. Как я узнал, тебе по приезду сюда придется поступить на работу, потому что дети уже не маленькие, по детям не освободят. Ну, пока. Целую».

28.07.1944

Жена Шура пишет мне свое 75-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Пишу это письмо из Ижевска. Ночью приехала, привозила малину, продала по восемь рублей стакан. Сейчас иду в мастерскую за пальто. Получу пальто и пойду за вещами, потом на станцию и поеду домой. Но придется сидеть на станции до утра, потому что ночью идти опасно. Живем, Саша, мы

очень хорошо, все здоровы. Копаем уже свежую картошку, варим утром и вечером. Картошка очень хорошая. Вообще, все в огороде красивое и хорошее. Сейчас я очень занята, хожу за малиной. Малины очень много, уже засушила немного, готовлю тебе гостинец. Раньше Вера наша ходила, сейчас мы ходим с Борисом, а Вера дома с Лёником да с Эдей. Ну, как у тебя дела, что нового? Пиши хорошее новое, а то ты пишешь такие жуткие новости. Но мама твоя все же, наверное, на меня серчает, раз не пишут. Я им очень много писала, но ответа нет ни на одно письмо. Ты, Саша, был у них, как видно из твоего письма, они не спрашивают про нас. Верочка тоже много писала, а теперь она говорит: «Я бабушке больше писать не стану, раз не отвечает». Борик наш на тебя серчает, зачем, говорит, папа мне не пишет? Как у тебя дела с работой? Как твое здоровье, твои чирьи, прошли ли? Как ноги? Да, Саша, видно из твоих писем, что живешь ты неважно, но почему ты не пишешь, какая этому причина? Я так, Саша, по тебе скучаю, и мне охота увидеться с тобой. Да, Саша, сколько ты получаешь паек хлеба, и что по карточкам оговаривают? Саша, сестра Вера обижается, что ты ей не пишешь. Когда-нибудь ей пару строк черкни. Саша, посылаю тебе 300 рублей на ягоды и яблоки. Купи и покушай за наше здоровье. Когда получишь, то не пиши об этом, а слово «здравствуй» подчеркни двумя чертами. Я не хочу, чтобы Вера знала. А где я беру деньги, увидимся – все расскажу. До свидания, мой дорогой. Целую, твоя Шура».

В этот же день Шура написала еще одно письмо, 76-е:

«Здравствуй, Саша! Послала тебе сегодня 300 рублей. Прими мой скромный подарок. Саша! Ходила за пальто, еще не готово. Сдала шить летний жакет. Ходила в дом Правительства, хотела зарегистрироваться, но с района не регистрируют, только по месту жительства. Придется обратиться в Райисполком в Нылгу. Говорят, что будут отправлять эшелонами, наверное, не скоро. Ну, пока. Спешу, пойду за вещами и на станцию. Целую крепко, твоя Шура».

30.07.1944

Я пишу жене Шуре 72-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Шура, получил твое 69-е письмо. Ты пишешь, что я «должен» приехать за вами, но ты забываешь, что идет война. Когда Шурик просился заехать в Сновск, повидать своих, то ему отказали. Так и погиб, не повидавшись. А Лёня три года как в армии – был недалеко от Сновска, просился на два дня – его не пустили. Ивану женка пишет, чтобы выслал ей деньги, а он получает 14 рублей в месяц. Так почему же ты рассуждаешь, что я «должен» приехать за вами? Война еще не кончилась, а железные дороги на военном положении. Заявление насчет билета, наряда и отпуска я уже подал, но ответа пока нет. Если не разрешат отпуск, то придется ехать самим. Как уезжали без меня, так и вернетесь, едут же семьи

сами! Правда трудно, но что поделаешь. Книги вчера получил, письма тоже. Сегодня праздник – день железнодорожника, но погода не очень хорошая, солнца нет. О дальнейшем буду писать. Пока. Целую всех».

01.08.1944

Я пишу жене Шуре 73-е письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Как я уже писал, хлопочу наряд, билет и отпуск. До 10 августа все должно выясниться. Если мне не разрешат, то придется выслать вам документы, и будете добираться как-нибудь сами. Думаю, что наряд на вагон дадут. Ты пишешь, что живете вы хорошо. Ну, у меня будет хуже. Конечно, у тети Веры жить лучше, и вы не раз будете вспоминать ее. Нужно только стараться скорее сюда добраться, чтобы с картошкой уладить, да квартиру к зиме подготовить. Мешков под картошку нет и сарая тоже нет. Не знаю, где ее будем держать. Ну, пока. Целую».

Заявление, о котором я писал жене Шуре, выглядело так:

«Начальнику первой дистанции Сигнализации и Связи Белорусской железной дороги от главного бухгалтера ШЧ-1 Мороз А.А.

В начале войны моя семья была эвакуирована в тыл и до настоящего времени проживает в колхозе в 30 км от г. Ижевска Удмуртской АССР. Более трех лет я живу без семьи, ра-

ботая там, куда меня посылали. Хотелось бы, как и большинству эвакуированных работников Белорусской железной дороги, снова жить совместно с семьей. Разрешение на право въезда семьи в г. Гомель я от Гомельского Облисполкома уже имею. Прошу вашего ходатайства перед начальником Белорусской железной дороги о выписке наряда и билета от Ижевска до Гомеля моей семье, и, если найдете возможным, дать мне отпуск на перевозку семьи и вещей до наступления холодов».

03.08.1944

Я пишу жене Шура 74-е письмо:

«Здравствуйте все!

Шура, получил твое 73-е письмо. Ты все спрашиваешь, когда я приеду за вами? Пока у меня план такой: когда сдам баланс, то с десятого, возможно, дадут отпуск на несколько дней. Тогда я приеду, устрою вас в вагон, а сам вернусь пассажирским. Начальник, вроде, обещает дать отпуск. Чирьи мои проходят очень медленно, ноги болят. Нужно, чтобы в августе вы добрались до Гомеля, а то картошку копать я сам не управлюсь. Мешков нет, сарая нет, погреба тоже нет. Придется, верно, в комнате держать. Ну, пока. Спешу».

06.08.1944

Жена Шура пишет мне свое 77-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!



Шлю тебе свой привет и желаю всего хорошего. Саша, ты мне прости, что я тебе долго не писала. Поверь, не имею свободного времени ни минуты. Хожу ежедневно в лес за малиной и сушу ягоды. Сегодня взвесила – 18 фунтов сухой малины. Иногда хожу с Борисом, а когда не иду, то Вера ходит. Раз возила в Ижевск, продавала ягоды и была по делу. На днях тоже поеду в Ижевск, буду писать оттуда. Саша, два дня не ходила за малиной. Приехали Вася и Коля Верины. Коля приехал раньше, а Вася вчера на четыре дня, и вот из-за них я не пошла в лес, только готовлю им кушать. Саша, ты бы видел, какой страшный Коля, он не работает – инвалид 2-й группы. Он совсем больной, большое малокровие. Врачи признают тихое помешательство. Ты бы видел, какой он страшный! Оборван, худой, весь оброс, я даже его не узнала. Он сам виноват, я потом тебе расскажу... Шлет тебе свой привет. Ты, Саша, береги свое здоровье и не доводи себя до такого состояния, как это сделал Коля. Саша, последнее от тебя получила письмо № 70, а вот сама стала писать тебе реже. Но, я думаю, ты не будешь за это сердчать, потому что я буду угощать тебя малиной, правда, несвежей, но и сухая хороша. Да, Саша, вот я не знаю, когда я к тебе приеду, у меня сейчас только одно на уме: как доехать до Родины? Саша, пиши мне чаще, очень люблю твои письма. Пиши все подробно: как живешь, цены на рынке, есть ли электричество у тебя в комнате? Вот уже темнеет. На дворе дождь и холодно. Нужно идти на огород, копать картошку да варить ужин. А

так неохота, я бы и так легла спать. Ну, пока. До свидания. Целую крепко, твоя Шура».

10.08.1944

Пишу жене Шуре 75-ю открытку:

«Здравствуйте, мои дорогие (слово «здравствуйте» подчеркнул двумя линиями)!

Получил твои письма № 75 и № 76. Спасибо. Сегодня уже десятое августа, а я еще окончательно не знаю, поеду к вам или нет. Водят за нос: то обещают, то нет. Если до 15 августа не выеду, то вышлю тебе все ценным письмом, и тогда старайся добираться как-нибудь сама. Хорошо, чтоб картошку копать вместе, а то я один запарюсь. Молоко у нас 35–40 рублей за литр, яблоки по 3–5 рублей штука, вишня по 7 рублей стакан. В Сновске был давно и поехать туда нет возможности. Дров нет, супы моя малая почти не варит, то из-за дров, то варить не из чего. Когда буду выезжать – дам телеграмму. Вера и дети обижаются, что не пишу. Пусть не обижаются – приеду, объясню, почему не писал. Ну, пока. Целую».

Эта открытка № 75 – последняя из сохранившихся моих писем военного периода к жене Шуре. Возможно, что она в самом деле была последней, потому что дальше начинается суматоха перед поездкой, а потом и сама поездка – было не до писем. При описании дальнейших событий придется по-

ложиться на память, которая, к сожалению, не всегда с такой точностью отражает события так, как это делают письма.

11.08.1944

Жена Шура пишет мне из Ижевска 78-е письмо:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Пишу это письмо из Ижевска. Приехала вчера ночью, думала забрать свое пальто готовое, но оно не совсем удачное, воротник неправильно сделан – оставили на переделку. Жакет тоже не готов, числа 25-го все будет готово. Пиши, как у тебя дела? Как дела с визой? Саша, я боюсь одна ехать пассажиром. Приехала одна знакомая и говорила, что с вещами ехать невозможно. Саша, а домой хочется, ничего меня уже здесь не интересует. Охота увидеться с вашими, пиши им от меня привет. Как-нибудь доберусь им написать письмо. Саша, я тебе послала книги и пачку писем, получил ли ты их? Это было в начале июля. Сегодня посылаю тебе три книги: Борику – букварь, Вере – грамматику, и книгу «Евгений Онегин». Как получишь – напиши. От тебя давно не было писем. Борис и Вера обижаются, что им не пишешь. И Вера-большая тоже сердается, ты уж ей напиши. Купила я нашей Вере галоши за муку, которую дала сестра Вера. Саша, пиши, сколько стоят у вас галоши? И почему мука ржаная за пуд? До свидания, дорогой Саша. Целую тебя крепко, твоя Шура».

Несмотря на то, что еще 10 августа я писал жене Шуре довольно пессимистически насчет отпуска, дальше все завертелось как в калейдоскопе. К концу дня 10 августа уже определилось, что отпуск и билет мне дают, наряд на вагон тоже. Мой начальник Жарин Дмитрий Ефимович, всегда сочувственно относившийся ко мне, и на этот раз всячески содействовал, пользуясь своим авторитетом. А авторитет у него был как среди управленческого начальства Белорусской железной дороги, так и в военных кругах. Как-то раз он мне похвалился, что ему Рокоссовский, штаб которого был в Гомеле, вручил орден (не помню какой) за быстрое восстановление связи.

Уже 11 августа я уплатил в кассу станции Гомель 356 рублей за провоз домашних вещей по наряду ФИ 7 от станции Ижевск Казанской железной дороги до станции Гомель Белорусской железной дороги. Мне выдали наряд № 65029 на вагон малой скорости.

12.08.1944

Я получил разовый билет № 0318744 сроком до 20 сентября 1944 года от станции Ижевск Казанской железной дороги до станции Гомель Белорусской железной дороги, выданный жене бухгалтера первой дистанции Сигнализации и Связи Мороз А. 38 лет с детьми: Вера – 12 лет, Борис – 6 лет, через Рязань, Ряжск, Тула, Брянск к месту работы мужа.

Не помню, на сколько мне разрешили отпуск. Жарин

подписал командировочное удостоверение № 841743 в том, что главный бухгалтер ШЧ-1 Мороз А.А. командировается на станцию Ижевск за эвакуоимуществом и документами согласно приказу № 327 от 12.08.1944, срок – двадцать пять дней. Конечно, это командировочное удостоверение было фиктивным и осталось без оплаты как память об одном из хороших начальников – Дмитрие Ефимовиче Жарине. В Ижевске какая-то добрая душа поставила печать о прибытии 20 августа и убытии 25-го августа 1944 года. Печать очень неясна. Возможно, это печать местного ШЧ. По командировочному удостоверению 841743 мне выдали разовый билет до станции Ижевск и обратно через Брянск сроком до 20 сентября 1944 г.

13.08.1944

И вот, наконец, я выехал из Гомеля в Ижевск.

А в эти дни, когда я готовился ехать из Гомеля в Ижевск, мой брат Лёня строчил мне свое письмо от 13 августа из района города Бреста:

«Здравствуй, Саша!

Я до сих пор жив по воле Всевышнего, отсюда же и здоров полностью. Жизнь моя по камешкам течет в том же направлении. Недавно получил благодарность от товарища Сталина за город Брест, а в отношении Пинска ничего, ибо ребята подпачкали мне, но это дело прошлого, правда, пятнышко останется надолго. Саша! Был ли ты в Сновске? Что там

с родными, почему не пишут? Приехала ли Шура с ребятами? Хотел ей написать, но, думаю, пожалуй, выехала к тебе. От Вани тоже ничего нет. Попробую ему напомнить о себе. Самочувствие прекрасное. На днях смотрел кино «Жди меня» – очень понравилось. Ягод и грибов в лесу уйма, была бы охота, и зверя разного много в «Беловежской пуще». Пиши. С приветом твой брат Лёня».

15.08.1944

Жена Шура, еще не зная о моем отъезде из Гомеля, пишет мне свое 79-е письмо:

«Здравствуй, дорогой мой Саша!

Получила от тебя пачку открыток с 69-й по 74-ю. спасибо, что не забываешь нас. Саша, я сегодня снова еду в Ижевск, повезу Вере в мастерскую жакет, да отдам шить себе платье. Живем хорошо, здоровы, ждем тебя. Хорошо бы, Саша, уехать вагоном, а то у меня много соберется вещей. Мне все здесь наскучило, и я только и мечтаю, как бы скорее добратсья к тебе. Саша, ты в одной открытке даже написал, что, может, мне неохота домой, но ты напрасно так думаешь, я не променяю мужа на сестру, мне с тобой еще пожить хочется. Я день и ночь думаю, как бы скорее увидеться с тобой и жить вместе. Саша, и за то не обижайся, что я тебя прошу приехать за нами. Я не приказываю, а только прошу – приедь за нами, потому что мне тяжело будет одной. Я думаю, мой дорогой, ты приедешь за нами, жалея нас. Ну, пока. До свиданья».

ния. Целую крепко, твоя Шура».

20.08.1944

Итак, выехав из Гомеля 13 августа я 20-го был в Ижевске и в Среднем Постоле. Я не помню деталей этой встречи. Конечно же, она была и радостной, и желанной. Правда, и заплакали, вспоминая несчастливый 1943 год, унесший дорогих нам близких... Но жизнь есть жизнь, она диктует свои законы, а время сглаживает любое горе.

21.08.1944

Мы с Шурой отправились в районный центр Нылгу за пропуском на выезд из Удмуртии. Нылга примерно в 40 километрах от Среднего Постола. Вышли рано утром и зашагали по дороге. Примерно на пол пути дорога ввела нас в густой лес, который мы чуть ли не пробежали – нас пугала встреча с дезертирами, о грабительских нападениях которых мы наслушались в деревне. Рассказывали, что они отнимали у крестьян, идущих в город, и продукты, и деньги. К счастью, ни в лесу, ни дальше до Нылги мы не встретили ни одной живой души. Да и селений почти не было.

Так, не отдыхая, мы подошли к заросшим берегам извилистой речки Нылги, а потом и к райцентру. На ночь наняли у хозяина дома место в кладовке или клетки по-местному. Хозяин дал нам какие-то старые матрасы и барахло, и мы улеглись спать. Но спать нам почти не пришлось: клопы, как

кровожадные звери, накинулись на нас, и напрасно мы давили их и всячески с ними боролись – силы были неравные. К тому же клопам помогали блохи. Впрочем, эта вынужденная паразитами бессонница не слишком нас обескуражила. Мы оба истосковались друг по другу за годы разлуки, и я старался, как мог, утешить свою жаждущую ласк женушку, которая лежала тут рядом, прижавшись ко мне, и шептала всякие нежные, приятные слова.

На утро, хоть и не выспавшиеся, но бодрые духом, мы явились в кабинет начальника Нылгинского райотдела милиции НКВД за пропуском. Начальник этот показался мне лично стью высокомерной. Спеси в нем хоть отбавляй, он чуть не лопался от нее. Говорил со мной сквозь зубы, как с представителем низшей расы, хотя я был в железнодорожной форме и со значками. Может быть, он встал на «левую ногу», и показался мне таким, но воспоминания у меня о нем не из лучших.

Вскоре нам выдали пропуск:

«УАССР Нылгинский райотдел милиции 22 августа 1944 года. Пропуск № 22474. Разрешается гражданке Мороз Александре Харитоновне с детьми Верой и Борисом проезд от ст. Ижевск до ст. Гомель. Цель поездки: на постоянное место жительства. Паспорт серии П НУ № 670705. Действительно до 15 сентября 1944 года».

Подписал пропуск начальник Нылгинского райотдела милиции НКВД УАССР.



23.08.1944

В эти дни, когда я был озабочен возвращением своей семьи в освобожденные родные места, мой брат Лёня отдалялся от своей Родины и гнал вероломного врага, принесшего столько горя и бед советским людям. У меня сохранилось его письмо, посланное на полевую почту 38505 Гаврилову Ивану 23 августа:

«Привет, дорогой братишка Ваня!

Очень рад получению от тебя письма, а еще больше радуется то, что ты побывал дома: увидел мать-старушку, убедился воочию их положению, познакомился с их материальной базой. Надеюсь, что в следующем письме ты осветишь мне некоторые вопросы их жизни. Жизнь моя по камешкам течет, правда, с изменением: я имею немного свободного времени, занимаюсь с людьми и работаю над собой, чтобы с новыми силами броситься на врага. Да, я хочу похвалиться, что за взятие города Бреста получил благодарность от тов. Сталина, которую отослал домой матери – пусть прочтет и сохранит. На днях получил письмо от Пети: пишет, что очень рад, узнав, что я еще жив и награжден. Будто бы он давно хотел узнать мой адрес, да не мог. Работает секретарем Райкома Партии. Ежели интересуешься, его адрес следующий: г. Улан-Уде, Восточно-Сибирская железная дорога, ст. Заиграево, Райком Партии, Гаврилову Петру. От Саши пока ничего не получил, хоть и послал ему вместе, как и тебе. Из

дома тоже давно не пишут, что там – не знаю. Фене ответил, но от нее только жду. Ваня, до того, как ты побывал дома, ты не писал мне об отпуске, а сейчас пишешь – знаю, что это «скромное» желание мамыши, но ты же был в Армии и знаешь, что это отнюдь не от меня зависит, сколько ни старайся – ничего не получается. Очевидно, только через Берлин мне в отпуск ехать, хоть и в краткосрочный. А как бы хотелось побыть дома, увидеть родных, братьев, тяпнуть «по маленькой», рассказать о себе, послушать их, да и посмотреть, ведь изменился не только я, но и все, не правда ли? Мое здоровье отличное. Погода стоит прекрасная, а в моем шалаше «Чингисхана» днем можно укрыться от жары. Питаюсь отлично! Передавай привет Фене. С братским приветом. Целую по-солдатски, твой брат Лёня. Обратный адрес: п/п 66460 Г, Гаврилову Л.В.».

25.08.1944

После возвращения из Нылги начались хлопоты о вагоне. Вагон дали обычный товарный. Смутно помню, что вещей было очень мало. И такие перевозки на железной дороге считаются нерентабельными, но никто к этому не придрался на наше счастье. Кажется, главным предметом наших вещей был какой-то несуразный стул, а самым ценным – швейная машина «Зингер и К», подаренная Шуре матерью.

Распрощавшись со своими родными, 25 августа я укатил в Гомель.

04.09.1944

Жена Шура пишет мне со станции Красный узел, где вокзал с моей семьей находился в этот день:

«Здравствуй, мой дорогой Саша!

Саша, нас везут в Пензу, как дальше повезут, не знаю. В Ижевске стояли два дня, в Агрызе тоже два дня. В Вятских Полянах стояли один день, на ст. Канаш тоже. Сейчас стоим на ст. Красный Узел уже два часа, через еще два обещают отправить. Пока все в порядке, все живы и здоровы, но, когда приедем, не знаю. Хлеба по карточкам получила в Юдино на четыре дня. Целую крепко, твоя Шура».

Эта открытка последняя из сохранившихся Шуриных писем военных лет.

Судя по темпам продвижения вагона, когда они, примерно с 25 августа и до 4 сентября, т. е. почти за десять дней, добрались до станции Красный узел, можно предположить, что до Гомеля они ехали не менее десяти, а может и более дней, и в Гомеле они появились в середине сентября 1944 года. К сожалению, о пути из Красного Узла до Гомеля у меня нет никаких источников, кроме воспоминаний моих путешественников: жены и дочери. Жена рассказывала о каких-то неприятностях на ст. Кирсанов, а дочь Вера о том же на станции Грязи, где около их вагона слышалась стрельба. Еще раньше на какой-то станции жена Шура пустила в вагон

военного с женой и ребенком, ехавшими до Гомеля. И это его вторжение было счастьем для моих дорогих. Он всю дорогу боролся с желающими попасть в вагон вплоть до угрозы стрелять. Шуре нужно было отлучаться за продуктами и прочим, и присутствие в вагоне еще одной семьи облегчало эту задачу. Военный с семьей высадился в Новобелице, а вагон с моими попал в поезд, который по обводной линии пересек у Кленок реку Сож и прибыл на Саратовский парк Гомеля хозяйственного. И вот, в один счастливый сентябрьским день, мне сообщили новость – на Гомеле хозяйственном стоит вагон с семьей.

По-видимому, вскоре после вселения моей семьи в комнату квартиры на Второй Красной улице мы выкопали картошку и, за неимением сарая, высыпали в углу комнаты.

25.09.1944

Я пишу заявление НЖЧ-3 Кирьянову:

«В январе 1944 года вами был выдан ордер № 17 на право занятия квартиры из двух комнат в доме № 14 по Второй Красной улице. В марте 1944 года в одну из комнат вселили семью из четырех душ, причем сделано это было в мое отсутствие и без моего согласия. Поскольку семьи моей тогда еще не было, я не протестовал, считаясь с общим тяжелым квартирным кризисом. Теперь моя семья приехала из эвакуации, и я прошу о предоставлении мне второй комнаты, т. к. тяжело проживать в одной маленькой комнате четверем людям

при условии, что эта комната служит и сараем, и погребом. Кроме того, варить пищу приходится у соседей, что крайне неудобно и нежелательно, т. к. в этой комнате больной человек. Дело связано с пищей, а у меня маленькие дети, которые более восприимчивы к заражению, чем взрослые. Прошу удовлетворить просьбу и предоставить мне жилплощадь из двух комнат согласно выданному вами ордеру № 17».

02.10.1944

В эти дни, когда фронт отодвинулся от Гомеля настолько, что даже появление разведочных фашистских самолетов стало редкостью, мы были озабочены устройством своего «мирного» быта и как будто забыли о войне.

Но война шла, и мой бедный брат Лёня, с самого начала войны и до сих пор шагавший по дорогам сражений без отпусков и свиданий с родными, уже был не так далеко от фашистского логова.

Вот что он писал в своем письме с полевой почты 66460 Г:  
«Саша, здравствуй!

Привет из Латвии. Много проехал, немало и пройтись пришлось, и недавно встретились-ударились; сегодня затишье, решил черкнуть. Жизнь моя по камешкам течет, по-прежнему воюю, с той лишь разницей, что из одних болот вылез, так в другие залез. Правда, в Латвии климат почти тот же, но рельеф совершенно противоположный: лес и гористая местность, в изобилии ель и лиственница, правда, и

болот немного – Бог миловал, зато озер больше. Местность очень красивая, мне понравилась, плохо лишь то, что по-латвийски говорить не могу, да и по-эстонски тоже. Деревень, к каким я привык, не вижу, только отдельные хуторки да усадьбы, но городишки очень красивы, все в зелени, а фасады домов имеют светлый привлекательный цвет. Архитектура разнообразнейшая, но это, на мой взгляд, создает приятное впечатление. Рижский залив недалек, да и Рига не за горами, ежели хорошенько рубануть, то с боями за два-три перехода можно подойти. Очень интересно побывать у моря, я ни разу моря не видел, а посему даже не знаю, какое впечатление оно на меня произведет. Впрочем, если суждено будет дойти, то опишу. Погода стоит осенняя, иногда днем солнышко есть, но уже почти не греет, ночью прохладно. Во время дождей противно, и война в два раза тягостнее становится, а она и так надоела до чертиков. Здоровье хорошее, самочувствие неплохое, но удручен тем, что не удалось побывать дома, очень далеко проезжали – в районе Смоленска. Фриц огрызается, как зверь, но, надеюсь, выдолбим, как бы не цеплялся. Выслал свое фото домой, маленькое, фотографировался еще в Белостоке. Хотел и тебе хоть плохонькую выслать – хватился, а их нет, наверное, солдат, когда воротничок к гимнастерке пришивал, где-то вытряхнул. Так и не нашел, обидно и жаль. Вот вкратце и все. Извини, что коряво – на коленке неудобно, да и костер плохо горит, дым в глаза. Привет Шуре, Вере и Борику. Пиши. С приветом твой

брат Лёня».

16.10.1944

НЖЧ-3 Кирьянов никак не реагировал на мое заявление о предоставлении другого жилья. Пришлось писать о том же в вышестоящую организацию, в Управление Белорусской железной дороги. Описав все, как в первом моем заявлении, я закончил его так:

«На мое заявление никак не реагируют, и я прошу вашего вмешательства в это дело. В маленькой комнате нас живет четверо, причем в этой же комнате и картофель, и дрова, т. к. ни сарая, ни погреба нет. В нашем доме нет большей скученности, чем в моей квартире. Ни печки, ни грубки в моей комнате нет, и пищу приходится варить у соседей, что крайне неудобно. Прошу обратить внимание и принять соответствующие меры, т. к. за три года скитаний по вагонам в оперативной группе Белорусской железной дороги и по общежитиям я порядком измотался, хочется пожить в более менее человеческих условиях».

На это мое заявление тоже не было ответа.

27.10.1944

Брат Лёня вновь написал мне:

«Саша, здравствуй!

Твою открытку получил, очень благодарен. Пока жив. После Риги иду на Либаву. Как освобожу и останусь жив, со-

обшу подробнее, что да как. Фриц сопротивляется, как обреченный, но ему больше ничего и не остается: смерть или плен. Саша, пиши, как встретишь 27-ю годовщину октября, а я со своей стороны опишу. А сейчас поздравляю тебя и семью с 27-й годовщиной Октябрьской революции, желаю счастья и здоровья, и встретиться со мной. Извини, что коряво и скоро, ибо на ходу, с колена. Передавай привет Шуре и детям. Целую тебя, твой брат Лёня».

03.12.1944

Брат Лёня пишет мне:

«Дорогой братыш Саша, здравствуй!

Извини, что задержал ответ на несколько дней. Я находился в командировке, да и сейчас еще тоже, завтра выеду на место. Уже декабрь, зима, а я все проклинаяю дожди и грязь, прямо удивляюсь, как здесь люди живут – сплошная грязь. Даже на высотках вода наверх выступает. Кажется, что был бы морозец, то жизнь полегчала бы. Понимаешь, приехал в командировку, а остановиться негде, домик от домика за 1–2 километра и называется хутором. С трудом нашел халупу, и вот уже пятые сутки живу под крышей, а завтра снова в свой «шалаш», да, впрочем, уже и отвык от помещений, у которых потолок высок и можно ходить в полный рост, все сидя да лежа с водопросачиванием как сверху, так и снизу. Из дома письма получаю, а Ваня что-то молчит, почему – не знаю. Здоровье отличное, самочувствие тоже, но хочет-



ся, чтобы уже скорее все это кончилось, да тяпнуть встречную, да заздравную! Пиши, Саша, как у вас жизнь? Передай привет Шуре и детишкам. С приветом твой брат Лёня».

12.12.1944

Мой брат Лёня пишет письмо с фронта Верочке:

«С наступающим Новым Годом, дорогая Верочка! Посылаю горячий фронтовой привет тебе, дорогая племянница Верочка, и Боре тоже. Поздравляю вас с наступающим Новым 1945 годом и желаю вам здоровья и счастливого детства, хорошо учиться и вырасти большими на радость папке и мамке. Живите счастливые, растит здоровые, будьте послушными, а в школе учитесь на отлично. Пиши, Верочка, как встретишь Новый Год? Я живу хорошо и здоров, только не ответил тебе, Верочка. Потому что был слишком занят, много воевать пришлось и много немцев побил. Сейчас есть свободное время и буду чаще писать. Верочка, передай привет мамке и папке и поздравь их с Новым Годом от имен дяди Лёни, и Борику тоже. До свидания, Верунька. Целую тебя, твой дядя Лёня. Пиши».

13.12.1944

А на следующий день брат Лёня пишет мне:

«С Новым Годом, дорогой брат Саша!

Поздравь от моего имени жену Александру и детишек с наступающим Новым 1945 годом! Желаю вам здоровья, сча-

стья и хорошей семейной жизни в Новом году, а также скорой встречи с братьями. Пока жив и здоров, имею кусочек свободного времени, обсушился и от грязи отряхнулся, да, пожалуй, и отдохнул немного. Снега нет и в помине, все идет дождь. Пиши, Саша, как встретишь Новый Год. Привет Шу-ре, Верочке и Боре. Твой брат Лёня».

## **Окончание войны**

04.01.1945

Брат Лёня пишет мне в Гомель:

«Здравствуй, Саша!

Не могу понять, почему ты обижаешься на меня за отсутствие писем? Писал тебе два, а ответ получил на одно. Новый Год встретил плохо, почти совсем не встречал, а ежели и встречал, то проклятиями к тем, кто затеял эту войну – фрицам-гитлеровцам. Жизнь моя проходит в том же духе, но со старого места перешел – опять в Польше и в том же направлении. Сказать, что здесь лучше – нет, солдату кругом одинаково, к тому же зима удваивает трудности. Кажется, к трудностям до того привык, что не представляю, как люди живут без них. Сложно представить, как это можно вечером ложиться спать в теплой комнате с потолком и целыми окнами без опасения спать до утра без автомата, не боясь, что утром тебя будут будить гранатой по голове. Кажется странно, быть может, доживу, но, по-моему, такая жизнь – сказка.

С приветом Лёня».

09.01.1945

Брат Лёня пишет мне из Польши:

«Привет, Саша!

Очень долго ходят наши письма, но я рад, что они все же меня находят. Писал уже тебе, как я встретил Новый Год, что воюю на том же участке, где и раньше, т. е. в Польше, вывод делай сам. Жизнь не совсем важнецкая, ибо зимой не совсем удобно, но все трудности переносю стойко, раз уж взялся за гуж – не говори, что не дюж. Сейчас готовимся, чтобы ударить и покончить с фашистским зверьем. От Вани ничего нет, и из дома давно не пишут. От Пети тоже ничего нет. Очень интересно, был ли он у нас дома, и почему он должен быть там? Не знаю, как выдержит моя звездочка, и доведет ли она меня до конца, но уж очень хочется увидеть вас всех, особенно поговорить с тобой. Будем надеяться. Передавай привет Шуре и детям. С приветом твой брат Лёня».

В одном из писем к брату Лёне я выразил надежду, что та счастливая звездочка, которая благополучно сопутствовала Лёне с начала войны и до конца 1944 года, будет и дальше охранять его до конца войны, до дней мира. Вот об этой звездочке Лёня и пишет в своей открытке.

18.01.1945

Незнакомая мне Нина Бабицкая писала мне письмо:  
«Здравствуйте, дорогой Александр Александрович!

Шлю вам сердечный привет из Варшавы! Первым долгом разрешите вас познакомить с той особой, о которой идет речь: скромная девушка 18-ти лет, высокого роста, щупла, ясно-голубые глаза, русская добрая душа. Я имела счастье познакомиться с вашим братом Леонидом Владимировичем, который дал мне ваш адрес и отрекомендовал как хорошего, доброго, совестного, симпатичного... (не подумайте только, что ухажера)... человека. Дело в том, что я проживала со своей семьей 13 лет в городе Гомеле по Садовой улице, дом 3, а теперь, потеряв все, вот уже второй год с мамой и братом горюем на чужой стороне, с тоской вспоминая Родину. Вчера доблестная Красная армия вступила на территорию, где мы находимся, выгнав ненавистного врага. Снова солнце засветило для нас, и надежда о возвращении на Родину окрылила нас. Все-таки не удалось варварам вывезти нас в Германию. А теперь скорее, скорее домой. Дорогой Александр Александрович, я вас убедительно прошу, если вам не трудно, сообщите пару слов о нас Марии Михайловне Вишне, проживавшей рядом с нами по Садовой улице, дом 1. Если же там никого нет и дом сгорел, сообщите нам, пожалуйста. В пяти километрах от г. Гомеля за рекой Сож расположен город Новобелица, где живут наши родственники. Новобелица, ул. Карла Маркса, д. 88, Ольга Васильевна Брилькова; Новобелица, ул. Пионерская, д. 3, Юзефа Юлианов-

на Карасик. Сообщите хотя бы по одному адресу о нас. На этом заканчиваю. До свидания, до скорого свидания. Победа за русским народом. Нина Бабицкая. Мой адрес по-польски: Miasto Milanoweh Warshawa uries Polesie, dom № 19, Babicka Nina. Адрес на русском: г. Милянувск, Варшава, ул. Пolesье, д. 19. Бабицкая Нина».

12.02.1945

Я послал открытку Н.Бабицкой по указанному ею адресу: «Здравствуйте, заочный друг Нина!

Вчера получил ваше письмо, на которое спешу ответить. Прямо с почты я пошел на Садовую улицу. Ваш дом № 3 цел и невредим. В этом доме теперь помещается Горсовет города Гомеля. Зашел в дом № 1 к Вишне, поговорил с матерью (ее дома не было). Мать Вишни рассказала мне, что письма от вас они получили, узнали, что отец ваш жив, здоров и неплохо выглядит, и что сообщили ему о вас и вашем адресе. Если по каким-либо причинам вы с отцом еще не связались – напишите мне, я постараюсь с ним повидаться и показать ваше письмо. Вы пишете «до скорого свидания». Если это свершится, то напишите мне открытку, чтобы я мог зайти и расспросить вас о моем брате Лёне, я его не видел пять лет, а уходил он мальчишкой. С приветом А.Мороз».

Эта открытка после странствий вернулась ко мне обратно с пометками: «уехали в Гомель» и «возвращается».

21.02.1945

Брат Лёня пишет мне:

«Германия-Померания.

Здравствуй, дорогой брат Саша!

Не взыщи за долгое молчание, но хочу тебе сообщить, что в боях, при том наступательных, не особенно располагаю временем, приходится не смотреть ни на день, ни на ночь, не считаясь с погодой и местностью двигаться вперед – поближе к Берлину, к победе! Сейчас нахожусь в гитлеровской Германии, ты не можешь себе представить, как поспешно бежали фрицы и фрау. Весь скот, лошади и мелкая птица оставлены в поместьях. В домах полный беспорядок, очевидно, спешно собирались, все в узлах, но захватить не успели и убежали, в чем стояли. По-моему, для них наступил 1941 год, пусть подумают, ежели они на это способны. Не правда ли, брат? Пару слов о своей жизни. По правде сказать, скучновато, долго не виделся с родными и знакомыми, а знаешь, как хочется встретиться и поговорить. Много пережил за это время, много увидел того, о чем раньше не знал, с большим удовольствием, коли жив останусь, приеду и поведаю тебе обо всем виденном и пережитом. Сейчас имею несколько дней отдыха. В нашем смысле это значит, что я почти всю ночь могу спать и днем кушать вовремя и что захочу. Между прочим, в питании я себе не отказываю, мне иногда приходит в голову такая мысль – а как мои родные, братья, сыты ли? Поверь, Саша, что я питаюсь по потребности и по желанию,

хотел бы, чтобы и вы хоть часть имели того, что я в этом отношении. В данный момент нахожусь в германском городишке вроде Сновска в уютной комнатке, пианино и патефон играют попеременно, на других инструментах, к сожалению, я плоховато играю. Я, кажется, тебе писал, дорогой братыш, что за бои в Прибалтике меня наградили орденом Красного Знамени, можешь меня поздравить! Чувствую себя прекрасно, здоровье неплохое, только одно – тоска по Родине здесь, на чужбине, острее ощущается, хочется, как никогда, побыть в нашем захолустном городишке, и он мне представляется красивее и лучше всех городов Германии. Саша! Ты был недавно у наших родных, напиши, пожалуйста, реальную обстановку, в которой живут старики наши, не украшая и не скрывая действительности. Напиши, как ты живешь, здоровье твое, Шуры и детей? Может, в чем нуждаешься, по силе возможности буду помогать, не прими это за шутку и не обижайся, я понимаю, каково положение в Гомеле и других городах, разрушенных гитлеровскими варварами. Хочу на этом закончить и посылаю тебе открытку с видами Германии. Передавай дорогой привет жене Шуре, дочурке Вере и сыну Борису. Будешь у наших – передавай привет. Твой брат Лёня».

В этом письмо были две открытки с видами городов. На одной Лёня написал: «22-II-45 г. Саша! Дорогой брат, будучи в Германии, никогда не забываю о своей Родине и родном городишке, где я провел детство и юность. Лёня».

28.03.1945

Брат Лёня пишет мне из Германии:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Вполне заслуживаю упрек за невнимательность, но постараюсь исправиться. Сейчас имею больше возможности уделить время письмам. До сих пор жив и полностью здоров. Повоевали в последние дни неплохо, и остатки немчуры столкнули на противоположный берег Одера. Одер (река) велик, в некоторых местах километр и более, имеет разветвление – рукава, которые называются Западный Одер и Восточный Одер. Рыбы в реке много, а посему уха получается наваристая, да и жарить тоже неплохо для закуски. Погода стоит замечательная, хоть купайся, правда, утром и вечером еще прохладно. Трава уже зеленая и деревья начинают покрываться листвой. Живу в неплохом домике немецкого происхождения. Учусь иногда играть на пианино. Хожу периодически на охоту за козами дикими с мелкокалиберной, хоть и редко. Один раз удалось застрелить козочку, а ее «супруг» убежал, но, думаю, выбрать еще свободный часок и за ним сходить, по-моему, далеко не уйдет, где-то здесь в лесу. В отношении здоровья не жалею, но иногда чирьи выходят на не совсем приятных местах: то на шее, то на «тылах». Но это пережить можно, плохо то, что иногда повторяются. Читать ничего, кроме газет, нет, а хочется иногда хотя бы классиков почитать, чтобы забыть на время об этой проклятой



войне. Письма получаю редко, да и переписку имею с тобой, Ваней, родными и все, правда, чуть не скрыл, еще с Шурой С., но она что-то забастовала и в последнее время не пишет. Отчасти и понятно, ведь письма не всякого и не всегда могут удовлетворить, а сейчас весна... Мне уже не привыкать в лесу пням Богу молиться, а там-то войны нет. Недавно получил письмо от Вани, у него дела неважные – сам болеет, да и с женой неладно что-то, обокрали ее что ли. От папашки письмо получил, пишет, что слабоваты они стали с мамашей и обижаются, что никто не пишет. Вот вкратце о себе. Да, чуть не забыл, я, кажется, тебе и не похвалился, что вторично награжден, и теперь дважды орденосец, правда, это давненько было, но мне сдается, я тебе не сообщал. Вот, кажется, все вопросы, коих хотел сегодня коснуться. Пиши, Саша, о своей жизни, о здоровье, как Шура живет и здравствует, здорова ли Верочка и как учится, как сын? Передавай горячий фронтовой привет женошке и детям. С приветом, целую тебя, Лёня».

Это последнее письмо моего брата Леонида, больше от него писем не было. Он погиб вдали от Родины, на которую так мечтал вернуться. Погиб в самом конце войны. Пройдя ее всю и не дожив до долгожданной Победы всего несколько дней. Вечная ему память.

07.05.1945

Война подходила к концу, приближался торжественный

день, когда репродукторы возвестят о конце этой небывало ужасной войны. И мы с нетерпением ждали этого дня.

И с неменьшим нетерпением мы ждали своей семейной радости – рождения третьего ребенка. Шура часто болела малярией. Седьмого мая утром она пожаловалась на приступ малярии, но это была не она. Это были преддровые схватки. Вызвали «скорую помощь» и к дому на Второй Красной подъехала обыкновенная телега, на которую положили Шуру и привезли в приемный покой на Полесской улице около Полесского переезда. Ребенок родился 7-го мая 1945 года в пять часов утра, и из приемного покоя Шуру с ребенком на этой же подводе повезли во вторую узловую больницу на Гомель хозяйственный.

Я успел мельком увидеть глазки безымянной дочки: они были коричневые, слегка раскосые, такие, как у ее мамочки. И если Веру и Бориса многие находят схожими со мной, особенно по глазам, то эта дочка была похожа на мамочку.

08.05.1945

В этот день в больнице мне объявили, что жена чувствует себя хорошо, а дочка плохо.

09.05.1945

Торжественный день Победы, 9 мая, для нас с Шурой был опечален смертью крошки-дочки...

Утром девятого мая я, как все, пришел на работу в ди-

станцию. Была среда – день рабочий, но вскоре нас всех распустили, объявив этот день праздником Победы. А в больнице, куда я примчался с радостной вестью, мне объявили, что положение девочки безнадежное. В 15 часов 9-го мая она умерла. По-видимому, перевозка на подводе в прохладное утро простудила малютку, и она не выдержала.

Потом Шура вышла из больницы. Ей отдали тело безымянной дочки в небольшой картонной коробке.

Война ожесточила нравы, спутала понятия, каноны и обряды. И мы, без соблюдения общепринятых правил, похоронили свою дочку, не оформив ее в ЗАГСе. Сбоку какой-то могилы на Крестьянском кладбище, озираясь, чтобы никто не увидел, выкопали неглубокую ямку и положили туда останки дочки в картонной коробке, как ее нам выдали в больнице.

Это было в воскресенье 13 мая 1945 года.